ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

10
1964

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

РОМАНЫ

ДИТЕР НОЛЛЬ — Приключения Вернера Хольта (Окончание) 11

ГРЭХЕМ ГРИН — Ценой потери (Окончание) 117

ЮМОР

ПЯТЬ КОНТИНЕНТОВ СМЕЮТСЯ

ГЕНРИХ БЕЛЬ — Незваные гости. **ПЬЕР ДАНИНОС** — Снобы и литература. **РАДУ СТЭНЕСКУ** — Интересная тема. **ЛЕШЕК МАРУТА** — Пещерный житель 200

СТИХИ

И хлеб нам нужен, и нужна мечта (Стихи поэтов Германской Демократической Республики) 3

Из современной югославской поэзии . . 112

ДИЛАН ТОМАС — «Когда октябрьский ветер...» 197

КРИТИКА

ГАНС КОХ — В борьбе за нового человека 212

И. АНИСИМОВ — Романы Грэхема Грина . . 221

НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ РОМАНА

ЯН КЕРЬЮ — Мы пишем для народа . . . 227

ХОАКИН ГУТЬЕРРЕС — Накануне большого расцвета 233

10

ОКТЯБРЬ

1964

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ»
Москва

ЧТО ЧИТАЮТ СЕГОДНЯ

ГУСТАВО ЛУИС КАРРЕРА — Там, где идет битва (Письмо из Каракаса) 238

ПУБЛИЦИСТИКА

УИЛФРЕД БЭРЧЕТТ — Американцы в Южном Вьетнаме (Репортаж из партизанских районов) 241

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

НАТАЛИЯ СОКОЛОВА — У художников Югославии 250

СРЕДИ КНИГ

ИЗДАНО В СССР

Александр Рубакин — «Я благословляю грядущее...» ◇ Л. Фейгина — Освобождение надо охранять ◇ Р. Фиш — С доверием к читателю ◇ Л. Эйдлин — Зеркало поэзии ◇ Л Лихачева — Книга о дружбе 256

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

Татьяна Николеску — Монография о Лермонтове ◇ Вл. Рубин — В школе жизни. ◇ М. Тугушева — Новое платье королевы 262

К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА

ИРАКЛИЙ АНДРОНИКОВ — Лермонтовские реликвии за океаном 267
Лермонтов в зарубежных изданиях . . . 273

КАЛЕНДАРЬ «ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»

КЛАССИК ВЕНГЕРСКОЙ ПОЭЗИИ (К 100-летию со дня смерти Имре Мадача. Интервью с Л. Мартыновым) 274

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

Хроника 275

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ 287

На обложке акварель КАРЛГРИНЦА ЯКОБА (ГДР) «Разносчик фруктов на Кубе».

ХЛЕБ НАМ НУЖЕН, И НУЖНА МЕЧТА

Стихи поэтов Германской Демократической Республики

В поэзии Германской Демократической Республики происходят сейчас знаменательные процессы.

После того как из жизни один за другим ушли классики антифашистской лирики: Эрих Вайнерт (1953), Бертольт Брехт (1956), Луис Фюрнберг (1957), Иоганнес Бехер (1958),— в поэзии наступило затишье. Казалось, ей трудно оправиться от тяжелых утрат. Учителя ушли, смена еще не окрепла. Разумеется, и в эти годы появлялись хорошие стихи, многие поэты, зрелые и молодые, продолжали успешно работать. И все же в поэзии не было произведений, равных книгам прозаиков.

К счастью, затишье оказалось временным. Дело не только в том, что подросли новые поэты — насыщенная бурными событиями действительность потребовала поэтического осмысления жизни. Вспомним, чем жила Германская Демократическая Республика последние два-три года: «берлинская ситуация», укрепление государственной границы, новый рывок в социалистическом преобразовании деревни, строительство крупнейших промышленных объектов, отражение идеологических атак противника и развернутое идеологическое наступление, антифашистская борьба в новых исторических условиях...

Все это не могло не вызвать нового взлета поэзии (или, как ее называют немцы,— «лирики»). Сейчас в ГДР залы, где поэты читают свои стихи, переполнены слушателями, стихотворные сборники мгновенно раскупаются, и это не дань моде, а естественная потребность эмоционально осмыслить пройденный путь и взглянуть на сегодняшний день глазами поэзии. Надо сказать, что поэты ГДР успешно откликаются на эту потребность. Есть лирики, притом весьма крупные, которые, продолжая давнюю и славную революционную традицию, непосредственно связаны с важнейшими стройками Республики, с сельскохозяйственными кооперативами, с частями Национальной народной армии, создают тексты для коллективов художественной самодеятельности, не боясь вызвать недовольство снобов. Нередко из таких «агиток» рождаются значительные произведения: пример тому «Клаус Штёртебекер» Кубы, вдохновенная народная драма, задуманная поначалу как текст для праздничной программы к Неделе Балтийского моря.

Знакомство с новыми произведениями поэтов ГДР мы начинаем со стихов Кубы — своеобразной поэтической биографии города Ростока, восстановленного из развалин и ставшего одним из главных портов ГДР. Верный своей «агитпроповской манере», Куба смело ввел в свои стихи различные голоса, сатирическую полемику со скептиками и нытиками: произведение рассчитано на исполнение несколькими чтецами и всем залом.

Эти стихи Кубы, как, впрочем, и все его творчество, привлекают сочностью, жизнелюбием — не легковесным бодрячеством, а оптимизмом коммуниста, строителя новой жизни...

Совсем в иной манере выступает Эрвин Штриттматтер, которого у нас в СССР знают как прозаика. Штриттматтер в своих стихах философ, его этюды лишены какого

бы го ни было украшательства, они строги и сдержанны, даже рифма и ритм не нужны ему для того, чтобы выразить главное — мысль.

Стихотворением «Куда уводят сказки» представлен Франц Фюман. Оно взято из одноименной его книги, которую в ГДР причисляют к значительным поэтическим достижениям последних лет. Для Фюмана характерно стремление проникнуть в глубину явлений жизни, в их первооснову. Тем же свойством обладают и стихи Гюнтера Кунерта, который весьма своеобразно и тонко «комментирует» творчество Кафки. Признанный поэт Пауль Винс недавно порадовал читателей новыми лирическими открытиями. Как видим, все это опровергает домыслы западногерманских недоброжелателей, обвиняющих поэзию ГДР в «тематической узости».

Нам хотелось бы познакомить читателей и с несколькими новыми именами, с поэтами, пришедшими в литературу в самое недавнее время. Впрочем, Гейнц Калау, например, далеко уже не новичок в поэзии, хотя его еще причисляют иногда к «молодым». Зато Фолькер Браун, Кристоф Вальтер, Курт Барч действительно очень молоды и по возрасту, и по своему поэтическому «стажу». Стихи молодых говорят о том, что перед нами люди думающие и чувствующие, с большим и сложным внутренним миром.

...Этот номер журнала «Иностранная литература» с новыми стихами поэтов ГДР выходит в пятнадцатую годовщину Германской Демократической Республики. За эти годы жизнь в Республике обрела новое, социалистическое содержание и смысл, победила темные пережитки фашизма. И в этой победе почетная роль принадлежит передовой немецкой поэзии — выразительнице идеалов социалистического гуманизма, кровно связанной со своим народом и всеми своими истоками уходящей в народ.

Лев Гинзбург

КУБА

Новые хозяева

Фашисты бежали...
Там, в слизистом иле,
проклятые их затерялись следы.
А люди озябли.
А печи остыли.
А гавани
дохлые флаги спустили
над мертвою зыбью
стоячей воды.

Вот что нам тогда досталось:
Росток — в щебень,
Висмар — в прах,
и свинцовая усталость
в наших выстывших сердцах.

Конец войны. Был месяц май.
Словцо пошло из края в край —
хоть говори, хоть напевай:
— Да-вай! Да-вай! Да-вай!..

Эй вы! Кто помнит те года?
«В башке аж гудело!»
А как вы хныкали тогда?
«Ох! Гиблое дело!..»

Безжизненной рухлядью
и бесполезной
флот чертова Гитлера
в море лежал...
Тогда мы решили
из груды железной,
из рухляди ржавой,
проглоченной бездной,
поднять на поверхность
бесценный металл!

Дно морское перерыто —
всё ковшами загребли.
Эти старые корыта
превратятся в корабли!

«А с хлебцем — швах. И холод лют.
На кой он сдался, этот труд?
Всё коммунисты! Там и тут
покоя не дают!»

«Усталость бьет по головам.
Работа! Работа!»

Ах так! А жить охота вам?!
«Еще бы! Охота!»

Собрание в гавани.
Тонны да марки...
Участвуй,
подсчитывай,
соображай!
Замерз? Ничего!
Отойдешь в кочегарке.
Надеяться нечего нам
на подарки.
Сам будешь работать —
пожнешь урожай!

Что, браток, поверить трудно?..
Но на первом рубеже
эти верфи, эти судна
мы предвидели уже.

Известно всем спокон веков:
живет уловом рыболов.
Построим флот, чтоб был улов
у наших рыбаков!

Ну, что вы скажете теперь,
кто хныкал уныло?
Плывут суда из ГДР
по самому Нилу!..

Вот это улов —
громоздится горою!..
О Росток! О Висмар!
И гавань, и верфь
восстали из праха,
жизнь заново строя.

Так силой рабоче-крестьянского
строя,
от смерти уйдя,
мы осилили смерть!

«Чтобы всем на белом свете
вдруг владел любой батрак?!
Тот, кто верит в байки эти,
коммунист
или — простак!..»
Бойкот... Эмбарго... Холодна,
как лед, холодная война.
Но красным флагом ты, страна,
не зря осенена!

Идти вперед? Ползти ли вспять?
Вперед! Сквозь преграды!
Эй! Мир не просто отстоять!
Но *надо!* Но *надо!*..

Действительно,
все это было не просто...
Но косность,
неверье
и злобу круша,
с сердец соскребли мы,
содрали коросту...
И высится Висмар!
И строится Росток!
И жизнь на земле
до чего ж хороша!

...Все это взято не из книг,
здесь дело не в чуде.
Кто это создал? Кто воздвиг?
Не боги. А люди!..

ГЕЙНЦ КАЛАУ

■ ■ ■

Так вот что: хоть задача нелегка,
хоть этот труд воистину громаден,
устраивайтесь в мире на века
и стройте прочно — не на час, не на́ день!

Но нынешним не помыкайте днем!
И, создавая, миру знайте цену:
пусть нам самим светло живется в нем —
не только тем, кто нам придет на смену.

Иначе станем пеплом и золой!
История ли нас не научила?
Так возгласим: оружие долой!
Иль всех нас ждет всеобщая могила...

О, высмейте того, кто говорит,
что важно только будущее в мире.
Но глуп и тот, кто в будничность зарыт,
не видит пред собой грядущей шири.

И хлеб нам нужен. И нужна мечта.
Лелейте жизнь, до боли дорогую!
Пусть будет жизнь достойно прожита:
ведь после этой не дадут другую!

КРИСТОФ ВАЛЬТЕР

Эрнсту Бушу

Когда возвращаюсь домой,
усталый от мелких
стычек в великой классовой битве,
огорченный упреком товарища,
досадуя на иной промах,
чертыхаясь от омерзения к человеку,
который считался нашим соратником
и усматривал «враждебные происки»
в каждой нашей оплошности, а сегодня
сам дезертировал в лагерь врага,

когда возвращаюсь настолько усталый,
что кажется, еще минута —
и начнешь сомневаться в торжестве разума
над моралью торговцев человеческим мясом,—
я слушаю твой неподкупный,
не знающий компромиссов голос,
не ставший плаксивым
от гула войны и безмолвия камер,
простой и строгий, как наше дело,
без неврастеничных вибраций,
слушаю Поэзию нового общества
и вновь узнаю великое в малом.
обретаю спокойную веру,
когда слушаю твой голос,
указующий путь,
цель
и линию фронта.

КУРТ БАРЧ

Эпитафия аполитичному

Склоните головы
над прахом усопшего:
он был
так великолепно
аполитичен.

Вскапывая грядку для лука
и обращаясь к господу богу
с мольбой
о хорошей погоде,
он наткнулся лопатой
на забытую бомбу.

И взлетел на воздух...

В сплошную «аполитичность».

Перевод ЛЬВА ГИНЗБУРГА

Двери

Стихи как стеклянные двери
в свет.
Через них
люди входят в поэта
и к людям выходит поэт.

Перевод Е. БОВКУНА

ПАУЛЬ ВИНС

Время мечтать

Над башнями бронеплатформ
веет ветер мечтаний.
Мечта — безветрие в шторм,
в штиль — зов штормовых скитаний.
Утонет в крови и опять
средь битвы вспорхнет беспечно.

Есть ли время мечтать?
Его нет.
И оно — вечно.

ФРАНЦ ФЮМАН

Куда уводят сказки

Сказки уводят нас вглубь — всегда в причину явлений,
в корень вещей,
в самую сущность...

Когда умолкает иссякший источник,
и стоят беспомощно перед ним люди,
не зная, что делать,—
приходит герой Ганс и поднимает камень, лежащий на дне,
и все видят, что под камнем сидит жаба.
Надо было убить эту жабу,
чтобы вновь забил из-под земли чистый родник...
Упало в колодец веретено,
и девочка прыгнула вниз,
но вдруг очутилась она на тропинке, пошла по ней,
и привела ее эта тропинка к мудрой женщине,
одарявшей по заслугам то золотом, то смолой
в сказочной стране, глубоко под колодцем.

А чтобы сразиться с драконом,
чтобы настигнуть чудовище в пещере,
герой должен был опуститься под землю.

Он говорил: «Опускай меня вниз,
и когда я от страха буду дергать за веревку,
давая сигнал к возвращенью,
не обращай на это вниманья,
опускай меня все глубже, и чем больше я буду сигналить,
тем глубже опускай меня вниз».
И его опускали вниз,
он дергал за веревку, а его опускали все глубже,
и так, дергая за веревку, он опустился в пещеру
и победил дракона.

Все глубже в причины явлений уводят нас сказки,
все глубже, а мы боязливы...
Все глубже, а нам бы хотелось вернуться.
Все глубже, все глубже, в самую сущность...

ЭРВИН ШТРИТТМАТТЕР

Цивилизация

Прежде чем появился человек, жил скворец.
Он пел на деревьях.
Он спал в дупле дерева.
Он склевывал жука, червя, гусеницу.
Он лакомился дикими лесными плодами.
Потом пришел человек со своими лакомствами.
Он даже вишни сделал слаще.
Скворец сообразил, в чем дело.
Он перелетел в сады.
Он проводил время за обычным занятием до созревания вишен.
Он съедал с листа гусеницу, со ствола жука.
В моем капустнике разгуливали гусеницы.
Я воткнул жердь в капустное поле.
Я приколотил гвоздями к жерди засохшую ветвь.
Я повесил над нею скворечник.
И вот готово искусственное дерево.
Скворец нашел это неестественное сооружение годным для жилья.
Он уничтожает для меня гусениц так, мимоходом.
Он ждет, когда поспеют сладкие вишни.
Кто хочет вишневой сладости, тот должен лишиться шепота лесов.
Но песня моего скворца осталась прежней.

Почки

Небеса синеют.
Летят пожелтевшие листья.
Не ветер их пообрывал.
Я разглядываю сучок.
Там, где лист отвалился,

он после себя оставил почку на ветке.
Почка — это отложенное им яйцо.
В почечной скорлупке юный листок выдержит
суровый мороз, и снег, и зимние ветры.

Перевод Н. ГРЕБЕЛЬНОЙ

ГЮНТЕР КУНЕРТ

Фрагменты к фрагментам писателя Франца К.

Утром с кровати поднимается
Невыспавшийся; украдкой
Озирается, хотя в комнате
Нет ничего от ночных кошмаров.

Как смотрит на проснувшегося
Зеркало? Быть может, оно
Его уже в чем-то подозревает?

С потолка спускается на нити
(кто знает, на какой нити?)
Паук (кто знает, какой паук?),
Спускается
На сидящего за столом, чтобы подслушать
Его мысли.

Раздается звонок. Телефон. Дверь квартиры.
Дверь дома. Смертная казнь. Весь мир
Он пронзает неистово, трезвонит, кричит,
Раздирает слух — и оглушает
Беззвучно, одним ударом.

Телефон молчит. Густая, гнусная
Немота в его трубке. А перед домом
Стоит никто, устрашающий, серый
Никто. Перед дверью квартиры
Тень легла от другого никто —
Он поджидает.

Тишина. Тюремная, каменная тишина.
Иногда нарушается шумом: глухо
Звучат шаги по лестницам и потолкам,
Поступь в парадных и на чердаках,
В коридорах и комнатах ноги: это
Власть, у которой много имен.
Слишком много.

На кровати лежит смертельно
Утомленный днем длиною в жизнь,
Проживший заново целый день
Из последних сил и с улыбкой,
Отвратительной, как гримаса
Прокаженного,— и вслушивается. И
Вслушивается.

И вслушивается.

ФОЛЬКЕР БРАУН

Революция

(Отрывки из поэмы)

Я не сдамся, я выдержу.
Я хочу жить сегодня и завтра.

И мужчины должны жить, и женщины,
и дети их,

и ты, старик, должен жить, и вы, нерожденные,
и вся наша планета не должна рассыпаться звездной пылью.

Оставьте же нам во владенье луга и косынки девушек,
и мир, небывало близкий и в небывалой опасности,
и человечество, которое в небывалой опасности,
и так полно надежд!

■ ■ ■

Это долгое дыханье революции. Она бесконечна,
она станет ровесницей человечества, делом всего человечества.
Никто от нее не уклонится, ей нужны все люди,
и всем людям нужна она, ибо новые люди,
которых она беспрестанно изменяет и побеждает,
беспрестанно вставая и побеждая, изменяют собой
всю землю, все устремленья, все мысли.
Она негасимое пламя и неизбывная радость всех людей.
Она ничто, кроме пламени и радости людей.
Она ничто сама по себе. Она требует всего от *тебя.*

■ ■ ■

Все, чем я жив, все, что я знаю,
все, чего я хочу,— в одном слове.
Оно словно песни птиц, словно шум лесов,
оно исходит из лучших мыслей людей,
оно означает конец бесчестию и безмолвию.
Нет слова святее, чем это:
РЕВОЛЮЦИЯ!

Что устоит перед ним, что останется в силе?
Все перед ним бессильно,
весь страх, вся ярость бессильны.
Страшные сны бесстрашно досмотрятся до конца.
Надежда приходит во все уголки земли.
Единый поток неукротимой надежды —
РЕВОЛЮЦИЯ!

Программа освобождения человечества принята.
Сила помогает совладать с насилием.
Те, кто в бесчестии и безмолвии, пробуждаются,
те, кто гнетут людей, охвачены страхом,
те, кто поняли это слово, делаются друзьями —
всюду кричу я об этой могучей дружбе:
РЕВОЛЮЦИЯ!

Перевод АНДРЕЯ СЕРГЕЕВА

ДИТЕР НОЛЛЬ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ Вернера Хольта

РОМАН

Перевод с немецкого И. ГОРКИНОЙ, Е. ЗАКС и И. МЛЕЧИНОЙ

Часть третья

I

Сидя в переполненном вокзальном ресторане, Хольт потягивал какой-то горячий напиток. Полдень. Спешить нечего. Час пешком или десять минут трамваем — и он в Мёнкеберге на заводе, у отца, у Гундель. Свое возвращение он взвесил и продумал до конца. Разве не возвращается он совсем другим человеком, не тем, который сломя голову бежал отсюда? О встрече с отцом он мог думать спокойно, он уверен в себе. Но Гундель... Расплатившись, Хольт вышел.

Стоило ему подумать о Гундель, как спокойствия и рассудительности словно не бывало. Ему казалось, что особенно сейчас, после гамбургской эпопеи, после его бегства от людей в глушь, к Уте, прошлое непреодолимой стеной встало между ним и Гундель.

В первые дни марта здесь выпал свежий снег. Ледяной ветер продувал улицы. С каким лицом предстанет он перед Гундель?

Хольт рассеянно прочитал афишу: «Выставка. Живопись и скульптура, 1900—1933»... Он поднялся по ступенькам. Ему, несомненно, хотелось оттянуть возвращение хотя бы на часок; неожиданно для себя он решился, купил входной билет, вошел в выставочный зал. И пораженный, остановился перед бронзовой статуей в натуральную величину: коленопреклоненная девушка рельефно выделялась на фоне светлых стен просторного помещения.

Скульптура произвела на Хольта сильное впечатление. Он разглядывал ее, забыв обо всем на свете. Но вдруг до него донесся выразительный вкрадчивый голос. Господин средних лет, с вьющейся шевелюрой и необычайно бледным лицом, окруженный кольцом посетителей, говорил о скульптуре.

— Дамы и господа! — услышал Хольт.— Эта коленопреклоненная девушка вводит вас в самую гущу спора о принципах творчества почти

* Окончание. Начало в №№ 8, 9.

всех выставленных здесь мастеров. Окинем мысленным взором развитие искусства вплоть до наших дней, вспомним сенсуализм, веризм и сентиментальный натурализм, неоренессанс, импрессионизм, пленэризм и неоимпрессионизм, все сложнейшие пути и перепутья искусства, его окольные дорожки и лжетропинки, ведущие к новому реальному воплощению...

Хольт стоял ошеломленный. Он не понял ни слова! И все же продолжал прислушиваться, подавленный своим невежеством и убаюканный благозвучным баритоном бледноликого господина. А когда тот с едва сдерживаемым энтузиазмом выкрикнул: «Кольбе и Майоль!» — слушатели оцепенели. Хольт тоже застыл. Присутствующие не сводили глаз с губ экскурсовода.

— Кто не оглядывается на длинный ряд прародителей, завершающийся по-микеланджеловски величавой фигурой Родена? Кто не раздумывает над стихией извечного борения взрывных сил физической телесности, стремящейся воплотиться в искусстве? Так вот,— неистовствовал бледноликий господин, воздев руки,— все это, включая и раскрытие пластичности ради самой пластики и измену гуманному началу ради чистой формы, являющей собой сопряженность всех элементов, их сплетение и переплетение, в сочетании с игрой очертаний, образов и динамики, причем динамики, основанной на первоначальных принципах формообразующей напряженности... и все это в нежном лоне тончайших контуров, в ореоле самоотверженности и смирения, короче — пропущенное через душу художника — вот это и есть Кольбе!

Вздох облегчения вырвался у слушателей. Все взоры устремились за вытянутой рукой бледноликого господина, широким жестом показывающего на коленопреклоненную.

Хольт распахнул полушубок. Он посмотрел на бронзовую девушку протрезвевшими глазами. Но вот поток красноречия бледноликого господина опять захлестнул его.

— Так не будем бояться,— продолжал экскурсовод,— разящего сердце сравнения его с Лембруком, тем мастером, который, вырвавшись из-под влияния Майоля, шагнул вперед, и, хотя не без невыразимых терзаний, решительно довел свои творения до уровня высочайших требований, и, непостижимо превзойдя их, преодолел собственное «я», и воспарил к абсолюту...

Неуверенно и в то же время возмущенно Хольт оглядел окружающих. Все: мужчины, женщины, девушки,— словно загипнотизированные, не сводили глаз с пылавшего страстью лица экскурсовода. И только в углу зала Хольт увидел мужчину лет тридцати; подбоченясь, он прислушивался к словесным каскадам оратора и с трудом сдерживал смех.

Хольт облегченно вздохнул. Он отделился от группы слушателей и направился к заинтересовавшему его человеку, пытливо вглядываясь в него. Незнакомец в ворсистом пиджаке из зеленого твида, в вельветовых пузырившихся на коленях коричневых брюках и желтом шерстяном шарфе на шее был одного с ним роста. Он стоял, перебросив через руку черное пальто. Лицо у него было круглое, со скудной растительностью; над очень высоким лбом ежиком торчали жесткие светлые волосы, а на носу, обильно усеянном веснушками, были роговые очки с выпуклыми стеклами. На первый взгляд это лицо казалось заурядным и незначительным, но когда Хольт всмотрелся, оно привлекло его удивительным выражением независимости и одухотворенности. Оно очень часто менялось: то по нему пробегала улыбка, то в нем появлялась жесткость, упрямство, скепсис, а то вдруг — юмор. Когда это лицо сохраняло строгую неподвижность, оно казалось мрачным и непроницаемым — виной тому были выпуклые стекла очков, сквозь которые водянисто-голубые глаза виделись увеличенными, как через лупу.

Недолго думая, Хольт заговорил с незнакомцем. В ответ тот широко и весело улыбнулся. Кивнув в сторону бледноликого господина, Хольт шепнул:

— Жаль, но я ничего не понимаю.

— Естественно. А кто понимает? — тоже шепотом ответил незнакомец.

Группа экскурсантов тем временем перешла в соседний зал.

— Так сказать, условный рефлекс,— сказал незнакомец.— Стоит только сему господину увидеть скульптуру, как из него автоматически извергается весь этот словесный поток.

— Я поддался гипнозу,— признался Хольт,— и счел себя полным невеждой.

— Для понимания этого жаргона требуется сноровка,— откликнулся незнакомец. Уголки рта его смешливо подергивались.

Хольт с минуту подозрительно смотрел на него. Люди не раз вводили его в заблуждение своей самоуверенностью. Но незнакомец шутя ткнул его локтем в бок и сказал:

— Не верите? Ладно, пойдемте, я вам сейчас продемонстрирую.

Через анфиладу залов они прошли в помещение, где никого не было. Стены здесь были увешаны полотнами, ошеломляющими оргией красок. В ярком многоцветье кое-где вырисовывались слабые намеки на геометрические фигуры.

— Вот, пожалуйста! — сказал незнакомец.— Файнингер, Мольцан, Кандинский — все тут собрались.— Поправив на носу очки и сделав серьезное лицо, он возгласил: — Дамы и господа! Если в соседних залах, при знакомстве с мастерами переходного периода, мы еще имели дело с реализмом, то здесь мы находимся по ту сторону великих свершений, по ту сторону великих преодолений. Здесь преодолена бесспорность мира. Примитивно-раболепное подражание природе, равно как и естество человека, взяты под сомнение. Для самовыражения искусству не требуется отныне ничего, кроме красок и линий; вспыхивая, сгорая и разлагаясь в недрах души художника, они, через отчаянье, рождают взлет творческой энергии. Долой нормы! Не рас-чет, а рас-чувствование. Только глубина искажения способна отныне возбуждать чувства. Но даже в футуристической расщепленности формы вновь оживает неоимпрессионистская координация красочных пятен. Скульптура же тем временем деэволюционирует от художественного произведения к художественному изделию. Так, у Беллинга человек олицетворен шурупом, а у Арпа и Липшица — унитаз и прочие механизмы, размещенные в пространстве, высветляют бренность повседневного существования...

— Черт возьми! — сказал Хольт.— Неужели это только набор слов?

Лицо незнакомца помрачнело, глаза смотрели серьезно и озабоченно.

— К сожалению, нет. Иначе с этим было бы слишком просто справиться. Очевидно, таково свойство буржуазной науки.

Зябко поеживаясь, он затянул потуже шарф и надел пальто.

— Буржуазная наука,— смущенно повторил Хольт.— В этом я ровно ничего не смыслю.

Незнакомец пристально посмотрел на Хольта.

— Искусство — это ведь область идеологии,— раздумчиво сказал он.— Так что искусствоведение подчас превращается в орудие политики.

— Слушать ничего не хочу о вашей политике! — воскликнул Хольт. Он был полон решимости держаться в стороне от всякой науки, которая так или иначе связана с политикой.

— Давайте заглянем ко мне,— предложил незнакомец без околичностей.— Я живу неподалеку. Вскипятим кофеек!

Идя впереди Хольта, он вдруг остановился и поднял указательный палец:

— Настоящий «мокко»! Не верите, а?

■

Комната, которую занимал незнакомец, находилась в пострадавшем от бомбежек доме. В ней царил своеобразный беспорядок. На полочке торшера, на двух продавленных креслах и кровати лежали рукописи, тетради, блокноты, журналы. Книгами комната была буквально завалена. Они стопками громоздились на ковре, высокими штабелями поднимались по углам, заполняли шаткие полки, на скорую руку сколоченные из некрашеных досок и разделенные кирпичами. Два окна, завешанные плюшевыми портьерами и пожелтевшими гардинами и забитые картоном до самых фрамуг, скупо пропускали дневной свет.

Незнакомец пробрался в полумраке к торшеру, споткнулся о телефонный аппарат, стоявший где-то на полу, включил лампу и поспешно сгреб с кресел кучи бумаг.

— Пальто лучше не снимайте,— сказал он.— Сначала я затоплю печку, но выше двенадцати градусов температура все равно не поднимется.

Хольт сел. Он бездумно последовал за незнакомцем. Пока еще его несло по течению. Что значит для него один час — пока еще! А здесь, в уютном свете торшера, среди моря книг, слушая потрескивание поленьев в кафельной печке, он чувствовал себя на редкость хорошо, по-домашнему; уже давно он не испытывал такого чувства.

— Меня зовут Вернер, фамилия — Хольт,— сказал он и добавил с оттенком грустного юмора: — Вы видите меня, так сказать, на пути в Каноссу.

— В Каноссу? Как так? — спросил незнакомец, ставя кастрюльку с водой на электрическую плитку. Он перешагнул через груду книг к другому креслу.— Я — Церник. Временно, пока не найдут лучшего кандидата, исполняю обязанности секретаря местного отдела культурбунда.— Он сел.— Вернер Хольт... Хольт?...— переспросил он.— А дарвинист Хольт, который читает гигиену в здешнем вузе, не родня вам?

— Профессор Хольт — мой отец.

Церник удовлетворенно кивнул.

— Не согласится ли ваш отец немножко поработать для культурбунда? — спросил он.— Я собираюсь организовать цикл лекций. Замолвите за меня словечко.

— У него очень мало свободного времени,— холодно возразил Хольт.— Кроме того, я сильно сомневаюсь, что он станет заниматься политикой в какой бы то ни было форме.

Повозившись у печки, Церник наконец поставил на столик торшера две чашки с черным, как смола, и очень ароматным напитком.

Хольт сделал глоток. Кофе был крепок до горечи.

— Где вы достаете его? — спросил он.

Прихлебывая, Церник рассказал о своей старой тетке, проживавшей в Швейцарии. Она щедро снабжала его кофе и книгами, но месяца три назад, к прискорбию, скончалась, так что теперь он просто не знает, где доставать кофе.

— Не представляю себе, что буду делать без кофе! — с грустью сказал он. Сжимая окоченевшими руками горячую чашку, Церник спросил вдруг: — Что, собственно, значит ваша Каносса?

— О, это длинная история,— уклончиво ответил Хольт.

— Валяйте, рассказывайте! — сказал Церник. Кофе оживил его.

— Я ведь ничего о вас не знаю.— Хольт пожал плечами.

— Ну, что ж, в таком случае заполню для вас анкету.— Церник добродушно улыбнулся.

В 1934 году он эмигрировал и только в октябре прошлого года вернулся в Германию. Отец его, горнорабочий, погиб тридцать лет назад при катастрофе в шахте; вскоре после первой мировой войны от туберкулеза умерла мать. Цернику было тогда семь лет. Один учитель, социал-демократ, усыновил его и определил в гимназию. Незадолго до выпускных экзаменов Церника исключили из гимназии за принадлежность к Союзу коммунистической молодежи. После захвата власти фашистами он год отсидел в концлагере; как тяжелобольной, был освобожден и эмигрировал в Швейцарию. Там его приютила вышеупомянутая тетка, сестра его приемного отца. В Лозанне он изучал историю, германистику и философию. Незадолго до начала войны переехал в Бордо, а оттуда, на грузовом пароходе, отправился в Советский Союз. В Москве слушал лекции по математике и естественным наукам. Последние два года войны руководил в различных лагерях курсами для немецких военнопленных и наконец вернулся в Германию.

— Моя цель,— сказал Церник в заключение,— стать преподавателем высшей школы. Поэтому мне предстоит еще получить звание в здешнем учебном заведении. Ну вот, теперь вы знаете, что́ я собой представляю.

— Благодарю,— сказал Хольт.— История моей жизни, в противоположность вашей, разыгрывалась больше внутри страны. Да я и не знаю, интересуют ли вас вообще мои злоключения?

— Если бы они не интересовали меня, я не стал бы поить вас кофе,— возразил Церник.

И Хольт принялся рассказывать, сначала сдержанно, затем все откровеннее. Он рассказал, как вернулся домой и у него ничего не вышло с отцом, как сбежал отсюда и как носило его потом из Гамбурга в лесную глушь, в безлюдье и обратно в Гамбург, как он вконец порвал с тамошней родней. Пожаловался, что нигде не мог обрести покоя и всегда чувствовал себя отщепенцем, деклассированным элементом, человеком между двумя жерновами. Но теперь, так ему кажется, он нашел выход из тупика. Вооружившись благоразумием и холодным рассудком, без обманчивой веры в какой-то идеал, он собственными силами завоюет себе место в жизни.

А сейчас ему больше всего хочется учиться, набираться знаний, чтобы заглянуть в самое нутро мира, получить ответ на множество вопросов и найти, наконец, точку приложения архимедова рычага, которым можно перевернуть мир. Закончил же он несколько уныло:

— При условии, конечно, что отец примет меня и что мне разрешат опять поступить в школу.

Церник слушал его почти целый час, ни разу не прервав.

— Насчет школы я поговорю с Эберсбахом,— сказал он.— Я хорошо знаю его. Постарайтесь помириться с отцом. Что же касается прочего, то мне надо сначала переварить все, что вы мне рассказали. Людей вашего типа я часто встречал в лагерях военнопленных, и мне очень хотелось бы взять над вами идеологическое шефство. Если, разумеется, вы не возражаете.

— Только не приставайте ко мне, пожалуйста, с политикой,— сказал Хольт.

— Ну, это само собой! — воскликнул Церник и озорно усмехнулся.— Мы будем беседовать, как истинные эстеты!

Хольт подозрительно покосился на него.

— А сейчас топайте к вашему папаше,— заключил Церник.— В случае каких-либо осложнений позвоните мне. Вообще я как-нибудь загляну к вам.

2

В ожидании сводки погоды в заводской конторе перед радиоприемником собрались профессор Хольт, Мюллер, Шнайдерайт и доктор Бернгард. Мюллер уселся в кресло. Рядом с ним стояла его новая сотрудница, Юдит Арнольд. Уже с месяц он знакомил ее со своим участком работы — производственным, организационным и научно-исследовательским отделами. Двадцатидвухлетняя Юдит носила синий комбинезон, а поверх него — подбитую мехом кожаную куртку; сшитая на солидного мужчину, эта куртка казалась чересчур тяжелой для ее хрупкой фигуры. Волосы Юдит были повязаны пестрым платочком. Синие глаза ее устало, но все же внимательно смотрели на радиоприемник.

Диктор зачитал сводку и сообщил, что ожидается новая беда. Мюллер, откинувшись на спинку кресла, слушал с закрытыми глазами. «...Понижение температуры до минус 18—20 градусов...» Он открыл глаза. Значит, рассчитывать на то, что морозы прекратятся в ближайшее время, нечего.

— Да, положеньице! — воскликнул доктор Бернгард. В лохматой меховой шапке с черными наушниками, он стоял, взявшись уже за ручку двери.— Разгром,— продолжал он, неприязненно косясь на Мюллера,— голод, русские на нашей земле, эти сибирские холода — одно за другим! А тут еще и эпидемии свирепствуют. Я задаю себе вопрос: зачем, в сущности, мы боремся с тифом, зачем мы, как одержимые, производим медикаменты? Этим, господа, мы ведь только затягиваем агонию нашей Германии.

Он вышел из комнаты.

Мюллер встал и начал застегивать куртку.

— В ближайшие дни меня здесь не будет,— заявил ему Шнайдерайт.— Завтра я еду на учредительную конференцию.

Мюллер рассеянно кивнул, и Шнайдерайт вышел. Профессор казался удрученным, складки на его лице обозначились резче.

— Предоставьте это дело мне,— сказал Мюллер.— Как-никак, а мне удавалось доставать уголь. На худой конец, нажмем опять на комендатуру.

Профессор беспомощно развел руками.

— Придется остановить производство,— сказал он,— вплоть до сульфамидов и противотифозной вакцины.

— Остановить производство? Да вы что, профессор, какая муха вас укусила?

— А что делать? Зима слишком затянулась.

Мюллер поднял воротник куртки.

— Вы мало спите, профессор,— сказал он, стоя уже в дверях.— В этом все дело! — В уголках его глаз лучиками сбежались морщинки.— Один профессор сказал мне как-то: «Вы знаете, как влияет на общее самочувствие, если человек недоспит?»

Профессор повернулся к Мюллеру. Складки на его лице постепенно разгладились.

— А ведь правда,— рассмеялся он,— когда-то я вам это говорил, и, пожалуй, я не являюсь исключением из общего правила. Ну что ж, значит, будем продолжать носить воду в решете! Только уж позаботьтесь насчет уголька, не то — сколько ни высыпайся, делу не поможешь.

■

Шнайдерайт поднялся по лестнице заводоуправления. Он искал Гундель. Но комната ее была пуста. Может, она опять пошла к Блому,

который обучал ее пользоваться счетной линейкой — подарком доктора Хагена ко дню рождения.

Шнайдерайт пустился бегом по заснеженному заводскому двору к баракам. В ту минуту, когда он входил к Блому, инженер, тыча карандашом в сторону Гундель, кричал:

— Почему, спрашивается, греческие математики так и не смогли вырваться из оков элеатской школы? А потому, что они возомнили, будто стоят выше всяких практических целей...

Тут только он заметил Шнайдерайта.

— Ты забыла,— обратился Шнайдерайт к Гундель,— что мы сегодня собирались поменять книжки?

Пока Гундель надевала пальто, Шнайдерайт взял какой-то листок с письменного стола и углубился в цифры и формулы.

— Что это такое? — спросил он.

— Кручение стержня,— охотно ответил Блом.— Эйнштейновская зета-функция как решение частичного дифференциального уравнения. Я с большим трудом нашел ее численное выражение!

Шнайдерайт задумался.

— А сколько нужно учиться,— спросил он,— чтобы решить такую задачу?

— Вот так вопрос! — вырвалось у Блома.— Да будь человек семи пядей во лбу, и достаточно подготовлен, и занимайся он исключительно одним этим делом, ему все равно понадобилось бы много лет...

Гундель удивленно посмотрела на Шнайдерайта. Он положил листок на прежнее место.

— Да я спросил просто так... из любопытства...

— Пусть это вас не огорчает,— сказал Блом.— Нам необходимо примириться, понимаете? Всем нам — и вам, и мне...

— Примириться? — недоумевая, переспросил Шнайдерайт.— С чем?

— С миром,— откликнулся Блом,— с этим враждебным порядком, который отнюдь не благоприятствует простым людям. Потому что... как это говорится?.. Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем бедняку войти в двери университета! Мы должны примириться с тем, что богатство ценится дороже таланта и что мир людской в высшей степени несовершенен, даже уродлив!

— Он не всегда будет таким! — запальчиво и уверенно воскликнул Шнайдерайт.

— Вы еще молоды,— улыбнулся Блом.— Когда-то и я смотрел на все оптимистически.

— Вся суть в том, что мир надо переделать,— не задумываясь, сказал Шнайдерайт.

Как бы в знак согласия Блом молча пожал ему руку.

■

Хольт шел по коридору чердачного этажа. Он понимал, что теперь все зависит от его поведения. В столовой было темно и пусто. Проходя мимо комнаты Гундель, он с замиранием сердца прислушался. Затем постучался в лабораторию отца, услышал «войдите» и решительно переступил порог.

Профессор сидел за микроскопом. Повернувшись к двери, он протер глаза и узнал сына.

— Добрый вечер! — сказал Хольт и умолк.

Профессор встал. Потом пододвинул сыну стул. Хольт сел и расстегнул полушубок. Он видел, как потрясен отец. Это вернуло ему уверенность, и он заговорил:

— Дважды я был у матери в Гамбурге, заезжал к одной приятельнице в Шварцвальд, но так и не нашел нигде пристанища. Оставаться у матери мне было невыносимо. С Реннбахами я не желаю иметь ничего общего... У меня открылись глаза... Пожалуйста, верь мне, я сейчас совсем не тот, кем был, когда бежал отсюда.

Профессор покачал головой.

— Прости меня,— продолжал Хольт.— Я хочу жить с тобой. Я хочу вернуться в школу. Я подчинюсь всем твоим требованиям, позволь мне учиться и работать. Дай мне эту возможность, отец!

Профессор долго смотрел на сына, потом протянул ему руку.

■

Стемнело. Хольт пересек заводской двор. За письменным столом в комнате Мюллера работала фрау Арнольд. Хольт, бегло взглянув на нее, сказал:

— Мне нужен господин Мюллер.

— Напротив! — ответила она, не поднимая головы.

Мюллер разговаривал по телефону. На лице его нельзя было прочесть ни малейшего удивления.

— Час тому назад я заказал Борну...— кричал он в трубку.— Когда же вы меня соедините? — Не спуская глаз с Хольта, он напряженно прислушивался.— Хорошо! В таком случае, пусть «срочно».— Положив трубку и не отнимая от нее руки, он обратился к Хольту: — Я вас слушаю.

Под взглядом Мюллера Хольт почувствовал, как уверенность покидает его.

— Я вернулся...— начал он и умолк.

— Вижу,— сказал Мюллер,— и что вам от меня нужно?

Хольт собрался с духом.

— Мне хотелось сказать вам, что я понял...— Он опять умолк. Слова напрашивались какие-то никчемные, бледные.

— Значит, вы поняли? — сказал Мюллер.— Очень хорошо, когда человек берется за ум! Только теперь одних слов недостаточно.— Он снова поднес трубку к уху и набрал номер.— Посмотрим, Вернер Хольт, что вы теперь предложите нам, кроме слов!

Аудиенция окончена, это было ясно. Во дворе Хольт остановился и посмотрел на небо. В чистом морозном воздухе холодно мерцали звезды. Разумеется, он и не рассчитывал завоевать расположение такого человека, как Мюллер, одними словами — его нужно убедить. Слова — звук пустой, в расчет принимаются только дела. Он впервые в жизни поверил в свои силы.

■

Хольт медленно поднялся по лестнице. Сейчас он увидит Гундель. Он решил рассчитаться с прошлым, а это значит, что надо извиниться и перед Шнайдерайтом.

Нелегко дался ему этот шаг. С минуту он стоял перед дверью Гундель. Из комнаты доносился приглушенный бас Шнайдерайта, звучавший монотонно, казалось, он читал вслух. И оттого, что встреча с Гундель должна была произойти в присутствии Шнайдерайта, в Хольте проснулась старая неприязнь. Но он не поддался этому чувству. Сейчас он извинится перед Шнайдерайтом. Пусть это унижение, но, в конце концов, он сам во всем виноват. Только вот Гундель будет свидетельницей... Да уж ладно. Это еще не конец, наоборот — самое начало. Пускай Шнайде-

райт выйдет победителем в первом раунде. Жизнь идет вперед, и у него еще все козыри на руках.

Он постучал и вошел.

— Нет...— растерянно вскрикнула Гундель, сидевшая за столом. Она побледнела.— Нет! — Она прижала руки к груди и, словно не веря своим глазам, уставилась на Хольта.

— Добрый вечер! — сказал Хольт.

Перед Шнайдерайтом лежала книга, которую он читал вслух. Резким движением он отодвинул ее и встал — высокий, сильный, широкоплечий.

Хольт спокойно прошел мимо него, бросил полушубок на кровать и протянул руку Гундель.

Она взяла его руку, но неожиданность встречи словно парализовала девушку.

— Вот я и вернулся к тебе,— сказал Хольт.— Мне о многом надо с тобой поговорить. Но мы поговорим в другой раз, когда будем одни. Может быть, завтра.— Он обратился к Шнайдерайту: — Есть в моей жизни минуты, о которых я вспоминаю неохотно,— я имею в виду то, что произошло между нами в спекулянтском притоне, помните?

Шнайдерайт молчал, упершись кулаками в бока.

— Я вас оскорбил,— продолжал Хольт.— Но я не ищу оправданий. Какая-то дурь нашла на меня тогда.— Он задумчиво посмотрел на девушку.— Помнишь, Гундель, ты мне однажды сказала: «Что-то от этого есть и в тебе»?

Она кивнула, и Хольт продолжал, обращаясь к Шнайдерайту:

— Понимать это надо было так: что-то от фашизма. Насколько права была Гундель, я понял очень скоро, но до конца пойму только в будущем.

Шнайдерайт стоял не шевелясь и молчал.

— Я обозвал вас каторжником,— сказал Хольт.— Глубоко сожалею об этом. Я оскорбил вас вопреки голосу собственной совести. Мне давно было ясно, что такие, как вы, борются за правое дело, а я — за неправое. В душе я всегда завидовал тому, что вы сидели в тюрьме за сопротивление Гитлеру. Это честь.— Он кивнул Шнайдерайту.— Я искренне убежден в том. Верьте мне.— Хольт взял свой полушубок.— Теперь мы будем часто встречаться. Постараемся ладить друг с другом.

В дверях он оглянулся и поймал взгляд Гундель, взгляд человека, у которого с плеч свалилась гора.

■

Шнайдерайт не двинулся с места, пока за Хольтом не захлопнулась дверь. Потом принялся крупными шагами ходить из угла в угол.

— Ну и здорово же изменился этот Хольт! Как уверен в себе... А может, это только высокомерие, зазнайство?

Гундель сдвинула брови:

— Но ведь он говорил честно, Хорст!

Шнайдерайт нахмурился. Он подергал воротник, словно тот стал ему вдруг тесен.

— Ладно! Продолжаем! — Он сел, придвинул к себе раскрытую книгу и подпер голову кулаками.— Итак, мы остановились на заработной плате... «Средняя стоимость наемного труда составляет минимум заработной платы, то есть сумму стоимости продуктов питания, необходимых для...» — Он взглянул на Гундель и продолжал читать, но через минуту опять поднял глаза.— Да ты совсем не слушаешь! Если не будешь внимательно следить, ничего не поймешь! — Отодвинув книгу, он

нагнулся к Гундель и положил на стол свои мозолистые, нервные руки.— Ты рада, что он вернулся. Признайся! Ты вне себя от радости!

Гундель выпрямилась и обеими руками пригладила волосы.

— Конечно, я рада! — сказала она.

Шнайдерайт вскочил.

— Ты едешь завтра на конференцию,— сказала она.— И будешь там выступать за объединение молодежных комитетов, за то, чтобы молодежь еще успешнее помогала преодолевать послевоенную разруху, не правда ли?

— Скажи прямо: ты хочешь привлечь Хольта к нашей работе! — воскликнул Шнайдерайт. Он уперся обеими руками в стол.— Что у тебя с этим Хольтом? Почему ты так обрадовалась, когда он вернулся?

— Я рада за него,— сказала девушка.— Не хочу, чтобы он сбился с пути. Не хочу этого и ради себя самой. Разве лучше, если я потом буду сгорать от стыда, вспоминая о человеке, о котором когда-то мечтала дни и ночи?

Шнайдерайт выпрямился.

— Да, мечтала! — Голос ее звучал глухо и прерывисто.— Ты только подумай: мне было пятнадцать лет, я всего боялась, жила в вечном страхе. По ночам плакала оттого, что живу. Люди обращались со мной, как с дерьмом, все во мне застыло от ненависти к ним. И тут появился Вернер. Это он познакомил меня с семьей Гомилки, где я нашла приют. С Вернером я почувствовала себя человеком. Я все, все рассказала ему о себе. Впервые после смерти мамы я знала, что есть человеческая душа, которая тревожится за меня. Я как сейчас слышу: «Только бы с тобой ничего не случилось...» Мне хотелось жить только ради него. И, когда он шептал мне на ухо: «Ты мне нравишься, ты как фея»,— я теряла волю, но он сам берег меня от себя.

Шнайдерайт кивнул с отсутствующим видом.

— Это было сном,— продолжала Гундель.— Но теперь все совсем другое. Мне уже семнадцать, я начинаю жить по-настоящему. Каждый день я узнаю что-нибудь новое, у меня просто голова кругом идет. Доктор Хаген часами занимается со мной, а у Блома всегда что ни слово, то сравнение, это потому, что он так много знает. Профессор, тот вообще знает решительно все, кроме политэкономии. Да и ты читал больше меня, ты уже изучаешь «Крестьянскую войну в Германии», а я пока все сижу над «Юным марксистом». Мне еще нужно найти свое место в жизни.

Гундель подошла к Шнайдерайту и положила руки ему на грудь.

— Пойми меня,— сказала она.

Шнайдерайт крепко обнял ее.

— Ты права! — сказал он.— До меня дошло. Мы вместе займемся Хольтом!

— Не криви душой! — сказала Гундель, улыбнувшись.— Тебе ведь совсем не важно, как я отношусь к Вернеру. Тебя интересует другое: ты хочешь знать, как я отношусь к тебе.— Гундель перестала улыбаться.— Но я ничего не могу тебе сказать, я сама еще слишком мало себя знаю, мне нужно раньше в себе разобраться...

Шнайдерайт молча гладил ее по голове.

— Будь терпеливее,— сказала Гундель.— Не только со мной, а со всеми.

■

На другое утро Хольт рано позавтракал. Фрау Томас кормила его в столовой и рассказывала о спекулянтах, о всяких происшествиях, которые случились в его отсутствие. Завтрак состоял из тарелки темной мучной болтушки, подслащенной сахарином, и ломтя хлеба. Накануне он созвонился с Черником, и тот поговорил с Эберсбахом.

Хольт твердо рассчитывал на помощь Блома. Иначе ему не нагнать пропущенного по математике.

«По химии,— думал он,— в случае чего, можно обратиться к доктору Хагену. Труднее всего будет с иностранными языками».

Он отправился в школу. В приемной Эберсбаха секретарша старательно стучала на машинке.

— Господин обер-штудиен-директор перегружен работой,— сказала она голосом мученицы. Но все же пропустила Хольта в кабинет.

Старый Эберсбах с изогнутой трубкой в зубах сидел, скрючившись, на батарее у окна. Он внимательно вгляделся в Хольта и приветливо кивнул.

— Такой тулупчик, должно быть, неплохо греет, верно? — сказал он. Потом спросил с любопытством: — А как вы, собственно, попали к Цернику? С этим парнем шутки плохи, он чертовски принципиален!

— Вы примете меня в школу? — спросил Хольт.

Эберсбах, ворча, встал с батареи.

— От этой батареи тоже мало проку. Снизу горячо, а в поясницу черт знает как дует! Такую бы шубенку мне, как ваша, вот это было бы подходяще.

— Могу я вернуться в свой прежний класс? — спросил Хольт.

— А мне-то что? Возвращайтесь! — Директор вынул трубку изо рта.— Не все ли мне равно, в каком именно классе вы провалитесь на выпускных экзаменах! — Он развернул газету.— Ну, а теперь отчаливай! Мне надо работать!

Хольт решил подождать Готескнехта и стал прогуливаться по коридору перед учительской. В группе учеников, поднимавшихся по лестнице, он заметил девушку с портфелем под мышкой. На ней было синее пальто, красный вязаный беретик и красные варежки. На темно-русых волосах таяли снежинки. Хольт сразу же узнал ее: Анжелика! Синие глаза девушки широко раскрылись от удивления. Когда он кивнул ей, она зарделась и, смущенно кивнув в ответ, бросилась бежать по коридору. Хольт задумчиво смотрел ей вслед. Прежде чем скрыться в классе, она еще раз оглянулась на него.

Раздался звонок. Наконец-то Готескнехт вышел из учительской. Хольт шагнул ему навстречу.

Готескнехт был удивлен, но особой радости не выказал. Он держался довольно холодно. Хольт не ждал такого приема и был разочарован.

— Надеюсь, вы образумились,— сказал Готескнехт.— Не знаю, есть ли смысл вам сейчас приступать к занятиям.— Лицо его оставалось серьезным и замкнутым.— На этот раз вам придется попотеть, прежде чем я изменю о вас мнение. Посмотрим, догоните ли вы своих одноклассников и удастся ли вам через год сдать выпускные экзамены.

— Во всяком случае, я попытаюсь,— сказал Хольт.

В классе возвращение Хольта вызвало брожение умов.

— Уважаемый господин соизволил снова почтить нас своим присутствием,— торжественно возвестил Гофман.— Сперва ты начхал на коллектив, а теперь, смотри, как бы мы не начхали на тебя!

— К счастью, последнее слово тут принадлежит не таким грубиянам, как Гофман,— парировал Аренс.

Хольт опять сел позади Аренса, рядом с одноглазым Буком. В коридоре, на большой перемене, Аренс подошел к нему и дружески взял под руку.

— Очень рад,— сказал он.— Правда! Хорошо, что вы вернулись! Однако должен признаться, мне совершенно непонятно, почему вы не остались у ваших гамбургских родственников. Вы, кажется, говорили, что они состоятельные люди?

— Скажите,— спросил в ответ Хольт,— вам хотелось бы сохранить со мной дружеские отношения?

— Непременно!

— В таком случае, не вспоминайте больше о моей гамбургской родне.

— Бога ради! — воскликнул Аренс.— Если вам это неприятно... Я ведь никак не хотел...

— Вопрос исчерпан! — отрезал Хольт, решительно взмахнув рукой. Помолчав, он спросил: — Анжелика все еще живет в вашем доме?

— Да, у своей бабушки. Но старуха дьявольски следит за девчонкой.

■

Хольт сидел в комнате у Гундель. Он старался скрыть волнение за малозначащими словами.

— В апреле или в мае,— рассказывал он,— мы переедем на западную окраину. Там разместили отцовский институт, это настоящая вилла с большим парком. Отец предполагает заняться только исследованиями и преподаванием. Он говорит, что в новом здании есть комната и для тебя.

Хольт с облегчением отметил, что Гундель обрадовалась. До западной окраины добрый час езды от Мёнкеберга. Это, вероятно, помешает ей каждый день встречаться со Шнайдерайтом. Успокоившись, он стал рассказывать о школе, о своем намерении наверстать упущенное.

— Я буду работать день и ночь. Блом обещал помочь мне по математике.

На столе лежали книги. Рассказывая, Хольт взял в руки одну из них — Шмайль-Фитхенс «Флора Германии». Определитель растений.

— Это мне подарил твой отец ко дню рождения,— сказала Гундель.

Хольт машинально кивнул. Опять ему приходится сдерживаться. Почему так трудно с Гундель? Вот она перед ним: в сером шерстяном платье, вьющиеся каштановые волосы, падающие на плечи, перевязаны такой же серой лентой. Юная, смуглая, стройная, она положила маленькие изящные руки на стол и пытливо смотрит на него своими карими глазами.

А он молчит. На несколько мгновений им овладевает властное чувство любви, нежности, и когда он, пересилив себя, заговаривает, он с трудом находит нужные слова.

— Вот что я хотел тебе сказать. После моего бегства отсюда я многое перевидал и пережил. Под конец я опять увяз в грязи.— Он замолчал. Перед его глазами снова возникла сцена: Хеннинг, безвольная блондинка, затхлая комната...— Я хочу вырваться из грязи. Стоит мне подумать, что я причинил тебе...

Гундель энергично мотает головой:

— Но это был не ты. Того, кто был тогда, уже и в помине нет, так ведь? Правда?

Хольт опомнился. Нельзя терять самообладание в присутствии Гундель.

— Ты права,— произнес он.— Тогда меня просто несло по течению. А сейчас я знаю, чего хочу. У меня есть цель.— И добавил: — Цель, придающая смысл человеческому существованию.

И впервые с полной ясностью он представил себе свою будущую жизнь — организованную, достойную. Учиться, всегда учиться, познать мир с его светлыми и теневыми сторонами и понять, наконец, почему

любовь в сказках красивее, чем в жизни, почему существуют богачи и бедняки, сырые подвалы и роскошные виллы, почему так неравномерно распределены блага. Упорно учиться, стать уважаемым человеком, стать таким же большим и известным ученым, как отец, человеком науки, который стоит над преходящими противоречиями будней. Только так можно жить среди людей, оставаясь в то же время вдали от них.

Да, теперь он видит свой путь. На душе у него посветлело. Гундель не затаила на него обиды. Ему не придется идти по жизни одному. Гундель будет ждать, пока он достигнет поставленной перед собой цели. А когда вернется, он разбудит заколдованную красавицу и поведет ее за собой.

Хольт невольно взял ее за руки.

— Если бы я знал, что ты меня простила и что я могу вернуться к тебе...

Гундель мягко, но решительно высвободила руки.

— Ты вернулся, потому что знал — здесь тебе будет лучше, чем где бы то ни было,— проговорила она.

Хольт услышал одно: она не хочет связывать свою жизнь с ним.

— Но ведь мы ждали друг друга, разве не так?

— Да, тогда,— произнесла Гундель задумчиво.

— А сейчас? Сейчас?

— Сейчас все по-другому,— сказала она.— В войну, когда мы познакомились, мы были как во сне. Только теперь мы начинаем жить по-настоящему. Вокруг столько нового, интересного, что каждый должен прежде всего осмыслить собственную жизнь.

Хольт лишь молча посмотрел на нее, и она беспомощно воскликнула:

— Пойми меня!

Хольт кивнул. Ему ясно: она хочет поставить крест на прошлом.

Гундель силилась объяснить ему:

— Настали новые времена, говорит Хорст. Только не все еще сознают это.

Говорит Хорст. Говорит Шнайдерайт.

Хольт вдруг прозрел. Он теперь знал все. В его душе вспыхнуло какое-то незнакомое чувство. Впрочем, нет, не незнакомое, он лишь редко его испытывал. Грозное чувство... Вспыхнуло — и погасло.

Равнодушно и хладнокровно он повторил про себя: «Шнайдерайт. Гундель и Шнайдерайт... Ладно!»

Гундель молода. Пусть оказывает сейчас предпочтение этому Шнайдерайту. Еще посмотрим, за кем останется последнее слово. По крайней мере, он, Хольт, еще не показал всего, на что способен. До сих пор его носило по воле волн, он был во власти чувств, мелких смехотворных чувств, вот как сейчас при виде Гундель. Пора кончать с этим, хватит возиться с чувствами! Пойдем с козырей! Через год — выпускные экзамены, а там — университет, ученое звание. Вот он как далеко шагнет. Он вернется сюда всеми уважаемым человеком, возможно, доцентом, а не каким-то там блудным сыном, которого может обскакать любой каменщик. И вот он опять стоит перед Гундель: а ну, выбирай между ним и мной, сравни-ка меня с этим подмастерьем! Ты же умная девушка, и на этот раз тебе совсем легко сделать выбор!

Хольт усмехнулся.

— Прости! Не сомневайся: я отлично понимаю тебя.— Хорошо рассчитанным жестом он как бы поставил точку.— Будем, стало быть, добрыми друзьями.— Он протянул руку.

Гундель посмотрела на него все еще неуверенно, но, успокоившись, пожала ее.

■

Прошло несколько дней. Хольт сидел вечером у себя в мансарде. Постучали. Вошел Шнайдерайт.

— Извините,— загудел он басом.— Мне хотелось бы потолковать с вами. О том, что было, когда вы зашли к Гундель.

Хольт предложил гостю стул, а сам перебрался на кровать. Шнайдерайт сел и уперся руками в колени.

— Как это было? Ах, да — вы неожиданно вошли, я, понятно, здорово удивился. Вы, пожалуй, подумали, что я не рад вашему возвращению.

Хольт усмехнулся.

— Что вы! Напротив, у меня создалось впечатление, что вы вне себя от радости.

Шнайдерайт нахмурился. Но через минуту расхохотался.

— Согласен! Тогда, конечно, ничего удивительного, что... Ну, ладно, с этим покончено! Но я убедился, что в тот вечер вы говорили очень искренне. Этого я от вас не ожидал. Так что давайте забудем прошлое.

— Идет! — сказал Хольт.

Шнайдерайт удовлетворенно кивнул.

— Ну так вот,— продолжал он,— у нас теперь одна объединенная организация — «Свободная немецкая молодежь». Впереди много дел. Не хотите ли поработать с нами? У нас есть шахматный кружок. Мы сами, без посторонней помощи, восстанавливаем разрушенный гимнастический зал. Иногда танцы устраиваем.

Хольт, как бы сожалея, развел руками.

— Я решил за год подготовиться к выпускным экзаменам. Мне нужно многое нагнать. Очень жаль, но каждую свободную минуту я хочу использовать для занятий.

Шнайдерайт понимающе кивнул.

— Ясно. Но, может, позднее у вас найдется время?

— Навряд ли,— ответил Хольт.

Игра в прятки ему надоела. У него нет ни малейшего желания затевать что-нибудь вместе с этим Шнайдерайтом, и он не такой трус, чтобы не сказать это ему в лицо. Хольт встал.

— Забудем прошлое — вы, кажется, так сказали? — Голос его звучал холодно, но не резко.— Хорошо, не возражаю. Но меня нисколько не интересует ваша организация. И вы лично меня не интересуете. Нисколько.

Шнайдерайт тоже встал. Лицо его помрачнело.

— Как вам угодно,— сказал он и вышел, не попрощавшись. Дверь хлопнула.

— С этим покончено,— произнес Хольт вслух и одним движением как бы отмел все прочь: Шнайдерайта, вместе с его организацией, а заодно и Гундель — главное звено в этой цепи.

Он сел к столу. Лампа горела уютно, и вся мансарда явно выдавала прообраз — узкую келью Блома. Хольт раскрыл латинскую грамматику.

В доме стояла тишина. Только внизу, в подвале, гудели электромоторы.

3

Весенний вечер. Теплый сухой ветер лениво стекал с гор. Омывал город и через открытое окно вливался в комнату Блома. Хольт смотрел в вечернее небо, позолоченное заходящим солнцем. На смену долгой зиме, которая к концу марта еще приберегла суровые мо-

розы, пришел ласковый и мягкий апрель. За городом цвели крокусы и желтые нарциссы, зеленели леса.

Хольт и не подозревал об этом. Только иногда, вот как сейчас у Блома, он чувствовал, что пришла весна. Изо дня в день он сидел до поздней ночи у себя в мансарде над книгами. Им овладела лихорадочная жажда знаний. Каждое утро он сонной рысцой трусил в школу, просыпаясь окончательно уже по дороге; и пересекая сквер перед школьным зданием, не замечал, что на каштанах лопнули почки, а кустарник покрывается свежей зеленью. Он повторял про себя формулы, исторические даты, иностранные слова. Его подгоняло честолюбие. Ему хотелось не просто наверстать упущенное, а как можно скорее оказаться в числе лучших учеников класса.

Он работал, словно одержимый, но порой, будто в поисках чего-то, бродил по дому, по территории завода, спускался к реке, полный беспокойства и неизъяснимой тоски. И когда наступал вечер, он облегченно вздыхал и при свете лампы вновь усаживался за книги. Покой, удовлетворение возвращались к нему.

■

Раза два-три в неделю Хольт занимался с Бломом. В комнатушке старого инженера он чувствовал себя по-домашнему. Блом не только избавил его от страха перед математикой, но и учил математически мыслить. Он открыл для него математическую науку как некую идеальную сферу, как высший, гармонический мир познания, вознесшийся над обыденным, запутавшимся в противоречиях миром.

Хольт решил изучать математику.

Блом был чуток и терпелив. Его влекли безбрежные сферы. Правда, в теоретические рассуждения он пускался после того, как был пройден материал урока. Тогда он начинал философствовать, совершал экскурсы в историю математики и естественных наук и, все больше распаляясь, переходил к своей излюбленной «истории проблем» *. Это особенно увлекало Хольта.

Сегодня была суббота, а в конце недели у Блома всегда оставалось свободное время.

— Вдумайтесь в дифференциал! — заклинал он Хольта.— Когда вы поймете глубокое противоречие, заключенное в существе производной, вы начнете постигать суть природы! Вспомните весь трагизм борьбы греков с несоизмеримыми величинами! Разве производная не показывает, как «чудесно далеко подвинулись мы сами»**? С Лейбницем и Ньютоном над нами взошло солнце бесконечности! Заметьте, что все основные законы природы можно выразить только дифференциальными уравнениями. И Максвелл *** и Фридман **** — возьмете ли вы корпускулу, волну или строение вселенной — всякую наиболее важную зависимость выражали дифференциальным уравнением.

Телефонный звонок прервал его речь. Он взял трубку.

— Нет. Господина Мюллера нет. Его вообще здесь нет! Он поехал на... да, на съезд партии, совершенно верно, именно так, объединительный съезд партии! Его замещает фрау Арнольд, но она будет на заводе только в понедельник... В таком случае я сам прослежу...

Он положил трубку, вздохнул и огорченно сказал:

— Мне очень жаль, друг мой, придется на сей раз прервать...

---

* Философский термин, связанный с учением немецкого философа Виндельбанда.

** «Фауст» Гете.

*** Максвелл, Джемс Клерк (1831—1879) — выдающийся английский физик.

**** А. А. Фридман (1888—1925) — советский математик.

■

Между Хольтом и Черником, несмотря на их споры, сложились дружеские и сердечные отношения. Хольту все больше нравилась критическая манера его вечного оппонента. Даже если он восставал против Черника, когда оказывался жертвой его ядовитых шуток и нетерпимости в идейных вопросах — а это случалось нередко,— он все равно вскоре молчаливо признавал его правоту.

Они встречались один-два раза в неделю на заводе или в мрачной комнате Черника, где пили невероятно крепкий кофе и спорили, сначала спокойно, не повышая голоса, а потом, когда кофе был уже выпит, громко и страстно, причем Черник кричал, как оратор перед полной аудиторией.

Спор разгорался по всякому поводу, в том числе и о кофе — вреден он или полезен. Они обсуждали школьные сочинения Хольта или речи Сен-Жюста в Конвенте, с которыми Хольт познакомился на уроках истории, очень часто ломали копья из-за Блома и его приверженности к «истории проблем», которую Черник называл «старым виндельбандовским вздором», до хрипоты спорили, нужна или не нужна в школе латынь, рассуждали об экзистенциализме — о нем теперь говорили повсюду. Хольт находил черниковскую страсть к спорам столь же удивительной и достойной подражания, как и его образованность, начитанность, а также способность поглощать любое количество черного кофе.

При первом же посещении завода Черник пустился с профессором в долгую дискуссию о генетике, дарвинизме и биологическом обскурантизме и через три часа распрощался очень довольный. Повеселевший, в приподнятом настроении, он на улице признался Хольту:

— Ваш отец — светлая голова! Таким я его и представлял себе по гамбургским лекциям!

Однажды вечером, застав Хольта за чтением Канта, Черник так и взвился:

— Ничего не имею против Канта, мой милый, но не пора ли вам наконец взяться за Маркса! А то пичкаете себя всякой чепухой...

Хольт стал возражать.

— Ага! Возражаете! — воскликнул Черник.— Значит, вы только что от Блома! Придется мне обсудить с этим господином кое-какие принципиальные вопросы!

— Это было бы любопытно,— отозвался Хольт.— Кстати, я решил изучать математику.

Глаза Черника за толстыми стеклами очков помрачнели.

— Неужели мне пережевывать словесную жвачку гуманитарных наук? — спросил Хольт.— Ведь вы сами в первый же час нашего знакомства навсегда внушили мне отвращение к ней, помните, на той выставке?

— Ерунда! — разозлился Черник.— Я разгадал вас, милейший! Вы намерены отправиться в духовную эмиграцию.

— Но вы же сами изучали математику.

— Вот что я вам скажу,— начал Черник, обеими руками придерживая очки.— К математике вы относитесь не как к науке! Вы лишь вообразили себе некое абстрактное царство количественных понятий, или как там выражается ваш почтенный господин Блом, и все! Профессия математика для вас — просто способ укрыться от действительности! — Он поправил свой желтый шарф.— Но я вас вижу насквозь! А теперь пойду к вашему отцу. Хочу побеседовать с Хольтом, у которого в мозгах нет никакого тумана. Счастливо оставаться!

— Не убегайте! Что же вы так, сразу? — крикнул Хольт и поспешил за ним.

■

Церник остановился в дверях лаборатории, он хотел приветливо улыбнуться, но вдруг смутился.

— Прошу извинить,—сказал он.— Добрый вечер, господин профессор! Добрый вечер, Гундель!

Профессор и Гундель сидели за рабочим столом.

— Наденьте, пожалуйста, халаты,— сказал профессор, не поднимая головы,— так полагается по инструкции.— Он обескровливал кролика. Гундель подавала инструменты.

Хольт, молчаливый и безучастный, сел поодаль. Гундель с каждым днем становилась ему все более чужой. Может, она и совсем ускользнет от него, кто знает? Но как этому воспрепятствовать? Он вспомнил о приглашении Аренса: «Как-нибудь в воскресенье, весной, мы могли бы съездить в горы, вот было бы здорово! Прихватите с собой еще кого-нибудь... Вы ведь, конечно, не в единственном числе». Задумавшись, он смотрел, как Гундель убирает со стола и ставит на плитку кастрюльку с водой. Да, он позвонит Аренсу, сегодня же. Но сначала надо поговорить с ней.

Гундель подала Церннку чашку колы. Он недоверчиво пригубил незнакомый напиток.

— Ужасная гадость! Извините, профессор, но где вы добываете эту отраву? Как она называется? Кола? Н-да! И здесь действительно содержится кофеин? А я всегда думал, что у кофеина вкус кофе.

Напиток все же заметно оживил его.

— У меня есть несколько вопросов, профессор,— возбужденно заговорил он.— Я уже сообщал вам, что пишу диссертацию о господах вульгарных материалистах, о фирме «Фогт и компания»... спор о материализме... слепая вера и наука... Кстати, скажите-ка, когда мой кофе кончится, обойдусь я этой колой?.. Во всяком случае, в ваших старых работах я нахожу нечто от вульгарного материализма. В некоторых вопросах вы не поднимаетесь над Геккелем. Между прочим, как вы перешли от сравнительной анатомии и палеонтологии к микробиологии? Это интересно! — Он вытащил из кармана записную книжку.

Гундель вышла из лаборатории, Хольт пошел вслед за ней в ее комнату.

— Тебе бы не хотелось завтра поехать со мной и Аренсом в горы, на водохранилище? Он очень радушно приглашал нас обоих.

— Еще бы не хотелось! — воскликнула она.

— Так, значит, поедем? — спросил Хольт.

— Ты ведь знаешь — мы готовимся к майским праздникам. У нас остается только это воскресенье. А в другой раз нельзя?

— Да, конечно, майские праздники! — сказал Хольт.— Это, несомненно, важнее!

Разочарованный, он поднялся к себе и принялся за работу.

Все воскресенье он просидел над книгами.

■

В школе Хольт вел себя сдержанно, в спорах и политических дискуссиях старался занимать нейтральную позицию. Он вскоре догнал своих одноклассников, а потом и опередил их в математике. Авторитет его среди учителей и соучеников быстро рос. Только Готескнехт все еще держался замкнуто.

Но вот, в один из последних дней апреля, он принес проверенные классные работы. Это было первое сочинение, которое Хольт писал вместе со всеми. Стоя у кафедры со стопкой тетрадей под мышкой, Готескнехт сказал:

— Вообще написали неплохо. Тема осмыслена правильно: понятие судьбы, рока, которое мы встречаем в литературных памятниках, трактуется с актуальных и критических позиций во всех сочинениях, кроме одного. Гофман! Так не годится, вы упростили себе задачу...— Он открыл одну из тетрадей.— «Какой вывод мы делаем из фатализма и веры в судьбу? Мы делаем отсюда вывод, что обе крупнейшие рабочие партии должны немедленно объединиться».

Раздался смех.

— А разве это неправильно? — спросил Гофман.— Кто возражает против моего вывода?

— Мы должны понять и выявить причинные связи,— сказал Готескнехт,— а не выдвигать голые тезисы, правильные они или ложные. Не стучите костылями, Гофман! «Неудовлетворительно»! — Он раскрыл еще одну тетрадь.— Гейслер! На наглость, которую вы себе позволили, «плохо» — единственно возможный ответ.

Гейслер лениво поднялся с места.

— То, что я написал,— сказал он, подняв глаза к потолку,— не соответствует взглядам, которые здесь проповедуются.

— То, что вы написали,— резко возразил Готескнехт,— соответствует варварским взглядам, от которых нам давно пора избавиться! Оппозиция, в которую вы играете, все больше превращается в сопротивление нашей программе гуманистического перевоспитания нации! — Готескнехт был очень зол.— Это наглость и разложение!

Пожав плечами, Гейслер сел на место.

— Вы мне испортили все удовольствие от классных работ,— добавил Готескнехт.— Хольт, раздайте тетради!

В перемену Готескнехт подозвал Хольта.

— Ваше сочинение меня порадовало,— сказал он.— Вы расстались с точкой зрения, которую когда-то защищали. Помните наш разговор о национальной вине, которую вы пытались свалить на мое поколение?

— Я беседовал во Фрейбурге с доктором Гомилкой на эту тему,— Хольт рассказал Готескнехту, при каких обстоятельствах он встретил адвоката.— Вскоре после этого разговора мне многое стало понятным. Вы ведь знаете, как бывает: столько в жизни происходит, столько узнаешь, и кажется, будто все проходит мимо, не оставляя никаких следов. А в один прекрасный день обнаруживается, что достаточно одного слова, одной мысли, какого-то толчка, и вдруг открываются совершенно новые закономерности... Иногда таким толчком может оказаться книга. Так было у меня с романом Бехера «Прощание». Эту книгу мне дал Церник, я читаю ее уже второй раз, она меня очень взволновала. Прощание с... как бы это сказать?.. с привычным укладом и в то же время с целой эпохой. Все в этой книге непосредственно касается меня, да и вас тоже, всех нас. Это тема нашей жизни.

— Вы не хотели бы рассказать об этом в классе? — спросил Готескнехт. Прозвучал звонок.— Продолжайте работать, Хольт. Результаты, которых вы уже добились, настраивают меня весьма оптимистически.— И вдруг он стал прежним Готескнехтом.— Со здоровьем все в порядке? Ну и хорошо! Приходите в гости. И передайте привет Гундель и Шнайдерайту, пусть тоже зайдут как-нибудь. Да, я хотел спросить у вас... кто, собственно, этот Церник? Мне кажется, вы многим обязаны ему.

■

После уроков на кафедру, стуча костылями, взобрался Гофман.

— Значит, так, ребята, сейчас останемся и соорудим транспарант к Первому мая! По единогласному решению своего представителя класс в полном составе принимает участие в демонстрации!

— Это что, приказ? — возмутился Гейслер.— Майская демонстрация нас вообще не касается.

Гофман ткнул костылем в его сторону.

— Глядите-ка на этого сопливого реакционера!

Поднялась суматоха.

— Вы вообще не имеете права нам приказывать,— сказал Аренс, со скучающим видом полируя ногти об отворот пиджака.— Вы можете только попросить, чтобы мы согласились принять участие в демонстрации.

— А ваш транспарант можете мастерить сами!— добавил Гейслер и вышел из класса.

Аренс и Хольт последовали за ним, им было по пути. Аренс настойчиво приглашал Хольта поехать в конце недели на водохранилище.

— Как насчет Первого мая? Погода отличная.

Мысли о горах, лесах, озере, о весеннем пейзаже тесно сливались в душе Хольта с образом Гундель. Но Гундель собиралась провести этот день со Шнайдерайтом, со своей группой.

— Лучше бы нам пойти на демонстрацию,— сказал Хольт.

— Вы правы,— согласился Аренс.— А то еще будут неприятности. Боюсь, что этот Гофман может здорово навредить. Между прочим, он и обер-штудиендиректор — в одной партии.

■

Хольт без малейшего интереса наблюдал за праздничными приготовлениями. Вечером, стоя у окна мансарды, он видел за бараками огни, гирлянды лампочек, до него доносился шум праздника. Он знал, что коммунисты и социал-демократы объединились, и сумел бы обосновать необходимость этого события: о нем достаточно писалось в газетах, брошюрах, книгах. И все-таки он не понимал и не разделял радостного настроения Шнайдерайта, Гофмана, Эберсбаха, Гундель. Политическое событие могло быть важным, могло быть интересным, даже захватывающим, но что оно могло сделать людей счастливыми, что его праздновали, как свадьбу,— этого Хольт постичь не мог.

Удрученный тем, что он опять остался в одиночестве, Хольт отправился в город и часть пути прошел в колонне демонстрантов. Хотя в этой пестрой, разнородной толпе все шли как попало, он с отвращением подумал, что марширует в строю. Он остановился на углу и почти час смотрел на праздничное шествие, на красные флаги, портреты незнакомых ему вождей рабочего класса, на транспаранты с лозунгами, которые его не волновали. Люди, шедшие в колоннах, были ему чужды и непонятны. Рядом с радостными, веселыми, оживленными лицами он видел лица равнодушные, замкнутые, угрюмые. Потом появилась восторженная толпа — это шли молодежные группы. Хольт разглядел Шнайдерайта, Гундель и отвернулся. Людской поток понес его дальше, он очутился на большой, расчищенной от развалин площади перед трибуной. Он услышал голоса ораторов, усиленные громкоговорителями, странные, непривычные звуки флейт, возгласы «ура», к которым машинально присоединился, хоть и не знал, к кому они относятся.

Хольт чувствовал себя одиноким, непричастным к общему веселью. В поисках тишины он побрел по украшенным флагами улицам к Мёнкебергу и вдруг наткнулся на Эгона Аренса. В светло-сером двубортном пиджаке, с пыльником, перекинутым через плечо, в шляпе и лайковых перчатках, Аренс выглядел несколько помятым, видимо, где-то попал в давку.

— Настоящий цирк, вам не кажется? — спросил он.— За мной стоял Гофман — невыносимый человек! Он все время, как сумасшед-

ший, хлопал меня по плечу и кричал: «Радуйся, парень, чего же ты не радуешься?» Просто наглость,— возмущался Аренс.— Как будто у меня есть причины радоваться! Вам не кажется, что мы докатились бог знает до чего?

— При Гитлере, вы имеете в виду, не так ли? — сказал Хольт.— Да, при Гитлере мы действительно докатились!

— Ну, конечно, само собой! — воскликнул Аренс.— Я именно это имел в виду, разумеется! В конце концов, мы все против Гитлера!

Аренс вдруг стал противен Хольту. Он обрадовался, когда возле мебельной фабрики тот распрощался.

Дойдя до бульвара, Хольт побрел по аллеям, ища скамью. Скамеек не было, сохранились только каменные столбики — деревянные планки зимой растащили на дрова.

Ему ничего не оставалось, как вернуться домой и сесть за работу. Но проходя мимо детской площадки, он увидел на низком каменном парапете девушку в плиссированной юбке и вязаной кофточке. У девушки были длинные светлые волосы. Он узнал Анжелику.

■

Хольт подсел к ней.

— Так как же? Мы вроде собирались сходить в кино?

Она покраснела. Потом приветливо взглянула на него своими голубыми глазами.

— Да, но вы ведь уехали.

— Это было глупо, зря я уехал. Вот смотрю на тебя и начинаю понимать, что поступил нелепо.

Она сказала доверчиво:

— Но теперь вы, слава богу, опять здесь.

— Почему слава богу?

— Может, выйдет что-нибудь с кино! А то вечно школа, по субботам развалины разгребаешь, и всегда одна... Что ж тут хорошего!

— Ты, кажется, тоже одинока?

— Еще как! Бабушке все приходится работать, а когда не работает, она ходит за мной по пятам.

Хольт поднялся и взял Анжелику за руку.

— Знаешь что? Пойдем подышим воздухом! Мне сегодня показалось, что наступила весна. Проверим, так ли это.

Они шагали по Мёнкебергу, мимо жилых кварталов и заводов промышленного предместья, мимо садов, к холмам на краю города. Потом вошли в редкий, искалеченный лесок и уселись в кустарнике на землю, пригретую майским солнцем.

Здесь Хольт уже сидел однажды. С Гундель. С тех пор прошла вечность. Не часто они бывали вместе, но воспоминаний у них хватило бы на всю жизнь.

— О чем вы думаете? — услышал он голос Анжелики.

— Не спрашивай,— сказал Хольт.— И перестань, наконец, говорить мне «вы». Говори — «ты»!

Она посмотрела на него большими испуганными глазами и покачала головой.

Он обнял ее.

— Ах, нет, пожалуйста, не надо, не надо же! — растерянно проговорила Анжелика.

Он поцеловал ее, и она, уже счастливая, прижалась к нему, подставляя свой неумелый и послушный рот.

— Давай встречаться чаще,— сказал он.— Будем целоваться до бесконечности. Только это чертовски опасная игра, потому что с каждым разом я буду хотеть все большего.

— Это плохо — быть любопытной? — спросила она.— Плохо, если хочешь узнать, что такое любовь?

Хольт погладил ее по голове.

— Не говори о ней,— сказал он.— Самое прекрасное — ожидание. Любовь как жизнь, она опьяняет и отрезвляет, и кто слишком много о ней мечтает, тот потом разочаровывается. Ты еще успеешь разочароваться. А теперь пошли, я провожу тебя домой.

■

Уже темнело, когда Хольт вернулся на завод. Как всегда, впадая в задумчивость, он долго стоял у окна. Думал об Анжелике, о Гундель и снова об Анжелике. Он решил не кружить ей голову. Встречая Анжелику в школе или на улице, Хольт бегло кивал ей и проходил мимо. Он видел, что она ждала какого-нибудь слова, знака. Но он не говорил этого слова, не подавал знака. Это жестоко, думал он, но разве не лучше проявить жестокость сегодня, чем завтра, когда будет поздно?

С недавних пор Хольт дважды в неделю занимался в кружке — изучал французский. В один из таких дней в зале шла репетиция школьного хора, и, когда Хольт под вечер вышел из школы, в сквере его ждала Анжелика.

Она крепко взяла его за руку и молча тянула за собой, пока они опять не оказались возле укромной детской площадки.

— Почему ты избегаешь меня? — спросила она.— Я тебе больше не нравлюсь?

— Наоборот, слишком нравишься. Вот видишь, ты не понимаешь. Это плохо кончится, а я не хочу, чтобы с тобой случилась беда.

— Если мы любим друг друга, все будет хорошо! — сказала она убежденно.— Но ты лжешь! Все мужчины лгут. Тебе, наверное, другая нравится!

Рассказать ей о Гундель? Девушки знали друг друга: мёнкебергская молодежная организация была связана со школьной группой. Но Гундель все время со Шнайдерайтом, и кто упрекнет Хольта, что он уделяет внимание Анжелике? Уж Гундель меньше всех имеет на это право.

— Вот видишь! — воскликнула Анжелика.— Значит, я угадала!

Вместо ответа он поцеловал ее и сразу забыл о своих благих намерениях.

— Тебе надо домой! — сказал он, опомнившись.— Я должен за тобой присматривать.

— Бабушка и так достаточно присматривает за мной,— возразила она и только крепче обхватила его шею.

— Будь умницей. Ты еще слишком молода. Если бабушка что-нибудь заметит, мы, пожалуй, вообще не сможем встречаться.

— Но мы обязательно увидимся? — спросила она.

— Да,— сказал он решительно.

— Правда, не обманываешь?

— Раз в неделю,— пообещал он.— Это слишком много, чтобы оставаться вполне благоразумным, и слишком мало, чтобы совсем потерять рассудок.

Они стали встречаться регулярно. Иногда ходили в кино, иногда отправлялись за город. Хольт молчал, и Анжелика осаждала его вопросами.

— Скажи, я тебе нравлюсь? Скажи, почему ты ко мне так хорошо относишься?

— Не задавай столько вопросов,— говорил он.

— Почему ты такой молчаливый, замкнутый?

— Молчаливый, замкнутый? Что ты, тебе кажется!

Он часто подолгу смотрел на нее и, чувствуя, как растет его привязанность к девушке, говорил удрученно:

— Не миновать беды.

Но когда начинало темнеть, когда спускался теплый, летний вечер, каждая встреча кончалась поцелуями.

Настало лето, в развалинах буйно разросся бурьян. Сквозь деревья в парке светила луна. Вечерами в плакучих ивах у реки заливался соловей, они часами слушали его. Хольту с каждым разом труднее было расставаться с Анжеликой.

Однажды в большую перемену Хольта отозвал в сторону Готескнехт.

— Послушайте, Хольт. Вы ведь не хотите причинить мне неприятности? Я недавно видел, что после репетиции хора вас ждала маленькая Баумерт. Мне это не нравится. Девочка слишком юная...

— Эта девочка,— упрямо возразил Хольт,— подчиняется вам только в школе. Ее личная жизнь никого не касается. Старые времена прошли! Так что оставим ее в покое, поговорим лучше о чем-нибудь другом.

4

После рабочего дня Мюллер и фрау Арнольд задержались в конторе завода. Мюллер откинулся в кресле. Вид у него был больной и изможденный, глаза покраснели, грудь тяжело поднималась. Несмотря на июньскую жару, фрау Арнольд была в синем комбинезоне и в своем обычном платке. Она сидела, подперев голову, и водила карандашом по бумаге.

— И не забывай, что у нас, по сути дела, завод серной кислоты,— сказал Мюллер.— Нас пожирают мелочи, ты сама это скоро заметишь, когда тебе придется работать одной.

— Не говори так,— остановила его фрау Арнольд.

— Одна трудность наслаивается на другую,— продолжал Мюллер.— Никогда не забывай о главном. Всегерманское центральное управление вряд ли будет создано: это связано с рейнско-рурским вопросом. А без центрального управления мы отрезаны от всех сырьевых ресурсов.— Мюллер чаще обычного вытирал платком пот со лба.— Я сказал, что мы в основном производим серную кислоту. Камерным способом. Я тебе показывал, какие установки сохранились. Доктор Бернгард однажды сострил: «Если бы в древнем Египте была серная кислота, она производилась бы именно таким способом». Бернгард свое дело знает. Он все время болтает о каком-то совершенно новом методе, слышал, видно, звон. Но точно никто ничего не знает. А если это не болтовня? Если серную кислоту действительно можно получать из... подожди-ка!..— Он взял со стола папку.— ... колчедана и гипса. Этого добра здесь полно. Я всюду разузнавал, так ли это.— Он опять порылся в папке.— Вот, здесь весь процесс. Внимательно изучи мою переписку, не упускай это дело из виду, в перспективе оно самое главное. После плебисцита * мы, наконец, будем работать по плану. Возьми у профессора книги, ты узнаешь, как важна серная кислота для хозяйства.— Он умолк и с минуту не мог сказать ни слова. Потом добавил: — Скоро я уже не в состоянии буду за всем следить.

* Имеется в виду плебисцит 1946 года по вопросу национализации предприятий, принадлежавших военным преступникам и членам фашистской партии.

Фрау Арнольд положила карандаш.

— Тебе надо отдохнуть.

— Мне надо отдохнуть,— повторил Мюллер.— Еще разок половить форель в Вайсенгрунде...— Он улыбнулся.— Вот было бы здорово! Но они там опустошили все водоемы, эти переселенцы, слыхала? Потому что кулаки обрекли их на голод! — Голос его стал злым.— Шесть комплектов постельного белья за мешок зерна или швейную машину за полкило сала, а если нечем платить — тебе и картофелины не дадут!

— Отдохни! Поезжай в горы, на рыбалку,— настаивала фрау Арнольд.

— Неплохо бы,— сказал Мюллер примирительно.— Ты знаешь, как это здорово: раннее утро, над ручьями стелется туман. Посмотрела бы, как форель прыгает за мошкой! — Он оживился.— В Вайсенгрунде летом тридцать второго я поймал свою самую большую рыбу, с килограмм. Вечером у нас было собрание, но я все-таки поехал на рыбалку, и за это мне дали нагоняй. Вот такая рыбина!

— Собирай снасти! Положись на меня, все будет в порядке.

— У меня нет времени! Думаешь, Мюллер в панику ударился? Нет, просто мне приходит конец.

— Сейчас ты даже выглядишь лучше,— возразила фрау Арнольд.

— Не рассказывай сказок! — Мюллер посмотрел на нее с насмешкой.— Я уж почти и лежать не могу — задыхаюсь, по лестнице и вовсе не в силах подняться, а ты говоришь, что я лучше выгляжу. Зачем? Если бы все шло, как предсказывали врачи, я бы еще год назад на тот свет отправился.

— Во всяком случае, для пессимизма нет оснований.

— Дело не в пессимизме. Надо считаться с реальностью. Каждому придется когда-то умереть. В том числе и Мюллеру.— Он закрыл глаза.— Когда я мог еще сопротивляться, мне не приходили в голову такие мысли. Но в последнее время я стал раздумывать о жизни и смерти, я знаю, что скоро умру. И я рад концу. Я был привязан к жизни, как никто, радовался всему живому и потому рад смерти.— Он говорил тихо и деловито, как говорил только что о серной кислоте и методах ее производства.— Смерть тоже относится к жизни. Мы толковали об этом с профессором Хольтом, и он прав, хоть он и не марксист и, к сожалению, учения о классовой борьбе не понимает. Но когда речь идет о природе, он материалист, даже иногда диалектик и, возможно, пойдет далеко, Черник здорово на него наседает! Природа — это развитие, рождение и отмирание, а без развития не было бы людей. Смерть, отмирание — это условие бытия. Только благодаря смене тысяч поколений из животного развился человек. Пойми это правильно: будь человек бессмертен, он всегда оставался бы зверем. То, что нас радует в человеке — способность мыслить, творить, чувствовать и действовать,— никогда не стало бы действительностью без смены жизни и смерти. Когда это знаешь...— Он открыл глаза, и в его светлом, проникновенном взгляде не было и следа усталости.— Когда это знаешь, лучше понимаешь мир и собственную жизнь...

■

Через несколько дней к Мюллеру зашел Шнайдерайт.

— Послушай! — сказал он.— Во-первых, уголь нам не дают. Во-вторых, профессор переезжает, мансарды освобождаются, и Блом хочет сорвать крышу и надстроить еще один этаж. А в-третьих, чертежи у Блома готовы, лежат в ящике. Возникает вопрос: почему профсоюзное руководство ничего об этом не знает?

— Во-первых, про осечку с углем я уже слыхал,— сказал Мюллер.— Во-вторых, я завтра еду на шахту с Юдит, чтобы познакомить ее с това-

рищами. При ее внешности не будет никаких хлопот с углем — красивая женщина всего добьется.

— Хватит городить вздор! — рассердилась фрау Арнольд.

— Она не верит! — Мюллер повернулся к Шнайдерайту.— У нее детская болезнь левизны, она считает, что быть красивой аморально. Но она еще поймет, что красота — это не порок... даже для члена партии. В-третьих, ты поедешь с нами, по дороге обо всем спокойно потолкуем. В-четвертых, о проекте Блома я ничего не знаю. Во всяком случае, надстроить новый этаж гораздо реальнее, нежели сооружать гигантское помещение, которое мы все равно не можем отапливать. К сожалению, раздобыть строительную технику сейчас негде.

— Для чего нам техника? — сказал Шнайдерайт.— Сами все сделаем!

Дверь с силой распахнулась. Вошел доктор Бернгард.

— Так вот, насчет угля,— начал он.— Вы знаете, что сегодня должны были доставить уголь, вернее, даже вчера, а теперь я вдруг слышу, что ни сегодня, ни завтра и вообще никогда угля не будет!

Мюллер вздохнул.

— Знаете, где наши брикеты? — неистовствовал Бернгард.— В Москве! В Москве брикетный потоп! Наш уголь захватили русские!

Шнайдерайт смерил взглядом раздраженного инженера.

— Потише, потише,— остановил он его.— Насчет демонтажа я уже раз десять вам объяснял, но толку никакого, да и вообще все это пустая болтовня! Поезжайте-ка лучше сами на шахту да посмотрите! Машины разрушены, шахты затоплены, война сожрала специалистов!

— Помолчите, молодой человек,— не сдавался Бернгард.— Такая высококультурная нация, как наша, поставляла машины на все континенты, весь мир старался заполучить немецких специалистов, но с тех пор как вы и ваши товарищи довели страну до ручки...

— Кто довел ее до ручки? Кто оставил нам это дерьмо, эти развалины? — Шнайдерайт повысил голос.— Кто разорил страну, пока мои товарищи и я сидели в тюрьмах и концлагерях?

Доктор Бернгард пробормотал что-то нечленораздельное и пошел к выходу. В дверях он остановился.

— Не оправдывайтесь, не ищите отговорок! Вы хотите отменить собственность, я точно знаю!

— Мы хотим,— терпеливо сказал Мюллер,— отменить не собственность, как таковую, а буржуазную собственность.

— Тем хуже! — завопил Бернгард.— Значит, мою вы хотите отменить, а свою оставить!

С перекошенным злобой лицом он вышел из конторы.

— От него одуреешь! — воскликнул Шнайдерайт.

Мюллер только и сказал:

— Значит, выедем завтра ночью, в два часа. Не воображай, что Бернгард тебе одному действует на нервы. Уверяю тебя, он портит кровь даже самому себе.

■

Грузовик остановился, Шнайдерайт спрыгнул и подбежал к кабине водителя.

— В десять на брикетном заводе, договорились?

Машина с грохотом отъехала.

Шнайдерайт прошел еще немного по шоссе, потом свернул на проселочную дорогу. За плоским, голым гребнем холмов взошло солнце. Прищурив глаза, Шнайдерайт осмотрелся. Горизонт был затянут дымкой. Вдали виднелся брикетный завод... Гигантские трубы выплевывали

густой, черный дым. Сквозь стену облаков, дыма и утреннего гумана пробивался кроваво-красный диск солнца. К западу лежала выемка открытых разработок, наполненная густым туманом. Но вот поднялся ветер, разогнал туман, и взору открылись рельсовые пути и линии электропроводов, вагоны и паровозы, огромный экскаватор и далекие отвалы.

Впереди возникли силуэты бараков, по дороге стали попадаться люди.

— Где главный инженер? — спросил Шнайдерайт кого-то.

Он пошел по шпалам и вскоре увидел длинный состав пустых вагонов и паровоз, спускавший пар. С рельсов сошел вагон. В окружавшей его толпе суетился маленький, жилистый человек лет пятидесяти с взъерошенными волосами, в кожаной куртке, в гетрах. Это и был главный инженер. Все навалились на толстую железную вагу, подсунутую под ось вагона. Шнайдерайт тотчас присоединился к ним. Объединенными усилиями они подняли вагон, паровоз рванул, но напрасно. И снова раздалось: «Е-ще взя-ли!»

Только через час вагон был поставлен на рельсы, и состав пришел в движение.

— Вот проклятье! — сказал инженер.

Они направились к баракам — инженер впереди, Шнайдерайт за ним.

— Что у вас стряслось? — спросил Шнайдерайт.

Инженер не ответил.

В бараке, куда они вошли, сквозь грязные стекла светило утреннее солнце.

— Садись,— сказал инженер.— Перекусим. Ты захватил что-нибудь с собой?

— Что стряслось? — повторил свой вопрос Шнайдерайт.— Почему брикетный завод нас подвел?

— По-твоему, здесь дурака валяют? — сказал инженер.— Мы начали добычу, хотя водоотливные работы фактически не были доведены до конца. А почему мы пошли на такой риск? Чтобы дать вам уголь! Я и не подозревал, насколько был велик риск.

— Но что же случилось?

— Забой обвалился,— отрезал инженер.— И началось. Проклятье! На пять дней прекратили добычу. Три дня завод еще кое-как обходился — из бункеров брали, ну а теперь все! Шабаш!

Шнайдерайт ходил из угла в угол.

— А кто виноват? — спросил он.— Кто несет ответственность?

— Ответственность,— медленно сказал инженер,— несу я. Недооценил опасность.

Шнайдерайт остановился.

— Как это могло случиться?

Инженер вынул из портфеля термос.

— У меня нет опыта с открытыми карьерами,— ответил он.— Я специалист по подземному строительству, всю жизнь проработал в каменноугольных шахтах, притом в самых глубоких. Но партия направила меня сюда.

— Валишь с больной головы на здоровую? — сказал Шнайдерайт.— Партия, по-твоему, виновата?

— Не болтай вздор! — возмутился инженер.— Партия сказала мне: «Нужен уголь. Сможете его добывать?» Я тщательно все взвесил и ответил: «Да».— Он посмотрел на Шнайдерайта и сказал твердо. — Я совершил ошибку, но избежать ее не мог! Я принял это решение, должен был его принять, и сделал это с самыми лучшими намерениями, но не имея опыта. Я не знал, что грунт начнет оползать так быстро. На всем

комбинате нет ни одного человека, который действительно знал бы здешние условия и мог правильно оценить их.

Он налил солодовый кофе в две металлические кружки.

Шнайдерайт сел.

— Не любишь, значит, осторожничать? — сказал он.— Признаться, и со мной могло случиться такое. Я восхищаюсь Мюллером — вот кто сумел поставить дело на заводе. Правда, у него там профессор под боком, а это кое-что да значит, но у профессора тоже нет производственного опыта.

Инженер вынул из портфеля сверток. Шнайдерайт достал свои бутерброды, вернее, поджаренные ломтики хлеба и с хрустом откусил.

— Голодновато, а? — сказал инженер.— Целый день в животе урчит. Да еще эта кормовая патока! Говорят, она ядовитая.

— Ерунда,— отозвался Шнайдерайт.— Меня хоть мухоморами корми. Когда мы выехали, только два пробило, а возле мясных лавок уже очереди стояли — за колбасными обрезками.

— Колбасные обрезки не более ядовиты, чем мухоморы,— сказал инженер, и Шнайдерайт рассмеялся.— До нового урожая хорошего не жди. Люди не хотят работать. Сперва, говорят, дайте жратву.

— Всюду одно и то же. Покажи мне экскаватор. Люблю возиться с машинами! Мы, каменщики, работаем, как в средневековье.

Инженер посмотрел на часы и убрал термос.

— Наш экскаватор устарел.

— А будут когда-нибудь машины строить дома? — спросил Шнайдерайт.

— Дома, вероятно, начнут изготовлять на заводах,— ответил инженер.

Они вышли. Туман уже рассеялся. Солнце заливало карьер. Только от завода полз черный дым и застилал горизонт.

— С сегодняшней ночи опять выдаем уголь,— сказал инженер.— Последние дни пришлось здорово поднажать. Но уголь у вас будет.

■

В город Мюллер и Шнайдерайт возвращались ночью, грузовик был забит ящиками. Фрау Арнольд осталась у шахтеров на какое-то собрание и обещала вернуться утренним поездом.

Ночь была светлая и теплая. Мюллер соорудил себе из одеял ложе между ящиками. Шнайдерайт рассказывал без умолку:

— Экскаватор у них дает четыреста кубометров за смену. Трехэтажный дом! Энергии потребляет, сколько целый район. А инженер сказал, что это устарелая конструкция!

— Что же ты там не остался? — спросил Мюллер.

— Инженер говорит: кто хоть раз в шахту заглянет, тот уж оторваться не сможет. Ты ведь знаешь, я к машинам неравнодушен. Помнишь маленький автомат, который ты раскопал на заводе среди развалин? Я к нему сердцем прирос. Какой экскаватор!.. В моей профессии до машин еще далеко. Но инженер...

— ...которого ты поминаешь каждую секунду,— вставил Мюллер.

— ...он из другого теста, чем, к примеру, Бернгард. С такими людьми, как он, можно построить социализм.

Мюллер с трудом приподнялся.

— Пойми же, наконец, как все это сложно,— сказал он,— чем лучше научишься ладить с такими, как Бернгард, тем скорее построишь социализм.

— Эти типы только мешают нам,— возразил Шнайдерайт.— Возьми, например, Хольта: он прямо в лицо говорит, что не хочет участвовать в наших делах, что его они не интересуют.

— Я как-то спросил Эберсбаха о Хольте,— задумчиво сказал Мюллер.— Парень взял себя в руки. За короткое время стал лучшим по математике, а Эберсбаха не проведешь. В Хольте что-то есть, дай только срок, лишь бы опять не попал под плохое влияние.

— Все это прекрасно,— сказал Шнайдерайт.— Но политически он реакционер.

— А почему ж он тогда не остался у своих буржуев в Гамбурге?— спросил Мюллер.— Война многих столкнула со старого пути. Теперь они в поисках. Раньше общество служило им лишь декорацией для собственной личности. А сегодня они ищут свое место среди людей. Мы должны помочь им. Выбери подходящий момент и дай Хольту прочитать «Манифест». Уверен, что он ухватится за правду, как утопающий за спасательный круг.

Помолчав, Шнайдерайт сказал:

— А почему ты спрашивал Эберсбаха о Хольте? Не понимаю. У тебя и так дел полно.

— Сейчас не понимаешь,— ответил Мюллер,— потом поймешь, обязательно поймешь. О социализме легко болтать, но строить его трудно. Для этого понадобятся и наш профессор, и его сын, и Блом, и Хаген, и многие другие. Разве я не твержу все время: ты должен идти впереди, но, если хочешь повести за собой людей, добивайся, чтобы они тебя понимали. А это возможно, если только ты сам их понимаешь. Разве я не повторял тебе этого много раз?..

Приступ удушья прервал слова Мюллера. Шнайдерайт подхватил его под руки, боясь, что он упадет.

— Помолчи! Подумай о себе, ты надорвался...

Приступ прошел.

— Послушай! — медленно, с трудом проговорил Мюллер.— Я должен еще кое-что тебе сказать. Социализм пока не стоит на повестке дня, но когда станет, меня уже не будет. Прислушайся к тому, что говорю я, что говорят старые товарищи! У тебя есть мужество, есть классовое сознание, сила, но у тебя нет опыта, нет терпения, ты не хочешь считаться со сложностью человеческих характеров. Придет день, и ты будешь строить социализм. Это значит, что ты лишишь многих людей их привычного мира. Не думай, что социализм — это наш, существующий строй, только без его недостатков. Множество людей всеми фибрами души привязаны к сложившемуся укладу, им трудно расстаться со своими привычками. Но ты строишь социализм не только для того, чтобы теория стала реальностью, и не только для классово сознательных товарищей. Ты строишь социализм для всего народа, стало быть, и для тех, кто думает, что им он не нужен, и для тех, кто его еще не понимает; без них ты вообще не можешь его строить. Поэтому ты должен научиться быть требовательным к людям, ради них же, и в первую очередь к самому себе, но, кроме того, ты обязан научиться понимать людей и стремиться к тому, чтобы они понимали тебя. Внимательно смотри, понимают ли они тебя, а если нет — подумай, не сам ли ты виноват в этом. Любовь к удобствам, лень, привычки — это наши злейшие враги.

Шнайдерайт слушал затаив дыхание. Мюллер устал, голос его был еле слышен.

■

Троица выдалась в этом году по-летнему жаркая и сухая, Хольт с Аренсами поехал в горы. Он принял их приглашение неохотно, скорее из чувства оскорбленного самолюбия. Шнайдерайт уехал на какую-то встречу молодежи в Бранденбург, и Хольт твердо рассчитывал побыть

эти два дня с Гундель. Он пустил в ход все средства, чтобы уговорить ее, но и на этот раз ей что-то помешало.

Гундель всегда что-то мешало, как только Хольт пытался проявить к ней внимание. Нет, это не случайность, столько случайностей не бывает! Это, конечно, преднамеренно. Гундель его знать не хочет, ее тянет к Шнайдерайту. На троицу она затеяла воскресную прогулку за город и пригласила Хольта: почему бы ему не поехать! Но Хольт никуда не поедет в роли бедного родственника, и вдобавок с компанией совершенно чужих ребят — нет, до этого он еще не дошел, у него есть гордость. Гундель должна принадлежать ему, только ему, или не нужна ему совсем.

После этой размолвки с Гундель Хольт вспомнил об Анжелике. Но он еще раньше сочинил ей целую историю, объяснив, что занят на троицу... И в результате поехал с Аренсами на водохранилище.

В понедельник утром Хольт уже вернулся в город. Он опять взялся за работу, но не мог сосредоточиться, все думал о Гундель. Когда же она вернулась, загорелая, бодрая, Хольт обрел душевное равновесие. Он даже посидел с ней, слушая ее рассказы о поездке, и настроение его улучшилось.

Но вот наступил вторник.

■

Под вечер Хольт пришел в контору завода, чтобы обсудить с отцом и с Гундель переезд, который должен был состояться на этой неделе. Зазвонил телефон. Фрейлейн Герлах взяла трубку и тотчас уронила ее на стол:

— О боже!

Профессор поднял трубку:

— Что-то случилось с Мюллером!

Все бросились к бараку.

В маленькой комнатушке с тремя телефонами фрау Арнольд стояла на коленях возле Мюллера. Лицо ее было мертвенно бледным.

— Помогите... Да помогите же ему! — без конца повторяла она. Хольт с отцом повернули Мюллера на спину. Профессор вызвал санитарную машину и набрал номер университетской клиники.

Не отрываясь, Хольт смотрел в лицо Мюллера, расплывавшееся перед его глазами. Лицо умирающего. Челюсть отвалилась, из горла вырывался хрип. Отец повторял в трубку:

— Главного врача... Срочно! Немедленно! Алло, говорит Хольт... Коллега, хорошо, что я вас застал, речь идет о моем ближайшем сотруднике, я его сейчас отправлю к вам...

Отец говорил громко, но голос его словно доносился издалека. Вблизи было только лицо Мюллера, знакомое, бледное, которого коснулось дыхание смерти. Да, Мюллер умирал. А ты еще хотел ему что-то доказать, завоевать его уважение, его признание, а может быть, просто ждал дружеского кивка и знакомого вопроса: «Ну, как поживаем, Вернер Хольт?» Поздно. Не обманывай себя: ты хотел, чтобы Мюллер был тобой доволен, хотел во что бы то ни стало убедить его, что преображение человека, о котором говорится в романе Бехера, существует. Ты старался изо всех сил и, может быть, действительно стал чуточку другим, но тебе еще многое предстоит сделать, и цель пока далека. Теперь ты ему уже не докажешь, что сумеешь добиться своей цели. Смерть стоит на пороге, она перечеркнула все планы. Смерть близка, и поэтому сознайся себе в главном: ты отдал бы все, чтобы стать его другом, стать таким, как он... «Подострый септический эндокардит...» Далекий голос отца произносит название смертельной болезни: «Мета-

статическая эмболия мозговых сосудов...» И кто-то в синем комбинезоне опустился возле Мюллера на колени и плачет, закрыв ладонями лицо... И подъезжает машина, и входят санитары, и ты смотришь, как носилки с Мюллером исчезают в машине, и видишь вечернее солнце, которое ярко озаряет заводские корпуса.

Хольт стоял у барака рядом с Гундель. Сами того не сознавая, они крепко держались за руки. Мюллера увезли, осталось лишь чувство пустоты и страха. Там, где только что была машина, в воздухе висело облачко пыли, медленно оседавшее на землю.

■

Вечером Хольт попытался работать, но не мог. Он был взволнован, растерян. Почему случившееся так потрясло его? Ведь он едва знаком с Мюллером. И разве он не знал, как все на заводе, что Мюллер неизлечимо болен, что недалек день, когда жизнь его оборвется? А теперь, когда Мюллер умирал, Хольт не находил себе места...

На другой день он позвонил Готескнехту, извинился, что пропустит уроки, и поехал в университетскую клинику, которая находилась на западной окраине, в каштановой роще. К Мюллеру его не впустили. Мюллер к утру пришел в сознание. Это было все, что Хольту удалось узнать. Он разыскал главного врача, представился, и ему разрешили зайти в палату.

Мюллер умирал: он снова был без сознания. Грудь его едва заметно приподымалась. На восковом лице уже не было признаков жизни, вместе с сознанием угасла и воля. Жесткие черты лица смягчились, казались расслабленными, успокоенными.

Хольт старался запечатлеть в памяти облик человека, страдавшего, боровшегося, непобежденного. Это лицо будет всегда напоминать ему о времени, когда человеческое достоинство было оплевано, растоптано, уничтожено, когда он, Хольт, служил мучителям и подчинялся им. Это лицо казалось предостережением и вечным напоминанием. Не забывай Мюллера!

У окна, на стуле, лежала одежда Мюллера, на спинке висела куртка. Хольт снял с отворота значок — красный треугольник — и вышел из палаты.

■

Он вернулся домой и стал заниматься. Но в конце дня занятия пришлось прервать.

Пришел Шнайдерайт — измученный, невыспавшийся. И когда они посмотрели друг на друга, словно незримый мост протянулся между ними — скорбь о Мюллере. Не успел Хольт предложить Шнайдерайту сесть, как тот устроился на краю кровати. В руках он держал тоненькую книжку.

— Извините, что оторвал вас от работы.— Низкий голос Шнайдерайта звучал непривычно монотонно.— Я только хотел рассказать вам, вернее, передать вам кое-что. Перед праздниками мы с Мюллером ездили на карьер. На обратном пути был у нас серьезный разговор. Я уже тогда видел, что ему недолго осталось — его мучило удушье, слабость, да такая, что его холодный пот прошибал.

— Не столько слабость, сколько боль,— сказал Хольт.— Я сегодня узнал, что весь год он страдал от ужасных болей: тромбы в печени, в почках, в селезенке...

— А он и виду не показывал! — воскликнул Шнайдерайт.— Черт побери, вот это человек!

— Исполин! — сказал Хольт.— Он был исполином, а жизнь его мерило...

На лице Шнайдерайта мелькнула улыбка.

— Вы хотите сказать, что нам обоим далеко до него?

— Пожалуй,— согласился Хольт.— Впрочем, думаю, вам будет легче дотянуться.

Они посмотрели друг другу в глаза, и Хольт на какой-то миг ощутил давнюю тоску по другу, которая не покидала его с мальчишеской поры... Жаль, что между ними стоит Гундель... Хольт почти с грустью смотрел на этого сильного, смелого человека, с которым повстречался слишком поздно. А когда еще не было поздно, когда он хотел отомстить за Рут Вагнер и мечтал, подобно Карлу Моору, бороться за справедливость, Шнайдерайт сидел в тюрьме, и вместо него появился другой. Так и получилось, что он все больше запутывался в непоправимых ошибках.

Шнайдерайт, видимо, почувствовал, что Хольт не испытывает неприязни к нему, и оживился.

— Скажите честно: если бы Мюллер дал вам совет, вы бы послушались его?

— Конечно,— сказал Хольт.

— Хорошо! Дело в том, что во время поездки мы говорили и о вас. Мюллер до самой смерти о вас не забывал. Недавно он справлялся у товарища Эберсбаха, узнал, что вы опередили всех по математике. Он верил вам, говорил: «В Хольте что-то есть».

— Подумать только,— пробормотал Хольт, напрягая все силы, чтобы не показать Шнайдерайту, как потрясли его эти слова.

— Признаюсь,— продолжал Шнайдерайт,— для меня было загадкой, как это Мюллер находит время для таких вещей. Он понимал вас так, как вы, может, сами себя не понимаете. Кстати, мне тоже за вас досталось.

— Вы честны.

— Рад, что вы мне верите. Мюллер сказал: «Хольту надо почитать «Манифест». Уверен, что он ухватится за правду, как утопающий за спасательный круг». Да, именно так и сказал. Вот я и решил принести вам эту книжку.

Он положил на стол тоненькую брошюру. Хольт не двинулся с места.

Глядя на него, Шнайдерайт продолжал:

— Ведь как было до тридцать третьего и потом, при Гитлере? А вот как: фашисты многих наших перебили, но оставшиеся только теснее сплотились, чтобы закрыть брешь. Теперь, когда нашего Мюллера уже нет, разве мы не должны сплотиться еще теснее? Идите в нашу группу, Хольт! Найдется дело и для вас!

Хольт не сразу понял Шнайдерайта, он был слишком потрясен тем, что Мюллер перед смертью думал о нем. Но когда он наконец ответил, в голосе его прозвучали неприязнь и разочарование, которых он не мог побороть.

— Очень благодарен вам за посещение и за то, что вы мне рассказали. Книгу я, разумеется, прочту сразу же.

Шнайдерайт протянул ему руку. Хольт и сам не знал, почему он отвергает его дружбу, почему не хочет пожать протянутую руку. Необходимо было найти какое-то объяснение.

— Вам не следовало агитировать меня сегодня,— сказал он.— Право же, сегодня вам не следует пытаться вербовать новых членов в свою организацию, по-моему, это просто бестактно.

Вместе со стулом он повернулся к столу и углубился в свои записки. За его спиной хлопнула дверь.

■

Хольт держал в руках брошюру в твердой обложке. Карл Маркс и Фридрих Энгельс: «Манифест Коммунистической партии». Маркс, Энгельс — эти имена он слышал уже целый год, но для чего они оставались незнакомыми и чуждыми. Ему захотелось прочитать книжку не здесь, в привычной обстановке, а в полном уединении. Он позвонил в гостиницу «Лесная благодать», где останавливался, когда ездил с Аренсами, и заказал номер.

Когда Хольт уже сложил в портфель вещи, пришел Церник и, по своему обычаю, начал рыться в книгах на столе. Лицо его постепенно мрачнело.

— Вот тебе на! — воскликнул он.— Вы просто невозможный человек! Ну к чему вам Шпенглер? А французский вы учите только затем, чтобы читать Кокто и Жироду?

— Оставьте меня в покое,— сказал Хольт.— Я зайду к вам завтра.

— Что у вас за вид? Вы устали? Усталость — это острая кофеинная недостаточность!

— Мне надо на вокзал,— сказал Хольт,— а вы все равно пришли к отцу. Он в лаборатории.

Хольт сел в пригородный поезд и вечером был уже на берегу озера, возле лодочной пристани. Сейчас, в будний день, здесь было очень тихо.

Он вошел к себе в номер. Как это часто случалось, электричество было отключено. Хозяин принес свечу. Хольт сел за стол и углубился в книжку.

«Призрак бродит по Европе — призрак коммунизма,— читал он.— Все силы старой Европы объединились для священной травли этого призрака...»

Мужественная, гневная страстность «Манифеста» захватила Хольта. Каждая мысль, каждая фраза поражала его силой правды. Наконец он нашел то, чего искал долго и безнадежно.

«История всех до сих пор существовавших обществ была историей борьбы классов...»

Свеча догорела, Хольт попросил другую и читал, читал. Он дошел до конца и принялся перечитывать сначала — уже не спеша, вдумываясь в каждое слово. Некоторые места вызывали у него волнение и восторг. Эпоха буржуазии, два больших, стоящих друг против друга класса, никакой связи между людьми, кроме голого интереса, бессердечного чистогана, все почетные роды деятельности лишены священного ореола, процесс разложения внутри господствующего класса... Он вновь и вновь перечитывал эти страницы. Потом дочитал до конца. «Пусть господствующие классы содрогаются перед Коммунистической Революцией. Пролетариям нечего в ней терять кроме своих цепей. Приобретут же они весь мир».

Он задул огарок свечи, когда за окном уже занимался день, и в изнеможении уснул. Через несколько часов проснулся и спустился на берег. Нырнув с лодочного причала, он поплыл к середине озера и плавал в прозрачной холодной воде, пока не закоченел.

Сидя под развешанными на стене оленьими рогами, Хольт позавтракал. Хозяин отпустил ему еду без карточек за непомерные деньги. Мысли Хольта были прикованы к книжке.

Он отправился на станцию. Времени до отхода поезда оставалось много, и он сделал большой крюк через лес. Не спеша он брел по долине, задумчиво глядя на гребни холмов, потом, поднявшись в гору, долго смотрел с высоты на широкую равнину. Мысли и воспоминания нахлынули на него, соединились, словно камешки в мозаике, и все пережитое,

вся горечь былого, все обилие неразрешенных вопросов слились с той правдой и с тем живым миром, которые открылись ему в сиянии нового дня.

■

Приехав в город, Хольт прежде всего отправился к Цернику. Вчера ему хотелось остаться в одиночестве, но сегодня возникла острая потребность поделиться с кем-нибудь своими мыслями.

На улице нещадно пекло, а в комнате Церника, где царил художественный беспорядок, было прохладно и сумрачно. В качестве письменного стола Церник использовал полочку торшера, на полу валялись исписанные листки бумаги, раскрытые книги, картотека и кипы журналов по естествознанию.

— Ну, так как же? — Церник устало подмигнул Хольту.— Если вы собираетесь отнимать у меня время своим Шпенглером или этим философствующим математиком Лаутрихом, то кофе не получите, сам выпью последние остатки!

— Вы дали мне «Прощание» Бехера,— сказал Хольт.— До сегодняшней ночи я не мог понять, почему эта книга произвела на меня такое впечатление. Можно разобраться в значительных событиях — войнах, революциях, осмыслить их как выражение исторических процессов... хотя и это далось мне нелегко. Но гораздо сложнее осмыслить свою личную судьбу, как... как выражение эпохи.

— А кто затыкал мне глотку? — воскликнул Церник,— Кто начинал кричать: «Хватит о политике», едва я упоминал имя Маркса?

— Да я же ничего не понимал,— перебил его Хольт.— Я и сочинения Маркса представлял себе как передовицы в газетах. И у меня, конечно, не было особого желания одолевать тома таких трудов. Но сегодня ночью я прочел «Манифест».

Церник и виду не показал, что удивлен. Впрочем, поднеся к губам чашку с кофе, он заметно оживился.

— Хотел бы я знать, какой идиот распустил слух, что кофеин — яд.

— Да вы меня не слушаете! — возмутился Хольт.— И с каких это пор вы стали пользоваться словечками, вроде «затыкать глотку», «идиот»?

— А вы бы почитали полемические сочинения вульгарных материалистов,— сказал Церник.— Они ввертывают выраженьица похлеще!

Он выпил чашку до дна и сразу пришел в приподнятое настроение, зато Хольту после черниковского кофе показалось, что сердце вот-вот выпрыгнет у него из груди.

— Стало быть, вы прочли «Манифест»,— заговорил Церник.— А чего вы хотите от меня?

— Ничего,— ответил Хольт. И вдруг он воскликнул: — Просто хочу вам сказать: за сегодняшнюю ночь я стал другим человеком! Церник, вы и представить себе не можете, что я перечувствовал. Мы блуждали в потемках с завязанными глазами. Стоит мне подумать, что эта книжка написана давным-давно, что она была известна уже множеству людей, а нас заставляли верить в миф о нордической расе, о германской крови и тому подобной чепухе, я просто перестаю что-либо понимать! Как же это было возможно?

— Когда-нибудь поймете,— сказал Церник.— Правда иной раз с трудом пробивает дорогу, вы знаете это по себе. Люди охотно терпят удобную, приятную ложь. Что же касается горькой правды — они часто противятся ей.

— Горькая правда...— повторил Хольт.— Я вас понимаю: вы говорите о том, как меняется человеческая жизнь под воздействием осо-

знанной правды... Сегодня ночью была минута, когда меня охватило отчаяние. Я не мог отделаться от мысли, что обречен на гибель, как тот мир, в котором я почерпнул свои взгляды и представления. Но потом я нашел одно место, где говорится о небольшой части господствующего класса, которая отрекается от него и примыкает к революционному классу... И тут мне вспомнилось «Прощание», слова Бехера о преображении человека...— Он встал.— Впрочем, оставим это. Дайте мне еще книги — Маркса, Энгельса. Я слишком долго блуждал без цели. Я не хочу сойти с тропинки, которую нашел.

Церник порылся на шатких полках и сунул Хольту стопку книг.

— Вот! Когда все это прочтете, можно будет сказать, что вы уже на пути к теоретическому осмыслению исторического развития.

Вернувшись домой, Хольт отложил в сторону школьные учебники. Он принялся за Маркса.

...На другой день в пустынном, выложенном каменными плитками зале крематория происходила гражданская панихида — в последний путь провожали Мюллера. Хольт стоял в стороне, в углу. Официальные речи не доходили до его сознания. Только под конец, когда фрау Арнольд сказала несколько слов просто так, от себя, он прислушался. Под высоким куполом, отдаваясь гулким эхом, зазвучал «Интернационал».

Никогда еще он не вдумывался в слова этой песни. «Это есть наш последний...» Он замер, вслушиваясь.

Гимн звучал точно сигнал к пробуждению, которого он так долго ждал. Пора было покончить с размышлениями о том, что есть правда. Начиналась борьба за правду.

5

Хольт лежал в шезлонге, греясь на солнце, и читал. Раздвинув кусты, перед ним появился Церник. Он приходил теперь чаще, чем прежде, когда Хольты жили в отдаленном Мёнкеберге.

— Вы даже не подозреваете, какая у вас здесь красота! — говорил он каждый раз.

Хольт принес ему шезлонг. Церник сел, вынул очки с громадными темными стеклами и долго вглядывался в кусты.

— Что-то не то! — пробормотал он.— Да это же не те очки! Ага, вот они. Теперь мир выглядит куда более конкретным.— Он осмотрелся.— Нет, вы не знаете, как у вас тут здорово! — Он вздохнул.

Институт бактериологии и серологии, которым руководил профессор Хольт, был разрушен во время бомбежек. Теперь его разместили в роскошной вилле крупного промышленника, сбежавшего на Запад. Дом с флигелями стоял в центре большого, раскинувшегося на несколько гектаров парка; неподалеку находились конюшни, гаражи и обширная оранжерея. В отдельном каменном домике профессор оборудовал себе лабораторию, кабинет и библиотеку; в мансарде была ванна, крошечная кухня и несколько комнатушек со скошенными стенами. Там поселились профессор, его сын и Гундель.

Хольт быстро привык к новому месту. Здешняя его комната отличалась от прежней только тем, что из окна открывался совершенно другой пейзаж — не заводской двор и фабричные трубы Мёнкеберга, а верхушки деревьев, холмы и далекие горы. С утра под окном заливались дрозды, а вечерами, которые были здесь по-деревенски тихими, из флигеля института доносился негромкий, но отчетливый свист.

— Что такое? Кто там пищит так смешно? — спросил Церник.

Хольт рассмеялся.

— Я тоже сперва никак не мог привыкнуть. Это белые крысы, их держат для опытов.

— Вот оно что! — Церник явно заинтересовался.— Крысы! Можно было бы проводить эксперименты с дрессировкой. Крысы чрезвычайно сообразительные животные... Ну, а теперь недурно бы сварить и кастрюльку колы. Побольше и покрепче,— крикнул он вслед Хольту,— я хочу еще поработать!

В кухне Хольт встретил Гундель. Возвращаясь с фабрики, она увидела Церника и предусмотрительно вскипятила воду.

— Можно мне посидеть с вами?

— Будь моя воля,— ответил Хольт,— ты бы весь день сидела возле меня.

— Да, будь твоя воля! — сказала Гундель через плечо, и на щеках у нее появились ямочки.

Хольт вернулся к Чернику. Тот вынул из кармана два билета.

— Последний симфонический концерт в сезоне — Пятая симфония Брукнера в первоначальном варианте. Вот вам бесплатные билеты. Я знаком с дирижером.

Хольт сразу подумал о Гундель. Шнайдерайт редко бывал здесь, в южном предместье. Он зашел накануне переезда, осмотрел первый этаж, мансарду и сказал:

— Нанимать рабочих для ремонта? Чепуха! Сами все сделаем!

Он и вправду привел в порядок дом, помог переехать, но с тех пор почти не заглядывал. Гундель часто уходила на собрания молодежной группы, а с недавних пор начала заниматься спортом. Впрочем, она иногда проводила вечера с Хольтом. В хорошую погоду они гуляли в парке. Гундель приохотилась к чтению, и читала не только произведения мировой литературы — от Бальзака до Толстого, — но и специальные книги по ботанике. Она приносила домой цветы и травы и, переложив промокательной бумагой, засушивала их в Большом Брокгаузе.

— Зачем это тебе? — спросил как-то Хольт.

— Меня интересует природа.

— Шнайдерайт тоже увлекается природой?

— Нет, больше машинами,— ответила Гундель.— Хорст помешался на машинах. И чем крупнее размером, тем больше они ему нравятся.

Держа в руках билеты, полученные от Церника, Хольт вспомнил этот разговор. Он давно уже мечтал пойти с Гундель на концерт, и сам виноват, что до сих пор не сделал этого.

Гундель принесла кастрюльку с колой и стаканы, вернее, колбы из лаборатории профессора. Увидев Гундель, Церник вновь сменил очки и заявил:

— Гундель, ты сегодня очаровательна!

Обычно Хольт любил, когда приходил Церник, но сегодня гость раздражал его. Чернику вовсе незачем проявлять заботу о Гундель и занимать ее разговорами. Здесь есть кому и развлечь ее, и позаботиться о ней.

Послышался шум подъезжающего автомобиля — возвратился с завода профессор. Он купил машину, не новую, но в хорошем состоянии. Хольт облегченно вздохнул, когда Церник поднялся. Наконец-то он наедине с Гундель. Но, как это часто бывало, он почувствовал какую-то скованность. Он всегда ждал Гундель, а когда оказывался с ней вдвоем, не знал, о чем говорить. Собравшись с духом, он спросил, как ее дела на заводе, отпустят ли ее учиться?

— Может быть, с осени что-нибудь выйдет,— сказала Гундель.— Мюллер собирался помочь мне, кто знает, как сложится все теперь.

— А когда ты возьмешь отпуск?

— В конце июля, — ответила Гундель. — Мы поедем в лагерь, на Балтийское море.

Ее слова укололи Хольта, особенно это «мы». Хольт старался не думать о том, что означает такая поездка. Нужно скрыть горечь, смирить оскорбленную гордость, нужно быть любезным и вежливым с Гундель. Ничего другого ему не оставалось.

— Хочешь пойти со мной на симфонический концерт? — спросил он. — Мне это доставило бы удовольствие.

— На концерт? Я никогда еще не была на концерте!

Никто не умел так искренне радоваться, как Гундель. Хольт несколько смягчился.

— В субботу, — сказал он.

Оживление ее исчезло, она огорченно посмотрела на Хольта.

— Суббота у меня уже занята. Я иду с Хорстом в театр.

С Хорстом! Этого он больше не может слышать.

Его приглашение она отвергает. Она идет в театр со Шнайдерайтом. До каких пор этот тип будет стоять у него на пути? В театр, Гундель идет в театр. Он и здесь опоздал.

Ее отказ ударил по самолюбию Хольта сильнее, чем все предыдущее. Пусть Шнайдерайт, если ему угодно, занимается своей организацией, своим политиканством и своими машинами! Хватит с него, черт возьми, что он встречается с Гундель на молодежных вечерах и воскресниках!

— Шнайдерайт... — начал Хольт и, помолчав, добавил, — ... мог бы и подождать. Откажи ему! Пойдем со мной на концерт!

— Билеты нам подарил господин Готескнехт, — возразила Гундель. — Будет невежливо не пойти. И потом я ведь никогда не была в театре!

Готескнехт? А он еще зачем вмешивается? Что они, сговорились все, что ли?

— Ну что ж, — сказал Хольт. — Значит, мне опять не повезло. Мне всегда не везет с тобой, Гундель.

Он сказал это небрежно, стараясь скрыть разочарование. Гундель хотела возразить, наверное, утешить его, но он уже ничего не слышал: ему надо решить математическую задачу. Он ушел к себе в комнату.

Задача, которую на ходу, с коварной ухмылкой, задал ему Эберсбах, при ближайшем рассмотрении оказалась дьявольски хитрой. Хольт погрузился в раздумье. Он забыл все свои огорчения. И когда решение в конце концов пришло, он был счастлив.

■

Старый Эберсбах не придерживался учебного плана. Он любил говорить, что давным-давно постиг премудрости, известные составителям этих планов, и учил, как считал нужным сам. Он был отличным педагогом, несмотря на свои причуды, и заставлял учеников добиваться успехов, о которых они и не мечтали. Но уж если ему не хотелось вести урок — а это случалось частенько,— он битый час произносил длинные тирады, перескакивая с пятого на десятое.

Даже теперь, летом, он носил свой коричневый костюм с заплатками на локтях, но желтые фетровые ботики все-таки сменил на стоптанные домашние туфли.

Сейчас он сидел за кафедрой с трубкой во рту и обмахивался каким-то письмом.

— Чертова жара! — бормотал он.— Аренс, к доске! Гофман, закрой книгу!.. Я получил письмо. Бук, не болтай, впрочем, можешь болтать сколько влезет, не мне ведь проваливаться на выпускном... Аренс, записывай... хотя подожди-ка, зачем мне утруждать себя, вот тебе задачник, пиши... Да, а что ты, собственно, собираешься изучать?

— Медицину, — ответил Аренс, слегка поклонившись.

— Медицина — не наука, — отрезал Эберсбах. — Это тотемизм! Ну, Аренс, шевели мозгами! При отрицательных значениях «х» «у» стремится к бесконечности. Э-э, да ты, вижу, с бесконечностью не в ладах!

Он поскреб лысину. Это означало, что сейчас он разразится одной из речей, которые Хольт с восторгом записывал и потом читал Блому. Блом каждый раз приходил в неистовство — то от восторга, то от возмущения.

— Мне тоже в юные годы отравили радость, которую может доставить бесконечность,— сказал Эберсбах.— Со времен Кантора * в бесконечности воцарился прусский порядок. А мне она, собственно, милее без всякого порядка.

В классе раздался смех и аплодисменты.

Эберсбах опять поскреб лысину.

— Что касается Кантора, вы знаете, как он представлял себе множество? Как пропасть. Я и поныне в толк не возьму, что это значит. Для меня множество — это нечто очень полное, вот-вот перельется через край.

— Вы сегодня в ударе, — заметил Хольт.

— Заткнись,— оборвал его Эберсбах.— Аренс, садись на место, ты слишком туп для математики, изучай свою черную магию и становись врачом. Кстати, — добавил он, усаживаясь поудобнее, — с сегодняшнего дня извольте величать меня профессором. — Он вытащил письмо из конверта и постучал по нему трубкой. — Достопочтеннейший ученый совет пригласил меня штатным профессором по теории чисел. Нет, Гофман, конечно, не здешний, для этих болтунов с их интуиционизмом я — пустое место. — Он зевнул. — Я — и вдруг профессор! Они еще рты разинут! Им и невдомек, как чудовищно я ленив.

Он слез с кафедры и пошел между рядами.

— Ну-с, займемся напоследок делом. После каникул будете с Лорентцем проходить математику в час по чайной ложке. А сейчас начнем новый материал, очень важный, поэтому его и нет в плане. Теория ошибок при измерениях. Исчисление вероятных погрешностей. Хольт, к доске!

Хольт вышел вперед. В классе стало тихо.

— Давай-ка пофилософствуем,— сказал Эберсбах. — Перед нами — случайность, попробуем расправиться с ней математически.

Он говорил серьезно и сосредоточенно.

«Жаль, что мы теряем Эберсбаха», — подумал Хольт.

■

В перемену на кафедру взобрался Гофман.

— Эберсбаху — на прощание подарок! Завтра все несите гроши!

— Да это настоящая диктатура! — крикнул Гейслер.

— Для тебя, пугало огородное, диктатура — самое подходящее дело. Съездить бы тебе разок по морде! — рявкнул Гофман.

— Но, господа! — вмешался Аренс. — Пора, наконец, нам быть всем заодно!

— Заодно? — переспросил Бук, которому не сиделось на месте. — Я сейчас скажу вам по этому поводу! Говорить? Слушайте буржуазно-демократическую революционную речь против произвола и диктатуры учителей, за нерушимое единство учащихся! — Он вскочил на скамью и закричал, подняв кулаки: — Ученики! Discipuli! Школяры! Враги на-

* Кантор, Георг (1845—1918) — немецкий математик, родился в Петербурге, разработал теорию бесконечных множеств.

шей свободы, учителя, замышляют заговор с целью потопить в реках пота самоопределение учащихся! Мы должны направить стрелы разума и прилежания против учителей и похоронить этих диктаторов под известкой их закостеневших мозгов! Мы должны...

Дверь распахнулась, вошел Готескнехт. Он, конечно, все слышал в коридоре.

— Тихо! — крикнул он. — Насчет известки, любезнейший, это мы еще посмотрим, кто здесь обызвестковался! Ну-ка, выходите вперед! Изложите программу жирондистов, осмелюсь вас попросить. Отметка пойдет в табель.

Обескураженный Бук слез со скамьи, он не подготовился, и вид у него был мученический. Но Готескнехт, казалось, забыл о нем. Он расхаживал между столами и, наконец, остановился возле Хольта.

— Я хотел бы с вами поговорить, — шепнул он. — После уроков подождите меня.

С тех пор как Хольт переселился в южное предместье, они часто возвращались из школы вдвоем, и обычно Готескнехт внимательно слушал все, что он ему рассказывал. Но сегодня, когда они шли через сквер, Готескнехт, который казался подавленным, сказал:

— Вы пробудили у меня интерес ко многим вещам. Роман Бехера, речи Томаса Манна в эмиграции — все это, в сущности, учитель должен был бы подсказать ученику.

— Какое это имеет значение? — возразил Хольт.

— Я последовал вашему совету в отношении Маркса, — продолжал Готескнехт. — Завидую вашей стремительности, тому порыву, с которым вы взялись за Маркса и Энгельса. Я тоже пытался это сделать. Но чтобы как-то подготовиться, решил начать с Меринга, которого мне подарил на рождество Шнайдерайт. Я был ошеломлен. Знаете, Хольт, я могу многое вынести. Но ведь Меринг клевещет на Шиллера — этого я стерпеть не в силах. Да, клевещет! Он судит о нем совершенно неверно! Где же благоговение перед духовным величием Шиллера, спрашиваю я вас? Нет, говорите что хотите, но когда я читаю Маркса и Энгельса, а они тоже ниспровергают и разрушают все, что мне мило и дорого, я не могу примириться с этим. Да, я бюргер и дорожу нашим «старым хламом».

Хольт удивленно взглянул на него.

— Поймите меня правильно,— продолжал Готескнехт, беря Хольта под руку.— Мне дорога гуманистическая мечта: человек свободен, даже если он родился в оковах. Мне дорог нравственный закон Канта, и я не могу примириться с тем, что его отрицают. Вы только подумайте, Маркс называет категорический императив «старым кантианским хламом»!

— А это и есть хлам! — сказал Хольт.— Не будем себя обманывать.

С минуту Готескнехт шел молча.

— Но в его основе лежит великая мысль! — сказал он.

— Что из того? — спросил Хольт.— Значит, хлам, в основе которого лежит великая мысль.

Готескнехт нахмурился.

— Я вас понимаю, господин Готескнехт,— сказал Хольт уже мягче.— Вы очень привязаны к миру этих идей.

Хольта глубоко тронуло, что и учитель ничуть не меньше его самого терзается и страдает, пытаясь заставить себя мыслить в ином, не традиционном направлении.

— Вы дорожите классическими идеалами гуманизма,— продолжал Хольт,— которому учите нас в школе. А я ими совсем не дорожу. Но и я должен избавиться от груза традиций. Меня воспитали в полном презрении к какой бы то ни было гуманности. Разве мы не убедились на собственном опыте, что, стоит появиться отряду штурмовиков с каске-

тами и револьверами, и тотчас кончается всякая человечность? Я вам рассказывал о Петере Визе, про то, как он погиб. Петер, как я теперь понимаю, всегда и во всем противостоял Вольцову; и все-таки по-настоящему он ему не противостоял, хотя в нем жил ваш классический идеал гуманизма. А они взяли и пристрелили Петера, и его гуманность оказалась несостоятельной, хотя в основе ее лежала великая мысль. Человек благороден, самоотвержен и добр... У противотанкового заграждения, там, на востоке, Петер Визе действительно был благороден, самоотвержен и добр. Ему не хватило только одного: за ним не стояли танковые армии Конева. Нет, гуманизм должен быть воинствующим, боевым, вооруженным до зубов! Поверьте мне, господин Готескнехт, я по горло сыт войной. Долой войну навеки! И вы знаете, что это не фраза! Но когда я вспоминаю Петера Визе и думаю о тех типах, которые свободно разгуливают сейчас по Гамбургу,— а я насмотрелся на них у моих родственников,— право, мне хочется взять винтовку да поискать себе настоящих товарищей по оружию. И Зепп Гомилка был бы с нами и уж конечно этот...— Хольт замолчал.

«И, конечно, Шнайдерайт»,— добавил он про себя.

— Надеюсь, вы поняли меня,— продолжал Хольт, поборов смущение.— Я ничего не имею против самой идеи классического гуманизма. «Натан» * — великолепен, «Ифигения» ** — тоже. Благородная человечность побеждает тирана. Это так же прекрасно, как сказка о певце в «Генрихе фон Офтердингене» ***, где король берет в зятья юношу без роду без племени только за то, что тот сочиняет удивительные песни. В действительности он вышвырнул бы его ко всем чертям. А Бергманы в Любеке, конечно, не приняли бы меня, если бы я пришел к ним с Гундель. Суть сей длинной речи вот какая: гуманизм, если он не имеет в своем распоряжении мощных танковых армий, оказывается только жертвой тирана. В этом мы убедились на собственном опыте.

— Но что же станет с великими памятниками классического гуманизма? — спросил Готескнехт.

— Они будут жить как памятники искусства и доброй воли. Но как мировоззрение, господин Готескнехт, они уже не годятся — это старый хлам, болтовня. А часто и ложь. Долой мировоззрение, замешанное на благочестивых сентенциях философов, от Канта до Альбера Швейцера! В лучшем случае оно иллюзия. А в Марксе особенно подкупает холодный, критический пересмотр всего духовного инвентаря! Маркс ни в чем не обманывает — ни меня, ни себя. Прочтите его ранние труды, даже как стилист, вы получите огромное наслаждение. Какой великолепный язык, вот у кого поучиться бы нашим газетам. И вовсе неправда, будто он все ниспровергает, он громит только буржуазную идеологию. Вы называете это ниспровержением, но по существу он утверждает человека и его великую мечту о будущем. Маркс отнюдь не все разрушает, у него тоже есть традиции. Вы идете от Канта, и я понимаю, что́ у вас сейчас на душе. Но ведь можно выбрать себе и других предков: Гераклита, Джордано Бруно, Гегеля, Фейербаха. Я как раз их теперь читаю. Во всяком случае, нам должно быть ясно...

Они подошли к институту.

— Продолжайте, пожалуйста,— сказал Готескнехт.

— Нам должно быть совершенно ясно, что мы обязаны отказаться не только от фашистской идеологии, но и от унаследованного нами образа мыслей, от всего, что казалось нам естественным, что наполняло и даже переполняло наши сердца. Как это сказано у Рильке: «Мы упо-

---

* «Натан Мудрый» (1779), драма Лессинга.

** «Ифигения в Тавриде» (1787), драма Гете.

*** Роман (1802) немецкого писателя Новалиса.

рядочить пытаемся те чувства, что нас обуревают, но сами распадаемся при этом». Я не хочу распадаться, господин Готескнехт. И потому не пытаюсь упорядочить старое, привычное, чтобы сохранить идеи, унаследованные от прошлого. Нет, я должен вырвать их с корнем!

Готескнехт протянул Хольту руку.

— Вам пришлось прочесть мне целую лекцию... Во всяком случае, мне было интересно послушать ваше мнение. Передайте привет Гундель и Шнайдерайту.

— Один вопрос,— остановил его Хольт.— Вы с умыслом дали им билеты в театр, не правда ли?

— Вам это, конечно, покажется смешным, но судьба великих памятников культуры все-таки очень меня волнует. Литература должна жить в людях, а не в музеях.

— И притом непременно Шиллер! — с шутливым упреком сказал Хольт.— Вы легкомысленны, господин Готескнехт! Смотрите, как бы это не показалось подозрительным.

■

От здания театра осталась только кирпичная коробка, заполненная обгорелым щебнем и ржавыми стальными балками. Труппа играла в пригороде, в помещении бывшего «Варьете». Сегодня, как всегда, зал был полон: женщины и девушки в наспех заштопанных платьях, мужчины в потрепанных костюмах и перекрашенных мундирах, солдаты и офицеры оккупационной армии в форме защитного цвета.

Для Гундель все здесь было ново и интересно, она горела нетерпением. Шнайдерайт пришел в театр с твердым намерением — не дать себя увлечь. Разве пьеса, даже великого поэта, не могла служить опиумом для народа?

Взяв программу, Шнайдерайт стал ее изучать. Им покажут спектакль о графе, о графских сыновьях, о незаконных детях какого-то дворянина и о «либертинах», что, согласно сноске, означало «распутных молодых людей». «Даниэль, дворецкий графа фон Моора»,— прочел Шнайдерайт. О классовом сознании дворецкого спрашивать не приходится.

Свет погас. Поднялся занавес. Незнакомый запах донесся со сцены, повеяло прохладой. Шнайдерайт чуть подался вперед.

Качалка. Старик. Ага, это он, Максимилиан, владетельный граф фон Моор. Седой, лицо изборождено морщинами — нет, он вовсе не походит на мучителя крестьян. Но маска кротости не введет в заблуждение Шнайдерайта. Граф был дряхл, слаб, болен, он говорил дрожащим старческим фальцетом. Уж не хотят ли они представить феодальную сволочь этакими мучениками, жертвами земельной реформы? Старик беспокоился о своем сыне Карле, о котором только что получена весть. Принес письмо Франц фон Моор, одетый в пестрый шлафрок. Он отошел в сторонку, чтобы пролить слезу сострадания о заблудшем брате. Франц с самого начала не понравился Шнайдерайту. Нет, прославлять помещиков эта пьеса, во всяком случае, не станет.

Судя по письму, Карл в Лейпциге дошел до предела в своих бесчинствах. Шнайдерайт покачал головой. Сорок тысяч дукатов долгу! Ясное дело, эти деньги старик, хоть у него и осанистая борода, выжал из своих крестьян! Карл обесчестил дочь банкира и убил на дуэли ее воздыхателя, а потом с семью товарищами бежал от рук правосудия... К счастью, у нас навсегда положили конец темным делишкам всякого сброда... Но тут Шнайдерайта поразило одно противоречие: Франц и старик, сидя дома, с постными лицами услаждали душу молитвами, а Карл, хоть и отвращал взор от божьего храма, как преступник от тем-

ницы, но бросал деньги в шапку первого встречного нищего, что как-то не вяжется с долгами и убийствами. Может, это поповская пьеса, которая предостерегает от пагубных последствий безбожия? Но ведь Франц сам — лучшее предостережение от пагубных последствий ханжества. «Пороки», в которых Франц обвинял брата: пылкий дух, искренность, чувствительность и мужественная отвага,— все они делали Карла только близким Шнайдерайту. Лейпцигские злодеяния скорее пристали Францу, ханже, который жаловался, что его всегда считали «сухим заурядным человеком, холодным, деревянным Францем»... Кто его знает, уж не сам ли негодяй состряпал письмо, подумал Шнайдерайт! Ведь все его тайные замыслы понемногу прояснялись: «А что, если вы отречетесь от этого сына?» Подонок Франц решил присвоить графский титул и наследство, вот и все! Неужели старик не понимает, какую гнусную интригу плетет его сынок? Нет, он поручает этому подлецу написать Карлу! Видно, старик не в своем уме! Ведь кроме него никто, ни один человек уже не сомневается в том, что Франц ведет бесчестную игру.

Не успел старик выйти из комнаты, как негодяй перестал притворяться и, постукивая кончиками растопыренных пальцев, с ледяной усмешкой на губах, уселся в качалку. Да, он признавался, что подделал письмо, признавался также, что недоволен природой. Зачем он не единственный, зачем не он первый вышел из материнского чрева? У парня прегнусная манера выражаться. К тому же у него изобретательный ум и полное отсутствие совести. Он сразу выкладывает карты на стол: «Я выкорчую все, что преграждает мне дорогу к власти. Я буду властелином!» Франц показал, наконец, свое настоящее лицо. Занавес упал.

— Неужели Карл попадется на удочку? — с тревогой спросила Гундель.— Нет, не может быть, чтобы Карл попался!

— Не бойся, он знает, что за подонок его братец! — успокоил ее Шнайдерайт.

Занавес поднялся снова.

Одинокая корчма, недалеко от границы. Шнайдерайт с облегчением вздохнул: да, Карл из другого теста, чем его братец,— сильный, высокий, привлекательный. При свете коптилки, чадившей на столе, он читал книгу и ждал посыльного с письмом, ждал отцовского прощения за лихие выходки, в которых он признался ранее. Проступки его, ясное дело, не такие уж страшные. На подлость Карл не способен. Правда, тот, другой, который сидел рядом с ним, не очень-то располагал к себе: Шпигельберг — звали его, в нем было что-то крысиное, что-то затаенное, коварное; к тому же у него подергивалось лицо. С этим Шпигельбергом Карлу не следовало связываться, хотя оба придерживались одинаковых взглядов, оба восставали против духа времени, против хилого века кастратов, в который они жили, против современников, которые «падают в обморок, увидев, как режут гуся, и рукоплещут, когда их конкурент обанкротится на бирже...» Великолепно! К сожалению, они не понимали, что корнем зла являлись феодальные имущественные отношения, они путали причину со следствием. И все-таки пламенный дух Карла привлекал Шнайдерайта. Как он вскочил и швырнул шпагу на стол! Какую зажигательную речь произнес: «Поставьте меня во главе войска таких молодцов, как я, и Германия станет республикой...» Шнайдерайт захлопал. Зал молчал, потом раздался гром аплодисментов.

Слова Карла что-то затронули в Шпигельберге, в душе его занимались великие мысли, гигантские планы рождались в его мозгу... Но Карл ничего не хотел об этом слышать, нет, он ждал посыльного, мысленно бродил по дедовским рощам и мечтал об Амалии. Ага, это племянница Эдельрейх, указанная в списке действующих лиц. Значит, Карл ее любит. Но отвечает ли она ему взаимностью? Карл ждал прощения от отца и не знал, что ему уготовано. А Шнайдерайт знал.

В корчму с шумом ввалилась ватага парней, здесь были довольно симпатичные ребята: Швейцер, Роллер, но среди них один с рожей висельника, под стать Шпигельбергу. Его и зовут Шуфтерле *. Тут Карл получил письмо, схватил — сейчас он счастливейший человек на земле! Ага, вот теперь читает!.. Карл не слышал ни болтовни Шпигельберга, ни голосов других. Письмо выпало у него из рук. Подумать — такой сильный, смелый парень, наверняка справится с целой оравой дюжих молодцов, а поддался на глупую интригу. Он только растерянно, беспомощно взмахнул руками и выбежал из комнаты. Роллер поднял письмо, засопел. Швейцер заглянул через его плечо. Потом оба посмотрели друг на друга. Берегись, подлец!

Для Шпигельберга настал великий час: наконец-то он сможет осуществить свои грандиозные планы, он соберет разбойничью шайку в Богемских лесах... Шнайдерайт покачал головой. Никуда не годная затея! Но Шпигельберг был чертовски хитрый демагог, а демагоги всегда поначалу имеют успех. Висельник Шуфтерле согласился первым, потом Рацман, Гримм, за ними Роллер, Швейцер и другие. Свобода, уверяет Роллер, должна иметь господина,— неплохая мысль. Но, к сожалению, свобода, о которой говорил Шпигельберг, смахивала на анархию, и уж конечно господином хотел быть он сам. Можно подумать, что он решил немного «поиграть в Бакунина». Но другие и не думали выбирать его своим атаманом, они сразу подумали о Мооре, а верный Швейцер прямо это сказал.

Карл овладел собой и вошел в корчму. Смертельно бледный, но уже с высоко поднятой головой. Все не сводили с него глаз. Моор словно окаменел. Огонь Прометея пылал в его груди? Деяния великих мужей древности воскрешались в его мозгу? Или дух Германа ** восставал из пепла его несбывшихся надежд? Карл решительно выступил из полумрака. Схватив со стола шпагу, он заговорил, сначала тихо, потом, не сдержавшись, закричал. Он швырнул в лицо уродливому миру всю свою ненависть: «Люди... Люди? Нет, не люди, лживые, коварные крокодилы, племя убийц, стая гиен, порождение ехидны...» Карл неистовствовал. Он хотел отравить океан, чтобы из всех источников подлый род человеческий впивал смерть; протрубить на весь мир в рог восстания; воздух и землю поднять против этой стаи гиен, раздавить, растерзать их... Все кипело в нем. «Пойдем с нами! Да здравствует атаман!»,— раздавалось со всех сторон. И тут словно пелена спала с глаз Моора: глупец, стремящийся назад в клетку, в старую дворянскую тюрьму! Дух его жаждал подвигов, дыхание — свободы. Он попирал сам закон. «Решено — я ваш атаман!» Они поклялись ему в верности и послушании до гроба, и он тоже дал клятву верности...

Занавес упал, и Шнайдерайт очнулся.

■

Антракт быстро кончился. Прозвенел звонок, зрители толпились в дверях. Погас свет. Гундель взяла Шнайдерайта за руку. Она с нетерпением ждала, когда же появится Амалия. Вот наконец и она. Гундель с первого взгляда поняла: Амалия знать не желает Франца. Она любит Карла и, наверное, сумеет разорвать паутину лжи... Амалия сразу внушила ей доверие: она была сильной, красивой. Может быть, ей не хватало тепла и трогательной беспомощности. Конечно, гордая дворянская дочь никого не боялась. Нет, Амалию он не проведет, этот двуличный

* От Schuft *(нем.)* — негодяй.

** Герман (Арминий) — вождь херусков, разбивший в союзе с другими германскими племенами римские легионы (9 г. н. э.).

Франц. С какой ненавистью швырнула она ему в лицо свой ответ! Она назвала Франца его настоящим именем: чудовище. Она призналась, что любит Карла, и в словах ее звучал вызов. Правда, о любви она говорила слишком громко, но такова уж ее манера: Амалия была разговорчивая девушка. Карл проклят отцом! Но в этом она винила только своего дядю, старого графа... Гундель разволновалась: неужели и Амалия не разгадала, какую роль играет Франц? Почему она не поговорит о Карле со старым Моором? Почему не сделает все, чтобы вымолить Карлу прощение? Неужели она тоже верит клевете Франца? Нет, она не боится его угроз. Она сорвала с шеи жемчужное ожерелье и бросила его к ногам Франца. И все же Гундель осталась недовольна: для спасения Карла не было сделано еще ничего, совсем ничего!

Темнота окутала замок. Время шло, драгоценное время — недели и месяцы. Карл пропал без вести. Только старый граф преграждал Францу доступ к власти.

Старец, дремлющий в креслах, был действительно очень слаб и немощен, Амалия бодрствовала у его ложа, чтобы уберечь его от волнений. Но Гундель уже разочаровалась в ней. Если Амалия не верит клевете, почему же она не заставит графа вернуть Карла? Уверенная в порядочности Карла, она только играла на клавесине, пела песни, но ничего не предпринимала! А как раз настало самое время действовать, потому что Франц привел посланца, переодетого в чужое платье,— звали его Герман,— и тот наплел графу с три короба что-то о войне между Пруссией и Австрией; смысл его долгих речей сводился к тому, что Карл умер.

Тут в замке Моора начались вопли, обмороки, беготня. «Мое проклятие убило его! — кричал старик.— Он умер в отчаянии!» И только Амалия разгадала переодетого Германа: «Низкий подкупленный обманщик!» Но низкий подкупленный обманщик утверждал: «Его последний вздох был: «Амалия», и сразу же — Гундель даже за голову схватилась,— сразу же Амалия поддалась на эту провокацию. «Карл умер!» Гордая Амалия — просто невероятно! — поверила этим бредням. «Горе, горе мне!» — кричал старик и раздирал себе лицо. Франц прочел последнее послание Карла, кровью написанное на мече, которое, как и следовало ожидать, гласило: «Франц, не оставляй моей Амалии!» — ну, конечно, а как же иначе! — и «Амалия, твою клятву разрешила всемогущая смерть!» Грубое надувательство, его изобличил бы ребенок, одна Амалия не могла разобраться, что к чему.

В комнату вошел радостный Франц. Он был у цели, все его мечты сбылись. Чудовище стало властелином в замке Моора. Он сбросил с себя личину кротости и добродетели, и Гундель вполне поверила ему, когда он сказал, что вонзит шпоры в тела своих крестьян, что в его владениях картофель станет праздничным угощением, а бледность нищеты — отличительным признаком его подданных. «Смотрите на Франца, каков он есть, и ужасайтесь!» — вскричал злодей.

■

Трагедия приближалась к развязке... Свидание Карла с Амалией, освобождение старого графа, конец Франца фон Моора — и Карл сознает свою страшную ошибку... Шнайдерайт уже не возмущался тем, что справедливое возмездие подменяется здесь индивидуальным террором. Все ясно: подлинная революционная практика невозможна без революционной теории. Зато революционный дух звучал в каждом слове пьесы. Разбойник Моор уже не просто заблуждающийся анархист. Он не отрекался от своих деяний. Он хвалился, что собственной рукой прикончил министра, который перешагнул через труп своего предшественника и

лестью добился положения первого любимца государя; советника, который продавал почетные чины и должности тому, кто больше даст, и прогонял от своих дверей скорбящего о родине патриота; попа, который с амвона плакался на упадок инквизиции. Да, это было великолепно, захватывающе. Шнайдерайт пришел в восторг. А когда Франц лестью и угрозами стал домогаться Амалии, она, выхватив из ножен шпагу, воспротивилась насильнику. Потрясающе! Гундель была удовлетворена.

И вот наступил конец. «Жертва за жертву!» — кричала шайка. Амалия погибла от руки Карла Моора. Он с лихвой заплатил за свою ошибку. Только глупец мог надеяться, что преступления способны улучшить мир, а беззаконие — вернуть законам их силу, только глупец мог смешивать справедливость и свободу с анархией!

Знал ли он, спрашивал себя Шнайдерайт, знал ли этот несчастный Карл Моор, что когда-нибудь поднимутся на борьбу другие — те, кто осуществят его мечты и сметут с лица земли несправедливость? Знал ли он в ту роковую ночь о грядущей заре человечества?

Гундель и Шнайдерайт молча стояли на трамвайной остановке. В тесноте вагона они не говорили о спектакле.

■

Собираясь на концерт, Хольт долго раздумывал, не взять ли с собой Анжелику. В пятницу они встретились, но он так и не решил, пригласить ее или нет. В этот вечер он больше, чем когда-либо, казался себе обманщиком — ведь билет предназначался Гундель. Нет, он обязан избавить Анжелику от лжи. Она заслуживает большего, она не должна ютиться на задворках его памяти.

— Чем все это кончится? — спросил Хольт, когда они в сумерках бродили по опушке леса.

— Не знаю,— ответила Анжелика.

— Зато я знаю,— сказал Хольт.— Через год я поступаю в университет. Неизвестно, останусь ли я здесь или отправлюсь к Эберсбаху. Если я уеду, между нами все будет кончено.

— Но год — очень большой срок! — воскликнула Анжелика, и Хольт почувствовал, что она не верит ему.

В результате он пришел на концерт один. Зал, где играл сегодня симфонический оркестр, находился на окраине, недалеко от бывшего «Варьете», где выступала театральная труппа. Гундель и Шнайдерайт сейчас там.

Свет погас. Музыка плыла мимо Хольта. Его мучали мысли о Гундель. В антракте, расхаживая по фойе, он подумал, не вернуться ли домой.

Но тут он встретил Черника и с облегчением вздохнул, видно, он просто страдал от одиночества, хотя и был среди людей. Потом объявился Готескнехт, и Хольт, наконец, познакомил его с Черником. Он был не прочь столкнуть их лбами — достаточно только заговорить о классическом идеале гуманизма. Но когда к ним присоединился и старый Эберсбах, Хольт умолк окончательно и больше не раскрывал рта.

Эберсбах, на сей раз без трубки и в обыкновенных ботинках, завел речь о своей профессуре, о том, что философский семинар в университете ведется в духе его старого противника Лаутриха.

— Если они думают, что меня это волнует...— Он постучал себя пальцем по лбу.

Черник разозлился:

— Так плюнь на эклектическую похлебку, которую он там варит!

Хольту их разговор был неинтересен, и он отошел.

— Послушайте! — крикнул ему вслед Церник.— Может, посидим потом где-нибудь часок-другой?

Они условились встретиться на трамвайной остановке.

Рассеянный и невеселый, Хольт продолжал расхаживать по фойе и вдруг увидел Каролу Бернгард.

Она стояла, прислонившись к колонне, в бледно-желтом платье, хрупкая, невесомая и как будто неприметная, но все мужчины оглядывались на нее. Когда Хольт подошел, она заметно побледнела.

— Почему ты испугалась? — спросил он.

Его вопрос смутил ее еще больше. Но если он может вывести ее из равновесия, значит, он не совсем ей безразличен?

— Ты вернулся еще в марте,— сказала она, и голос ее звучал гораздо глуше, чем прежде.— Почему же ты ни разу не позвонил мне?

— У меня не было времени,— соврал Хольт.— День и ночь корплю над книгами. А потом я ждал лета. Лето — отличное время, можно пойти погулять, на воскресенье поехать в горы... Только соловей уже не поет, соловья мы с тобой прозевали.

Раздался третий звонок.

— Пойдем,— сказал Хольт.— Рядом со мной есть свободное место.

■

Концерт кончился. Хольт не испытывал ни малейшего желания идти в кафе с Церником и всей компанией. Он предпочел бы побродить с Каролой по Хоэнхорсту. Но подойдя к трамвайной остановке, он столкнулся с Церником. Пришлось представить ему Каролу. Церник посмотрел на нее как на привидение. В трамвай удалось втиснуться только Эберсбаху и Цернику; Готескнехт, Хольт и Карола остались ждать следующего. Войдя в вагон, они встретились с Гундель и Шнайдерайтом. Готескнехт, разумеется, сразу пригласил обоих в кафе.

Хольт уже и не помышлял о том, чтобы уединиться с Каролой. На остановке их ждали Церник и Эберсбах. Церник повел всех в погребок. Там он заказал себе кофейник натурального, безбожно дорогого кофе.

— Э-э, да ты поощряешь спекуляцию? — сказал Эберсбах, закуривая свою неизвестно откуда взявшуюся трубку.

Церник покраснел:

— А ты, конечно, не поощряешь! Небось тоже бегаешь за табаком на черный рынок?

Эберсбах вынул трубку изо рта.

— Для тебя я, между прочим, «господин профессор», любезнейший,— и заказал себе кофе.

Хольт сел возле Каролы. Против него сидела Гундель, и ему невольно приходилось смотреть на нее. Она разговаривала со Шнайдерайтом. Хольта удивило ее возбуждение, непривычное выражение лица — наверное, она все еще переживала увиденное в театре.

Карола без умолку болтала что-то о музыке, о Брукнере, о брукнеровской Пятой симфонии, о первом ее варианте, но Хольта это нисколько не интересовало. Все его внимание было поглощено Гундель и Шнайдерайтом.

— Карлу Моору следовало почитать «Государство и революция» Ленина,— пошутил Шнайдерайт.

В подобных случаях Готескнехт иногда хитрил и, делая вид, что принимает шутку всерьез, брал Шнайдерайта в оборот. На сей раз он, к сожалению, упустил эту возможность и только засмеялся.

— Шутки в сторону: вам понравилось? — спросил он.

Хольт насторожился.

— Найти немного радости, веселья можно во всем...

«Что? Ах, да, это же Карола. Проклятая болтовня». Хольт с трудом разобрал, что ответил Шнайдерайт.

— Об этом можно говорить часами.

— Интересно, давайте послушаем.

«А, Церник? Нет, с ним бесполезно разговаривать, пока он не получит свою дозу кофеина».

В наступившей тишине отчетливо прозвучал густой бас Шнайдерайта. Его сосредоточенное лицо светилось воодушевлением.

— Эта пьеса звучит как обвинение против преступлений классового общества,— сказал он,— как призыв уничтожить несправедливость, но в то же время и как предостережение: анархией несправедливость не уничтожишь...

Обвинение, призыв, предостережение — неплохо сказано. Пожалуй, и Хольт сказал бы то же самое.

— Но для меня превыше всего Брамс...

«Да когда же она замолчит, наконец! Что еще сказал Шнайдерайт? «У меня было такое чувство, что...» Тише, тише! Он не очень-то любит разглагольствовать о своих чувствах».

Но Готескнехт не отставал от него.

— Простите, какое у вас было чувство?

— Я чувствовал себя умнее тех, кто на сцене...

Лицо, на котором блестели светлые глаза, вдруг приблизилось к Хольту, словно показанное на экране крупным планом. Откуда в нем столько уверенности, столько веры в себя?

— ...Они хотели добиться справедливости, но не знали как, не видели взаимосвязи явлений, поэтому ничего и не добились...

«Они блуждали с завязанными глазами, в бессмысленных поисках... Да, так оно и было, пока не прозвучал сигнал к пробуждению и...»

— Чтобы уничтожить несправедливость, должны были прийти мы...

Сам того не замечая, Хольт одобрительно кивал в такт его словам.

— Кто это мы? — спросил Готеснехт.

«Дурацкий вопрос. И так ясно. Шнайдерайт имел в виду...»

— Классово сознательный пролетариат.

«Почему Готескнехт так удивленно качает головой?»

— Классово сознательный пролетариат как наследник всей немецкой культуры — это новость, потрясающая новость!

«Какая ирония! А как спокойно, почти небрежно, Готескнехт набивает свою трубку, как пускает густое облако дыма. Какое высокомерие, черт побери!»

— Ну и дрянь же ты куришь!

— Извините, господин профессор!

При слове «профессор» все улыбнулись, только Церник тщательно протер очки, надел их и мрачно посмотрел на Готескнехта.

— Минуточку!

Справа продолжалась светская болтовня, что-то про сады.

— Розы кажутся мне слишком строгими... Ничто мне так не мило, как нежные маргаритки на их тонких, длинных стеблях...

«Ничто мне так не противно, как твоя болтовня, сейчас, когда назревает дуэль между Церником и Готескнехтом...»

— Минуточку! Что вы понимаете под наследием немецкой культуры? Последние слова «Фауста» или свободу в сфере эстетической видимости?

— Разум, справедливость и любовь.

«Это произнес Готескнехт, нет, его устами — Натан Мудрый. Жаль, что Церник опять увял — не хватило кофеина. Ну где же кофе? Несите скорей! Вот увидите, как Церник общипет Готескнехта вместе с его классической чепухой. Ведь Натан, мудрый прекрасный Натан, он тоже

остается в сфере эстетической видимости, когда требует разума, справедливости и любви».

— Как раз этого мы и требуем! — раздался бас Шнайдерайта. Все повернули головы.

«Жаль — именно сейчас, когда в спор хотел вступить Шнайдерайт со своим антиутопическим и, конечно, воинствующим гуманизмом,— как назло подали кофе».

— Карола, прошу! Взбитые сливки!

«Только бы перестала, наконец, молоть вздор».

Помешивая кофе, Эберсбах сказал Кароле:

— Если бы ты знала, чего они только не запузыривают в эти взбитые сливки! Нет, я бы не стал есть такую дрянь!

«Эберсбах неподражаемо бестактен».

Черник усмехнулся, Карола его явно забавляла. Крошечными глотками он пил горячий кофе. Наконец воспрянув духом, он пристально поглядел на Готескнехта и воинственно нахмурил высокий лоб. Но Готескнехт уже повернулся к Шнайдерайту.

— Я верю, что вы говорите серьезно. Допустим, что ваша партия действительно преследует столь идеальную цель. Но среди ваших лозунгов я такого не читал... а до тридцать третьего года и подавно. Тем не менее я готов предположить, что это так.

Наступила пауза. Напряжение все возрастало. Готескнехт отпил кофе и достал трубку. Да, признаться, он неплохо разыгрывает номер, использует весь свой интеллектуальный реквизит.

— Свобода, человеческое достоинство и великое понятие — гуманность... Это сон, Шнайдерайт! Я желаю вам добра, а потому и предостерегаю. Когда я был в вашем возрасте, и даже совсем недавно, мне тоже снился этот сон...

Хольт затаил дыхание. «Ну и Готескнехт, какие номера откалывает! Он, оказывается, и не думает защищать свою утопию. он просто подсовывает ее Шнайдерайту. Погоди же! Только вздумай разводить демагогию, я за тебя возьмусь. Уж я-то кое-что знаю о твоих воззрениях».

— Я хотел бы,— продолжал Готескнехт,— избавить вас от пробуждения, которое суждено было испытать мне. Несправедливость, как вы ее называете,— вовсе не злой дух, витающий над водами. И ее нельзя искоренить с помощью одного идеала гуманности. Несправедливость коренится в самом человеке. Она присуща самой природе человека и отомрет только вместе с ним.

— От такого пессимизма с ума сойдешь! — прогудел бас.

Количество кофеина, поглощенное Черником, очевидно, достигло нормы. «Так, начинается первый раунд. И сразу — прямой удар левой».

— Уж не у иезуитов ли вы учились спорить?

Эберсбах даже развеселился.

Черник продолжал:

— Вы разыгрываете из себя защитника идей классического гуманизма и, не переводя дыхания, тут же отрицаете его, как иллюзию!

«Все. Готескнехт нокаутирован в первом же раунде. Но это еще ничего не значит». Хольт хорошо знает эти приемы. Черник дважды в неделю кладет его на обе лопатки. А ответить на всю эту чушь насчет несправедливости, якобы присущей человеку, может с таким же успехом любой.

Нетерпеливо, настойчиво, будто из другого мира, прозвучал бас Шнайдерайта. В этот вечер он был словно голосом самого Хольта:

— Мечта, идеал и прочее — все это прекрасно! Но понятия справедливости и несправедливости — общественные категории, и в действительности речь идет об уничтожении классового общества. У нас, коммунистов, нет «идеальной» цели, как вы говорите. Мы должны прежде

всего ликвидировать частную собственность на средства производства. И тогда вы увидите, что понятие общественной несправедливости утратит свое значение.

Хольт встал. Попытки Готескнехта прикрыть отступление — все эти реплики, тезисы и антитезы — уже нисколько его не интересовали. Интересовала его только Гундель. А Гундель переводила взгляд с Готескнехта на Шнайдерайта, потом на Церника, Каролу, Эберсбаха... Она на всех смотрела одинаково, в том числе и на него...

— Карола, пойдем! — позвал он.

— До свиданья,— раздавалось со всех сторон.— Мы еще поговорим, господин Готескнехт! Счастливого пути! Прощайте!

В дверях Хольт обернулся: Гундель рассеянно подала ему руку. Вероятно, она и не заметила, что он ушел.

На улице Хольт взял Каролу под руку.

— Ты весь вечер был такой молчаливый. О чем ты думал?

— О тебе.

— Я это чувствовала!

— Ах... ты чувствовала! Значит, вечер не совсем потерян.

■

Все газеты комментировали результаты плебисцита и полностью печатали постановления о национализации. Хольт бегло пробежал газетные полосы и вдруг наткнулся на лаконичный заголовок: «Убийство». С нарастающим волнением он прочитал: «Шайка грабителей, переодетых в форму Советской Армии, с некоторых пор совершает налеты на деревни в районе Магдебурга и Дессау и похищает скот, преимущественно молодняк. В ночь с субботы на воскресенье они были застигнуты полицейским патрулем на месте преступления в деревне Браунсгейм. Предполагаемый главарь шайки открыл огонь из пистолета, убил сержанта полиции Гейнца П. и тяжело ранил полицейского Вольфганга К. Убийце и его сообщникам удалось скрыться».

Далее следовали приметы убийцы: «Возраст — от восемнадцати до двадцати одного года, рост — около метра восьмидесяти, волосы светлые, лицо круглое...»

Описание очень скупое, но для Хольта вполне достаточное. Фетер! Светловолосый, с розовым ребячливым лицом. Он еще раз прочел заметку. Сомнений нет, это Кристиан Фетер, вечно хнычущий жирный увалень, который всегда чувствовал себя обойденным. Это он, их шефповар в горах, вытапливающий на костре сало из свиной туши. Это он, тощий, одичавший ландскнехт на побегушках у Вольцова и, наконец, деклассированный тип, спекулянт. Теперь он уже погиб окончательно. В девятнадцать лет! Когда они были еще юны и невинны, они поклялись у Вороньей скалы в дружбе и верности до гроба... «А кто нарушит эту клятву, тот предатель»,— сказал тогда Фетер.

Хольт выбежал из дому. Он быстро шагал по улицам, взбудораженный, в смятении. Клятва верности, потом война, их «великое приключение», к которому они так рвались. И вот оно кончается виселицей.

Хольт ощущал нависшую над ним опасность. Он обязан сообщить о Фетере.

Он поехал в город, в полицей-президиум. Здесь он однажды провел ночь. Тогда он был очень близок к тому, чтобы пойти по стопам Фетера. Но не осталось ли у того расписки? Нет, не стоит напоминать об этом. Только лишние неприятности! Фетер, наверное, и забыл о такой мелочи.

В отделении уголовного розыска он положил перед дежурным газету и без обиняков сказал:

— Это Кристиан Фетер. Мать его живет в Дрездене. Адреса я не знаю. Раньше он приезжал сюда, когда еще занимался спекуляцией, покупал здесь чулки. Обычно он заходил в пивную на вокзале, справа, за восточным выходом.

Дежурный взял в руки газету и с интересом посмотрел на Хольта:

— Вы не ошибаетесь?

— Вряд ли. В декабре он меня уговаривал войти с ним в компанию. Я не отнесся к его словам серьезно. Фетер всегда был глуповат. Да если бы я и пришел тогда к вам — намерение еще не улика.

— Да, намерение — не улика. Вот попытка осуществить намерение — это уже серьезнее. Но до попыток тогда дело не доходило?

— Во всяком случае я об этом ничего не знаю.

Хольт положил на стол удостоверение личности.

— Мой отец директор завода и профессор университета. На случай, если вы захотите навести обо мне справки.

Дежурный, не глядя, вернул ему удостоверение.

— Кажется, вы хотели еще что-то сказать? — спросил он.

— Абсолютно ничего.— Хольт повернулся к двери.— Фетер ведь не родился убийцей. Вы понимаете? Мы с ним учились в одном классе. Было бы куда лучше, если бы мне не пришлось идти к вам.

6

Наконец-то каникулы! Хольт решил пока никуда не уезжать. Он составил себе обширную программу. Несмотря на хорошие отметки по всем предметам, по иностранным языкам он отставал.

Церник приходил часто и с каждым разом все более скептически разглядывал Хольта.

— Вкалываете, будто кто вас подгоняет! — сказал он однажды.

— Чепуха! — ответил Хольт.— Просто я испытываю духовный голод, вот и все.

— Надо отдать вам должное,— продолжал Церник.— Вы усердны, как пчела. Духовный голод, говорите? Смотрите не обожритесь духовной пищей! Голодные глотают все подряд, без разбора, и умирают от несварения желудка.

— У меня отличный желудок,— сказал Хольт.— Я своего рода духовное всеядное.

— А вот это мне не нравится! — воскликнул Церник, просматривая по своей привычке лежавшие на столе книги.— Как это возможно? Вильгельм Вундт, Фрейд, Вейнингер! — Он был вне себя.— Помолчите, сейчас говорю я! Вы глотаете бред душевнобольного самоубийцы и в то же время читаете Маркса. Стыдитесь!

— Мне не совсем понятно, почему вы так волнуетесь,— сказал Хольт.— Я просто не хочу быть односторонним!

— Вы прекрасно знаете, что вам нужна ясность, а не фантасмагории Фрейда и Вейнингера!

Хольт пожал плечами:

— Возможно. Но я придерживаюсь слов Гёльдерлина: «Проверь все и выбери лучшее».

Церник окончательно вышел из себя.

— Послушайте-ка, что я вам скажу! — крикнул он, поправляя очки, и продолжал уже спокойнее: — Вы не можете проверить все! И к тому же, проверяя, вы предоставляете выбор случаю. А может быть...— он зло посмотрел на Хольта,— может быть, и вашим предубеждениям? Всяким там импульсам, сохранившимся еще с нацистских времен, а?

Он взялся за ручку двери.

— Что ж вы убегаете, не договорив? — спросил Хольт.

— Я не убегаю. А от вас и подавно. Я иду вниз, к вашему отцу. Здесь мне решительно нечем дышать.— Уже стоя в коридоре, он бросил на Хольта странный взгляд.— Вы мне не нравитесь. У вас кризис! Что с вами происходит?

— Ничего. Что со мной может происходить?

— Подумайте. Не окажитесь опять в тупике! Выговоритесь, я хочу вам помочь.

— Право же, не понимаю, что вы имеете в виду.

Но оставшись один, со своими книгами, которые Церник переворошил на столе, Хольт понял, что тот прав: действительно что-то с ним неладно. Раньше он все объяснял переутомлением. Теперь, во время каникул, он и спал и отдыхал достаточно, но его ничто не радовало. Он мечтал найти свое место в жизни, приобщиться к сокровищам разума, которые, как ему казалось, выше будней, выше противоречий действительности, выше вражды двух миров. Но человек, отвергший старый мир и чуждый новому, человек, очутившийся между классами, без опоры и поддержки,— такой человек обречен на полное одиночество.

С Церником он не мог говорить начистоту. И ни с кем не мог. Тот, кто сам не чувствовал себя вырванным с корнем из жизни, не мог его понять.

Он знал только одного человека, который тоже был одинок,— Блома. В душные, горячие и влажные июльские ночи, беседуя с Хольтом об истории математики, Блом устало смотрел в окно, мечтая о спасительной грозе.

— Пора уже быть ночи. После такого дня темнота вдвойне желанна.— Он помолчал.— Вам ведь тоже знакомо чувство недовольства собой и всем на свете, когда ничто не мило...

«Да, ничто не мило, и ты сам себе не мил». Хольт не ответил, и Блом заговорил опять:

— Читайте чаще великого Гете. Его поэзия утешает. Она примиряет нас со страданиями. Мы все слишком молоды, чтобы не иметь желаний. А вы, милый Вернер, уже слишком стары, чтобы только играть.

■

Раз в неделю Хольт встречался с Анжеликой. Обычно они гуляли в одном из ближних лесов, иногда он водил ее в тесный зал пригородного кино. Больше они нигде вместе не появлялись.

Анжелику это вполне удовлетворяло. Она и не чувствовала, что сейчас каникулы,— она жила только ожиданием того дня, когда увидит Хольта. В сентябре Анжелике исполнялось шестнадцать. Родители ее давно умерли. Еще с гитлеровских времен у нее был опекун, какой-то почтовый служащий, но он нисколько не заботился о своей подопечной.

Хольт был ее единственной надеждой. Поняв это, он все чаще упрекал себя. Он не имел права вторгнуться в ее жизнь, привязать ее к себе. Он виноват в том, что все мысли и мечты Анжелики вращались вокруг него.

Еще не поздно порвать. Каждый раз он шел к ней с твердым намерением положить конец этим встречам, но сила и непосредственность ее чувства всегда побеждали его. Он только напоминал:

— Когда я поступлю в университет, между нами все будет кончено.

Июльский зной миновал, над городом пронеслись тяжелые грозы и снова вернулась веселая летняя погода. Но теперь с гор дул свежий ветер, смягчавший жару. К концу дня ветер стихал, воздух становился теплым и прозрачным.

В один из таких вечеров, когда солнце, нырнув в серо-голубые с фиолетовыми краями облака, спускалось к горизонту, Хольт и Анжелика шли к лесу.

— Год — большой срок,— сказала Анжелика.— У нас еще много дней, правда?

Хольт решился начать неизбежный разговор.

— С осени и до экзаменов у меня почти не останется свободного времени. Ты должна примириться с тем, что после каникул мы будем встречаться очень редко.

— Но я смогу каждый день видеть тебя в школе. Может быть, ты в перемену иногда заглянешь ко мне, чтобы я знала, что ты меня не забыл?

Каждое ее слово завораживало его и вызывало чувство стыда. Он шел, опустив голову.

По обеим сторонам дороги пышно рос папоротник. На опушке леса они увидели заросшую мхом каменную скамью. Пора было возвращаться в город, но Анжелика потянула его за собой, и они сели.

— Ты утром приходишь в школу всегда такой задумчивый...— сказала она, перебирая длинные пряди своих волос,— или расхаживаешь с Готескнехтом во дворе, погруженный в свои мысли, или смотришь на меня, и глаза у тебя такие мрачные...

Она замолчала.

— И что же? — спросил Хольт.

— Ничего. Просто гляжу на тебя и чувствую, как ты мне нравишься.— И помолчав, добавила: — И не только тогда, а, собственно говоря, всегда.

— Ты ведь знаешь, что через год все кончится. И не надо усложнять.

— Я не понимаю!

Она прижала его руку к своей груди и на каждый палец намотала прядь волос.

— Вот я и поймала тебя! — воскликнула она.— Мои волосы заколдованные, ты теперь от меня не уйдешь! — Она положила голову ему на плечо.— А почему все должно кончиться, когда ты поступишь в университет?

Этого она еще никогда не спрашивала. Прежде она принимала все его слова — порой испуганно, порой недоверчиво, но всегда молча и без возражений.

— Потому что ты меня нисколько не любишь, вот почему! Я для тебя глупая девчонка!

— Неправда! Дело совсем не в этом!

— А в чем же? Если я не глупая девчонка, значит, ты можешь сказать мне правду.

Он задумался.

— Тебе еще нет шестнадцати,— сказал он.— Тебе кажется, что ты меня любишь, а на самом деле это, наверное, просто увлечение.

— Нет,— сказала она,— увлечение было в прошлом году. Сначала мне немножко нравился Лорентц, а потом Готескнехт, потому что у него седые виски.— Она засмеялась.— Ну и глупая я была! Но сейчас — это не увлечение. Я люблю тебя, я в этом уверена. С тех пор как я тебя знаю, я поняла, что такое любовь.

— Я тоже когда-то хотел узнать, что это такое,— сказал Хольт.— Но тогда были плохие времена для любви, и все, что было в моей душе, растоптали и уничтожили. Я иногда думаю, что вообще не смогу больше любить.

— Ты слишком много думаешь,— сказала Анжелика.— Ты вообще не думай о любви, иначе это уже не любовь. Ты просто люби, люби по-настоящему, как я!

Она подставила ему губы. И он забыл все, что говорил и думал минуту назад, забыл, что ей еще нет шестнадцати и что она, конечно, не знает, что такое любовь, хотя и говорит о ней.

А, может быть, все-таки знает? Ему захотелось проверить, поддастся Анжелика искушению или окажет сопротивление. Она покорно, доверчиво и с любопытством отдавалась его поцелуям, но настала минута, когда она боязливо и умоляюще сказала «нет». И повторяла свое «нет» все испуганнее, пока он не отпустил ее.

■

Утром пришло отрезвление. Он вспомнил о Гундель. Чего он ждал от нее, на что надеялся? Он старался не думать об этом и только чувствовал, как им овладевает все нарастающая тревога. Чем больше приближался час отъезда Гундель в лагерь, тем болезненнее сжималось его сердце.

В конце июля, за несколько дней до ее отпуска, он решил в последний раз отговорить ее от поездки.

Тяжелая гроза пронеслась над городом. Дождь стучал в окна и барабанил по крыше, когда Хольт пошел к Гундель.

Он остановился в дверях. Она собиралась уходить и причесывалась перед зеркалом.

Увидев ее, Хольт растерялся. Он прикрыл за собой дверь и с напускным равнодушием стал рассматривать лежавший на столе гербарий. В Гундель все дышало гармонией. И Хольт неожиданно сказал:

— Да, я хотел тебя спросить... Ты счастлива?

Она провела расческой по волосам, и вдруг рука ее замерла.

— Странный вопрос... Да, счастлива...

— Но?..

— Никакого «но».— Гундель подошла к нему.— Почему ты так смотришь на меня? — Она прислонилась к столу.— Я была бы счастлива... У меня тяжело на сердце только из-за тебя.

— С чего бы это! — сказал он, стараясь за резкостью тона скрыть смущение.

Она в задумчивости посмотрела на него.

— Не понимаю, почему ты таишься от всех, почему сторонишься людей?

— Почему я сторонюсь людей,— повторил он,— почему таюсь от тебя и лгу тебе и... Оставим это.— Он вытащил из кармана смятую сигарету и закурил.— А ты никогда не сторонилась людей? Да? Ну вот, видишь!

— Так ведь это было тогда. Это было вынужденное одиночество!

— А если со мной происходит нечто подобное сейчас?

— Как ты только можешь так говорить! — воскликнула она.— Тебе никто не желает зла! У тебя могло бы быть столько друзей! Не вини других в том, что ты все время один.

— Между «не желать зла» и «быть другом» существует много возможностей. Но чтобы это понять, надо уметь чувствовать оттенки.

Он подошел к окну и выбросил окурок. Дождь уже кончился.

— Церник, тот, по крайней мере, знает, что люди моего типа ему чужды, хотя совсем недавно я был обыкновенным средним немцем. Он изучил мой тип в лагерях военнопленных, in vitro, как сказал бы отец, вот он и сражается со мной in vivo *. Церник хорошо чувствует оттенки. Для него существует не только схема — желать зла или добра, быть врагом или товарищем. Церник видит, что между этими полюсами ле-

* In vitro — в пробирке; in vivo — наблюдение на живом организме *(лат.)*.

жит огромное пространство, на котором может развернуться и проявить себя человеческая индивидуальность. Но мы не на уроке Готескнехта, я не хочу читать доклад. И я вовсе не пытаюсь оправдываться, Гундель. Тогда я был на стороне твоих врагов. А Шнайдерайт — нет. Он был на твоей стороне всегда.— Хольт стоял у окна, засунув руки в карманы.— Вы очень странные, ты и твой Шнайдерайт. То вы пытаетесь внушить мне, что и я был порабощен и угнетен при Гитлере, совсем как вы, и вовсе не был ни в гитлерюгенде, ни на зенитной батарее. А то вдруг со всей жестокостью даете мне понять, что я, по сути дела, настоящий фашист и ваш враг и никогда уже не смогу избавиться от своих заблуждений. Вы поворачиваете дело так, как вам больше нравится.

— Я очень стараюсь, но никак не могу понять тебя,— сказала Гундель.

— Не можешь понять меня... Шнайдерайт тоже не может. Он понимает только задачи своей молодежной организации, сущность антифашистско-демократического строя и социализм. Но в социализме я тоже немного разбираюсь. Ликвидация частной собственности на средства производства, национализация ключевых отраслей промышленности — согласен! Если бы я должен был участвовать в плебисците, я искренне проголосовал бы за это. Я и за земельную реформу — я даже очень точно знаю, почему я за национализацию и земельную реформу! А вообще я за то же, за что ты и Шнайдерайт. Но на свете существуют не только заводы и не только поместья. Есть еще духовный вид частной собственности: мысли, чувства, мечты, в общем надстройка, идеология. У каждого своя личная традиция восприятия и познания, и эту традицию нельзя изменить, уничтожив право собственности. Исход плебисцита мою жизнь, в частности мое мышление, чувства, ничуть не изменил. Уж если во мне что-нибудь изменилось, то скорее под воздействием романа Бехера, под влиянием Мюллера или бесед с Церником. Я читаю Маркса. и с каждым днем понимаю его все лучше. Я учусь, учусь и учусь, как требует Ленин, и постепенно, исподволь, начинаю мыслить по-другому. Да, Гундель, я должен стать другим... Но другим становишься не в результате решения большинства. Это долгий и трудный процесс.— Его голос звучал устало.— Прежде я не сознавал так отчетливо все, что высказал тебе сейчас. И рад, что наконец сказал все. Будь великодушна, не лови меня на слове, если я говорю не очень складно. Я знаю, что мои представления еще во многом ложны. В сущности, у меня нет причин быть недовольным вами. Я должен был бы быть счастлив — как ты.

Хольт понизил голос, он говорил словно с самим собой.

— Мои желания сбудутся — аттестат зрелости, университет, защита диссертации. Я еще стану профессором, как отец. Во мне еще много нерастраченных сил. Я не только мечтаю — я работаю, и очень энергично. Но у меня есть еще одно желание. Не знаю, исполнится ли оно...

Гундель взглянула на него вопросительно.

— ...Я хочу, чтобы ты была со мной, а не со Шнайдерайтом. И только со мной!

— Вернер... Чего ты от меня хочешь?

Он посмотрел в окно. Гроза миновала. На западе плыли разорванные облака, и вечернее солнце окрасило небо в кроваво-красный цвет.

— Есть во мне что-то такое,— сказал Хольт,— не знаю, как это назвать, что заставляет меня блуждать по жизни, ошибаться, лгать, а потом мучиться чувством вины. Само по себе это «что-то» не так уж скверно. Только оно искалечено, заморожено, засыпано обломками. Но оно жаждет освободиться, оно шевелится, и рвется наружу, и хочет жить, и жаждет ответа...

— Не понимаю! — воскликнула Гундель с отчаянием.— Не могу понять, как ни стараюсь!

— Прости,— сказал Хольт.— Я не собирался давать волю своим чувствам. Это можно позволить себе только наедине с собой.

Она покачала головой.

— Попробуй быть веселым, радуйся тому, что сейчас мир, и что мы вместе, и что мы все дружим...— в голосе ее послышалось отчаяние:— ...и что осенью увеличат пайки...

Хольт молчал. Он подумал: «Еще год, я уеду, и она забудет меня. С глаз долой — из сердца вон».

■

Вечером, когда Гундель ушла, Хольт сел ужинать с отцом. Потом они закурили. Профессор листал журналы.

— Извини,— сказал Хольт,— я хотел тебя спросить... Твоя работа доставляет тебе радость? Ты счастлив, когда можешь создавать?

Отец отложил журнал и задумчиво кивнул.

— Ты когда-нибудь думаешь о матери? — спросил Хольт напрямик.

Отец снова кивнул. Взгляд его был серьезен, складки на лице обозначились еще резче.

— Как же ты вырвался из этого окружения? — спросил Хольт.— Пожалуйста, скажи: как ты сумел найти счастье в работе?

— У меня не было выбора,— ответил отец.— Я не могу говорить об этом. Не забывай одного: в труде всегда счастье. Но если человеку достаточно этого счастья, значит, он был смертельно несчастен.

— Что значит быть несчастным, наверное, знает каждый,— сказал Хольт.— А вот смертельно несчастным...— Он задумался, подперев голову.— Человек в двадцать лет может быть смертельно несчастен?

— Нет,— сказал отец.— В двадцать еще не знаешь, что такое настоящее счастье.

Хольт поднял глаза.

— Ты сказал мне нечто очень важное, отец. Как утешает сознание, что в жизни мне предстоит и несчастье и счастье.

■

Хольт лежал в саду и читал по совету Блома «Исследование человеческого разумения» Юма. Кто-то подошел к его шезлонгу: Шнайдерайт.

— Добрый вечер,— произнес он.

Хольт опустил книгу. Его нисколько не удивил приход Шнайдерайта. Он словно ждал его. Тем не менее он сказал:

— Гундель нет дома. Вы ведь, наверное, к ней?

— Нет, я к вам.

Хольт встал и принес второй шезлонг.

— Погодите, я сейчас сварю колу.— «Пока закипит вода,— подумал он,— будет время собраться с мыслями». Позавчера он излил свою душу Гундель. Но она не сумела его понять и, видимо, рассказала обо всем Шнайдерайту. Как это нечестно с ее стороны.

— Значит, вы ко мне? — Хольт расставил чашки на садовом столике.

— Да, к вам,— Шнайдерайт сделал глоток.— Гундель позавчера была сама не своя,— начал он.— Она мне рассказала о вашем разговоре, и мне кажется, я хорошо понимаю, что вы хотели сказать. Жаль, меня не было при вашем споре, и мне очень трудно ответить вам.

— Разрешите сказать вам прямо? — перебил его Хольт.— Я что-то не припомню, чтобы я интересовался вашим ответом.

— Правильно. Да в этом и нет нужды. Ведь как складывались наши отношения с самого начала? Мы пытались подойти к вам — и так и этак, а вы нам все время показывали от ворот поворот.

— Пожалуй, правда,— согласился Хольт.

— Дайте мне договорить. Вы нас всегда выпроваживали, и весьма высокомерно. Поговорим же начистоту. Вы мелкобуржуазный индивидуалист и носитесь со своими проблемами, а настоящие вопросы нашего времени вас не занимают, в их решении вы участвовать не желаете. Гундель мне как-то рассказывала, что вы много читаете. Прочтите «Как закалялась сталь», вы поймете, чего может добиться человек. Гундель говорит, что в политических и экономических вопросах вы с нами, в общем, согласны. Рад этому. Но вы должны покончить со своим мелкобуржуазным индивидуализмом.

— Право, вы сейчас не в ударе,— сказал Хольт.— Когда вы принесли мне «Манифест», вы говорили куда убедительнее и, я бы сказал, человечнее. В чем тут дело? В форме или в самом существе проблемы? Если вы хотите переубедить мелкобуржуазного индивидуалиста, то незачем переливать из пустого в порожнее. Это я говорю просто так, к слову. Дайте, пожалуйста, вашу чашку.

— Если мне не удалось достаточно ясно выразить свою мысль,— сказал Шнайдерайт,— тогда...— Он в смущении умолк и задумчиво уставился в небо.

— Когда вы в кафе спорили с Готескнехтом,— сказал Хольт,— я готов был подписаться под любым вашим словом. Я сам часто стараюсь переубедить Готескнехта, и, если бы вы слышали наши споры, вы бы согласились со мной целиком и полностью. Стало быть, мы с вами сходимся не только в основных вопросах. И убеждать меня, мелкобуржуазного индивидуалиста, вам незачем.

— Видно, вас за живое задело! — сказал Шнайдерайт.— Я вовсе не хотел вас обидеть. Вы принадлежите к общественному типу, который ждет еще чего-то от индивидуализма. Откуда же я мог знать, что у вас другие взгляды.

— Что касается типов, вы здесь вообще мало что смыслите. Поэтому вы и делите общество на два основных типа, а потом сортируете людей, как горох: хороший — в суп, плохой — свиньям. То же самое, только другими словами, я сказал Гундель.

— Гундель не так-то легко разобраться в ваших путаных речах, хотя многие критические замечания, в общем, довольно серьезны,— сказал Шнайдерайт. Слова Хольта не обидели его, а только вызвали желание спорить.— Дело в том, что вы сами не знаете, чего хотите.

— А вы, кажется, начинаете изъясняться доходчивей,— сказал Хольт.— Когда вы говорите в таком тоне, я слушаю вас с интересом, хотя вы и называете меня путаником и еще бог весть кем.

— Насчет гороха — неплохо сказано. Это надо обмозговать, тут с ходу не разберешься. Может, в ваших словах и впрямь есть зерно истины. К счастью, мы оба не из чувствительных. Во всяком случае, я буду стараться говорить с вами о простом сложно, вы тогда лучше поймете.

— А я постараюсь,— сказал Хольт насмешливо,— по возможности приблизиться к своему общественному типу, как вы его себе представляете. Зачем без нужды осложнять вам жизнь!

Оба рассмеялись, и Шнайдерайт показался Хольту уж не таким неприятным. Жаль, что он все время стоит у него на пути. Они могли бы неплохо ладить.

— Вернемся к нашей теме! — сказал Хольт уже серьезно.

— Гундель поняла только, что вы очень одиноки. Нехорошо, когда человек изолирован, когда он живет только для себя...

«Сейчас он начнет агитировать и звать в свою молодежную организацию. Просто смех берет. До чего же упрощенно они все себе представляют». Хольт улыбнулся снисходительно и иронически. Увидев эту улыбку, Шнайдерайт замолчал. Потом посмотрел на Хольта долгим взглядом и спросил тихо, насколько позволял его бас:

— Что вы, собственно, имеете против меня?

Хольт будто ожидал этого вопроса. Он не спеша набил трубку. Шнайдерайт молчал.

— Что я имею против вас? Ничего! Нет, дайте мне договорить! Во времена Гитлера вы сидели в тюрьме, а я до самого конца был пособником фашизма. Вы с детства боролись против фетишей, против лживых идеалов прошлого, а я носил их в сердце и только с болью, с мучениями вырвал их из себя. Ваша жизнь с начала и до конца идет по определенному пути, и вы с него никогда не сворачиваете. Моя жизнь была сломлена. Она началась с чудовищного конца, и, даже если я достигну многого, все равно в конце жизни я приду только к началу. Различное прошлое сделало нас совершенно разными людьми. Но вы дорожите вашим прошлым, а я свое должен преодолеть. Я вынес из войны убеждение, что мой привычный мир должен быть разрушен, что его выбросят на свалку истории. Но это еще не значит, что я в мгновение ока могу стать своим в вашем мире. Я стараюсь не мешать вам и надеюсь, что в будущем сумею быть полезным людям. Большего вы от меня требовать не можете.

Шнайдерайт кивнул, точно слова Хольта его вполне удовлетворили.

— Разумеется, я мог бы вам кое-что возразить, но сомневаюсь, что вопросы, которые вас занимают, можно решить абстрактной дискуссией. Я пришел к вам с предложением: едем с нами в приморский лагерь! Давайте не спорить о том, в чем мы не сходимся, что нас еще разделяет. Просто поживем вместе!

Хольт был убежден, что Шнайдерайт говорит искренне, без всяких задних мыслей. На какой-то миг лицо его разгладилось. Он уже слышал шум прибоя, видел палатки на берегу, море и слепящее солнце.

И Гундель рядом со Шнайдерайтом.

Нет, он не намерен быть при них статистом. Он и сам годится для главной роли. Лучше уж играть героя в заигранной пьесе, пусть даже с участием Каролы, чем согласиться на выходные роли в спектакле, где режиссером был Шнайдерайт.

— Очень жаль,— сказал Хольт. Его уже не интересовало, как истолкует Шнайдерайт неожиданный поворот в их беседе.— Но я рассчитал время каникул с точностью до секунды. Очень жаль. Зря вы пришли!

■

Гундель уехала со Шнайдерайтом к морю. Известно, как ведут себя барочки в этих туристских лагерях. Ну что ж, он вырвет мечту о Гундель из своего сердца и обратится наконец к реальности, к Анжелике.

Они встретились. Без долгих объяснений он увел ее в лес. Он был нетерпелив и настойчив. И снова его остановило ее испуганное «нет». Вернувшись домой, он лег в постель и долго раздумывал. Нет, он не переоценивал себя. Но у него хватит порядочности порвать с Анжеликой. Она слишком хороша, чтобы стать лишь эхом, отзвуком его «я», раздираемого противоречиями, слишком хороша, чтобы оказаться только наркотиком, заглушающим боль.

Впрочем, сидеть здесь в роли отвергнутого воздыхателя и скорбеть о Гундель он тоже не намерен.

Он поехал в Хоэнхорст. Нерешительно постоял перед домом Бернгардов и хотел уже уходить. Последний раз он был здесь в ночь после концерта. Он обещал тогда Кароле вскоре встретиться с ней. Сегодня он уже не думал о Гундель. Можно начинать комедию.

Хольт позвонил. Итак, занавес поднимается. В саду появилась Карола. Как и тогда, на концерте, она побледнела, увидев его.

Они вышли из поселка и направились к лесу. Здесь состоялся диалог первый.

— Я страшно переутомлен,— сказал Хольт.— Слишком много занимался, слишком много читал, слишком мало спал. А главное, день и ночь думал о тебе.

«Скажите, пожалуйста, она краснеет! Валяй, городи дальше, она все принимает за чистую монету».

— Ах, Карола, как я мечтал пойти с тобою в лес! Я просто места себе не находил.

— Мне тоже ведомо это чувство,— сказала она.— По-моему, в человеке говорит древняя тоска по матери-природе.

С первого же часа знакомства с Каролой Хольт испытывал желание говорить ей наперекор. А сегодня его так и подмывало высмеять ее.

— Старая тоска по матери-природе... Ладно, называй ее так. Но я бы сказал по-другому: повышенная возбудимость. И конечно, эротического происхождения.

Притихшая Карола шла рядом с ним. Она знала здесь каждую дорожку. Время от времени она останавливалась и показывала на горы, на холмистые дали, на поля, с которых убирали урожай. Лесная тропинка вела вдоль ручья. Они подошли к плотине, перегородившей ручей. Здесь образовался настоящий пруд, вокруг росли ива и ольха.

Они опустились на траву. Он молча прижал ее к себе и, запрокинув ее голову, стал целовать. Она терпела его грубые поцелуи так безропотно, что ему даже стало жаль ее.

Лежа в траве, она смотрела на облака и болтала без умолку... Она читает свой большой монолог, а Хольт молча подыгрывает ей.

— Ты заставил меня долго ждать... Я ждала в отчаянии... Только рояль скрашивал мою жизнь... А после концерта ты казался таким сумрачным, таким чужим, таким...

Красивые, избитые слова! Хольт словно раздвоился, и его двойник был насмешлив и циничен. Хольт в упоении слушал Каролу, партнер-двойник оставался холоден.

— Здесь так тихо,— продолжала она,— ничто мне так не мило, как тишина. Мне жаль людей, которые постоянно пытаются скрыться от самих себя, вечно ищут шума и суеты. Я очень люблю быть одна, но и в одиночестве не теряю связи с людьми...

Как приятно было слушать это Хольту! Но как насмехался двойник:

«Глупые фразы, пустая болтовня, при чем тут «связь с людьми», нет у нее никакой связи с людьми, она живет словно в тумане... Может быть, она и не глупа, но мысли ее совершенно беспредметны».

— Ты долго еще будешь учиться на курсах переводчиков? — спросил Хольт.— Какой язык ты изучаешь?

— Английский. Занятия кончаются на следующей неделе. Я хочу стать преподавательницей. Это чудесная и ответственная профессия! Я посвящу свою жизнь детям, нашим бедным, обманутым детям! Мой долг — научить их видеть прекрасное. Пусть наши дети снова узнают, что такое счастье.

«Спроси, что она понимает под счастьем!» — приказал двойник.

— Скажи, что такое счастье?

И Карола, словно отвечая заученный урок, объяснила:

— Счастье — это способность радоваться всему доброму и прекрасному, будь то полевой цветок или луговая травинка...

— Или холодная речка в эту адскую жару! — добавил Хольт. Он разделся.— У тебя, конечно, нет с собой купального костюма? Жаль. Мне бы хотелось посмотреть на тебя в купальном костюме и порадоваться доброму и прекрасному.

«Хорошо, что она хоть краснеет».

Хольт прыгнул в прозрачную прохладную воду. Он нырял и плескался и чувствовал себя отлично. Карола сидела на берегу, широко разметав пышную юбку.

— Когда кончишь заниматься,— сказал он, бросаясь возле нее на траву,— поедешь со мной в горы? Там есть одна гостиница, где ели протягивают ветви прямо в окна. Тебе наверняка понравится.

Она не ответила.

— Поедешь?

— Да,— чуть слышно ответила она, не глядя на него.

«Что она строит из себя?» Он сел поближе.

— Ты еще невинна?

Она отвела глаза, она побледнела. Скажи она: «О горе мне, несчастной!» — или что-нибудь в том же роде, слова ее вполне соответствовали бы этой комедии. Но она ответила:

— Во время войны у меня был друг, он учился в офицерской школе, и, пока не ушел на фронт, я принадлежала ему.— Она сказала это просто, но затем последовала концовка в ее обычном стиле: — Он был светлый, золотоволосый и чистый, как бог весны...

Забыв свою роль, Хольт сказал насмешливо:

— Светлый, золотоволосый и, конечно... ариец? А почему я тебе нравлюсь? Я не светлый, не золотоволосый, нисколько не похож на бога весны, и я не чистый, нет... Я грязный. Да, да, грязный! — почти крикнул он.— Меня в шестнадцать лет соблазнила и развратила мерзкая баба.

— Ты похож на Фауста.

«Только этого мне не хватало. Похож на Фауста! Это еще что за номер?» Но нет, она говорила вполне серьезно.

Он вскочил и оделся. Может быть, все-таки лучше уж согласиться на маленькую роль в спектакле, которым режиссирует Шнайдерайт?

■

Хольт заказал по почте две комнаты в гостинице «Лесная благодать».

По утрам он напряженно работал, потом лежал в саду, читал и размышлял. Ему казалось, что дни, которые он проведет с Каролой, явятся для него проверкой. Он увидит, сможет ли отказаться от того, что ему дорого. На жизнь следует смотреть без иллюзий. Холод надежнее, чем страсть, цинизм постояннее чувства. Любви нет, есть только жажда наслаждения. Только так и нужно думать. Тогда не будешь чувствовать себя одиноким, заброшенным. Одиночество невыносимо лишь до тех пор, пока не начинаешь понимать, что оно неизбежно.

Карола приходила чуть ли не каждый день. Иногда она встречалась у него с Церником. Церник израсходовал свой кофе до последнего зернышка и поэтому наведывался часто: после напряженной ночной работы только кола и могла взбодрить его.

В присутствии Каролы он обычно надевал очки для дали, поглощал в большом количестве колу и молча слушал их беседы. Но когда

в словесном потоке вдруг мелькало уж очень цветистое изречение, Церник менял очки и глазел на нее открыв рот.

Однажды он пришел в воскресенье, когда Каролы не было.

— Ну как? — спросил Церник.— Куда вы девали свой «подголосок»?

Хольт рассердился. Однако Церник смутил его. Он пошел варить колу. Но как ни старался оттянуть время, все же пришлось вернуться.

Церник поднес чашку с горячим напитком к губам и, передразнивая Каролу, сказал приторно сладким голосом:

— Ничто мне так не мило, как кола.

Хольт оглушительно расхохотался.

— Наконец-то! — сказал Церник.— Давно жду, когда вы без смеха не сможете глядеть на вашу даму. Я уж было отчаялся.

— А не упрощаете ли вы? — спросил Хольт.— У Каролы ведь есть определенный идеал, я даже знаю какой: она разыгрывает из себя современную Беттину *. Ей хочется воскресить созерцательно-глубокомысленную манеру, характерную для круга поэтов девятнадцатого века.

Церник насмешливо посмотрел на Хольта.

— Вы напрасно объясняете мне все это. Ваша дама играет шутовскую роль. Но вы-то зачем ей подыгрываете?..

Хольта не покидало мучительное ощущение, что Церник умеет читать мысли.

— Я прекрасно понимаю, какая ломака Карола и как она далека от жизни,— сказал он.— Но иногда мне кажется, что в чем-то, в каких-то сферах, которые трудно определить, она похожа на меня.

— Золотые слова! — воскликнул Церник.— Кто бы мог подумать, что вы так сильны в самоанализе! Но эти зловещие «сферы, которые трудно определить», вам нужно изъять немедленно. И поторапливайтесь, мой вам совет! А что делаете вы? Выбираете себе партнера, который окончательно затуманивает вам мозги. Да что это с вами, приятель? Вы же умеете смотреть на вещи критически.

— Но ведь я стараюсь относиться к Кароле не только как к существу противоположного пола!

— Привет! — Церник поднялся.— Я пошел. Когда вы несете такую несусветную чушь, Хольт...

— Останьтесь!

— Остаться? — воскликнул Церник.— Хорошо, мой милый, но тогда выслушайте меня: мне нравится, что вы сбежали от своей гамбургской родни, что вы с таким интересом взялись за учебу. Но вы глубоко погрязли в мещанской рутине. Будьте любезны, помолчите, теперь говорю я... «Стараюсь относиться к ней не только как к существу противоположного пола...» — передразнил он Хольта.— Это откровение истинного буржуа, его мышление, ограниченное исключительно понятиями товара и прибыли, оно не способно охватить человеческие отношения в их единстве. И вы рассуждаете как настоящий буржуа: одни женщины для ума, другие для души, третьи для салона, четвертые для постели, пятые для ханжеской семейной жизни, шестые для извращенной похоти. Разложение и загнивание! У вас оно в крови, а вы еще мните себя этаким лихим парнем!

Сознание того, что Церник прав, парализовало Хольта. Он не нашелся, что ответить, и только протестующе поднял руку. Но Церник опять атаковал его:

— Не пытайтесь обманывать себя!

---

* Беттина фон Арним (1785—1859) — немецкая писательница, одна из представителей немецкого романтизма. В юные годы вела переписку с Гете, впоследствии опубликованную.

Да, Церник видел нити, которые управляли Хольтом, как марионеткой. Он заставил его заглянуть в свой внутренний мир, где все еще царил хаос. И если Хольт пойдет по следу, который он увидел, может статься, что весь его, казалось, крепко сколоченный мир рухнет, словно карточный домик.

— Не обманывайте себя! — кричал Церник.— Зачем вам Карола? Будьте же честны с собой!

— Я хочу спать с Каролой,— сказал Хольт, глядя на Церника в упор.— Хочу проверить, прекратится ли хоть в постели ее инфантильная болтовня.

Церник, казалось, окаменел. Он растерянно улыбался, но глаза его смотрели на Хольта мрачно и зло.

— Я вижу,— тихо сказал он,— что эту, с позволения сказать, честность вы считаете бог весть каким достоинством. Знаете, Хольт, ваше циничное отношение к людям глубоко аморально.

Хольт вытянулся в шезлонге и, высокомерно улыбаясь, сказал:

— Господин Церник, что это с вами? Такое пустое понятие, как мораль, поистине вас не украшает. Я придерживаюсь мнения Бернарда Шоу: «Мораль — это сумма наших привычек».

Церник молча сменил очки и, не прощаясь, ушел. «Ну и уходи,— подумал Хольт,— ступай себе на здоровье! Не хочу тебя видеть. Ты мне не нужен. Ни ты, ни твоя мораль, ни твое всезнайство, ни твоя вечная критика!»

■

В субботу, после обеда, Хольт с Каролой пошли в гости к Аренсу, в маленький домик на берегу водохранилища. Сидя под пестрыми зонтиками на террасе, они пили чай. Карола имела большой успех. Эгон отвел Хольта в сторону.

— Прелестная девушка! Как ее фамилия? Бернгард? Они, кажется, состоятельные люди? Не разорились?

Хольт за весь вечер не проронил ни слова. У Аренсов были еще гости — Отто Грош, бывший директор филиала Немецкого банка, маленький седовласый господин с женой и дочерью. Грош говорил на швабском диалекте и беспрерывно играл цепочкой часов. Он выдвигал самые умопомрачительные экономические теории. Восстановление разрушенной немецкой экономики, утверждал Грош, следует начать с жилищного строительства. Из четырех-пяти разбомбленных домов можно построить один, причем, так сказать, без дополнительных строительных материалов. Никто не слушал его, и он развивал свои грандиозные проекты перед Хольтом и Каролой.

— Пойдем, Карола,— не выдержав, сказал Хольт.

Эгон проводил их до калитки, на прощание поцеловал Кароле руку и пригласил их покататься завтра на моторной лодке.

— Мой старик припас немножко бензину, обязательно приходите, хорошо?

— Как у матери в Гамбурге,— сказал Хольт, когда Аренс ушел.— Только те держат все нити в своих руках, а эти, здешние, бессильны. До смешного бессильны.

Они вернулись в гостиницу, хозяин подал ужин. Хольт еще долго стоял у окна в своей комнате, но знал, что Карола ждет его. Выйдя в коридор, он в нерешительности остановился перед дверью ее комнаты.

Он не чувствовал ни нетерпения, ни влюбленности, одно только упрямство и скрытую ярость. Но Карола встретила его безропотно и покорно. А он смотрел ей в лицо, чтобы увидеть хотя бы следы волнения.

Очнулся он в темноте рядом с ней. Его упрямство и ярость улеглись.

— Если бы ты знал, как близка тебе я была, когда мы слушали Пятую Брукнера...— слышался ее голос.

«Нет, для нее все проходит бесследно,— думал Хольт.— Дурак я». Он чувствовал себя опустошенным, обманутым. Нет, он сам себя обманул. Он всегда сам себя обманывал, он лишал себя лучшего, что было в жизни. Разменивался на мелочи. Гнался за собственной тенью. Он глупец.

«Что она еще говорит? Она говорит о прощании».

— В этом месяце я уеду отсюда, я покину все близкое и родное и буду жить в Мюнхене. Ты лучше других понимаешь — в жизни надо все изведать, чтобы не терзаться оттого, что она прошла мимо.

Да, Хольт понимал ее.

— Но память о тебе я сохраню навсегда. Я не забуду тебя ни в светлые, ни в черные дни... Я верю в жизнь и в мое счастье...

Он вернулся в свою комнату и подошел к окну, как час назад: он пленник, глядящий на волю, пленник собственных заблуждений, которым нет конца. Отчаяние овладело им. Но он заставил себя принять решение.

— Оставаться здесь дольше не стоит,— сказал он утром Кароле.— Разреши, я отвезу тебя домой. Надо торопиться, поезд уходит через час.

Она казалась совершенно растерянной, но Хольт остался непоколебим.

Приехав домой, он сразу набросился на работу. Вечером, усталый и измученный, он лежал в постели, подложив руки под голову. И вдруг из ночного мрака, из темноты ошибок и стыда перед ним выплыло лицо Гундель.

■

Неделю спустя Хольт позвонил Цернику.

— Я вел себя как дурак,— сказал он.— Теперь мне понятно. Я взбунтовался, потому что вы постоянно заставляете меня бороться с собой. Ваша правда лишает меня покоя. Пожалуйста, не обижайтесь. И приходите, мне очень не хватает вас и вашей критики.

Церник пришел. Расположившись в шезлонге и злорадно посматривая на Хольта, он выслушал его и мрачно сказал:

— Говорите, преодолели кризис? Нет, до этого еще далеко. У вас уже не просто кризис. Вы трещите по всем швам. Выкладывайте, что у вас на душе, пока не поздно!

И опять Церник спорил, советовал, убеждал, приносил книги. Но прежнего доверия между ними уже не было. Церник держался теперь на расстоянии, он был вежливее обычного. А может быть, Хольту это просто казалось?

Вскоре профессор привез с завода новость: доктор Бернгард с женой и дочерью, не сказав никому ни слова, перешел зональную границу и обосновался в Мюнхене.

7

Жаркий грозовой август сменился бабьим летом. Стояли теплые дни и прохладные ночи.

В будни Хольта, которые текли, как обычно, заполненные школой, занятиями дома и коротким сном, то и дело врывались самые разные события. Впрочем, исход муниципальных выборов его почти не интересовал. У него еще не было права голоса. И так было ясно, что победителем в этих состязаниях окажется Единая партия, в которой состоял Шнайдерайт.

После уборки урожая продовольственные пайки действительно увеличили. Зато на Западе появился Бизональный экономический совет. Нюрнбергский процесс закончился. Все ждали приговора. Эгон Аренс с грустью и в то же время с показной твердостью все еще говорил об угрозе новой войны.

— Да не слушайте вы этого болвана Гроша! — убеждал его Хольт.— Он же ненормальный! Разве не видите, что ликвидация банков лишила его остатков умственных способностей?

Нет, политические события не интересовали Хольта — разве что в плане отвлеченных споров с Церником. Хольт мечтал об университете. Однажды он тайком побывал на лекции отца. В первом семестре профессор читал «Общую гигиену» и «Введение в микробиологию». В битком набитой аудитории Хольт смешался со студентами. Многие были его ровесниками. Он всматривался в их лица и с гордостью глядел на отца, который стоял на кафедре, большой, седоволосый, и читал тщательно подготовленную лекцию. Скоро начнутся письменные экзамены на аттестат зрелости. Не пройдет и года, как Хольт поступит в университет, цитадель человеческого разума. Она выстояла и в это беспокойное время.

Хольт занимался все так же упорно. Математику вместо Эберсбаха вел теперь Лорентц. Войдя к ним в первый раз, он крикнул:

— Лорентц! Через «тц», как великий физик, но еще не так знаменит.

— Послушай, приятель,— покровительственно сказал ему Гофман.— Большинство здесь старше тебя, так что смотри не опозорь учительскую гильдию!

Лорентц только улыбнулся... Подтянутый, бодрый, он врывался в класс, заражая всех своей энергией и жаждой деятельности. Ученики окрестили его «Игрек равен...» И хотя он очень отличался от Эберсбаха, учебного плана тоже не придерживался.

■

Как-то в сентябре Хольт повстречал доктора Хагена, которого давно не видел. Стоя у проходной завода, Хаген беседовал с какой-то женщиной в синем комбинезоне. Хольт узнал ее: фрау Арнольд, заменившая Мюллера. Хаген со свойственной ему живостью засыпал Хольта вопросами о Гундель, о школе, о занятиях химией, о предполагаемой теме экзаменационного сочинения и тут же начал говорить о своих высокополимерах. Фрау Арнольд взглянула на часы и пошла к воротам. Когда Хольт распрощался с Хагеном, она опять появилась у проходной и отдала вахтеру связку ключей.

Хольт смотрел на нее с удивлением. Прежде он как-то ее не замечал. Да и почему он должен был обращать на нее внимание? После смерти Мюллера она стала председателем заводской партийной группы, или как это там называется. Неприметное существо в комбинезоне и платке.

Сейчас вместо грубого комбинезона на ней было легкое платье, белое в голубую полоску. Лицо ее обрамляли густые иссиня-черные волосы, собранные на затылке в узел, такой тяжелый, что казалось, он вот-вот рассыплется. Она так переменилась, что Хольт смотрел на нее, словно не веря себе. Он видел узкое, юное лицо, на котором лежала печать горечи и забот. Тонкие морщинки вокруг губ придавали ему серьезное, почти страдальческое выражение.

Она глядела на него в упор, слегка склонив голову набок. Хольт смутился. Глаза у нее были ясные, голубые, как у Мюллера, как у Шнайдерайта.

Они вместе вышли на улицу и направились к трамвайной остановке.

— Вы теперь замещаете Мюллера? — спросил Хольт.— Вам нравится ваша работа?

— Нравится...— повторила она протяжно.— «Нравится» говорить не приходится.— Фрау Арнольд улыбнулась, и выражение озабоченности сбежало с ее лица.— Мы еще не нашли, кем заменить доктора Бернгарда, а зима уже у порога...

Хольт увидел у нее на руке обручальное кольцо... Скрипя тормозами, подошел трамвай. Фрау Арнольд кивнула Хольту и поднялась в вагон.

Он пошел домой пешком. Ее зовут Юдит, это он знал. Юдит Арнольд. Она замужем. Она совсем молодая. На завод ее привел Мюллер.

Вечером Хольт заговорил о ней с отцом. Профессор сказал, что фрау Арнольд очень добросовестна — она избавила его от всех мелочей, у нее настоящий организаторский талант.

— Но она ведь еще очень молода, и — подумать только! — уже участвует в руководстве таким большим заводом.

— Ей двадцать два или двадцать три года,— отец точно не помнил. Но он знал, что она сидела в Равенсбруке.

Хольт никого больше не расспрашивал о фрау Арнольд. Но если случайно кто-нибудь упоминал ее имя, напряженно прислушивался к каждому слову.

■

Однажды Хольт ушел от Блома раньше обычного, рассчитывая встретить фрау Арнольд у трамвайной остановки. Сегодня она пришла одна.

— Добрый вечер.

Она подала ему руку.

— Я был у Блома,— сказал Хольт.— Он помогает мне по математике. Я подумал, а может быть, опять встречу вас на остановке.

— У вас ко мне дело? — спросила фрау Арнольд.

— Дело? Нет. Я просто хотел подождать вас.— Он посмотрел на часы.— Еще нет восьми. Давайте пойдем пешком... Я провожу вас, хорошо?

Она посмотрела на него с удивлением. Хольт смутился еще больше.

— Дело в том, что, когда я вас увидел в прошлый раз, в этом платье... Оно вам так идет, и полоски совсем такого же цвета, как ваши глаза... С тех пор я все о вас думаю...— сказал он, стараясь побороть робость.

— Забавно! — В ее голосе прозвучало недовольство и даже раздражение.

Хольт понял, что поступил опрометчиво.

— Пожалуйста, не прогоняйте меня. Я хочу познакомиться с вами, только не спрашивайте почему, а то я опять скажу что-нибудь не то...

— Вы не можете мне указывать, о чем спрашивать, о чем нет,— сердито перебила она.— Разумеется, я спрошу: почему? Что все это значит? Зачем вам понадобилось знакомиться со мной? Зачем вы отнимаете у меня время? Что вам от меня надо? — спросила она с неожиданной резкостью.

— Не знаю,— робко сказал Хольт.— Глупо, конечно. Я веду себя просто как мальчишка. Но я и в самом деле не задумывался, зачем я жду вас, право же! Я до сих пор не видел вас по-настоящему — должно быть, в этом виноват ваш комбинезон. Не носите его. И волосы не прячьте. Такие волосы не повязывают платком. Но дело не в волосах, конечно. Вы просто заинтересовали меня. Поразительно, ведь, судя по всему, вы даже не подозреваете, как вы красивы.

Фрау Арнольд покраснела и сказала тихо, но еще более резко:

— Ваше мнение можете держать при себе. И потрудитесь оставить меня в покое!

Она повернулась и быстро пошла к трамваю.

■

«У вас уже не просто кризис»,— сказал Хольту Черник после истории с Каролой. Хольт в душе с ним не согласился. Он не испытывал никакого желания продолжать подобные эксперименты. Расположения Юдит Арнольд он искал без всяких задних мыслей.

Надо было учиться, выбрать профессию и ждать, пока Шнайдерайт будет развенчан в глазах Гундель. Сейчас между Гундель и Хольтом царило как будто полное согласие. Пусть в лагере у нее и было что-то со Шнайдерайтом — Хольт не признавал себя побежденным. Надо только ждать. Но разве это означает, что он должен избегать других женщин? Хотя, конечно, следовало бы прекратить флирт с Анжеликой.

Он перестал встречаться с ней, сказал, что подготовка к экзаменам поглощает все его время.

Хольт продолжал работать напряженно и даже с ожесточением, но все-таки выкраивал часы для книг, театра и часто думал о Юдит Арнольд. Она не выходила у него из головы.

Правда, фрау Арнольд в тот вечер ушла. Но это еще не трагедия. Просто он неправильно вел себя. Она замужем и, очевидно, не привыкла, чтобы посторонние проявляли к ней внимание. В будущем надо действовать осмотрительнее. В будущем? Разве не ограничится все первой неудачной попыткой? Нет, он чувствовал, что приключение, которое только еще началось, обязательно будет иметь продолжение.

Ему казалось, что он давно и близко знает фрау Арнольд. Она занимала его мысли и чувства, и тем сильнее, чем больше он противился этому. Чего он ждет от нее?

Как-то в разговоре с Черником Хольт упомянул о Шнайдерайте. «Такой молодой, и уже такая ответственность на заводе...» И тут Черник заговорил о Юдит Арнольд. Неожиданно он сказал самое главное:

— Ее муж — служащий сберегательной кассы. Этот тип просто невыносим. Трагично, что такая женщина связана с отвратительным обывателем.

Хольт промолчал.

— Что это у вас такой ошалелый вид? Опять начитались Платона? — спросил Черник.

На следующий день, в конце рабочего дня, Хольт побежал к остановке. Фрау Арнольд пришла не одна. Вместе с ней был Шнайдерайт. Хольт поклонился ей и, разочарованный, смотрел вслед отъехавшему вагону. Это повторилось и на третий день. Хольт поклонился, она ответила и хотела войти в трамвай, но вдруг что-то вспомнила и быстро пошла к заводу.

Вскоре она вернулась, подошла к Хольту, посмотрела ему прямо в глаза и спросила:

— Почему вы меня ждете? Что вам от меня надо?

Он заранее приготовил ответ: мол, еще будучи в Гамбурге, решил, что, собственно, мог бы многому научиться у Мюллера, а она, в известной мере, его преемница... И тут же понял, как нелепо и бессмысленно звучат эти слова.

Фрау Арнольд ответила ему в тон:

— Если вы хотите заняться политическим самообразованием, почему бы вам не пойти в группу Хорста Шнайдерайта?

Он выдержал ее взгляд.

— Поделом мне,— сказал он.— Не умею хитрить. Но я просто не знаю... вы, разумеется, не захотите выслушать, как обстоит дело в действительности...

— Так как же обстоит дело?

— В действительности,— сказал он и тут же почувствовал облегчение,— дело обстоит так: вы не выходите у меня из головы, не знаю почему. Да и не пытаюсь понять.

— Чего ж вы хотите? — спросила она.

— Иногда побыть с вами час... Время от времени пройтись по улице, поговорить...

Она удивленно покачала головой и сказала, словно обращаясь к самой себе:

— Подумать только, неужели такое еще бывает? — И вдруг весело улыбнулась: — Ну что ж, быть по-вашему. Я не выхожу у вас из головы, значит, если вы провалитесь на выпускных экзаменах, виновата буду я. Иногда пройтись по улице — хорошо, пройдемся! Поговорить о чем-нибудь — пожалуйста! Только больше не лгите, я терпеть не могу, когда ходят вокруг да около.

— Но недавно вы обиделись на меня за правду.

— Нет, не обиделась,— сказала она добродушно.— Просто все это было так неожиданно для меня, так непривычно.

— «Смутилась я,— процитировал Хольт,— мне это в первый раз... Уж не нашел ли он — я думала о вас — во мне бесстыдного чего-нибудь такого...»

— Что это? — спросила она.

— Это Гретхен. Фауст заговорил с ней на улице, а она потом рассказывает, что почувствовала при первой встрече. Говорят, в каждой немецкой женщине есть что-то от Гретхен.

— «Немецкая Гретхен» — в этом какой-то нехороший привкус,— сказала она.— Вы не согласны?

Они подошли к мрачному, похожему на казарму дому, в котором она жила.

— Послезавтра воскресенье,— сказал Хольт.— Какие у вас планы?

— Если будет тепло, поеду в горы. У меня есть байдарка.

— Возьмите меня с собой.

— Нет уж, это вы раз навсегда выбросьте из головы. Я езжу одна.

— А вашему мужу тоже не разрешается?

Этого не следовало спрашивать. Она сразу замкнулась в себе.

— Я всегда говорю то, что думаю,— сказала она спокойно и как-то назидательно.— Запомните это и не ищите в моих словах скрытый смысл.

— Простите. А можно я вам позвоню, и мы встретимся на днях?

— На днях? — переспросила она, улыбнувшись.— Только недавно вы говорили, что хотели бы видеть меня «иногда» или «время от времени»...— Она рассмеялась.— Я протянула вам мизинец, не думайте, что получите всю руку.

На мгновение она прикрыла глаза и, покачав головой, вошла в дом. Но, уходя, еще раз обернулась.

■

Церник приходил теперь очень редко. Он перестал зависеть от Хольта и его колы с тех пор, как обнаружил, что кофеин можно принимать в таблетках. Церник писал диссертацию. Но Хольт почти не замечал его отсутствия.

Дважды в неделю Хольт встречался с Юдит Арнольд, в остальные дни жил ожиданием встречи и предвкушением радости. Поначалу она разрешала только провожать ее домой. Она рассказывала о своей работе на заводе, больше всего о политработе, расспрашивала его о школе. Однажды вечером она сказала:

— Завидую вам, вы можете учиться сколько хотите.

Ей не хватало знаний в области химии. Но учеба пока остается мечтой. Придется удовлетвориться народным университетом. Хотя сейчас создана возможность для рабочих получить высшее образование, работа на заводе отнимает у нее слишком много времени.

Они стояли у подъезда. Был уже ноябрь. Накрапывал мелкий дождь, дул ветер. Помедлив, Юдит Арнольд пригласила Хольта зайти к ней на полчаса. Они прошли через двор в боковой флигель и поднялись на третий этаж.

Прямо с лестницы они попали на кухню. Напротив входа были еще две двери. Слева виднелась плита, справа — диван с высокой спинкой. На диване сидел мужчина. Круглое красное лицо, очки, рубашка без воротничка, широкие подтяжки, черные нарукавники до самых локтей... Положив ноги на табуретку, мужчина читал объявления в газете.

— Ну и ну! — воскликнул он.— Вот так новость, прежде этого не бывало! Видно, такая мода пошла. У Юдит гость, молодой человек!

Хольт представился, мужчина тотчас вскочил с дивана, сунул ноги в ботинки и, не переставая раскланиваться, воскликнул:

— Неужели?.. Сын господина профессора! Какая честь! Юдит, почему же ты не сказала, что он сын господина профессора? Ведь так не видно, по носу не определишь. Прошу вас, пожалуйста, садитесь... Где же это мой пиджак?..

— Не беспокойся,— сказала фрау Арнольд.

Она молча впустила Хольта в соседнюю комнату и закрыла за собой дверь.

Маленькая комнатушка. Железная кровать, шкаф, умывальник, стол, полочка с книгами. Хольт посмотрел на ключ, который торчал в скважине. Значит, Юдит живет одна, а этот человек на кухне... Хольт показал на дверь и спросил:

— Ваш муж?

Она кивнула:

— Да, мой муж.

Подойдя вплотную к Хольту и не спуская с него глаз, она медленно и отчетливо сказала:

— Я не хочу об этом говорить! Я не желаю говорить о моем браке, и, если вы когда-нибудь заведете об этом речь, нашей дружбе конец. Понятно?

— Понятно,— сказал Хольт.— Пожалуйста, простите.

■

В мокрые и холодные ноябрьские вечера Хольт часто сидел у Юдит Арнольд. Теперь, когда он входил, ее муж даже не откладывал газету. Он только кивал и фамильярно подмигивал, возбуждая в Хольте все большую антипатию и ярость.

— Почему вы не переедете отсюда? — сказал он однажды, забыв о запрете.

Он подумал: ей необходимо расстаться с этим человеком, и тут же сообразил, что опять допустил оплошность.

— Я хотел сказать — вам надо поискать себе квартиру получше.

Она ухватилась за его объяснение.

— Квартира вовсе не такая плохая...

— Не плохая? — воскликнул Хольт.— Ну, знаете...

— Нет, квартира не такая плохая,— повторила Юдит.

Вскоре Хольт забыл об их разговоре. Но как-то в субботу, когда он зашел за ней на завод, она сказала:

— Мне нужно отнести несколько промтоварных ордеров от Общества народной солидарности. Хотите пойти со мной?

Он пошел. Улицы, дома — вроде того, в котором жила она, только еще дряхлее, мрачнее, вот-вот развалятся. Куда она его ведет? Подворотня. Двор. Опять подворотня. Опять двор. Узкая, темная лестница, крутые, выщербленные ступени. Пахнет гнилью. Лестничная площадка, помойные ведра, пять дверей, ведущих в квартиры. Комната, метров в двенадцать, плита, кровать. В кровати — парализованный старик. Рядом другая постель — матрац и одеяло. Старая женщина, сумрак, затхлый воздух. За окном — кирпичная стена, ни полоски неба, ни дуновения ветра. В шахту двора никогда не заглядывает солнце. Люди погребены заживо.

Перед глазами Хольта возникла другая картина: вилла в Гамбурге, светлый дом, где прошло его детство... А здесь эта женщина радовалась ордеру... Они пошли вниз. Хольт вздохнул с облегчением, но Юдит Арнольд не дала ему опомниться. Снова перенаселенный дом, двор, дыра в подвале, битком набитая людьми, и снова — вверх, вниз, и снова мокрые затхлые подвалы, жилье на чердаке, комнаты-кухни, прогнившие полы, уборные на лестнице, за фанерными перегородками... Старики, мужчины, золотушные дети...

Наконец они обошли всех. Хольт долго не говорил ни слова. Только перед домом Юдит он сказал:

— Вы меня проучили. Я запомню это на всю жизнь.

— Проучила? Дело вовсе не в этом. Я и не стремилась вам что-либо доказать. Как вам теперь нравится моя квартира?

— Да,— признался Хольт,— она действительно не так уж плоха!

Хольт пригласил фрау Арнольд в театр. Шел «Войцек» Бюхнера. Она отказалась. Он стал уговаривать ее, рассказал о первой немецкой пролетарской трагедии. Она долго колебалась и наконец согласилась.

Уже в театре Хольт понял, почему она так долго противилась приглашению. Стояли холода, а у нее не было ничего, кроме юбки и джемпера. Она шла с ним рядом прямая, с высоко поднятой головой, уверенная в себе. В антракте она заговорила о том, что ей нечего надеть.

— Было б обидно, если бы из-за какого-то злосчастного платья мы отказались от театра,— сказал Хольт.— Нынче многим нечего надеть. А мой костюм отец откопал в каком-то старье, так что рядом со мной вы просто выглядите королевой. Давайте покупать билеты на галерку? Там и на комбинезон никто не обратит внимания.

Она засмеялась и благодарно пожала ему руку.

Теперь они часто ходили в театр. На галерке, среди студентов и школьников, они чувствовали себя прекрасно. Но наступила зима, на заводе опять началась борьба с морозом, с недостатком угля, с нехваткой сырья. У Юдит Арнольд почти не оставалось времени для Хольта.

Раз в неделю они все-таки встречались. Он не обманывался. Она вовсе не снисходила до него, нет. Она дорожила этими встречами так же, как он. Однажды в воскресенье он пришел, не договорившись с ней заранее, и... она обрадовалась! Ее мужа не было дома, впрочем, его почти никогда не было дома — он играл в скат в кафе за углом. Юдит заварила чай из малиновых листьев. Он любил смотреть, как обстоятельно и почти торжественно она это делала.

В этот вечер он читал ей стихи — от Грифиуса до Гофмансталя,— его поразило, как энергично она восставала против поэзии, как не хотела поддаваться ее обаянию.

— Чувства имущих,— сказала она.— Зачем нам это?

Они долго спорили.

— Тогда вам придется отбросить четыре пятых немецкой культуры,— убеждал ее Хольт.— Поговорите как-нибудь с Церником.

Авторитет Церника она нехотя признала, но тут же стала критиковать «Свидание и разлуку» Гете. Она видела счастье только в борьбе за освобождение пролетариата, за социализм.

— Если бы это сказал кто-нибудь другой,— заметил Хольт,— да еще в связи со стихами Гете, я нашел бы это просто смешным и в таком упрощении обвинил бы вашу партию.

— Я не придаю никакого значения личному, эгоистическому счастью,— твердила Юдит.

— Потому что вы его не знаете,— сказал Хольт.

Лицо ее снова стало мрачным. Хольт отложил книгу.

— Вы запретили мне касаться этой темы. Но теперь табу надо снять. Я все время думаю о нем. Когда я слышу, что вы, в двадцать три года, ищете счастье только в работе, в борьбе за освобождение пролетариата... то у меня надрывается сердце. Я не могу не думать о том, почему вы живете с этим человеком...

— Еще одно слово, и вам придется уйти.

Он покорно поднял руки.

— Общение с Церником небезопасно для вас,— сказала она уже совсем спокойно.— Он исключительно теоретик. Он может себе это позволить, потому что успел достаточно изучить революционную практику. Но вы...

— Да? Что я? — спросил он.

— Вы, в сущности, очень далеки от жизни, хотя многие стороны ее знаете весьма обстоятельно.

■

Эти слова он вспомнил через две недели. На улицах уже лежал снег. Фрау Арнольд опять носила тяжелую кожаную куртку, Хольт — овчину, которую дала ему Ута.

Она повела его на выставку «Памяти Генриха Цилле». Хольт знал Цилле как художника юмористических журналов. Юдит Арнольд была в этом зале уже не в первый раз. Она подводила Хольта то к одной картине, то к другой.

Ее волнение показалось ему необычным. Она хватала его за руку и говорила горячо и тихо, чтобы не слышали посетители:

— Я ничего не понимаю в искусстве. Но Генриха Цилле и Кете Кольвиц я почитала всегда. Богатые отвергали Цилле, они не желали принимать его искусство. Меня всегда поражали его горечь, его юмор, от которого кровь стынет в жилах. Мне кажется, этот юмор — только способ выразить самое страшное: ядовитое дыхание буржуазной цивилизации, мертвечину, грязь, косность и загнивание... Вот посмотрите: ответ на призыв кайзера Вильгельма увеличить мощь германского флота: «Наше будущее — это море!»... Ночь, женщина бежит к каналу, тащит за собой ребенка, другого крепко прижимает к груди. Страшная ночь отчаяния. Женщина утопится сама и утопит детей. Или вот, смотрите: мрачная комната, в постели больная работница, кто знает, какая у нее болезнь, а врач стоит рядом и запрещает ей есть хлеб. Толь-

ко этот запрет не нужен: у нее все равно нет денег, чтобы купить себе хлеба.

Рисунки Генриха Цилле, взволнованные слова Юдит заставили Хольта вновь испытать ужас, который охватил его, когда он побывал в домах Мёнкеберга, ужас, который тогда почти лишил его дара речи.

— Берлин, Акерштрассе. Жилище может убить человека точно так же, как смертоносное оружие. Человек возвратился в свою пещеру... А вот маленький горбун, при виде его я всегда плакала в детстве, мне кажется, что он говорит: «Если бы я знал, как буду выглядеть, я бы не появился на свет...» Дети! Цилле, должно быть, очень любил их. Вот эти двое сидят перед водочным заводом, и один говорит другому: «Отец в пивной, мать лежит на дне канала, сегодня кофе не будет...» От юмора Цилле леденеет кровь, а смех превращается в слезы...

Она шла с ним от картины к картине, она ввела его в чужой, но ставший уже более понятным мир. Это был мир задворков, где цветок, распустившийся среди мусорных ям, заменяет сад, а куча щебня становится площадкой для детских игр.

Трое мужчин на скамейке, двое из них — инвалиды войны, самый молодой — с культей, постарше — одноглазый. Все трое опустились, не люди, а развалины, у них нет работы, идет 1922 год... «Эх,— говорит один,— лучше не думать...»

— Но вы, Вернер Хольт, вы должны думать,— сказала Юдит Арнольд.— Не забывайте об этом!

Только на улице она выпустила его руку. Хольт проводил ее домой.

— Я вам очень многим обязан!

— Не будем считаться,— сказала она.— Будем учиться друг у друга — взаимно.

— Взаимность — великое слово! — воскликнул Хольт.— И новое в моем словаре. Но как ни крути, я все равно ваш должник.

■

Наступило рождество.

Вечером Хольт сидел с отцом и Гундель. Она принесла елочку в горшке и украсила ее красными свечами. Профессор пришел прямо из лаборатории, он даже забыл снять белый халат.

— Не снимай,— сказал Хольт.— Все равно примешься за работу. Я тебя знаю, праздновать в истинно немецком духе ты никогда не умел.— Он повернулся к Гундель.— А ты? Пойдешь к Шнайдерайту? Ясно. Значит, я могу спокойно отправиться на концерт Баха.

Гундель ушла первой. Хольт еще часок посидел с отцом.

На улице, под окнами лаборатории, кто-то топал ногами, стряхивая снег с ботинок. Церник. Он замерз, уши его покраснели, из глаз катились слезы. Хольт сварил колу, профессор приготовил грог. Церник постепенно оттаял, и уже через несколько минут разгорелся спор.

Хольт тихонько выбрался из комнаты. У себя наверху он долго рылся в книгах, ища подарок для Юдит. Он взял с полки «Тристана и Изольду» и вдруг вспомнил Анжелику.

В последнее время он не обращал на нее внимания, только изредка кивал ей, встречая в школе. Он понимал, что должен быть твердым, что не имеет права плыть по течению, иначе ему не справиться с собой, Но почему он не может дружить с ней, как с Гундель, с Юдит? Вернее, почему с Гундель и Юдит он не может плыть по течению?

Не обманывай себя. Быть с Гундель тебе мешает другой человек, который зорко стережет ее. А приблизиться к Юдит ты просто не ре-

шаешься, ты ждешь сигнала. Разве она не держала твою руку в своей? Но ты хочешь быть абсолютно уверен, прежде чем воспользоваться испытанными правилами фрау Цише. Как сказано там? Проверь, книга лежит в верхнем левом ящике: «И как скулит похоть-сука, выпрашивая кусочек духовной пищи, когда ей отказывают в куске мяса» *... Ты швыряешь книгу на стол. Тебе неприятно, что мысли реакционного философа нашли отзвук в дальнем уголке твоей души, где таятся остатки варварства. Продолжай обманывать себя. Ты и сам чувствуешь, как почва колеблется у тебя под ногами, ты знаешь, что близок к полному краху.

Хольт торопливо надел полушубок, потом постоял в раздумье, взял два тома стихов Гете и роман о Тристане и Изольде.

Он поехал в Мёнкеберг. У двери с табличкой «Баумерт» он бросил «Тристана и Изольду» в почтовый ящик.

Он медленно брел по зимним улицам. Издалека доносился звон колоколов. Он пошел ему навстречу. За окнами мерцали огни свечей. Сегодня рождество. Кто в этот день не вспомнит детство? Детство, когда еще не было ни ошибок, ни вины. Когда было только предвкушение радости, новогодняя елка, на которой горели свечи, мир сказок и мечты. Детство и есть настоящая жизнь. Все, что приходит потом,— только пробуждение от этого счастливого сна.

Поднимаясь по холодной лестнице, Хольт услышал рождественскую песенку, которую пел по радио детский хор. Вот и третий этаж, Хольт постучал и вошел. Господин Арнольд лежал на диване. У него был настоящий праздник — сегодня газета поместила почти две страницы объявлений об обмене. Меняли «чудо-печку» на постельное белье, отрез драпа — на автопокрышки, башмаки — на табак.

Юдит сидела в своей комнате за столом. На плитке шумела в кастрюле вода. Из маленького радиоприемника неслись рождественские мелодии.

— Вернер! — воскликнула фрау Арнольд, увидев Хольта, — Как хорошо, что вы пришли!

Он все еще стоял в дверях. Его приход был неожиданным, а она обрадовалась ему, назвала его по имени... И вдруг он вспомнил: первый раз с детства он не один в этот праздник.

Она взяла у него полушубок.

— Как же вы оставили отца одного?

— У него Церник. Они опять спорят о генетике, только клочья летят.

Юдит принесла чашки и налила чай.

Он отдал ей томики Гете. Она полистала их, улыбнулась — робко, словно прося прощения, и призналась откровенно, как всегда:

— Помните, как я восставала против стихов... С тех пор я много думала. Я не хотела, чтобы меня трогало и волновало что-нибудь, кроме великой цели, ради которой мы боремся... Я боялась, что изменю самой себе... Но теперь я поняла, что мне еще много надо учиться...

Она с нежностью листала тонкие страницы. Хольт смотрел на нее и чувствовал, как его захлестывает ненависть к субъекту, который валялся на диване в кухне.

Он сказал:

— Человеку, который остался верен себе в Равенсбруке, нечего опасаться, что он, читая Гете, изменит себе. Общаясь со мной, вы тоже не изменяете себе, вы это знаете, иначе вы не назвали бы меня сейчас по имени. Ведь это значит, что вы доверяете мне, правда?

Она кивнула едва заметно.

---

* Ницше, «Так говорил Заратустра», глава «О целомудрии».

— А раз так, помогите же мне разгадать загадку, которую без вас мне вовек не разгадать. Почему вы остаетесь с этим человеком, почему не уходите от него?

Она резко повернулась к Хольту и сразу же отвела глаза.

— Сейчас я вам объясню. — Запинаясь, с трудом подбирая слова, она стала рассказывать, — Я знала Арнольда, еще когда была ребенком. Он старше меня на восемнадцать лет, он и его мать жили в этой квартире, а мы — в нескольких шагах отсюда. Он был социал-демократ. До тридцать третьего года мой отец часто спорил с ним, но не мог его переубедить. Когда Гитлер захватил власть, мне пришлось скрываться, и я потеряла Арнольда из виду. Началось подполье, потом я попала в Равенсбрук, и вдруг зимой сорок третьего меня выпустили. Мне было двадцать лет, и я не знала, куда деваться. Меня и на порог никто не пускал. Я была больна, очень ослабела. Зима стояла суровая. Я обошла всех знакомых, никто мне не помог. Я оказалась в опале. Меня избегали, как чумы. Даже немногие товарищи, которые еще оставались на свободе и продолжали борьбу, порвали со мной. Прошло несколько месяцев, прежде чем мне снова стали доверять, и не мудрено: ведь меня так неожиданно освободили... Я была в отчаянии. Я не знала, как мне жить. И тут я встретила Арнольда. Он буквально подобрал меня на улице и оставил у себя. Его мать уже умерла. Он был солдатом и приехал в отпуск.

Прежде чем отправиться опять на фронт, он обвенчался со мной, Разумеется, я не должна была соглашаться, я никогда его не любила. Но я не могла сказать «нет», это было бы неблагодарностью, а потом у меня просто не хватило сил, я боялась снова оказаться на улице. Арнольд еще в тридцать третьем пошел на мировую с фашистами. В их партию не вступил, но даже слышать не хотел о борьбе против Гитлера. Со мной Арнольд вел себя по-человечески...

Хольт с возмущением покачал головой.

— Нет, не говорите! Я стала его женой, забеременела от него и сказала ему об этом. И тут я неожиданно опять установила связь с подпольщиками и стала опять вести подпольную работу — я не могла иначе. Несколько месяцев все шло хорошо, а потом меня арестовали. В тюрьме я преждевременно родила. Ребенок не прожил и часа... Домой я вернулась раньше, чем Арнольд, в мае. Он пришел в августе и сразу спросил про ребенка. Он говорит, что я его сама убила, потому что политика мне дороже... Где ему понять, что я пережила тогда в камере, из-за ребенка тоже. Вы спрашиваете, почему я не ухожу от него? Я ведь только формально его жена. Слежу, чтобы он не опустился окончательно, стираю ему, готовлю, убираю. Он хочет, чтобы все так оставалось. Пусть так и останется. Я не могу развестись с ним, ведь после всего, что было, я обязана хотя бы заботиться о нем.

Хольт молча смотрел на Юдит. Она заметно побледнела, горькие складки залегли вокруг ее губ. На заводе она умеет постоять за себя, а дома подчиняется этому человеку, искупает вину, в которой он сумел ее убедить.

— Я никому ничего не рассказывала,— закончила фрау Арнольд.— Только вам все сказала. И, пожалуйста, никогда больше не говорите об этом!

Нет, такое противоречие никак не вязалось с Юдит Арнольд. Она разумеется, преодолеет его. И, может быть, он сумеет ей в этом помочь...

— Я взял билеты на органный концерт в Зюдкирхе. Нет, нет, не богослужение, просто концерт Баха. Соглашайтесь! Пойдем!

На улице она взяла его под руку. Это было тоже ново. Но его уже ничто не удивляло. Он пытался объяснить ей, что такое полифония, строгая имитация, фуга, контрапункт. Повалил густой снег. Где-то вдали звонили колокола, и звон разливался по безлюдным улицам.

До самого нового года Хольт не встречался больше с фрау Арнольд. Начались сильные снегопады и жестокие морозы. Положение на заводе стало критическим. Юдит была завалена работой. Она почти совсем не спала и много разъезжала. Невзирая на ледяной холод она ездила на шахты, как когда-то Мюллер, доставала уголь, сырье, ампулы, упаковочный материал. Профессор тоже день и ночь пропадал на заводе.

Даже Хольту приходилось трудно. В школе отапливались всего несколько комнат. Там посменно занимались только выпускные классы.

Чем больше Хольт виделся с фрау Арнольд, тем сильнее она занимала его воображение. Юдит! Слаба, как все женщины. Он давно должен был проявить свою силу. Ради нее. Да, и ради нее... Он и так слишком медлил. Он сам себе удивлялся. Слишком долго заставил он ее ждать.

Настало 11 января, день его рождения. Нет, фрау Арнольд должна найти для него время!

Хольт позвонил ей на завод. По ее голосу он понял, что она обрадовалась.

— Юдит, сегодня вы должны найти для меня время... Нет, не в театр. У меня день рождения.

— Хорошо. Трудно, но как-нибудь постараюсь. Хотите прийти ко мне? Только не раньше девяти.

Не успело пробить девять, как он постучал в дверь. Ему отворила Юдит. Господин Арнольд ушел играть в скат.

Распущенные черные волосы падали ей на плечи. Она улыбнулась, и весь ее вид — ее волосы, ее улыбка — показались ему сигналом, которого он давно ждал.

— У тебя день рождения, — сказала она. — У меня нет никакого подарка, но давай говорить друг другу «ты». Согласен?

Хольт взял ее руку. Он даже не постарался вглядеться в ее лицо, понять, что на нем написано — удивление, страх или другое чувство? Все равно! Он обнял ее за плечи, прижал к себе. Опьяненный ее близостью, он не чувствовал ее сопротивления, пока она не оттолкнула его с такой силой, что он отлетел к стене. Стыд горячей волной ударил ему в лицо.

Прислонившись к столу, она медленно подняла руку и указала ему на дверь.

— Вон! — сказала она.

Хольт хотел извиниться, сказать, что она превратно поняла его. Но в глазах ее было такое глубокое разочарование, что он взял полушубок и молча вышел из комнаты.

Он побрел по улице. В нем все клокотало: что она из себя строит? Подумаешь, что особенного я сделал! Но стыд охватил его с новой силой. Ему стало холодно; полушубок он все еще нес на руке.

Ничего не видя, Хольт стоял не перекрестке. Он уже не пытался избавиться от жгучего стыда. «Я лишился друга, настоящего человека, какая бессмысленная, невозвратимая потеря... Да, бессмысленно все. Никогда я не выберусь из грязи. Что-то есть во мне, какой-то демон, злой дух, который все разрушает... «Что это в нас такое, что заставляет лгать, красть, убивать, развратничать?» Старый вопрос, заданный Бюхнером. *»

Он надел овчину и пошел дальше. Он видел перед собой лицо Юдит Арнольд. Оно улыбалось ему — открытое, чистое, красивое. Лицо настоящего человека. Но все человеческое в ней слишком долго унижали и оскорбляли и сегодня унизили опять. И виновен в этом был Хольт.

---

* Г. Бюхнер. «Смерть Дантона». (1835).

8

В один из февральских дней Готескнехт на перемене отозвал Хольта в сторону.

— Что с вами делается? Вы мне не нравитесь! У меня нет ни малейшего повода быть недовольным, но я как-никак психолог и вижу — у вас что-то неладно.

Хольт молча пожал плечами.

— Мальчик, — сказал Готескнехт, — у вас горе. Доверьтесь мне. — Увидев, что Хольт все еще молчит, он добавил: — Я ваш учитель, но ведь поделился же я с вами своими бедами.

— Тогда речь шла об идеологии. О ней говорить легче.

— Бьюсь об заклад, что и сейчас причина в идеологии.

Хольт покачал головой.

Готескнехт нахмурился.

— Опять история с бабой?

— Да бросьте вы! — сказал Хольт и вдруг крикнул: — В том-то и дело, что нет! Я познакомился с женщиной и не захотел понять, что к ней нельзя подходить с обычной моей меркой, что рядом с ней я ничто, что она совсем другая, чем я воображал.

— И она дала вам отставку? Вам это не повредит, Хольт. Я даже рад. Чертовски рад.

— Я оскорбил ее, — сказал Хольт. — Я много дней думаю обо всем, что случилось, и одно мне теперь совершенно ясно: я распустился, я ложно понял ее после всего, что она для меня сделала, но это только проявление болезни, которая грызет меня. Я не знаю, что́ это за болезнь, я не знаю, что мне делать, только эта женщина и могла бы меня спасти...— И он замолчал.

— А вы не пытались объясниться с ней? Попробуйте быть честным, Хольт! Нет такой ошибки, которую нельзя исправить, если только быть честным.

— Я ей звонил. Она сказала: «Не звоните мне больше, это бесполезно». Я не знаю. Раз она говорит «бесполезно» — значит, бесполезно.

Они ходили по коридору взад и вперед.

— Тогда оставьте ее в покое. Подождите. — Готескнехт взял Хольта под руку. — Все, что вы натворили, может оказаться благотворным для вас в дальнейшем, если отнестись к случившемуся серьезно, если попытаться понять, как это могло произойти. Ищите причину в себе, Хольт! Не обвиняйте никого, кроме себя — вот что я называю быть честным. На такую честность способны очень немногие. Но вы, Хольт, способны. Поймите, что война расшатала вас прежде, чем у вас успели выработаться моральные устои.

— Да откуда им было у меня взяться? Ведь мораль — это согласование своих интересов с интересами окружающих. Для человека, которого не научили морали, она остается пустым понятием. Теоретически я пытаюсь понять, что такое мораль, но от этого вовсе не становлюсь моральнее. Нет, нет, позвольте, господин Готескнехт, я вовсе не хочу облегчить себе задачу, как это делаете вы. Я не чувствую потребности в кантианском хламе. Я рад, что избавился от иллюзий. Кантовское «звездное небо надо мной, нравственный закон во мне»,— простите, но меня тошнит, когда я это слышу. Я не Карола Бернгард. Неужто вы считаете естественным, если похоть-сука скулит, выпрашивая кусочек духовной пищи, когда ей отказывают в куске мяса? Я считаю это лицемерием.

— Вы чрезвычайно заносчивы!

Хольт вспылил:

— Неправда! Плохо же вы меня знаете! Просто я научился, наконец, не обманывать себя. Да, я себя не щажу. Вы называете это моральной расшатанностью. Очень легко прикрыться такой пустой фразой, но ведь это самообман. — Хольт помолчал и добавил уже тихо: — Во мне сидит дьявол, и он сильнее всех слов о морали. Неужели я должен лгать, лицемерить, лукавить? Может быть, я еще недостаточно научился на своих ошибках, но одно я знаю твердо: нельзя притворяться перед собой и успокаивать себя красивыми фразами.

— Согласен, — сказал Готескнехт. — Но тогда позвольте сделать вывод. «Дьявол», которым вы бесконечно щеголяете, — ведь тоже только фраза.

— Я говорю образно, — возразил Хольт. — Я подразумеваю совершенно реальную силу, которая живет во мне и которую я пока не могу точно определить. Легче всего сказать: во мне говорит инстинкт разрушения. Вот вам и готовая формула, я мог бы сослаться даже на известное имя. Но речь-то не об этом. Скажите, кто в классе поставил бюхнеровский вопрос: что такое заложено в человеке, что заставляет его красть, убивать, блудить? А теперь вы являетесь, как врач из пьесы Бюхнера,* и говорите: «У Войцека нет морали!» Впрочем, то, о чем я говорю, не имеет ничего общего с моралью. Аморальность — внешний симптом. За ней скрывается нечто совсем другое... Кто знает, что бушует во мне? — И он раздумчиво добавил: — Фетер избавился от того, что его терзало, при помощи пистолета... Человек — дерьмо... Ах ты дерьмо... Можно пристрелить другого, можно использовать для удовлетворения своей похоти, разницы здесь нет. Если бы вы только знали, господин Готескнехт, как мне бывает тяжело!

— Знаю,— тихо промолвил Готескнехт.— Вы ищете, Хольт. Я ваш учитель, но не могу вам помочь. Я не знаю пути, который вы выбрали, он ведет в неизведанное. Я могу только твердо верить в вас и бояться за вас. Мне страшно за вас, как страшно за родину, за нашу разорванную Германию. После демонтажа, Хольт, мы остались нищими, у нас нет ничего, кроме нас самих. Никакой порыв, никакая сила Шнайдерайта не вызволят нас из беды, если и такие люди, как вы, не научатся управлять нашей судьбой в это ужасное время. Вы обязаны выстоять, Хольт, вы не смеете отчаиваться или удирать к вашей гамбургской родне.— Готескнехт взял Хольта за плечи. — Вы дали мне роман Бехера. Не забывайте его слова: все должны стать другими.— В коридоре резко зазвенел звонок.— Настанет день, и вы сможете объяснить этой женщине, почему заблуждались, а она выслушает вас и поймет. Но... до тех пор потрудитесь, пожалуйста, появляться на людях с другим выражением лица. Право, вы удивительно малодушны. — Готескнехт ушел.

Да, настанет день... На мгновение Хольт увидел себя в этот далекий день — зрелым, свободным, избавившимся от всех противоречий. Но свобода не придет сама. За нее надо будет драться, как надо драться и за самого себя.

Вечером он написал Юдит Арнольд несколько взволнованных строк: «Я знаю, что очень обидел вас. Но, пожалуйста, поверьте мне, я всегда искренне уважал вас и даже почитал. Тут есть противоречие, и пока еще я не могу его разрешить. Я пытаюсь разобраться в себе и уверен, что сумею это сделать». Письмо он отослал на адрес завода, где работала фрау Арнольд.

■

Стоял солнечный день, один из тех, какие бывают в конце марта. После длинной суровой зимы пришло наконец предвесенье с цвету-

* Пьеса «Войцек» (1836).

щими подснежниками и ласковым ветром. Хольт занимался у себя в мансарде. На лестнице вдруг послышались шаги. Он взглянул на часы. Гундель не могла еще вернуться, а отец был на заводе. Видно, почудилось. Но тут Хольт услыхал, что кто-то дергает запертую дверь в комнату Гундель, и не успел он обернуться, как к нему вошел человек и поспешно закрыл за собой дверь.

Фетер!..

Хольт смотрел на него, как на привидение. Фетер — в своем старом демисезонном пальто и широких брюках, затравленный, оборванный. На детском лице под низко надвинутой шляпой не осталось и следа румянца, оно было искажено страхом. Приложив палец к губам, Фетер прошептал:

— Никто не видел, как я вошел. Ну чего ты уставился? В самом деле никто не видел.

Хольт, наконец, пришел в себя. Ведь Фетера разыскивают, его ищут по обвинению в убийстве...

А Фетер, все еще держась за ручку двери, шептал:

— Я скрывался на Западе, но там они гонятся за мной по пятам. Дело с ювелиром в Кёльне — это я провернул... Я думал, что все уже травой поросло — дело-то не политическое. Но... — тут шепот его стал хриплым, на лице появилось отчаяние, — но здесь они тоже охотятся за мной, и, кажется, у вокзала меня опознали. Я должен исчезнуть, понимаешь, Вернер? Я должен исчезнуть! Ну скажи хоть что-нибудь!

Хольт лишь молча смотрел на него.

В страхе Фетер заговорил громко:

— Спрячь меня, Вернер... прошу тебя! Только на несколько дней. Спрячешь? Правда? — Обезумев, он кричал во весь голос: — Вернер, вспомни, как мы всегда держались вместе... Ведь ты не прогонишь меня... Не бросишь товарища в беде! Помоги мне, старик, мы же всегда были друзьями!

Хольт встал. Фетер был его прошлым. Прошлое бежало за ним, не отпускало его, заставляло все снова и снова сбиваться с пути. Но на этот раз он не собьется. Хорошо, что прошлое возникло перед ним ощутимо, что оно приняло облик человека. Хорошо, что этот человек взывает к былой дружбе, к самому глубокому, смертельному заблуждению.

— Иди в полицию, — спокойно сказал Хольт. — Если ты явишься добровольно, может, тебе это зачтется как смягчающее обстоятельство.

Фетер оглянулся на дверь, словно собираясь бежать.

— Ты с ума сошел! Они еще выдадут меня «Иванам», ведь я был тогда в русской военной форме...

Хольт разозлился, но ему тут же стало жаль Кристиана, толстяка Фетера, вечного младенца.

— Спрячь меня! — умолял Фетер. — Только на несколько дней. Я сразу же перейду границу, обязательно, и ты избавишься от меня. Я поступлю в Иностранный легион!

Хольт пришел в ярость. Фетер понял, что рассчитывать ему не на что. Выражение лица его изменилось. Хольт заметил это и невольно почувствовал страх. Отчаявшийся, загнанный в тупик Фетер был страшен. Не раздумывая, Хольт бросился на него и ударил изо всей силы. Прикрываясь одной рукой от ударов, Фетер сунул другую в карман пальто, прижался к двери и вытащил пистолет. Хольт успел стиснуть его запястье, дал подножку, и оба свалились на пол.

Кто-то распахнул дверь. Гундель! О господи, Гундель, беги за полицией, беги же! Гундель словно окаменела от страха, но, опомнившись, сделала именно то, что было нужно: она наступила обеими ногами на руку Фетера, и он разжал ее. Хольт подхватил пистолет, ударил им Фетера по лицу, тот потерял сознание. Гундель выбежала из комнаты. Хольт вскочил и снял предохранитель.

— Вставай! — крикнул он.

Фетер встал. Лицо его было в крови. Он прислонился в углу к стене и хотел что-то сказать, но Хольт, задыхаясь от гнева и жалости, заорал:

— Бандит... Преступник... Радуйся, что я не пристрелил тебя. Это было бы вынужденной мерой защиты. Никто бы и не вспомнил о тебе... Ох, Фетер, почему же все так получилось? Что ты только натворил!

С улицы донесся рожок полицейского автомобиля, Хольт прислонился к столу, рука его, державшая пистолет, опустилась. У него сдавило горло.

— Вот как мы кончаем...

Вошли полицейские, на Кристиана надели наручники, и его увезли. Хольт бросился на кровать. Он лежал, зарывшись лицом в одеяло, и не чувствовал, что Гундель гладит его по голове.

■

Ранним вечером к Хольту явился молодой человек из уголовной полиции и коротко допросил его. А через несколько дней он получил от начальника народной полиции письмо с выражением благодарности, но не почувствовал ни радости, ни удовлетворения.

Теперь Хольт думал о Фетере без ненависти и без жалости. Откуда-то издалека на него надвигалось чувство страха. Он понимал, что письмо из полиции не последнее, его ждет еще что-то.

Почему он не идет туда сам, чтобы дать новые показания по делу Фетера — нет, по своему собственному делу?

Только много дней спустя Хольт ответил себе на этот вопрос. Он шел в школу на кружок французского языка, и по дороге его остановил Готескнехт.

— Хольт,— сказал он,— возможно, что сегодня или завтра вам придется принять решение. Прошу вас, не предпринимайте ничего, не поговорив предварительно со мною.

— Что вы хотите сказать?

Готескнехт пожал плечами.

— Если в школе наводятся справки об успеваемости того или иного ученика, это делается неспроста. Больше я вам ничего сказать не могу.

— «Туманным был смысл ваших слов»,— процитировал Хольт Шиллера. И все-таки сразу подумал о Фетере.

С тех пор как Хольт передал его полиции, он жил в постоянном нервном напряжении. Сейчас оно сменилось ожиданием. Возвращаясь домой, он увидел Гундель.

Она стояла возле института и всматривалась вдаль, видимо ожидая Хольта. Гундель была бледна. Взяв его за руку, она вошла с ним в его комнату.

— Твой отец хотел поговорить с тобой,— сказала Гундель,— но ему позвонили с завода, там что-то срочное, ему пришлось уехать.

— А чего отец хочет?

Она не спускала с него глаз.

— Опять приезжали из уголовной полиции.

— По поводу Фетера?

— Нет, тебя вызывают в прокуратуру.

У Хольта подкосились ноги.

— Говорят, ты что-то украл,— сказала Гундель шепотом.— Не могу этому поверить.

— Да, украл,— сказал Хольт.— Можешь поверить.

— Перед тем, как сбежал в Гамбург?

— Да, перед тем.

Она вздохнула с облегчением, но Хольт не заметил этого.

— А почему ты не признался?

— Я и сам задаю себе этот вопрос.

— Ты же заявил о Фетере полиции. Тут какое-то противоречие.

— Во мне много противоречий. Может быть, я хотел вывернуться. Боялся, что выгонят из школы. Ведь могло случиться, что Фетер давно забыл про эту мелочь. Зачем же мне было самому лезть в петлю?

— В тебе много противоречий...— повторила Гундель. Она смотрела на него в раздумье, стараясь что-то понять.

— Да, очень много,— согласился он,— и я постоянно спотыкаюсь о них.

Она села. Она была здесь, рядом, с ней он чувствовал себя в безопасности.

— Вот и ты, Гундель, тоже мое противоречие, самое большое...— сказал Хольт.

Он долго сидел понурившись.

— Ну, хорошо, оставим это. Но что же теперь будет? Меня исключат из школы, и, значит, все было напрасно.

— А что ты станешь делать? — спросила она с тревогой.

— Начну сначала. Жизнь всегда куда-нибудь да движется. Жалко, что это случилось перед самым получением аттестата. А я-то рассчитывал, что сдам хорошо, и заранее гордился.— Хольт встал.

— Ступай в прокуратуру. Комната 183. Они работают до вечера. Пойти с тобой?

— Неужели пойдешь?

Она кивнула.

— Я буду защищать тебя. Мне они поверят, ведь теперь ты уже другой.

— Другой?

— Да, Вернер, ты во многом переменился...

— Но?..— перебил Хольт. Он пошел к дверям.— Хорошо, давай обойдемся без «но», я сам все знаю. Спасибо, но я пойду один. Я заварил кашу, я и должен расхлебывать.

■

Серое здание... Хольт шел по длинным коридорам, и ему казалось, что в сердце у него пульсирует страх...

Комната 183... Постучи, возьми себя в руки, ты во многом переменился. Хольт вошел в приемную, назвал секретарше свою фамилию, и его тотчас пропустили в кабинет.

Прокурор, человек лет пятидесяти, сидел за письменным столом. Он указал на стул. Хольт внимательно смотрел на коренастую, почти квадратную фигуру прокурора, на его лицо, стараясь догадаться, что ему предстоит. Но оно было неподвижно и непроницаемо. Обветренное лицо, на котором жили только властные глаза.

— Вы Вернер Хольт?

Прокурор открыл папку. Папка оказалась не та. Он поднял телефонную трубку.

— Дело Фетера, пожалуйста.

Как же так? Разве на Хольта еще не заведено особое дело? Секретарша принесла серую папку. Прокурор перелистал документы, пробежал их глазами и стал читать внимательно. Читал он долго. Наконец вздохнул — так глубоко, будто простонал,— и посмотрел Хольту в глаза.

— Итак, в декабре 1945 года вы продали Фетеру пять литров алкоголя, так называемого чистого спирта, и тысячу таблеток медикамента, так называемого альбуцида. Это верно?

— Да,— сказал Хольт.

— Алкоголь и таблетки вы похитили из кладовой, примыкающей к лаборатории вашего отца. Это верно?

— Да,— сказал Хольт.

— Хищение и спекуляция.— Голос прокурора звучал негромко и сухо.— Признаете ли вы себя виновным? — Он снял висевшую на стуле куртку и надел ее.

Хольт увидел красный треугольник на лацкане и опустил глаза...

Он хотел доказать Мюллеру, что действительно начал новую жизнь. И вот он сидит перед ним, перед Мюллером, и признает себя виновным, да, виновным в хищении и спекуляции. А то, что с тех пор он многое понял, не имеет ровно никакого значения. Мюллер судит о человеке не по словам, а по его поступкам.

— Я спрашиваю вас, признаете ли вы себя виновным?

— Да,— сказал Хольт.

— Что вы можете сказать в свое оправдание?

— Ничего,— сказал Хольт.

Лицо прокурора было по-прежнему неподвижным, но в глазах его выразилось неодобрение.

— Обстоятельства, смягчающие вину, существуют всегда. Вы ведете себя неправильно, отказываясь защищаться.

Хольт молчал.

Прокурор снова вздохнул, и опять вздох его прозвучал как стон.

— А что вы сами думаете об этом деле?

— Но оно совершенно ясно. Кража, спекуляция. Простите, вас действительно интересует, что я думаю?

В каменном лице прокурора наконец что-то дрогнуло. Облокотившись о стол, он с удивлением рассматривал Хольта, словно оценивая его.

— Да, меня действительно интересует, что вы об этом думаете,— сказал прокурор и вдруг закричал: — А как вы полагаете, меня что интересует? Параграфы, постановления, статьи? — Он замолчал, скрестив на груди руки.— Итак?

— Все это было очень давно.— начал Хольт.— Так давно, что иногда мне кажется: я был вовсе не я. Как бы там ни было, тот, кто сидит сейчас перед вами — не знаю, много ли он стоит, но пусть даже это деклассированный, морально расшатанный, мелкобуржуазный индивидуалист,— право же, он не станет красть, у него совсем другие интересы. Впрочем, оставим это. Ведь тогдашний Хольт действительно украл. С точки зрения закона то, что он чувствует себя сегодня другим человеком, не имеет никакого значения, не снимает с него вины. И поэтому я не хочу выгораживать себя.

— Ну знаете, вы чертовски самонадеянны,— сказал прокурор, откидываясь на спинку стула. Лицо его смягчилось. Оказывается, оно вовсе не было каменным. Просто прокурор в совершенстве им владел.

И Хольт увидел преждевременно состарившегося человека, с лицом, изборожденным морщинами. Таких людей он встречал повсюду — и по дороге в школу, и на стройках, и на субботниках, когда они разгребали развалины, и на заводе, среди рабочих...

— Расскажите все как было, с самого начала,— услышал Хольт.

И он стал рассказывать. А прокурор сидел и слушал, скрестив на груди руки.

Хольт замолчал, а прокурор опять взял дело Фетера, углубился в него и, наконец, сказал просто и деловито:

— Решающее значение имеет для нас вопрос о том, был ли похищенный товар собственностью завода или принадлежал вашему отцу. Он оказался собственностью вашего отца. Поэтому мы рассматриваем

это дело, как дело частного обвинения, которое может быть возбуждено лишь по просьбе пострадавшего. В данном случае все сложилось чрезвычайно благоприятно для вас. Отец ваш заявил, что, принимая во внимание ваше поведение в последнее время, он не будет привлекать вас к уголовной ответственности. Итак, остается спекуляция. Деньги, полученные вами, будут с вас взысканы. Ваш отец согласился с размерами установленной нами суммы. Таким образом, с юридической стороной дела мы покончили.— Прокурор отодвинул папку.— Остается моральная сторона. Прокуратура совещалась с вашей школой и с вашим отцом, вызвала и допросила вас и пришла к мнению, что за последний год вы сделали необходимые выводы из своего поведения. Прокуратура считает ваше дело законченным.

Хольт встал и положил руки на спинку стула. Склонив голову набок и плотно сжав губы, он смотрел на человека за письменным столом, на его поношенную прорезиненную куртку, на красный треугольник...

— Вы сидели в концлагере или в тюрьме? — спросил Хольт.

— Я пробыл двенадцать лет в Бухенвальде,— ответил с удивлением прокурор.

— Мне хочется вас спросить... Вы не знали Мюллера, нашего Мюллера, с завода? Мне так и не довелось задать ему этот вопрос. Мы все слышали, что делалось в Бухенвальде и вообще в лагерях, но я и другие — в лучшем случае мы стояли по стойке «смирно». Вы никогда не испытываете желания отомстить? Вы могли уничтожить меня. Почему вы так великодушны?

Лицо прокурора снова окаменело.

— Мы не великодушны,— сказал он.— Приведите сюда бывшего охранника из Бухенвальда, и вы увидите, как мы умеем карать...— Он посмотрел поверх Хольта и снова со стоном вздохнул.— Мы просто тонем в делах о спекуляции. Несколько литров чистого спирта — да это сущие пустяки. Вопрос в другом. Вы, разумеется, провинились, но сейчас вы вступили на правильный путь и этим заглаживаете свою вину. Именно это должен сделать и весь наш народ, чтобы загладить нашу, немецкую вину. А мы обязаны наблюдать, чтобы это происходило и в большом и в малом, во всем. В этом смысл существования юстиции.— Прокурор кивнул.— Сдавайте свои экзамены на аттестат зрелости! Ни пуха ни пера!

Хольт был свободен.

■

Навстречу ему вышла Гундель. В глазах ее была тревога. Она повисла у него на руке. Никогда, еще с того первого лета она не была ему так близка.

— Значит, все хорошо? Правда?

— Даже если еще и не все, так потом будет хорошо. Мы ведь с тобой оптимисты.

В комнате Гундель лежали цветы. Скоро весна, и она опять отправится собирать растения. И вдруг он увидел ее такой, какой она была там, на лестничной площадке, когда, стоя на коленях, забитая, охваченная страхом, скребла ступеньки. За эти два года Гундель сформировалась. В этом месяце ей минет семнадцать. Она стала почти взрослой. «Значит, все хорошо? Правда?» Будь ты хоть сто раз оптимистом, на жизнь надо смотреть без иллюзий. Ничего еще у него пока нет хорошего, все еще очень скверно.

Страх, от которого он избавился сегодня, был только частью тяжести, давившей его.

Хольт подошел к окну. На улице уже было темно.

— Сегодня в прокуратуре мне стало ясно, какую ответственность накладывает на нас доверие. Раньше я этого не знал.— Он вспомнил о Юдит Арнольд, но воспоминания сразу увели его в далекое прошлое.

— В сорок четвертом, осенью — мы с тобой уже были знакомы — я стоял в Словакии... У школьного сторожа там была дочь, ее звали Миленой. Она тоже доверилась мне, хотя я был ее врагом. А я всегда принимал доверие за слабость и покорность. Я всегда только злоупотреблял доверием.

Гундель покачала головой.

— Неправда. Когда мы познакомились, я доверилась тебе и не обманулась.

Никогда еще не говорила она о том, что было тогда. Никогда еще не заводила речь об их незабываемом вечере.

— Да, тогда,— сказал Хольт.

Тогда Гундель жила в его душе, она была его совестью. А кем была она сегодня?

— Ты не говоришь, как сильно я разочаровал тебя после войны,— сказал Хольт.— Не говоришь, но даешь почувствовать.

— Это жестокий упрек.

— Еще недостаточно жестокий. Я навсегда утратил твое доверие, и в душе ты тяготишься мною, потому что я нуждаюсь в тебе и ничего не могу дать взамен. Со Шнайдерайтом тебе куда проще. Он сильный, его ничто не может сбить с пути, он не нуждается в твоей помощи, он просто благодарен тебе за то, что ты существуешь на свете. Для него ты ничего не должна делать, ты должна быть просто Гундель, милой, славной Гундель. В нем ты находишь опору, а я не могу быть для тебя опорой — я сам ее ищу. Но благодаря тебе я первый и единственный раз в жизни нашел себя, настоящего, я был действительно самим собою. Это случилось, когда я увидел тебя и вступился за тебя, и мне было за тебя страшно.

Она сидела, сложив на коленях руки, и думала над его словами.

— Я не могу понять всего, как ни стараюсь. Обычно ты замыкаешься в себе, дуришь, как мальчишка. Мы с тобой много разговариваем. Но, мне кажется, мы слишком мало знаем друг друга.

Хольт махнул рукой. Он вдруг почувствовал, как устал после волнений этого дня.

— Для того чтобы знать друг друга, пришлось бы расколоть друг другу черепные коробки и повыдергивать мысли из мозга.

Она смотрела на него печально, почти с состраданием.

— Просто мне нужно проводить больше времени с тобой. Я ведь не знала, что нужна тебе, и совсем не знаю, как тебе помочь. У меня есть определенные дни для молодежной группы и для тренировки, конец недели я провожу с Хорстом, а для тебя ничего не осталось. Вот ты и чувствуешь себя покинутым. Я хорошо тебя понимаю. Хочешь, у нас с тобой тоже будет свой день?

Конец недели с Хорстом. Хольт уже привык к тому, что он только пятая спица в колеснице, что его только терпят. Но если он не хочет потерять Гундель совсем, он и пикнуть не смеет. Он должен молча все проглотить и удовольствоваться на первых порах хоть одним вечером, который останется после дня отдыха, проведенного со Шнайдерайтом. Довольно с него и кости, которую ему швыряют.

Он услышал, как приехал с завода отец и вошел в лабораторию. Ему вспомнилось все, что было год назад. Разве не вернулся он из Гамбурга, преисполненный лицемерной честности и хитрых расчетов? А сейчас он рвался к отцу, словно должен передать ему поручение, только по

дороге забыл, какое именно. Он вошел в лабораторию, немного нервничая, немного смущенный и чрезвычайно нуждаясь в поддержке.

Профессор сидел за микроскопом. В комнате было темно. Только лампочка отбрасывала резкий пучок света на его лицо.

— Давай не говорить об этой истории.— Седые волосы отца, пронизанные светом, отливали серебром. И Хольт, помимо воли, вдруг погрузился в воспоминания, ожило давно минувшее — раннее детство. Тогда между ними не было отчуждения, тогда еще не было отравляющих насмешек матери, и отец представлялся ему олицетворением всех добродетелей. Он был всемогущим, всезнающим, добрым и мудрым другом. Тогда Хольт еще ничего не знал о противоречиях, свойственных людям. Сейчас он о них знал. Отец уже не был для него идолом, и нимб, окружавший его, исчез навсегда. И у отца свои слабости — его препараты были ему всегда ближе, чем сын. Но справедливость его искупала все. Отец — настоящий, большой человек. И Хольт всем сердцем стремился сейчас завоевать его дружбу.

— Разреши мне посидеть с тобой полчаса,— попросил Хольт.

Профессор подвинулся, как бы приглашая его сесть рядом. С этого дня они часто оставались в лаборатории и с увлечением разговаривали. А иногда Хольт молча помогал отцу.

■

В мае он получил письмо от доктора Гомилки.

Весь март и апрель Хольт работал изо всех сил, но перед письменными экзаменами перестал заниматься. Наверстать упущенное в самые последние дни все равно невозможно. Лучше послушаться отца и хорошенько отдохнуть. Он решил уехать на целую неделю — в городе никак не оторвешься от книг — и сказал об этом Готескнехту.

— Вы хотите прогулять? — Готескнехт возмутился.— Тут я вам не помощник!

— Тогда мне придется тяжело заболеть. Удовлетворит ли вас справка, выданная профессором?

— Если вы заболеете, разумеется, дело другое.

Но куда ехать? Аренс предложил ему пожить в загородном домике — он все еще старался завоевать расположение Хольта. В последнее время Аренса, видимо, что-то угнетало.

— Мы должны подать документы, чтобы нас внесли в списки поступающих в университет,— сказал он Хольту.— Учебная часть выдаст нам временные удостоверения, а аттестаты мы представим потом. Вы уже выбрали факультет? Нет еще? Пора. Вы, конечно, будете учиться в нашем городе?

— Не знаю,— сказал Хольт.— Мне хотелось бы к Эберсбаху. А с другой стороны, не хочется уезжать отсюда.

— Не хочется? А я непременно уеду.— Аренс доверительно взял Хольта под руку.— Вместе с документами надо подать сочинение. Говорят, от него зависит многое. Тема сочинения должна быть связана с нашей будущей профессией... Ума не приложу, что мне написать.

— Врач и гуманность... Вот большая тема!

— А вы напишете за меня? — воскликнул Аренс.— Но это же...— Он несколько раз поклонился Хольту.— Это, право... прекрасно с вашей стороны.

За два часа Хольт написал сочинение, и Аренс в благодарность принес ему килограмм натурального американского кофе.

— Может, вам еще что-нибудь написать? — спросил Хольт. Он вспомнил о Цернике и взял кофе.

Принять ли приглашение Аренса? — раздумывал Хольт. Но тут неожиданно пришло письмо от доктора Гомилки. Вернувшись из Гамбурга, Хольт сразу же написал адвокату, что опять живёт у отца и собирается сдавать экзамены на аттестат зрелости. Адвокат в самых сердечных словах выразил свое одобрение. На этом их переписка и кончилась. Теперь доктор Гомилка писал Хольту, что Зепп вернулся из советского плена и прожил две недели у него в Нюрнберге, но поступит в школу в советской зоне оккупации. Решено, что он поселится у своего дяди, зубного врача, в Дрездене. Зепп уже туда поехал.

Зепп вернулся!.. Хольт посмотрел на дату письма и заказал телефонный разговор. Слышимость была отвратительная. Зепп уехал вчера в Саксонскую Швейцарию, будет отдыхать в охотничьей хижине. Он уже написал Хольту, предлагает ему приехать туда же, кричал зубной врач из Дрездена, подробно объясняя, где находится эта хижина, как называется ближайшая к ней деревня и железнодорожная станция.

Охваченный нетерпением, Хольт уехал на следующий же день. Он долго ехал в поезде, потом еще целый час шел пешком. В горах он разыскал избушку. Она стояла в лесу над ущельем, на дне которого, пенясь, мчался горный поток. Вокруг росли сосны и голубые ели, торчали голые скалы. Домик был сложен из мореных бревен. На площадке перед ним горел костер. У костра сидел худощавый, мускулистый юноша, с коротко остриженными волосами и помешивал в котелке. Завидев Хольта, он вскочил и кинулся навстречу. Зепп Гомилка, старый друг! Наконец-то он нашел его!

Они трясли друг другу руки, хлопали по плечу, смеялись.

— Ну-ка, Зепп, дай поглядеть на тебя! Вот ты какой!

— А ты? Совсем взрослый!

— А ты стал похож на древнего мудреца, до чего же у тебя одухотворенное лицо!

— Садись! Ну как живешь?

— А что ты варишь?

— Лапшу из ржаной муки, это наш ужин.

■

Ночью они лежали у костра.

— Вольцов умер,— рассказывал Хольт вполголоса.— Он был одержим жаждой убийства и должен был так кончить — бессмысленно, увлекая за собой в смерть всех окружающих. Да и вся его жизнь была разрушающей и самоубийственной... А Кристиана я и вспомнить не могу — я вынужден был выдать его полиции. Убийство, Зепп... Человеческая жизнь не имела для него никакого значения. Это ужасно, Фетер ведь вовсе не был прирожденным убийцей.

Они проговорили всю ночь и только на рассвете улеглись спать в домике. Проспали до полудня, потом выкупались в ледяном ручье и, растянувшись на солнце, продолжали разговаривать.

Им надо было так много сказать друг другу. Гомилка привез новости и об Уте. Ее адвокаты добились выдачи Грота французам, но, как выяснилось, толку от этого было мало. Грот сидит во французской тюрьме, его, несомненно, ждет обвинительный приговор. Но адвокаты ведь добивались, чтобы его судил немецкий суд. Ута живет по-прежнему в Шварцвальде, одна, тратит все свое состояние на добывание свидетельских показаний и наотрез отказывается уехать из своей пустыни. В эту зиму передохли все ее овцы, и сама она лежала больная, с воспалением легких, без врача, без ухода, без помощи. Только чудом не умерла.

— Добром ей не кончить, говорит мой отец,— добавил Гомилка.— Но она предпочитает погибнуть в своей глуши, чем вернуться к людям.

— Она заблуждается,— заметил Хольт.— По существу совершенно безразлично, как жить — отшельником или среди людей. Одиночество нисколько не зависит от места, в котором мы живем, оно зависит только от нашего поведения. Здесь, среди людей, я бывал подчас гораздо более одинок, чем в глуши рядом с Утой.

— Почему же ты не остался там?

— Из-за Гундель.

Зепп, щурясь, смотрел на солнце, висевшее над ущельем. Имя Гундель не вызвало в нем никакого отклика.

— Гундель обладает тем, чего не хватает мне,— продолжал Хольт.— Она живет естественно.

— Что-то непонятно.

— Послушай, вот я выжал из себя все, что только мог, и стал одним из лучших выпускников. Но для меня это вовсе не естественное мое существование. Я все время насилую свою волю и достигну определенной цели не потому, что это отвечает моим естественным потребностям, а потому, что я сознательно решил ее достичь.

— А чего именно ты решил достичь? — спросил Гомилка.

Хольт молчал. Гомилка подбросил несколько веток в огонь и терпеливо ждал ответа.

— Ты, кажется, и сам не знаешь,— сказал он.

— Нет, знаю. Я хочу опять завоевать Гундель.

Гомилка громко вздохнул.

— А дальше? Что будет потом, когда ты ее завоюешь?

— Не знаю,— ответил Хольт.— Может быть, тогда придет большое настоящее счастье, о котором я мечтал, когда был еще мальчишкой. А может быть, я только напрасно жду, но ведь и вся жизнь — сплошное ожидание. Может быть, тогда настанет пустое мертвое время, и его тоже придется как-то прожить.

— Убийственно! В лагере и я размышлял над этими вопросами. Ведь кроме фашистского мифа мы и намека на какое-либо мировоззрение не получили — ни в школе, ни в армии, нигде. Но в лагере я усвоил простую истину, к которой пришел еще Фауст. Сама жизнь — вот та задача, которую мы обязаны разрешить.

— Знаю. Все знаю, Зепп. Человек должен ставить перед собой определенную цель. Разумом я все понимаю. Но живем-то мы, к сожалению, не только разумом.

— Да, ты прав, мы живем и чувствами и настроениями,— согласился Гомилка.

— По существу мы с тобой оперируем совершенно ненаучными понятиями,— продолжал Хольт.— Мой отец непременно сказал бы: «Центральная нервная система чрезвычайно сложна»... Но когда дело касается настроений, чувств, отделить ложное от истинного очень трудно. Как-то я именно с этой точки зрения попытался взглянуть на мировую историю. В эпохи, когда человек живет, опираясь на разум, его гораздо труднее сбить с толку.

— Это верно, пожалуй, но только наполовину,— сказал Гомилка.— Идем-ка спать. Утро вечера мудренее.— Они улеглись.— Во всяком случае я понял, что́ ты подразумеваешь, когда говоришь: Гундель живет естественно...— В эту ночь он не произнес больше ни слова.

■

На другой вечер — последний — Гомилка пек картошку на костре и рассказывал о том, что пережил в плену.

— У советских людей есть цель,— говорил он.— И это там самое привлекательное. Понимаешь, все общество имеет общую цель, ради нее

оно работает, приносит жертвы, от многого отказывается. Помнишь, о чем мы с тобой говорили на фронте? Мы чувствовали, что в мире что-то не в порядке. И мы сочинили целую философию о смерти на безнадежном посту. Большевизм был для нас пугалом. Мы понятия не имели, что именно большевики начали перестраивать мир — осмысленно, сознательно, по определенному плану.

— Нас поразила слепота,— подхватил Хольт.— Мы должны были пройти через все круги ада.

— А действительно ли должны были? — усомнился Гомилка.

Он вытащил из золы картофелину, проткнул ее веточкой и, сняв обуглившуюся кожуру, осторожно откусил.

— Видишь ли, не должно было быть этой войны,— продолжал развивать свою мысль Хольт.— Но человеку надо самому пройти через испытания, чтобы избавиться от иллюзий и по отношению к себе и по отношению к миру. Ибо «я» — это вовсе не наше детское «я». И окружающий мир тоже не тот, на который мы смотрели детскими глазами.

— До чего же вкусно,— сказал Гомилка.— Дай, пожалуйста, соль! Так ты думаешь, что надо пройти через своего рода отрезвление?

— Вот именно,— сказал Хольт.— Как ты справляешься? А я все время обжигаю губы... В детстве мы составляем себе некий миф о мире и о нас самих, но, когда начинаем постигать действительность, миф распадается. Все, что казалось твердым и незыблемым, приходит в движение, все теряет устойчивость, и в один прекрасный день оказывается, что мы плывем по течению. Нам не за что ухватиться, Зепп, и мы начинаем искать всамделишную жизнь, всамделишную любовь. Мы хотели постичь «все действия, все тайны, всю мира внутреннюю связь». Но мы постигали это в эпоху насквозь лживую. Вместо истины нам преподносили только новые мифы. Вот тебе и причина того, что мы потерпели крушение в юности.

— А сейчас, Вернер? Ты все еще продолжаешь искать?

— Да, Зепп, я все еще продолжаю искать. Но тут есть разница. Тогда мы останавливались в беспомощности перед любым вопросом. У нас не было масштаба для сравнения, не было архимедовой точки опоры. А сегодня мы знаем, что такая точка есть.

Гомилка подался вперед и с нетерпением смотрел на Хольта.

— Мы знаем Маркса, мы знаем законы истории,— сказал Хольт.

Гомилка выпрямился:

— Я не сомневался, что ты придешь к этому. Как только я прочел первые строки из Маркса, я сразу же подумал о тебе. И все время надеялся, что ты придешь именно к этим выводам.

— Да, с тех пор, как я прочел Маркса, я обрел почву под ногами,— подтвердил Хольт.— Я учусь постигать мир.

— Но тогда чего же ты еще ищешь?

— Моя тема: «Мир и я». Мир познаваем и изменяем. Он перестанет быть чумной ямой цивилизации, он станет тем, чем должен стать,— родиной мирного и единого человечества. Это то, что касается раздела «Мир». Теперь о «я». Что будет с моим «я»? Познаваемо ли оно? Перестанет ли когда-нибудь «я», это вот «я», быть игрушкой слепых страстей, швыряющих его неведомо куда? Перестанет ли оно представлять собою Нечто, истерзанное противоречиями, не имеющее родины, мятущееся между классами? Перестанет ли быть только думающим, работающим, говорящим животным? Будет ли оно тем, чем должно быть,— настоящим «я», Человеком?

— Ты ставишь перед собой очень трудную задачу,— промолвил после долгого раздумья Гомилка.— Стремление к познанию, к ясности, да, мне это знакомо. Но такие отчаянные поиски своего «я», жизни, любви!.. Дай ты созреть своему «я». Дай любви прийти к тебе самой

и живи жизнью, которая тебя окружает. Ждать тоже нужно уметь. Впрочем, все это, разумеется, не ответ на твой вопрос.— Пламя костра освещало лицо Гомилки. Он улыбнулся, и от шрама на щеке улыбка его казалась грустной.— А может, ты просто любишь усложнять? Одни переносят все легко, другим приходится все выстрадать. Так бывает. Я понял это в лагере, когда прочел стихи Бехера. Все, что довелось пережить многим — возврат Германии к эпохе варварства, изгнание, тоску по родине, по ее языку,— все с особой силой пережил поэт. Читая его, чувствуешь, как глубоко и искренне он страдал.

— Я не поэт,— сказал Хольт.— Но довольно, давай больше не говорить об этом.— Он смотрел в ночь, он видел очертания голубых елей на фоне звездного неба. Какая-то птица вспорхнула в кустах.— Удивительная здесь природа! Мне тоже хотелось бы иметь такое убежище.

— Вот тебе ключ, приезжай когда захочешь,— предложил Гомилка.— Можем здесь иногда встречаться.

— Завтра мне надо домой, послезавтра начинаются экзамены. И первый — сочинение. Я всажу в него кучу так называемых умных мыслей. Тут уж мне придется задуматься над гуманностью, над историческим прогрессом и всем прочим. А вот что жить стоит, раз есть такие ночи, как эта, и горы, и серп луны за елями, и друг рядом, и мечта о счастье... вот этого, Зепп, как ни жаль, я в своем сочинении сказать не смогу.

9

Пять письменных экзаменов в течение двух недель...

— Я выдохся! — сказал Хольт, когда все кончилось.

Контрольная по математике оказалась просто удовольствием. Сочинение по литературе тоже. Оба перевода, с латинского и с английского, заставили Хольта, как он и ожидал, попыхтеть, но на письменной по химии он безнадежно застрял. Всем экзаменующимся дали одну-единственную тему: «Химия и производство бытовых силикатов». Хольт почувствовал полную беспомощность. Неорганическая химия... Он давно ее позабыл. Несколько минут он тупо твердил про себя: сода и песок, песок и сода — больше ничего ему в голову не приходило. Но так или иначе надо либо что-то написать, либо сдать пустой лист. Он решил написать — все равно что.

«Силикаты в быту,— писал Хольт,— как тут не вспомнить о стекле, а вспомнив о стекле, не представить себе и залитые светом помещения с застекленными окнами и разрушительные последствия бомбежек?» Так, сделано! Теперь можно перейти и к изложению причин второй мировой войны. Впрочем, нет, лучше к изобретательности человеческого разума, который позволил вставлять в окна картон, и прежде всего игелит. «Сквозь игелит,— писал Хольт, благополучно перебравшись таким образом в органическую химию,— проникает, конечно, меньше света, чем сквозь самый общеупотребительный силикат — стекло. Но, когда скверные мальчишки забивают в окно футбольный мяч, оказывается, что этот синтетический материал по своим качествам несравнимо выше обычного оконного стекла и, следовательно, перспективнее». Тут Хольт принялся писать о высокополимерах и макромолекулярах. К этой теме он был подготовлен. Он отдал работу и стал ждать дальнейшего развития событий.

Через два дня его вызвал Готескнехт.

— Хольт,— в бешенстве сказал он.— Я-то вас знаю, я опытный психолог, и мне совершенно ясно, что вы и понятия не имели о вашей теме. Какое неслыханное нахальство, какое издевательство над экзаменаци-

онной комиссией! Однако Петерсен утверждает, что тему вы сочли для себя, видимо, настолько легкой, что по собственной инициативе выбрали другую, гораздо более трудную,— из области органической химии. Так что за ваше беспримерное нахальство вам хотели поставить еще и «отлично». Но я пригрозил дойти до самых высших инстанций, если работа не будет признана не подлежащей оценке!

— Ну что ж! — сказал Хольт.— «Не подлежит оценке» — гораздо лучше, чем «плохо».

После письменных испытаний занятия в школе возобновились. Но никто уже не относился к ним серьезно, все приходили когда вздумается. Учителя не раз оказывались перед пустыми скамьями, и замечания градом сыпались в классный журнал. Хольт являлся только на уроки математики и, желая сделать приятное Готескнехту, изредка присутствовал на занятиях по литературе и истории. В остальное время он лениво валялся в шезлонге.

Тут и застал его однажды разгневанный Готескнехт, когда по дороге домой заглянул в институтский парк.

— Накапливание сил перед устными экзаменами,— пояснил Хольт,— или затишье перед бурей. Будьте же снисходительны, господин Готескнехт.

Начались устные испытания. Готескнехт проэкзаменовал Хольта по литературе и по истории. Лорентцу Хольт с блеском сдал математику. Затем биология, физика, и экзамены кончились. Хольту вывели общую оценку «хорошо».

Готескнехт шел с ним по коридору.

— Вы можете гордиться, да и я горжусь тем, что вы были моим учеником. В этом году вы сдали гораздо более трудный экзамен, чем на аттестат зрелости. Вы начали жить по-серьезному.— Он взял Хольта под руку.— И все-таки у вас что-то не ладится. Скажите откровенно, вас все еще мучает история с той женщиной?

— Я немного переутомился. Право, не понимаю, о чем вы говорите.

— Я имею в виду, например, своеобразный подтекст в вашем сочинении. Оно бесспорно заслужило высшую оценку, и кто не знает вас, никогда не заметил бы, что за всеми вашими острыми, ясными, правильными рассуждениями и выводами сквозит пессимизм... Вы поразительно развились интеллектуально. Но что заставляет вас быть столь пессимистичным?

Хольт пожал плечами.

— Право, не знаю.

— Мне не хотелось бы терять вас из виду. Вас, несомненно, примут в университет, но мне жаль расставаться с вами.— Они остановились возле учительской.— До начала учебного года вам предстоят вполне заслуженные каникулы. Заходите ко мне! — Хольт не успел поблагодарить, как Готескнехт добавил: — Знаете что, когда вздумаете зайти, прихватите Гундель и Шнайдерайта.

Хольт вежливо наклонил голову. Привести с собой Шнайдерайта! Такую просьбу сегодня, когда он сдал последний экзамен, он воспринял как бестактность...

Выпускники в последний раз собрались в классе, царило приподнятое настроение. Гофман принес бутылку водки и угостил всех, кроме Гейслера.

— Правда, я был только уполномоченным класса, но, как сознательный представитель своего класса, я не стану пить с классовым врагом, будь он трижды моим одноклассником.

Одноглазый Бук хлебнул как следует. Удержать его было уже невозможно.

— Разрешите мне в последний раз возвысить голос и произнести речь? Согласны? Анархическую, подстрекательскую, грозную речь против всего духа школы, против всякого образования вообще и за введение организованной неграмотности в городе и в деревне.

Бук вскочил на стол.

— Абитуриенты! — воскликнул он.— Матуранты! Абсольвенты! Кандидаты! День настал! Вашему рабству пришел конец. Но еще миллионы школьников во всем мире стонут под игом меньшинства, учителей...

Дверь распахнулась: вошел Готескнехт.

— Вот я вам покажу иго,— сказал Готескнехт.— Да без меньшинства, без учителей, вы имени своего написать бы не сумели! Вы еще подчиняетесь школьным правилам. И если не будете вести себя прилично, не получите аттестаты!

■

Хольт торопился домой. Его ждал отец, а может быть, даже Гундель. Все-таки сегодня у него большой день. Он мечтал о нем больше года.

— Лучшей отметки я при всем желании добиться не мог,— сказал он отцу.

— У тебя очень усталый вид,— заметил профессор, поздравив сына.— Ты недосыпаешь уже несколько месяцев, это начинает сказываться. Тебе нужно как следует отдохнуть перед началом занятий.

Они сидели в кабинете профессора. «Добился!» — думал Хольт. У него есть аттестат зрелости, и, значит, он сделал большой шаг на пути к Гундель.

Гундель еще не вернулась домой. Да, она занимала его больше, чем предстоящие вступительные экзамены. Сейчас, пока он сидел у отца и с него медленно спадала усталость, он непрестанно думал о том, что уедет вдвоем с Гундель. Ключ от избушки Зеппа лежит у него в кармане. И, прежде чем он поступит в университет, прежде чем надолго оставит ее, им надо принять решение. Он должен связать ее с собой навсегда. Никто другой не смеет занимать место в ее мыслях, в ее жизни. По собственной вине он потерял дружбу Юдит, он не намерен потерять еще и Гундель. Он только на время отложил этот вопрос, пока шли экзамены. Гундель опять собиралась провести отпуск вместе со Шнайдерайтом, в туристическом лагере у моря. Теперь она должна решить: в лагере со Шнайдерайтом или с ним в горах. Другого выбора нет. Он или Шнайдерайт! Покамест этот вопрос не будет разрешен с полной определенностью, он не найдет себе покоя.

Дверь открылась. Вошли Гундель и Шнайдерайт. Да, так уж полагается, чтобы тебя поздравляли в твой большой день.

— Поздравляю вас с окончанием школы,— сказал Шнайдерайт.— Это, как говорится, важное событие. Мы тут кое-что принесли. Сейчас Гундель вам отдаст.

Хольт, не вставая, подал Шнайдерайту руку. Тот держался очень приветливо. Казалось, он нисколько не фальшивил, не лукавил. А может быть, он умел скрывать свои чувства? Хольт не раз грубил ему, но Шнайдерайт всегда владел собою. В последнее время он совсем утихомирился. Вот только в Гундель он вцепился крепко, но и с этим скоро будет покончено...

Хольт поднялся. Гундель стояла перед ним в белом полотняном платье и улыбалась своей милой и, как всегда, естественной улыбкой.

— Ты молодец,— сказала она и протянула ему подарок, сочинения Людвига Фейербаха.

Хольт придвинул ей стул. Сегодня Гундель должна сидеть рядом с ним. И теперь, когда она здесь, рядом, Хольт взирает на Шнайдерайта миролюбиво. Сегодня, в большой день Хольта, все встало на свое место. Ему даже доставило удовольствие присутствие каменщика. И даже забавляло, что тот поздравляет его с событием, которое является первым шагом к лишению Шнайдерайта престола. Хольт гораздо хитрее, чем думает Шнайдерайт. Он изменил свои планы: никаких неожиданностей, он должен вести себя умно, терпеливо, уверенно и вежливо. Он отвоевал потерянное, только Шнайдерайт еще этого не знает. Хольт сейчас занимает позицию, которую никогда больше не занять Шнайдерайту. А уж там, где Хольт окажется завтра, там Шнайдерайту и в мыслях не бывать. Каменщик исчезнет из жизни Гундель, как нелепая ошибка, которую она совершила по молодости лет и которую Хольт простил ей в свой большой день.

Профессор приготовил напиток собственного изобретения, который он окрестил «Холодной уткой» или Mixtum alkoholicum dilutissimum.

— Простите, а что это значит?

«Да, бас не понимает по-латыни. Сейчас мы любезно и предупредительно ему объясним».

— По-немецки это означает — алкоголь, разведенный огромным количеством воды. Его можно безопасно хлебать литрами.

— Литрами все-таки, пожалуй, не стоит. Мы уже начинаем его чувствовать.

— Разрешите мне задать вопрос?

«Пусть бас заткнется (сегодня все должны заткнуться). Пусть Гофман заткнется, да это вовсе не Гофман, это Шнайдерайт. Уж он-то тем более... А говорит совсем как Гофман. Но что это он говорит?»

— Хольт стал важным господином, он теперь со мной и знаться не хочет!

Гундель рассмеялась. Хольт сразу протрезвел и улыбнулся:

— Да что вы! Я во всем подражаю моему отцу, а разве он не разговаривает с вами как с ровней?

— Отец ваш вытесан из другого дерева,— отпарировал Шнайдерайт.— Лучшей породы. А черенок от него еще недостаточно крепок.

— Мы, Хольты, всегда меняемся в процессе роста,— пояснил Хольт.— Вы спросите отца, как он в двадцать лет сражался за свою «Тевтонию». Его рапира оставила зарубки на многих физиономиях. Впрочем, в те времена вы не имели бы права драться на дуэли.

— Да, по сравнению с ним вы чертовски многого достигли,— парировал Шнайдерайт.

Они и не заметили, как их шутливая пикировка перешла в ссору.

— Ваш отец мне многое рассказывал, я теперь во многом разбираюсь. Если сейчас некоторые двадцатилетние уже не размахивают дубиной, как тевтоны, если они вынуждены обуздывать себя, то только потому, что к власти пришли люди, не имевшие права драться на дуэли.

Хольт улыбнулся, зло, холодно. Острая, язвительная насмешка уже готова была сорваться у него с языка... Но тут раздался стук в дверь. Все повернули головы.

— Церник! Нет, поглядите только, Церник!

«Ничуть не изменился! Все так же неуклюже кланяется»

— Я не помешаю? Нет? — И начинается очередная смена очков.

«Конечно, он пришел меня поздравить. Нет, я не злюсь на Шнайдерайта, я и не думаю на него злиться. Но Церник вовсе и не поздравляет меня, у него совсем другое в мыслях... И чего это он так смотрит на Гундель?»

— Вы у нас целую вечность не были, господин Церник!

— Налейте-ка «Холодной утки» Цернику.

Церник берет рюмку, ухмыляется во все лицо, откашливается и, наконец, выпаливает:

— С вашего разрешения — доктору Цернику.

— А-а-а! Поздравляем! Желаем успеха! Конечно, Summa cum laude*. Значит, у вас, господин доктор, сегодня тоже большой день?

— Тоже? Ах так! Вы? Вот повезло, поздравляю!

«Значит, это наш общий большой день, мой и Церника. С Церником поделиться можно. Интересно, как это будет, когда я тоже стану доктором... Но почему Церник не сводит глаз с Гундель и чего ему надо от Шнайдерайта? Почему он глядит то на нее, то на него? Что случилось? У него какое-то дело к ним! Он пришел сюда вовсе не принимать поздравления. Вот он вытаскивает письмо, разумеется, какой-то сюрприз, так я и знал, сейчас последует одна из излюбленных черниковских неожиданностей».

— ...Старик Эберсбах пишет...

«Ага! Но почему он опять смотрит на Гундель и на Шнайдерайта? А меня даже не замечает! Как хорошо, что я готов ко всем случайностям, что я занял высокую, недосягаемую для Шнайдерайта позицию. Пожалуйста, подавай свой сюрприз. Меня ты не собьешь. Нет! Меня ничто не собьет!»

— ...Эберсбах пишет,— повторил Церник и стал читать: — «Дело в шляпе. На днях ты получишь официальное назначение на пост директора подготовительных курсов в нашем городе».

«Подготовительных курсов? Постой-ка... Я ведь слышал про это... Фрау Арнольд как-то говорила мне...»

— ...А вас обоих,— сказал Церник и опять поглядел на Гундель и Шнайдерайта,— вас обоих я забираю с собой. Никаких возражений, вы мои первые слушатели. Через два года сдадите экзамены на аттестат зрелости.

Падение произошло с очень большой высоты. Со своей надежной недосягаемой для Шнайдерайта позиции Хольт рухнул в бездонную пропасть. Но, падая, он, хотя и с трудом, состроил радостно удивленную физиономию. Только не подавать виду... Какая-то неведомая сила подняла его со стула, заставила подойти к Гундель, протянуть ей руку и поздравить. А затем к Шнайдерайту, принести поздравления и ему. Кто бы мог подумать! События достигли, наконец, своего апогея. Этот день стал великим днем и для Гундель и для Шнайдерайта! Как в тумане, Хольт видел комнату, отца, Церника, видел Гундель, которая не могла прийти в себя от радости.

■

Хольт шел по парку. Он знал — спасение только в Гундель. Но нужно поставить ее перед свершившимся фактом. Он поговорит со Шнайдерайтом. Шнайдерайт должен убраться с дороги! Вчера, когда они препирались, Хольт лишний раз убедился, как обманчив мир, воцарившийся между ними. Он не собирался интриговать против Шнайдерайта, это было бы просто подлостью. У него хватит мужества отправиться к Шнайдерайту и, если нужно, сказать ему: убирайся к черту!

В пятницу вечером Хольт разыскал Шнайдерайта в одном из бараков. На двери было написано «Председатель завкома». Шнайдерайт сидел за столом еще в спецовке — сегодня у него была сложная кладка ретортной печи.

---

* С отличием *(лат.)*.

— Могу я поговорить с вами? — спросил Хольт.

— Что случилось? Что за пожар? — И Шнайдерайт указал на стул, приглашая сесть.

Но Хольт продолжал стоять. Засунув руки в карманы, он пристально глядел на своего соперника. Шнайдерайт производил впечатление симпатичного человека, смелого, сильного. В сущности жаль, что они так враждебны друг другу. Шнайдерайт как будто почувствовал, о чем он думает.

— Да садитесь же. Хорошо, что мы можем, наконец, поговорить с глазу на глаз.

— К сожалению, разговор будет невеселый,— предупредил Хольт.— Мне, право, жаль. Но я не хочу лицемерить. Что ж! Вы, как и я, предпочитаете откровенный разговор. Мы с вами вообще во многом придерживаемся одинаковых принципов, даже в политике, хотя вы не хотите признать этого. Вы полагаете, что если кто родился в буржуазной семье, значит, до конца дней так и останется закоренелым реакционером. Вы знаете поэта Бехера? Он тоже родился в буржуазной семье.

— Знаю,— сказал Шнайдерайт.— Дальше!

— Вы недооцениваете убедительность вашего мировоззрения,— продолжал Хольт.— Вы недооцениваете притягательную силу прогресса, потому что всегда верили только в прогресс. А это тоже делает иногда человека ограниченным.

Шнайдерайт внимательно слушал его.

— Может быть, до некоторой степени вы и правы,— произнес он.— Мюллер однажды говорил мне что-то в этом роде.

— Да, Мюллер! Он был вытесан из другого дерева. Лучшей породы. А ученик его еще недостаточно крепок.— Хольт улыбнулся.— Но для своих двадцати трех лет вы уже многого достигли!

Шнайдерайт озадаченно посмотрел на него и вдруг расхохотался громко, весело, от души.

— Один-ноль в вашу пользу, Хольт! — воскликнул он.— И забили же вы мне гол!

— Скажем лучше: один-один,— поправил Хольт.— Вы мне тоже как следует влепили!

Шнайдерайт продолжал смеяться:

— Вы нравитесь мне все больше! Честное слово!

— Правда? Значит, буржуйский сынок вовсе не так плох? Впрочем, вы мне тоже нравитесь. Я уже говорил: у нас с вами одинаковые принципы, только, к сожалению,— Хольт понизил голос,— у нас с вами одна девушка.

Шнайдерайт сразу стал серьезным.

— Ага,— сказал он,— речь идет о Гундель, если я вас правильно понял?

— Да, вы правильно поняли. Речь идет о Гундель. Слушайте меня внимательно.

Но слова, которые он произносил вполголоса, быстро, хрипло, уже не подчинялись рассудку.

— Я нашел Гундель, когда ей было очень плохо. Как ни слеп я был тогда, я встал на ее защиту, нашел ей убежище у Гомилки. Гундель дала слово, что будет ждать меня... Она перешла зональную границу, чтобы дожидаться меня у моего отца... Понимаете? — с жаром говорил Хольт.— Гундель принадлежит мне — мне, а не вам. Я дополз к ней полумертвый. Я нигде не мог найти покоя, я бросил все, что было мне мило и дорого, у меня нет никакой цели, никакого смысла, никакой опоры в жизни, кроме Гундель, одной Гундель...— Хольт умолк. Он не видел, что его вспышка потрясла Шнайдерайта. Он видел только своего противника, большого, сильного, который молча сидел за столом, с ли-

цом, казалось, мрачным и замкнутым. Дрожа от волнения, Хольт продолжал: — А вы? Я валялся еще на голой земле, в Крейцнахе, а вы вкрались к ней в душу, отвадили ее от меня, сбили с толку. Вы затуманили ее чувство...

— Да ничего подобного не было,— перебил его Шнайдерайт.— Как можете вы такое говорить! Ведь как все было на самом-то деле? А вот как: Гундель жила здесь...

— Одну минуту,— сказал Хольт.— Я еще не кончил.— Опершись о стол, он склонился к Шнайдерайту.— Вы исчезнете из жизни Гундель! Довольно ломать комедию, никакой поездки к морю. Проваливайте отсюда! Оставьте нас с Гундель в покое.

— Послушайте, вы серьезно? — спросил Шнайдерайт с удивительным спокойствием.— Не можете же вы распоряжаться Гундель, как вещью! Гундель ведь человек! Не сбивайте девушку с толку всякой чепухой. Вы погубите ее. Гундель еще сама не знает, чего хочет, она слишком молода, она...

— Хватит! — крикнул Хольт и с издевкой передразнил Шнайдерайта: — «Гундель не знает, Гундель не может, Гундель не хочет...» Не прикрывайтесь своим альтруизмом! Вы вовсе не альтруист! Вы величайший эгоист! Вы волк, который опустошает чужие владения... Молчите! — крикнул он, уже не помня себя.— Фрау Арнольд... или, может быть, она тоже кажется вам подозрительной? Фрау Арнольд разъяснила мне совершенно точно, что у людей вашего класса существует твердый кодекс чести, твердые понятия о том, что такое порядочность и что — подлость... Человек, который коварно и подло, да еще прикрываясь маской альтруизма, отбивает у другого девушку, тот даже среди ваших считается подлецом, жалким подлецом...

Шнайдерайт вскочил.

— Ну-ка убирайтесь! — загремел он. И тихо, грозно добавил: — Если ты вздумал так разговаривать со мной, приятель, тогда...

— Что тогда? — крикнул Хольт, бросаясь на Шнайдерайта с кулаками. И тут он увидел его глаза. Глаза Мюллера, или Юдит, или, может быть, Шнайдерайта — все равно, он увидел тот же светлый, решительный взгляд и опомнился.

— Когда вы будете в нормальном состоянии,— сказал Шнайдерайт,— тогда и поговорим.

■

Да, в это проклятое время, когда он совсем запутался, одна Гундель была ему поддержкой и опорой. В субботу, ровно в полдень, как только она вернулась с утренней смены, Хольт постучался к ней в дверь.

— Ты очень плохо выглядишь, ты не заболел? — спросила она с тревогой.

— Заболел? Нет...

Но он был болен — тоской по Гундель, тоской по пристанищу. Он сел. Прошлую ночь он почти не спал, он в мыслях разговаривал с Гундель. Бессмысленный диалог. Он никак не мог пережить свое вчерашнее поражение. У него оставалась еще надежда, одна-единственная надежда. Но если Гундель предпочтет Шнайдерайта, тогда конец...

— Я думал...— начал он и умолк.

— О чем ты думал?

— Кажется, Меттерних, нет, постой, не Меттерних... Талейран сказал, что язык дан человеку, чтобы скрывать свои мысли. Я вспомнил это потому, что тоже так думал, правда, не всегда... Я скрывал от тебя за словами свои настоящие мысли.

Гундель подошла к столу и села напротив Хольта. Она глядела на него молча, вопросительно.

— Не могу, не хочу больше таиться от тебя,— сказал Хольт.— Вчера у нас со Шнайдерайтом была стычка. Он знает теперь, что я думаю. Значит, и ты должна знать.

— Вернер,— сказала она испуганно,— ты поссорился с Хорстом? Что это значит? Я не понимаю...

— Наши отношения нужно изменить,— сказал Хольт.— Я откладывал этот разговор, покамест не сдал экзамены. Теперь ты должна сказать, кого ты выбираешь — меня или Шнайдерайта? — Он снова сорвался.— Не желаю больше быть посторонним зрителем и не позволю больше швырять мне свободный вечер, словно кость собаке... Я хочу знать, что меня ждет...

Глаза Гундель, все еще сиявшие радостью, ожиданием, уверенностью в себе, сразу потухли. Она сидела растерянная, подавленная, беспомощная. И Хольт видел это. Он знал, что мучает ее. Не будь Шнайдерайта, ему не пришлось бы ее мучить. Он не виноват. Виноват Шнайдерайт.

— Я не хочу, чтобы ты ехала к морю со Шнайдерайтом,— сказал Хольт, но голос его звучал не требовательно, а печально.— Поедем в отпуск со мной. Я не хочу, чтобы ты была со Шнайдерайтом. Скажи Шнайдерайту, что между вами все кончено, что все было ошибкой, пусть он оставит тебя в покое.

— Но... Как же ты требуешь этого от меня? — вскричала Гундель.

— Я или Шнайдерайт,— сказал Хольт.— Это же совсем просто.

Гундель пришла в полное смятение.

— Вернер, но пойми же! Как я могу знать... А теперь мне придется еще столько лет учиться... Теперь я уж и совсем ничего не знаю...— Она грустно посмотрела на Хольта и сказала умоляюще: — Давай останемся друзьями... Почему я не могу дружить и с Хорстом? Я просто ничего не понимаю!

— Зато я прекрасно все понимаю,— сказал Хольт.— Подумай хорошенько: с кем ты поедешь? Со мной или со Шнайдерайтом?

— Я хочу в туристический лагерь,— ответила Гундель, и нескрываемое упрямство прозвучало в ее голосе. Но она все-таки сумела найти выход.— И ты поедешь с нами! Хорст, конечно, достанет место и для тебя. Мы проведем отпуск все вместе.

Хольт поднялся. Он сказал тихо, горько, с насмешкой:

— Вы что же, опять хотите отделаться от меня костью, ты и твой Шнайдерайт?

Он потерпел полное поражение. Он должен был знать заранее, что она не расстанется с этим человеком. «Да и кто я такой?» — спрашивал себя Хольт со все возрастающей горечью. Но разве он не добился результатов, которые вызывали уважение у всех? Нет, он не заслуживал, чтобы его так оттолкнули. Он не собирается ни за кем бегать. Целый год он добивался Гундель, но теперь не станет добиваться ее и часа. Есть люди, которые будут счастливы, если он придет к ним... Анжелика!

В дверях он обернулся еще раз.

— Теперь я по крайней мере знаю, чего мне ждать.

Он смотрел на Гундель, на ее каштановые волосы, на карие глаза. Она казалась опечаленной. Он вежливо поклонился.

Нет, никто не должен видеть, как тяжело у него на сердце.

У подъезда дома, в котором жила Анжелика, он столкнулся с Аренсом.

— Вот хорошо, что вы пришли,— сказал Эгон.— Нет, право... Пожалуйста, входите, я только провожу наверх моего старика, и мы все вместе напьемся чаю.

— Извините,— перебил его Хольт.— Я к Анжелике.

— Ах вот как,— воскликнул Аренс. Он покачал головой и понимающе подмигнул Хольту.— Впрочем, почему бы и нет? Она хорошенькая... очень!

Хольт поднялся на второй этаж. Его нисколько не тревожило то, что все видели, как он пришел. С Гундель покончено. С кем же ему теперь считаться? Разве что с бабушкой Анжелики. Ничего, пусть только откроет ему дверь. Он позвонил. Но открыла Анжелика.

Она смотрела на Хольта, не веря своим глазам. Вдруг лицо ее просияло. Он читал в этом лице, как в книге. Он видел, что она потрясена, хотя всегда знала — наступит день, и он придет к ней... Наконец Анжелика посторонилась и пропустила его.

Она не произнесла ни слова и только молча смотрела на него.

— Я собираюсь завтра на несколько дней в горы. Буду жить там в избушке, прямо в лесу.— Он не подумал о том, что ей надо еще целую неделю ходить в школу.— Я хочу взять тебя с собой. Поедешь?

Тень страха пробежала по ее лицу.

— Мы будем не одни. Мой друг Зепп тоже едет туда,— соврал он.

Она с трудом обрела дар речи.

— Почему ты вдруг пришел? Ты так долго не вспоминал обо мне.

— Я же объяснял тебе, экзамены меня совсем заели, ты мне не верила. Теперь все позади. У меня много свободного времени, вот я и пришел.

— Да? Значит, ты сдержал слово! — воскликнула Анжелика.

— Так как же? Поедешь?

— И ты еще спрашиваешь!

— Приходи на вокзал в четыре утра,— сказал Хольт, хотя им снова овладели сомнения.

Мысли о Гундель нахлынули на него потоком. Но он тотчас справился с этой слабостью. Не отрываясь, глядел он на Анжелику. Она уже не казалась девочкой, как два года назад. Она возмужала. Ее длинные русые волосы были зачесаны назад и прихвачены гребешками у висков. Она поймет его. Как и прежде, он читал все чувства на ее лице. Она была счастлива. Он пришел к ней, и, если она отдастся ему безраздельно, он, конечно, никогда не уйдет от нее. Он взял ее за руку.

— Анжелика... Может, тебе лучше остаться?

Как она испугалась! С каким ужасом сказала:

— Ты меня не любишь? Я тебе больше не нравлюсь?

Он молча погладил ее по голове.

— Завтра в четыре на вокзале. Ты рада? Я очень,— сказал Хольт.

Они доехали до Дрездена, пересели в почтовый поезд, вышли на станции и под палящим июньским солнцем направились к лесу. Пробираясь сквозь чащу, они шли по узенькой тропинке вдоль ручья. Хольт отомкнул замок на дверях избушки.

— А где же твой друг? — спросила Анжелика.

— Приедет попозже,— ответил Хольт.

Забвение оказалось неглубоким, как сон среди дня. Прежние мысли снова овладели Хольтом. Подожди, ночь их приглушит.

Они поели, не входя в домик. Хольт успел накануне вечером продать на черном рынке у вокзала килограмм кофе, который дал ему Аренс. На вырученные деньги он купил полный рюкзак продуктов — хлеб, колбасу, яйца, картофель... Анжелика принялась хозяйничать. Она зажарила ломтики охотничьей колбасы на костре, потом перемыла тарелки.

Хольт, задумавшись, откинулся на скамейке. Анжелика села рядом с ним.

— Почему ты такой молчаливый? Ты ни разу меня не поцеловал. Скоро явится твой друг, и тогда будет поздно.

— Погоди,— сказал он,— вот придет ночь.

Мысленно он услышал, как она говорит «нет». Но когда придет ночь, ее «нет» никто не услышит, оно замрет. Может быть, тогда замрет все, даже внутренний голос, который неумолчно нашептывает ему что-то понятное и непонятное, небывалое, нежеланное... Анжелика встала. Она двигалась с чуть угловатой грацией. Выйдя на солнце, она растянулась на траве среди лужайки.

Хольт закрыл глаза. Он был не в силах смотреть на нее. Солнце опять стояло над скалами, над самым краем ущелья. Хоть бы оно скорее зашло, хоть бы скорее наступила ночь! Тогда придет забвение, тогда с него спадет все, что давит, что мучает его. Присутствие Анжелики будило в нем только мысли о Гундель...

И вдруг еще одно имя ударило Хольта по сознанию. Шнайдерайт!

Стояли сумерки, тишина, только ручей шумел. День кончился, целый отрезок жизни кончился, словно акт пьесы. Наступила темнота — занавес опустился. Хольт, будто со стороны, смотрел на свою жизнь, на самого себя. И он разглядел в себе хорошо известное ему всевластное чувство, которое до сих пор жило в нем, затаившись... Теперь он вытащил его на поверхность, взял в руки, разобрал по частям и опять собрал. И оказалось, что у чувства было имя, оно называлось Ненависть.

Да, он ненавидел Шнайдерайта...

Шнайдерайт не только украл у него его любимую девушку — цель его существования, смысл его жизни. Шнайдерайт отнял у него единственное, последнее, что ему еще оставалось: господство в царстве духа, власть над миром, где правили мысль, наука. Хольт обречен вести существование изгоя. У Шнайдерайта будет все, что он захочет. Шнайдерайт построит свое антифашистско-демократическое общество, а если ему вздумается, то и свой социализм. Что ж, Хольт согласен. Пожалуйста! Пусть Шнайдерайт властвует и здесь, и во всей Германии. Пусть отнимет у шайки в Гамбурге и в Бремене все их заводы, верфи и банки. Хольт готов предоставить ему власть и быть верным гражданином под началом Шнайдерайта. Он искренне готов отдать ему весь материальный мир. Но только уж от университета руки прочь — эти нервные, сильные, мозолистые руки каменщика. Прочь их от мира духа, о котором мечтает Хольт, от науки и искусства. А если его влечет в этот мир, тогда пусть он придет к Хольту и скажет: «Разрешите, пожалуйста!..», так же как Хольт готов пойти к нему и сказать: «Разрешите, пожалуйста», чтобы получить права гражданства и приличный оклад... Хольт не скряга. Он охотно уступит Шнайдерайту от своего богатства. Но Шнайдерайту, при его самомнении, мало крупной промышленности и поместий, мало управлять страной и стоять у власти. Нет, ему нужно наложить руку и на то, что принадлежит Хольту: на искусство, науку, на театр и музыку. Шнайдерайт усаживается в театре, он является в библиотеки, а в будущем войдет в университетские аудитории. Шнайдерайт всюду. Он отнимет все — все, как он отнял Гундель. Вот за это Хольт и ненавидел его.

Погоди же! Нет, пусть Шнайдерайт не чувствует себя слишком уверенным! Настанет час, и Хольт возьмет реванш, а Шнайдерайт сгинет в безвестность, из которой он появился.

■

Хольт открыл глаза. Он чувствовал полную опустошенность. Аттестат зрелости и право на образование! Нет, ничего еще не достигнуто. Нужно искать снова.

Для чего он приехал сюда с Анжеликой? Заполнить пустоту, обрести любовь, найти следы горячей, настоящей жизни? Жизни, которую он искал, искал напрасно, всюду и всегда — на войне, в Гамбурге, в кабаках и в лесной глуши, а потом целый год в тесной келье, склонившись над книгами, и в напрасных грезах о Гундель.

Анжелика направилась к домику. Она озябла, вечер был холодный. Хольт удержал ее за руку.

— Я соврал тебе,— сказал он.— Мой друг Зепп не приедет.

Она не испугалась. Втайне она так и думала, и он понял, что она уже примирилась с тем, что должно произойти.

Он обвил ее рукой и, целуя, почувствовал, как она поддается ему, мягкая и безвольная. Он поднял ее и понес в избушку. В эту ночь он не ушел, как уходил прежде,— горя неутоленным желанием и разочарованный.

Вечерний ветер ворвался в открытое окно и захлопнул дверь. Анжелика сквозь слезы твердила: «Да, да, да» — словно трижды отрекаясь от каждого прежнего «нет».

10

Только в среду вечером Хольт с Анжеликой вернулись в город. Ему вдруг стало невыносимо смотреть на нее, видеть ее взгляд. Он все еще слышал ее голос, он слышал, как она спрашивает доверчиво, потом со страхом и, наконец, с безнадежностью: «Неужели все кончится, и ты уйдешь?» А он не говорил ни да, ни нет. Он молчал.

— Мы еще увидимся? — спросила Анжелика.

— В субботу на Грюнцплац, в два.

— Не раньше?

— Нет, не раньше.

Хольт бродил по улицам. Бегство не удалось. Он давно знал, что оно не удастся. Позади остались дни, проведенные с Анжеликой, нереальные ночи, сон, который она трижды прерывала вопросом. Сон, от которого он теперь очнулся окончательно. Впереди была жизнь со всеми ее возможностями. Но он не испытывал ни радости, ни чувства ожидания. В двадцать лет ему уже не хотелось жить.

Он долго стоял на перекрестке, разглядывая прохожих. На их лицах отражалось время, время невыносимого голода, обесцененных денег, трудного начала. Чем жили эти люди? Они жили ожиданием, надеждой. Только он ни на что не надеялся, ничего не ждал.

Почему не длится этот сон, утешительный сон об Анжелике? Время, в которое Хольта швырнуло без его согласия, проклятое время! Оно выжало его, измотало, опустошило. Остаток чувств, который он принес с войны, он незаметно растратил по мелочам. Теперь он банкрот. Ведь вся его жизнь была только ожиданием Гундель.

Анжелика? Может быть, она его последняя, отчаянная попытка заполнить пустоту, заглушить тишину? Он увлек за собой в крушение еще одного человека. А ведь она могла стать настоящей, той, которую он искал,— самоотверженной, влюбленной навек. Она отдалась ему с такой радостью, которая пугала его. По сравнению с ней он чувствовал себя ничтожным. И теперь он виноват. Быть ее спутником, другом, охранять ее неопытность — какая прекрасная мечта. Но чтобы длилась эта мечта, надо забыть Гундель. Теперь остается только одно — сказать Анжелике правду, открыть обман.

Но как тяжело ему будет, как горько расставаться с ней. Нет, любовь к Анжелике была не средством забвения. Она была помощью, поддержкой в жизни. Хорошо, что в горе он бежал к ней! И все-таки хочется, чтобы все сложилось по-другому. Он раскаивался в том, что заставил ее остаться с ним. Но раскаяние приходит всегда слишком поздно.

■

Хольт поднялся к себе. На площадке лестницы его ждала Гундель. Хольт остановился, поздоровался. Она не ответила.

— В понедельник тебе несколько раз звонил Аренс,— сказала Гундель вполголоса.— Он просил тебе передать, что бабушка Анжелики повсюду разыскивает ее. Анжелика не возвращалась домой с воскресенья. Сказала, что уезжает вместе со школьным хором, но это ложь.

Значит, все раскрылось. Впрочем, от Гундель Хольт и не стал бы скрывать правды.

— Анжелика ездила со мной,— сказал он.— Мы были в горах.

Она смотрела на него, бледная, глаза ее сверкали.

— Ты останешься с ней? — спросила она тихо.

Хольт молчал, не решаясь взглянуть на нее.

— Это невозможно.

— Ты негодяй! — сказала Гундель.— Надеюсь, ты знаешь, что ты негодяй!

Он поднял на нее глаза. Такую Гундель он еще не видел. Она вся горела от возмущения.

Хольт схватился за перила. Гундель была его надеждой вырваться из грязи, но он не воспользовался этим. Время ожидания и дружбы было испытанием, но он не выдержал его. А теперь он лишился и уважения Гундель.

— Не осуждай меня,— сказал он.— Все могло быть по-другому, если бы ты захотела.

— Так ты сваливаешь вину на меня? — спросила Гундель и, с возмущением покачав головой, ушла.

Хольт остался один.

Он слышал, как она вышла из дома. Он был совершенно спокоен. Он должен найти свой путь, ведь жизнь идет дальше. Уж это он во всяком случае усвоил: жизнь всегда идет дальше, независимо от того, весел ты или в отчаянии, благороден или подл.

■

Два дня он ломал себе голову, как спастись от отчаяния. Два дня он боролся с собственным равнодушием и депрессией. Два дня беспомощно метался в поисках выхода. Что, собственно, случилось? Ты, кажется, помешался. Отнесись ко всему серьезно. Не сдавайся. Сам заварил кашу, сам и расхлебывай.

Два дня дум и размышлений. Прощальный вечер выпускников, вручение аттестатов. Изволь-ка взять себя в руки. Твои волнения решительно никого не касаются. Хольт смотрел по сторонам, надеясь увидеть Анжелику, но в переполненном актовом зале не мог ее разглядеть. А ему так хотелось поймать ее взгляд, кивнуть ей — обнадеживающе, ободряюще. Но тут подошел Аренс и отвел его в сторону.

— Я хочу предостеречь вас. С Анжеликой невероятный скандал. Старуха совсем осатанела! Она думала, что внучка уехала со школьным хором, но все раскрылось, вмешался опекун, а теперь, кажется, и школа.

— Предоставьте это дело мне,— сказал Хольт свысока.

Аренс многозначительно склонил голову.

— Мне незачем уверять вас в моей скромности! Кстати, я получил письмо от старого знакомого, Хекеля. Он учится на медицинском, на третьем курсе, член студенческого комитета, очень влиятелен и безусловно примет в нас участие, как только мы поступим в университет. Не правда ли, превосходно? — говорил Аренс.

Держа в руках аттестат, Хольт рассеянно просматривал отметки. Мысли его были с Анжеликой. Значит, вышел скандал? С чего это они так расшумелись? В сентябре Анжелике минет семнадцать. В наше сумасшедшее время многие девушки гораздо раньше теряли невинность и иллюзии. Скандал? Ну и пусть! Ему это, пожалуй, даже на руку.

Хольт простился с учителями, которые стояли в коридоре, окруженные толпой выпускников. Он долго ждал, пока освободится Готескнехт. Но Готескнехт, не обращая на него внимания, направился прямо в учительскую.

Хольт шагнул ему навстречу. Готескнехт равнодушно посмотрел на него.

— Что вам угодно?

— Вы со мной и говорить не желаете? — спросил Хольт.— Совсем недавно вы уверяли, что гордитесь мною.

Готескнехт подошел к нему вплотную.

— Видно, вы не понимаете, что натворили? Я знал, что вы испорчены. Но не представлял себе, что до такой степени, иначе я давно выгнал бы вас из школы!

Удар пришелся в пустоту.

«Самое лучшее — просто уйти. Но нет! Готескнехт невесть что из себя корчит, разыгрывает комедию. Хорошо, я ему покажу, я тоже умею резать правду-матку».

— Я не собираюсь ничего приуменьшать,— сказал Хольт.— И не оправдываюсь. Но хотя вы педагог, да еще супруг инспектрисы, вы все же окончательно оторвались от жизни. Да вы и понятия не имеете, сколько учеников и учениц в вашей школе сожительствуют. А может, вы только притворяетесь? Разве вам неизвестно, сколько учениц из одиннадцатого, десятого, даже девятого класса состоят в связи, да еще с женатыми мужчинами? Принесите-ка разок-другой фунт сала — посмотрим, сколько мамаш закроют глаза на поведение своих дочерей.

— Ваш цинизм только довершает картину!

— Довершает картину? А чего вы, собственно, хотите? Что произошло?

— Ученица Баумерт из девятого «А» отсутствовала три дня без указания причин. Педагогический совет располагает сведениями, что она вела себя непристойно.

Хольт рассмеялся.

— Непристойно! — сказал он, покачивая головой.

— А если нам придется исключить ученицу Баумерт из школы,— продолжал Готескнехт,— то виноваты в этом будете вы.

— Исключить из школы? — переспросил Хольт, словно ослышавшись.— И вы согласны с этим? — Он явно издевался над Готескнехтом.— Видно, я попал к католикам? А я-то считал вас человеком с широкими взглядами. Как сочувственно вы закрывали глаза на мою связь с фрау Цише. Как игриво подмигивали. Где же была ваша мораль? Ведь это тогда я стал испорченным. А как трогательно вы интерпретировали образ Гретхен, разъясняя нам, что она осталась невинна и чиста, даже убив своего ребенка. А Агнеса Бернауэр? * А Анжелика из «Пробуждения весны»? ** Даже Эмму Бовари вы всегда мужественно защищали. А уж какие гневные слова находили вы для характеристики мастера Антона *** или мещан маленького городка, где Валентин «без страха, честно, как солдат» **** проклинал свою сестру... Слова, пустые

* Героиня одноименной пьесы немецкого драматурга Фридриха Геббеля.

** Пьеса немецкого драматурга Франка Ведекинда, в которой трактуются проблемы пола (1844).

*** Главный персонаж трагедии Ф. Геббеля «Мария Магдалина» (1891), олицетворяющий собой ограниченность мещанства.

**** Слова из «Фауста».

слова. Литератор о литературе! А когда Анжелика, еще совсем девочка, оказалась жертвой моей слабости, прошу прощения — моего морального разложения, когда юное, цветущее существо забывает и господина Готескнехта, и школу, и весь мир — куда же девалась ваша человечность? Ваше понимание и сочувствие кончаются там, где им следовало бы начинаться.

Готескнехт попытался прервать его.

— Постойте! — сказал Хольт.— Может, вы просто морочите меня? Может, совет вовсе не заседает и не выносит обвинительного приговора? И Анжелику никто не собирается выбрасывать из школы? Все равно. Вчера я совершенно не знал, как мне быть, и вспомнил о вас. Я чуть не доверился вашей гуманности. Меня спас только случай.

Готескнехт опять сделал попытку остановить его, но Хольт не дал произнести ему ни слова.

— Жаль,— сказал Хольт,— очень жаль. Иногда мне казалось, что мы с вами могли бы служить примером — не каждый в отдельности, нет, а оба вместе,— примером отношений между учителем и учеником. Вы говорили мне такие разумные вещи, говорили, что нет заблуждения, которое нельзя исправить, если только поступать честно, и всякие другие слова. Они звучали так многообещающе. Жаль! Подумать только, как можно ошибиться. До свиданья.

— Хольт! — услышал он вслед.— Будьте же любезны выслушать и то, что скажу я.

Но Хольт только ускорил шаги.

Одно было Хольту ясно — он зашел слишком далеко, раз ему, пусть даже несправедливо, могут сказать в лицо: ты подлец, ты разложился морально... И не кто-нибудь, а Гундель и Готескнехт. Он обрушился на Готескнехта, и теперь ему стало легче. Правда, он несправедлив к своему учителю. Но разве к нему самому кто-нибудь справедлив? Нет, его никто не понимает! Один раз он уже выбрался из беды. И теперь выберется!

Прежде всего нельзя повторять прежние ошибки. А потом он вовсе не одинок. Он только чувствовал себя одиноким и покинутым. Но один-то друг у него во всяком случае есть — отец. Отец не станет морализировать там, где требуется проявить энергию. И когда Хольт подошел к заводу, он знал, что у него есть средство выбраться из тупика.

Он спросил у вахтера, где отец. Профессор уехал, вернется примерно через час. Давно уже Хольт не был здесь. Он посмотрел по сторонам. У почти достроенного цеха стояла группа людей. Кто-то в синем комбинезоне и платочке шел по рельсам к баракам. Юдит Арнольд. Хольт все еще не решался показаться ей на глаза. А почему бы и нет? Он почувствовал в себе решимость прийти к ней.

Он вошел в заводоуправление и постучал. Это была комната Мюллера. Но сегодня Хольт явился сюда не с разговорами. Он принес документ, удостоверяющий, что он умеет достичь своей цели; если кто-нибудь потребует большего, что ж, пускай поможет ему. Чей-то голос произнес «прошу». Юдит Арнольд сидела за письменным столом. Она посмотрела на него с удивлением. Нерешительная улыбка появилась на ее губах, смущенная, дружеская и вовсе не суровая

— В сущности я собирался прийти к вам позднее,— сказал Хольт,— когда все уясню себе до конца. Но, скажите сами, как мне быть, если без вас я не могу обрести эту ясность?

Склонив голову набок, она поглядела ему в глаза и кивнула.

— С тех пор как мы с вами не разговариваем,— продолжал Хольт,— жизнь моя стала еще запутаннее, еще непонятнее. Никто не давал мне так много, как вы. Помогите мне!

Юдит Арнольд сняла платок. Волосы рассыпались у нее по плечам, и она сразу стала похожа на молоденькую девушку.

— Я и сама собиралась написать вам,— сказала Юдит.— Сейчас я по-другому думаю обо всем, что было. Но об этом поговорим в спокойной обстановке. Почти полгода мы с вами не виделись.— Она полистала календарь.— Может, вы позвоните мне? Условимся о встрече.— Она посмотрела на часы.— Я должна идти. Позвоните, пожалуйста.— И она протянула Хольту руку.

Уходя, он оглянулся. Она опять повязалась платком. У завода стояла машина профессора.

■

Вместе с отцом Хольт поехал домой. Они пообедали вдвоем.

— Ты вернулся еще в среду? — спросил отец.— У меня сегодня консультация для диссертантов, но я могу отложить ее.

— Да, мне очень хотелось бы поговорить с тобой.

Они прошли в библиотеку. Профессор угостил сына сигаретой, позвонил в университет и сел возле журнального столика.

— Доктор Черник разбирается в людях,— сказал Хольт.— Он еще год назад сказал мне: «Вы переживаете кризис»... Но я не хотел это видеть. Мне приходится начать издалека, иначе ты не поймешь, как я сбился с пути.

И он рассказал сперва о Кароле Бернгард, потом о своем споре с Черником, о дружбе с фрау Арнольд и о том, как эта дружба кончилась. Хольт нисколько не щадил себя. Рассказал он и о ссоре со Шнайдерайтом, и о разрыве с Гундель. Профессор слушал сочувственно и удивленно. Но когда Хольт рассказал об Анжелике, отец стукнул ладонью по столу.

— Это уж слишком. Стыдись!

Хольт только беспомощно развел руками. Профессор пошел к стенному шкафу и принес бутылку и две рюмки.

Хольт выпил. Профессор возился со своей трубкой и, только когда она раскурилась, заговорил.

— Я не верю в твой разрыв с Гундель, она слишком тесно связана с нами. Но она относится к жизни серьезно. Она из тех людей, которые стремятся к спокойному развитию, и знает, что ее возможности далеко не исчерпаны. А со Шнайдерайтом тебе надо объясниться. Теперь о девушке. Ее зовут Анжелика?

— Если бы ты ее видел,— сказал Хольт.— Описать ее невозможно.— Он пытался говорить сухо, но как только заговорил об Анжелике, сразу увидел ее, трогательную, юную, с добрыми, ничем не омраченными глазами.— До сих пор ей, вероятно, не на кого было опереться, вот она и держится за меня изо всех сил. У нее нет родителей. Бабушке ее приходится тяжело, она уборщица, работает то в одном месте, то в другом. А опекун вообще не занимается девушкой.

— Ты так говоришь, что это дает мне право задать тебе вопрос: чего ты от меня хочешь? Информировать? Или получить совет?

— Видишь ли, существуют понятия справедливости и несправедливости,— сказал Хольт.— Я подразумеваю не ходячие формулировки, а определенные человеческие нормы, к которым надо стремиться.

— Вполне тебя понимаю,— сказал профессор,— но если ты не отдаешь себе отчета в том, что несешь моральную ответственность за эту девушку, я имею право усомниться в твоих человеческих качествах.

— Вот это я и хотел услышать. Я старался понять, что такое ответственность. Но со мной никто не говорил о ней так, как ты говоришь сейчас. Стоит только затронуть вопросы пола, как все отделываются шуточками да анекдотцами. Считается, что любовь — это своего рода спорт, или судьба, или чудо, или просто удовлетворение похоти. Скажи, то, что называют любовью... если к этому отнестись серьезно... можно научиться любить?

— Ответить на такой вопрос мне не по силам. Несомненно, человек может научиться постоянству чувств, которое необходимо, если он хочет сделать в жизни что-то действительно серьезное и полезное.

Хольт с благодарностью взглянул на отца.

— Мне бы хотелось показать тебе Анжелику,— сказал он и встал.

Профессор кивнул в знак согласия.

— Осенью вы все разъедетесь,— сказал он.— Ты, Гундель, доктор Церник... Около меня никого не останется.

■

Хольту очень хотелось увидеть Анжелику сразу же, поговорить с ней, хотя они условились увидеться только на следующий день. Чем ближе подходил он к ее дому, тем медленнее шел. Он думал о ближайшем будущем. Готов ли он искать счастья в труде, в том царстве духа, врата в которое отныне открыты для него? Отец нашел счастье в работе, Юдит — в борьбе за освобождение своего класса. А он? Да, он готов последовать их примеру.

Дверь ему отворила костлявая старуха, маленькая, худая, с редкими седыми волосами. Она стояла в дверях в сером рабочем фартуке, опершись левой рукой на метлу, и палка, словно копье, торчала над ее головой.

— Что вам угодно? — спросила старуха громким густым голосом. В ней было что-то воинственное.

— Мне хотелось бы поговорить с Анжеликой,— вежливо сказал Хольт.

— С Анжеликой? — повторила бабушка, повысив голос. Она достала из кармана фартука очки и, нацепив их на нос, смерила Хольта взглядом с головы до ног.— А-а-а! Так это он! Двадцать лет, темные глаза, темные волосы, лицо нахальное, ходит без пиджака... Это он! — крикнула она еще громче.— И он набрался наглости показаться мне на глаза, негодяй этакий! Соблазнил мою девочку!

— Пожалуйста, не кричите! — сказал Хольт.

— Это кто же кричит? Вы еще не слыхали, как я кричу! — И отойдя в сторону, она указала большим пальцем в глубь квартиры.— Входите! Сейчас я с вами поговорю как следует.

Старуха захлопнула дверь, повела его в кухню, оттуда в комнату, закрыла вторую дверь и опять напустилась на него.

— Что вам здесь нужно? Да как это вы еще не смылись? Я, выходит, отдала ребенка в такую дорогую школу, чтобы его соблазнил этот негодяй? А теперь еще ссорюсь с опекуном, чтобы он не забирал ее из школы. Да ведь, чего доброго, ее еще выбросят из-за вас. А-а-а-а! — крикнула она грозно.— Девочка выплакала все глаза по этому парню. Опекун, пьяница этакий, не дает ей покоя, шпынает «позором» да «бесчестьем». А этот мерзавец вваливается прямо сюда, и ему нисколечко не совестно!

Она так грозно двинулась на Хольта, что он невольно отпрянул.

— Что вы сделали с бедной девочкой? Что вы нагородили ей такого, что она растаяла как воск? Как это вы устроили, что она целых три

дня пропадала с вами? Ведь она даже ночной рубашки с собой не взяла. Вот, посмотрите на меня! Сорок один год я была замужем, и муж ни разу в жизни не видел меня без ночной рубашки. И зачем вы подарили ей такую грустную книгу? Она мне читала. Что это значит? Почему вы не даете ей такие книги, чтобы она смеялась? Это что же, у вас такой способ соблазнять ребенка? Убирайтесь! Вы не стоите моей девочки! — Ярость старухи иссякла. Она уже не кричала.— Чего вы хотите от Анжелики?

Хольт стоял в полной растерянности. Он боялся новой вспышки и потому осторожно сказал:

— С вашего разрешения, я хотел познакомить ее с моим отцом.

— С каких это пор вы стали спрашивать моего разрешения? — закричала опять старуха.— А кто он, ваш отец?

— Профессор здешнего университета.

— Ага, значит, тоже голодранец,— сказала бабушка,— тоже ни гроша за душой. Ему и подметки залатать не на что, а небось воображает, что он куда лучше пролетария. Что? Молчите! Я шестнадцать лет убирала у одного профессора, я-то в них разбираюсь.— Она поглядела на Хольта, уже смягчившись.— Видно, вы все же не такой шалопай, как Эгон! Он у меня еще получит помойным ведром по голове! — Старуха раскатисто засмеялась.— А для чего вам понадобилось показывать девочку вашему отцу? — спросила она.

— Хочет поглядеть на нее. Я ему о ней рассказал.

— А-а-га! Вы, значит, решили стать постоянным дружком Анжелики?

Она снова принялась орать и наступать на Хольта, и он почувствовал запах ядрового мыла и воска для натирки полов, которым она была пропитана.

— Нет уж, скажу я вам. Не думайте, что, раз вы станете ученым, значит, ваша взяла! Учиться девочка сможет и без вас. Она и сегодня гораздо ученее, чем вы. А если вы хотите понравиться мне, придется вам обучиться какому-нибудь стоящему делу.

В дверь с лестницы постучали. Выражение глубокой нежности появилось на лице старухи.

— Анжелика,— шепнула она.— Что ж, ладно, показывайте девочку вашему отцу, только бы она перестала плакать. Я вас сначала оставлю одних.— Старуха взяла метлу и вышла.

Хольт услышал голос Анжелики, а затем голос старухи:

— Ступай к себе в комнату. У тебя гости.

■

Анжелика стояла в дверях, усталая, бледная, без улыбки на лице. Она, очевидно, не поняла, кто ее ждет. Вдруг глаза ее широко открылись, засияли, и она бросилась Хольту на грудь.

— Это ты? — сказала она почти беззвучно. В глазах ее появился страх.— Почему ты пришел сегодня? Что случилось?

Он обнял ее:

— Не бойся. И вообще ничего не бойся. Расскажи, что у тебя в школе?

Она прижалась к нему.

— Сегодня был совет, меня тоже вызвали. Я прямо оттуда. Сначала они злились, а потом все стали заступаться за меня — и Лорентц, и Петерсен, но больше всех господин Готескнехт. Они сказали, чтобы я не смела больше прогуливать школу.

— А твой опекун? — спросил Хольт.

— Этот-то,— протянула Анжелика.— Он мне уши прожужжал: «обесчещена», «позор».— Она откинула голову и упрямо сказала:— Бредит просто...

— Только смотри будь мне верна,— сказал Хольт.— А то придет другой, потом третий, а там и еще. Тебе только семнадцать. Вот это был бы уже настоящий позор!

Она посмотрела на него в полном недоумении:

— Что такое ты говоришь? Верна тебе?..

— Ты понимаешь, что я хочу сказать...

Она совсем растерялась.

— Да? — выговорила она.— Так это правда? Господи, значит, мы не расстанемся навсегда, когда ты уедешь учиться?

Он только крепче обнял ее.

— Как же мы можем расстаться, да еще навсегда? Прости меня, я тебя мучил.— И, наклонившись, он прошептал ей на ухо:— Ничего не кончено. Все только начинается. Я радуюсь жизни, потому что у меня есть ты, есть человек, который меня любит. Я нужен тебе и ради тебя буду работать и жить... Перестань плакать... Будь опять счастливой, веселой, совсем как прежде. Клянусь тебе, я ничего не искал, ничего не хотел, кроме твоей любви. Я буду благодарен тебе навеки.

Она уже не плакала. Голова ее лежала у него на груди.

■

Лето выдалось жаркое. Но вот отгорели знойные дни. Наступило бабье лето. Листва на деревьях пожелтела. Пришел сентябрь, а с ним и разлука, и радость в предвкушении новой встречи. Хольт собирался в дорогу.

Гундель и Шнайдерайт уехали еще в конце августа. Последний свой вечер Хольт провел с Анжеликой. А наутро, прежде чем отправиться на вокзал, встретился с Юдит Арнольд. Она шла из Мёнкеберга. Осенний туман на улицах постепенно рассеялся. Шоссе поднималось вверх. На вершине холма глаза слепило от солнца. Хольт посмотрел вокруг. В небе плыли облака, долина, наполненная туманом, напоминала светящееся озеро, оно уходило вдаль до самого горизонта. И город с дымовыми трубами, с башнями и домами, в которых шла напряженная жизнь, казался таинственным. Окрестные поля только что вспахали. Над тополями кружила стая перелетных птиц.

— Я рад,— сказал Хольт,— но разлука дается мне тяжело. Не забудь, ты обещала присмотреть за Анжеликой.

— А кто будет присматривать за тобой? — спросила Юдит.— Ты куда больше в этом нуждаешься. Мне просто нехорошо становится, когда я думаю, что ты еще натворишь!

— Есть люди,— сказал Хольт,— которым в жизни все дается само собой, без борьбы, будто так и полагается. И есть другие — с трудом, по кусочкам собирают они то, что есть истина. Но они не могут жить, если не придут к истине, они погибнут, если останутся во власти заблуждений. Я вышел из мира, где царят одни только заблуждения. Но я решил вырваться из-под их власти и прийти к свободе. Этот путь гораздо длиннее, чем я воображал. Я на собственном опыте узнал, что значит, когда все с презрением отворачиваются от тебя. Я боюсь теперь только одного — опять остаться одиноким. Я хочу прожить свою жизнь в борьбе. Ты поможешь мне? Ведь я не растратил свои силы. Я это знаю. Ты поддержишь меня?

Она посмотрела ему в глаза и кивнула в знак обещания:

— Да, если ты будешь бороться, если не сойдешь с пути, если захочешь стать настоящим человеком.

Из современной югославской поэзии

ИЗЕТ САРАЙЛИЧ

Новогодняя ночь на Трескавице*

Очень славно вот тут, в двух шагах от дома,
рвать горох, как у нас лишь возможно это.
Очень славно «ты» говорить любому,
позабыв про все правила этикета.

Очень славно. Не то что там, в Сен-Морисе,
где тебе и с женой нелегко общенье:
«Госпожа Сарайлич, вокруг на лицах
вы, конечно, немое прочли восхищенье?»

«Госпожа Сарайлич...» Все этак четко.
По-буржуйски чинно. «Мигрень вас губит!..»
Ну а здесь — если кто и пошлет тебя к черту,
то пошлет потому, что он тебя любит.

Здесь друзей так теплы сердца и ладони,
с ними, как говорится, готов я до гроба...
Нам шагать к Коммунизму в одной колонне,
их сердца — стихов моих высшая проба.

Так, смеясь, мы с годом сближаемся новым.
Ну, конечно, он будет лучше, чем старый.
Уж Луне, тихонько плывущей над кровом,
он привиделся в виде сердца с гитарой.

И, конечно, его мы давно заждались,
он придет, как в мечтах, под звонкие трубы.
Ах, мы столько сегодня уже целовались,
что не знаем, где наши глаза, где губы!

И сгущается тьма, и становится поздно,
но от милой земли нет сил оторваться.
Как старинных друзей завтра встретят нас сосны.
Почему бы нам с ними сейчас не обняться?

Перевод с сербохорватского ВИКТОРА ВАРИНА

* Гора близ Сараева.

Потихоньку с печалью

В окнах дождь будто какой-то забытый марш.
Снова осень, всеобщая осень, классическое время элегий.
Пойду ненадолго на станцию — приучить себя к расставаниям.
Если не вернусь, останутся мои стихи — бродить по городу.

Была когда-то молодость. В каком-то очень старом вчера.
В сердце вашем. И моем. Была. Осталась. И будет.
Я ухожу, но кто-то такой же, как я, пойдет, может быть,
вместо меня на кладбище погибших учиться
синтаксису преданности.
Мои стихи всегда — для них.

Я ухожу, пора. Я сам как бы давнее прошлое.
Привет всему новому, что должно быть нежным и любить!
Отнести никто уж не сможет ко мне почетное слово
«мальчишка»!
Слово привилегированных. Как слово «весна»!

Как завидую сейчас я мальчишке — Изету Сарайличу
из VII«а»,— который в перешитой военной шинели,
не зная неправильного употребления самого дорогого
глагола «любить», вышел осваивать мир.
Я больше никогда не буду писать свою первую элегию.
Мне больше никогда не будет семнадцать. Ни двадцать пять.

Я ухожу. Неужели пора? Неужели весь перейду
в воспоминания?
А сколько осталось еще сказать того, что хотелось бы.
Я ухожу. Но я еще тут. Если зайдете на Тврткову 9/III,
я угощу вас чаем и воспоминаниями.
Я еще тут. Минуту молчания для меня.

Перевод с сербохорватского И. ИВАНОВОЙ

ИВАН МИНАТТИ

Кого-то ты должен любить

Кого-то ты должен любить,
хотя бы траву или реку,
дерево или камень.
Кому-то на плечи ты должен руку свою положить,
чтоб насытилась близостью этой рука.
Кому-то ты должен отдать
облака свои белые,
птиц беспокойных мечты,
птиц бессилия, полных тревоги.
(Ведь где-то есть и для них
гнезда покоя и нежности!) Должен,
ты должен кого-то любить,
хотя бы траву или реку,
дерево или камень.

Потому что деревья и травы
об одиночестве знают
(остановившись на миг,
шаги удаляются дальше и дальше),
о жалости знает река
(над своей глубиною склонившись),
а камень знает о боли
(когда на безмолвное сердце его
тяжело наступает нога).
Кого-то ты должен любить!
Кого-то ты должен любить!
И с кем-то ты должен рядом идти,
всегда только рядом.
Камни, травы, деревья, река —
молчаливые спутники всех чудаков одиноких,
молчаливые добрые спутники,
что говорят лишь тогда,
когда умолкают люди.

Перевод со словенского М. КУДИНОВА

ВАСКО ПОПА

■ ■ ■

Если бы глаз твоих не было,
не было б синего неба
в маленькой нашей квартире.

Если бы смех твой умолк,
не исчезали бы стены
в маленькой нашей квартире.

Если бы птиц твоих не было,
не приходили бы к нам
в гости нежные ивы.

Если бы рук твоих не было,
то никогда в наших снах
не ночевало бы солнце.

Стечак*

На бездорожье пустынном
поднятая рука,
ладонь ее — взрыв. А пальцы,
словно лучи, сверкают.

Освободила когда-то
она наше древнее солнце,
что было привязано крепко
к хвостам коней чужеземных.

Сегодня она разрушает
эту пещеру загадки,
которую вырыла ночь
в моей каменистой душе.

Поднятая рука
на бездорожье пустынном
молча меня повстречала
и мне указала дорогу.

* Стечци (множественное число от слова стечак) — надгробные памятники на могилах богомилов — членов религиозной секты, живших на территории Балканского полуострова в средние века.

ВЛАДИМИР ЧЕРКЕЗ

Уход

Когда меня с тобой не будет рядом,
останется мой стих... И словно голос,
и свет, и глубина морская,
останутся мои мечты и боль,
и будет иногда тебе казаться,
что я к тебе незримо возвращаюсь
с весною новой, с вешними дождями
и с пеньем птиц в саду.

Перевод с сербохорватского М. КУДИНОВА

ТОНЕ ПАВЧЕК

Молитва

Земля, тяжелая и черная,
в которой запах и дух веков,
земля, обладающая плодоносностью чресел,
земля, тяжелая и черная,
в которой все:
желанье, рожденье и вызреванье.
Земля, ты рождаешь колос,
и руки, и грудь, и губы.
Земля, очисть собой
вот эти мои немощные руки,
пусть они будут пахнуть тобой,
пусть они станут ветками
с зелеными листьями.
Раскрой мою грудь, как в клетку
посели в нее птиц
и оплодотвори мои губы
всепобеждающим
и освобождающим стихом!

Дай стих, дай стих,
лаву плодоносных слов,
дай это чудесное бремя
прежде, чем ты укроешь собою
руки — зеленые ветви,
прежде, чем ты ляжешь
на мою грудь,
в которой гнездятся птицы,
прежде, чем ты навсегда наполнишь мои губы
тленом и отчаяньем
молчания.

Просьба

Дайте все цветы этого мира,
все-все цветы
женщинам, которые должны родить!

На губах малышей,
мальчиков и девочек,
никогда не родящихся,
уже созрели ягоды просьб.

Мы хотели бы бегать по зелени луга
за пестрой радостью желтых бабочек,
мы хотели бы расти, как трава, как ели,
мы хотели бы на облака смотреть, слушая песни
рождения, любви, любви, жизни,
а не только смерти,
не только смерти!

Как застыли, глядя на меня,
старческие лица маленьких детей!
Вздрогнул лес тоненьких рук,
как будто бы заговорили
большие губы.

Дайте все цветы, все-все цветы этого мира
матерям,
женщинам, что будут рожать,
что должны родить.

Перевод со словенского Е. ВИНОКУРОВА

ГРЭХЕМ ГРИН

Ценой потери

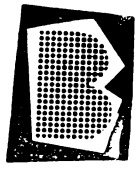
РОМАН

Перевод с английского
Н. ВОЛЖИНОЙ

ЧАСТЬ IV

Глава первая

1



ранней утренней прохладе Куэрри и доктор Колэн сидели на ступеньках больничной веранды. Каждый ее столб отбрасывал тень на землю, и в каждой такой полоске тени ютился кто-нибудь из больных. У алтаря через дорогу настоятель служил воскресную мессу. Боковых стен у церкви не было, если не считать кирпичной решетки в защиту от солнца, сквозь которую молящиеся были видны Куэрри и Колэну по частям, точно разрезная картинка-загадка: монахини на стульях в первом ряду, а позади них — прокаженные на низких длинных скамейках из камня, потому что камень проще и легче дезинфицировать, чем дерево. Издали, с веранды, все это выглядело весело и ярко: солнце золотой рябью играло на белых одеяниях монахинь и пестрых женских платьях. Когда женщины опускались на колени, обручи у них на бедрах позвякивали, как четки, а расстояние и кирпичная кладка излечивали все увечья, скрывая изуродованные ноги. Позади доктора на верхней ступеньке сидел старик, страдающий слоновой болезнью, мошонка у него свисала на ступеньку ниже. Куэрри и Колэн переговаривались вполголоса, чтобы не мешать церковной службе. Шепот, шорохи, звяканье, треньканье, неторопливые движения, смысл которых почти ускользнул у них из памяти, потому что очень уж давно они отошли от всего этого.

— Неужели его нельзя оперировать? — спросил Куэрри.

— Нет, рискованно. Сердце вряд ли выдержит наркоз.

— И что же, так ему и таскаться с этой штукой до самой смерти?

— Да. Но она не очень тяжелая. Какая же все-таки несправедливость, а? Вдобавок к лепре страдать еще и этим.

Из церкви донесся дружный вздох, шорох — прихожане сели. Доктор сказал:

— Я не я буду, а выклянчу когда-нибудь у кого-нибудь деньги и куплю несколько кресел на колесах для самых тяжелых больных. Вот

Окончание. Начало в № 9.

этому, конечно, понадобится специальное. А может знаменитый католический архитектор сконструировать кресло для больного со слоновыми утолщениями яичек?

— Хорошо, будет вам чертеж,— сказал Куэрри.

В церкви через дорогу слышался голос настоятеля. Он читал проповедь на смеси французского с креольским, в речь его вплетались даже фламандские фразы и еще какие-то слова, видимо, на языке монго или другого речного племени.

— Истинно говорю вам: мне было стыдно, когда тот человек сказал: «Вы, слуги Ису, клистиане, все бессовестные воры — здесь крадете, там крадете, только и знаете, что красть. Не деньги вы крадете, нет, нет! И не так, чтобы залезть в хижину Тома Оло и унести его новый радиоприемник. И все равно вы воры. Худшие из всех воров. Увидите человека, который живет с одной женой и не бьет ее и ходит за ней, когда она мучается после тех лекарств, что дают в больнице, увидите и говорите: «Вот она, клистианская любовь!» Идете в суд и слышите, как добрый судья говорит мальчишке, который стащил у белого человека сахар из буфета: «Ты плохой мальчишка. Наказывать я тебя не стану, но смотри в другой раз не попадайся мне. И забудем о сахаре». И, услышав это, вы говорите: «Вот оно, клистианское милосердие!» Но вы воры, вы бесстыжие воры, когда говорите так, ибо вы крадете любовь у человека и милосердие у человека. Но вот человек истекает кровью и умирает, потому что ему воткнули нож в спину, и почему же никто из вас не скажет: «Вот она, клистианская злоба»?

— Да он, кажется, отвечает на то, что я ему однажды наговорил,— сказал Куэрри с чуть заметным подергиванием губ, в котором Колэн начинал теперь узнавать зародыш смешка.— Только у меня все это было как-то по-другому выражено.

— Почему же, когда Анри Окапа купил новый велосипед и кто-то пришел и сломал тормоз на его велосипеде, почему никто из вас не скажет: «Вот она, клистианская зависть!»? Вы как тот вор, что крадет только хорошие плоды, а плохие оставляет гнить на дереве. Ну что ж, хорошо. Меня тот человек называет самым главным вором, а я говорю ему: ты очень ошибаешься. Каждый может защищать себя перед судьей, который его судит. И вы — все, кто сейчас в церкви, вы мои судьи, и я перед вами защищаюсь.

— Давненько я не слушал проповедей,— сказал доктор Колэн.— Вспоминается детство, томительная скука. Верно?

— Вы молитесь Ису,— говорил настоятель. Он по привычке скривил губы, точно перекладывая сигару из одного угла рта в другой.— Но Ису не только праведник. Ису — бог, и он, Ису, сотворил мир. Когда вы слагаете песню, вы сами в этой песне, когда вы печете хлеб, вы сами в этом хлебе, когда вы зачинаете ребенка, вы сами в этом ребенке, а Ису создал вас всех, и потому он сам в каждом из вас. Когда вы любите, это он, Ису, любит, когда вы смилуетесь над кем, это его милосердие. Но когда вы ненавидите кого и завидуете, это не Ису, ибо все, что он сотворил, все благо. Где дурное, там ничего нет. Ненависть — это когда нет любви. Зависть — это когда нет справедливости. Там ничего нет, там пустота вместо Ису.

— Это еще требует доказательств,— сказал доктор Колэн.

— А я говорю вам, что если человек любит, значит, он клистианин. Если человек жалеет кого, значит, он клистианин. Уж не кажется ли вам, что, кроме вас, кроме тех, кто ходит в церковь, в поселке больше нет клистиан? Возле колодца, позади дома Мари Акимбу, живет знахарь, он молится Нзамбе и делает плохие лекарства. Он поклоняется ложному богу, но однажды заболел один мальчик, а его отец и мать лежали в больнице, и этот знахарь не взял с них денег. Лекарство он дал

мальчику плохое, но денег не взял. Он заставил большого бога похлопотать за мальчика у Нзамбе, но денег не взял. И я говорю вам: значит, тогда он был клистианин, и такой клистианин лучше, чем тот, кто сломал велосипед Анри Окапа. Он не верит в Ису, но он был клистианин. Я не вор, я не украл у этого знахаря его доброту, чтобы одарить ею Ису. Я отдаю Ису только то, что он сам сотворил. Ису сотворил любовь, он сотворил милосердие. У каждого человека есть что-нибудь, что сотворил Ису. Поэтому каждый человек хоть немножко, а клистианин. Тогда какой же я вор? Пусть человек будет очень дурной, и все-таки он хоть раз в жизни, а докажет, что господь вложил ему добро в сердце.

— Так, пожалуй, мы с вами тоже сойдем за христиан,— сказал Куэрри.— Вы христианской веры, Колэн?

— Не это меня интересует,— сказал Колэн.— Вот если бы христиане добились, чтобы кортизон подешевел, это другое дело. Ну, пошли.

— Терпеть не могу упрощений,— сказал Куэрри и не поднялся со ступенек.

Настоятель продолжал:

— Я не говорю вам: делайте добро во имя любви к богу. Это очень трудно. Для многих из нас непосильно. Не легче ли сжалиться, потому что плачет ребенок, или любить, потому что приглянулась девушка или приглянулся юноша. Не думайте, что это плохо, это хорошо. Только помните и не забывайте: милосердие ваше и любовь, которую вы чувствуете, дал вам господь. Не давайте им лежать втуне, и, может быть, если вы помолитесь, прочитаете молитву, вам будет легче сжалиться во второй раз и в третий...

— И полюбить вторую женщину, а за ней третью,— сказал Куэрри.

— А что же? Конечно! — сказал доктор.

— Милосердие... любовь...— сказал Куэрри.— Неужели ему не случалось видеть, как убивают своей любовью, своим милосердием? Когда слышишь эти слова из уст священника, так и кажется, что вне стен ризницы и вне молитвенных собраний они теряют всякий смысл.

— А по-моему, он старается втолковать как раз обратное.

— Что же он хочет? Чтобы мы винили бога за нашу любовь. По-моему, винить надо человека. Если бог есть, пусть он, по крайней мере, будет существом, ничем не запятнанным. Пойдемте, не то вас тут обратят на путь истинный и вы, сами того не подозревая, станете христианином.

Они встали и пошли к амбулатории мимо церкви, где читали «Верую».

— Бедняга,— сказал Колэн.— Жизнь у него не легкая, а благодарности он почти не видит. Старается помочь всем и каждому, чем только можно. Если я слыву у него тайным христианином, мне же лучше, правда? Не каждый священник согласится работать рука об руку с атеистом.

— Неужели общение с вами не убедило его, что умный человек может построить свою жизнь без бога?

— Мне жить легче, чем ему. Распорядок моего дня установлен. Я узнаю, когда человек выздоравливает, по отрицательным бактериоскопическим реакциям. Для добрых деяний таких анализов не существует. Что вас заставило, Куэрри, пойти за вашим боем в джунгли?

— Любопытство. Гордость. Только не клистианская любовь, поверьте мне.

Колэн сказал:

— Все равно, в ваших словах так и слышится, что вы потеряли что-то дорогое, любимое. А я ничего не терял. Я расположен к ближним своим. Расположение — вещь куда более безопасная, чем любовь. Оно не требует жертв. А кто ваша жертва, Куэрри?

— Теперь их нет. Теперь со мной все в порядке... Я выздоровел, Колэн, — добавил он не очень уверенно.

2

Отец Поль положил себе порцию так называемого творожного суфле, потом налил стакан воды на запивку. Он сказал:

— Куэрри хитрый, пошел завтракать к доктору. Нельзя ли повлиять на сестер, чтобы они хоть немножко разнообразили дежурные блюда? Как-никак сегодня воскресенье, скоромный день.

— У них это считается лакомством,— сказал настоятель.— Они думают, что мы всю неделю о нем мечтаем. Не будем разочаровывать их, бедняжек. Ведь сколько яиц уходит на это суфле.

Готовили на миссионеров монахини, и еду приходилось носить в миссию за четверть мили по самому солнцепеку. Монахиням и в голову не приходило, что такое путешествие оказывается гибельным для суфле, омлетов и даже для послеобеденного кофе.

Отец Тома сказал:

— По-моему, Куэрри равнодушен к еде.

Отец Тома был единственный в лепрозории, с кем настоятель чувствовал себя не совсем свободно: в нем все еще оставалась семинарская скованность и взвинченность. Он окончил семинарию раньше всех своих здешних собратьев, но был словно обречен на вечную несчастливую юность. Его стесняло общество людей, которые успели повзрослеть и интересовались не столько ловлей душ человеческих, сколько работой электростанции и качеством кирпича. Души подождут. У них впереди вечность.

— Да, он неприхотливый нахлебник,— сказал настоятель, чуть отклоняясь от курса, которым, как он подозревал, хотелось следовать отцу Тома.

— Куэрри замечательный человек,— сказал отец Тома, поворачивая на прежнее направление.

— Теперь у нас хватит денег на покупку электрического вентилятора для родильной палаты,— ни с того, ни с сего заявил настоятель.

— Дайте срок, доживем и до кондиционированного воздуха,— сказал отец Жан.— И до аптекарского магазина и до свеженьких киножурналов с портретами Брижитт Бардо.

Отец Жан был высокий, бледный, со впалой грудью, борода у него торчала клоками, точно неподстриженная живая изгородь. Когда-то давно, до вступления в Орден, отец Жан славился как блестящий богослов, но теперь он старательно культивировал в себе любовь к кино, точно это могло помочь ему зачеркнуть его сомнительное прошлое.

— А по-моему, к воскресному завтраку лучше всего яйцо всмятку,— сказал отец Поль.

— Вряд ли оно вам придется по вкусу — тухлое,— сказал отец Жан, подкладывая себе суфле; несмотря на свою испитую физиономию, он отличался чисто фламандским аппетитом.

— Смотрели бы за курами получше,— сказал отец Жозеф,— вот яйца бы и не тухли. Я дам им рабочих, пожалуйста, пусть построят курятники, тогда куры и нестись будут лучше. Провести в каждый курятник электричество из их дома проще простого.

Брат Филипп заговорил впервые. Он не любил вмешиваться в разговоры людей, которые, по его понятиям, были куда более далеки от всего мирского, чем он сам.

— Электрические вентиляторы, курятники. Смотрите, отец, выдержит ли наше динамо такую нагрузку?

Настоятель чувствовал, что его сосед по столу, отец Тома, весь кипит. Он решил действовать тактично:

— Как ваш новый класс, отец? Все ли там есть, что нужно?

— Все есть, кроме учителя, который хоть мало-мальски разбирался бы в вопросах веры.

— Ну, это не первостепенное. Лишь бы научил ребят азбуке.

— Казалось бы, катехизис знать важнее, чем азбуку.

— Сегодня звонил Рикэр,— сказал отец Жан, придя на выручку настоятелю.

— Что ему нужно?

— Поговорить с Куэрри, конечно. На сей раз о каком-то англичанине, но, в чем дело, передать через меня отказался. Грозит приехать к нам, когда паромы опять будут ходить. Я попросил его захватить с собой какие-нибудь киножурналы, но он сказал, что ничего такого не читает. Кроме того, ему понадобилось «О предопределении» отца Гарригу-Легранжа.

— Иной раз я почти жалею,— сдержанно проговорил настоятель,— что мосье Куэрри приехал к нам.

— А по-моему,— сказал отец Тома,— мы должны радоваться любому маленькому неудобству, которое он нам причиняет. Ведь жизнь у нас здесь не очень бурная.

Кусок суфле так и остался нетронутым у него на тарелке. Он скатал тугой катышек из хлеба и проглотил его, запив водой, как пилюлю.

— Пока Куэрри здесь, нас не оставят в покое. Куэрри ведь не только знаменитость. Он человек глубоко верующий.

— Что-то я этого не замечал,— сказал отец Поль.— На мессе его сегодня не было.

Настоятель закурил очередную сигару.

— Нет, был. И я свидетель, что он не сводил глаз с алтаря. Сидел он через дорогу, вместе с больными, и, по-моему, это ничуть не хуже, чем присутствовать на богослужении, восседая в первом ряду, спиной к прокаженным.

Отец Поль открыл было рот, чтобы возразить отцу Тома, но настоятель предостерегающе подмигнул ему.

— Ну что ж, вы, по крайней мере, милостивы к нашему гостю.— Он положил сигару на край своей тарелки и, встав, прочел благодарственную молитву. Потом перекрестился и снова взял сигару.— Отец Тома,— сказал он,— вы не могли бы уделить мне минуту-другую?

Он провел отца Тома к себе и усадил его в единственное в комнате кресло — оно предназначалось для посетителей. Отец Тома не сводил с него глаз, сидя навытяжку, точно кобра, подстерегающая мангусту.

— Сигару, отец?

— Вы же знаете, что я не курю.

— Да, конечно. Виноват. У меня в мыслях был кто-то другой. Вам неудобно в этом кресле? У него, наверно, продавлены все пружины. Пружинная мебель в тропиках — полная нелепость, но это кресло подарили нам вместе с прочей рухлядью, и...

— Мне удобно, не беспокойтесь.

— Меня очень огорчает, что вы недовольны вашим учителем. Теперь, когда мы открыли и третью группу для мальчиков, хорошего найти не так-то легко. У монахинь это дело поставлено лучше.

— Ну что ж, если вас устраивает такая учительница, как Мари Акимбу...

— Мать Агнеса говорит, что она очень старается.

— Да, старается — заводит каждый год по ребенку от разных мужей. Ей разрешают качать люльку во время уроков, а, по-моему, это недопустимо. Она опять беременна. Недурной пример для других!

— Ну что ж поделаешь! Autres pays, autres moeurs *. Мы здесь затем, чтобы помогать людям, а не предавать их анафеме, отец, и вряд ли нам подобает указывать сестрам. Они присмотрелись к этой молодой женщине, а мы — нет. Вы не забывайте, что здесь редкий человек знает, кто его отец. Дети принадлежат матерям. Может быть, поэтому здешний народ и отдает предпочтение нам и матери божией, а не протестантам.— Настоятель замялся, подыскивая слова.— Вы... вы, отец, живете у нас... уже больше двух лет?

— Через месяц исполнится ровно два года.

— По-моему, вы мало едите. Это суфле, конечно, не слишком соблазнительно...

— Нет, отчего? Суфле как суфле. Просто я назначил себе сегодня постный день.

— Надеюсь, с согласия вашего духовника?

— На такой короткий срок не стоило его спрашивать, отец.

— Ну что ж, день вы выбрали правильно, поскольку сегодня суфле, но знаете, европейцы плохо переносят здешний климат, особенно на первых порах. Мы начинаем привыкать к нему лет через шесть, когда подходит время отпуска. Мне иной раз становится страшно при мысли о поездке домой. А первые годы лучше... лучше не перенапрягаться.

— А мне не кажется, что я перенапрягаюсь, отец.

— Первейший наш долг — выжить, уцелеть, даже если ради этого приходится давать себе некоторые послабления. В вас сильно развит дух жертвенности, отец. Качество само по себе замечательное, но это не всегда то, что требуется на поле битвы. Хороший солдат никогда не заигрывает со смертью.

— Вот не думал, что я...

— Крушение надежд — кто этого не переживал? Несчастная Мари Акимбу... Что ж делать? Надо пользоваться тем людским материалом, который у нас под руками. Вряд ли в некоторых приходах Льежа вы нашли бы нечто лучшее, хотя иногда мне кажется, что там вам было бы легче. Африканская миссия — это не каждому по силам. Если человек чувствует себя здесь не на месте, надо хлопотать о переводе, ничего зазорного в этом нет. Как вы спите, отец?

— Мне сна хватает.

— Не сходить ли вам к доктору Колэну? Иной раз какая-нибудь таблетка бывает так кстати и так поможет, просто диву даешься.

— Отец, почему вы настроены против мосье Куэрри?

— Я? Не замечал этого за собой.

— Кто другой похоронил бы себя здесь заживо и стал бы возиться с нашей больницей? Ведь он пользуется всемирной славой, хотя отец Поль о нем и понятия не имел.

— Мне незачем доискиваться до причин его поступков, отец Тома. Я принимаю эту помощь и надеюсь, никто не обвинит меня в неблагодарности.

— А я доискиваюсь. Я говорил с Део Грациасом. И надеюсь, меня хватило бы на такой поступок — пойти ночью в заросли, искать там пропавшего слугу... хотя, не знаю, не могу ручаться...

— Вы боитесь темноты?

— Да. И не стыжусь признаться в этом.

— В таком случае от вас бы потребовалось еще большее мужество. Чего боится мосье Куэрри, я пока не выяснил.

— Разве это не героический поступок?

— Да будет вам! Человек без сердца и человек без страха одинако-

---

* Другая страна, другие нравы *(франц.)*.

во не внушают мне доверия. Страх может уберечь нас от многого. Я, конечно, не хочу сказать, что мосье Куэрри...

— Разве бессердечный человек мог бы пробыть там возле своего слуги всю ночь и молиться за него?

— Я знаю, в городе все об этом твердят, но вот молился ли он? Сам мосье Куэрри ничего такого доктору не рассказывал.

— Я спросил Део Грациаса. Он сказал, да. Я спросил его, какие молитвы? «Аве Мария»? Он сказал, да.

— Отец Тома, когда вы поживете подольше в Африке, вы убедитесь, что африканцу нельзя задавать вопрос в такой форме, которая допускает утвердительный ответ. Они говорят «да» из вежливости. Но на это никак нельзя полагаться.

— Мне кажется, что, прожив здесь два года, я могу разобрать, лжет африканец или нет.

— Это не ложь. Отец Тома, я прекрасно понимаю, почему Куэрри овладел вашими мыслями. Вы с ним оба люди крайностей. Но нам, в нашей жизни, лучше обходиться без героев — то есть без живых героев. Хватит с нас и святых.

— Значит, при жизни святых не бывает? Так вас понимать?

— Нет, зачем же? Но не будем торопиться, пусть сначала их признает церковь. Так мы убережем себя от горьких разочарований.

3

Отец Тома стоял у двери своей комнаты, глядя сквозь густую проволочную сетку на плохо освещенную улицу лепрозория. На столе позади него горела заранее зажженная свеча, и ее бледный огонек чуть виднелся под свисавшей с потолка электрической лампочкой без абажура. Через пять минут свет выключат. Этого он всегда боялся, молитвы не помогали залечивать темноту. Слова настоятеля снова разбудили в нем тоску по Европе. Льеж — город мерзкий, жестокий, но нет там такой минуты в ночи, когда, подняв штору, человек не увидел бы отблеска света на противоположной стене, а то и запоздалого прохожего, спешащего домой. Здесь же движок выключают в десять часов вечера, и тогда остается одно: верить слепой верой, что джунгли не подступили к порогу комнаты. Иногда ему казалось, будто он слышит, как листья шуршат, задевая москитную сетку на двери. Он взглянул на часы — осталось четыре минуты.

Он признался настоятелю, что боится темноты, а настоятель отмахнулся от его страхов, как от сущего пустяка. Ему мучительно хотелось отвести с кем-нибудь душу, но с братьями по Ордену это почти невозможно, все равно что солдату признаться в трусости своему однополчанину. Нельзя же сказать отцу настоятелю: «Я каждую ночь молю бога, чтобы меня не вызвали к кому-нибудь, кто умирает в больнице или у себя на кухне, и чтобы мне не пришлось зажигать фонарик на велосипеде и ехать куда-то в темноту». Несколько недель назад ночью умер один старик, но тогда к нему поехал отец Жозеф, и покойник сидел в расшатанном шезлонге, с каким-то фетишем на коленях, изображающим Нзамбе, и с медалькой на шнурке вокруг шеи. Условное отпущение грехов отец Жозеф дал при свете велосипедного фонарика, так как свечей поблизости не нашлось.

Он был уверен, что настоятель завидует Куэрри. Его собратья-миссионеры забивают свою жизнь всякими мелкими заботами, и им так легко говорить между собой о стоимости ножных ванн, неполадках на электростанциях, простоях на кирпичном заводе, а вот он ни с кем не может поделиться тем, что его волнует. Он завидовал счастливым мужьям, у которых наперсница всегда наготове — и в постели, и за сто-

лом. Отец Тома состоял в браке с церковью, а церковь отвечала на его признания одними лишь штампами исповедальни. Он вспомнил, что даже в семинарии духовник всякий раз останавливал его, когда ему случалось преступить границы общепринятого в своих проблемах. Слово «сомнения», как дорожный знак, преграждало путь мысли, куда бы она ни свернула. «Мне надо говорить, надо говорить!» — беззвучно крикнул отец Тома, когда огонь погас везде и туканье движка смолкло. В темноте веранды послышались шаги, кто-то прошел мимо комнаты отца Поля и прошел бы мимо его собственной, если бы он не спросил:

— Это вы, мосье Куэрри?

— Да.

— Не зайдете ли ко мне на минутку?

Куэрри отворил дверь и ступил в маленький круг света. Он сказал:

— Я втолковывал настоятелю разницу между бидэ и ножной ванной.

— Присядьте, пожалуйста. Я так рано не могу заснуть, а читать при свечке зрение не позволяет.

Уже в одной этой фразе отец Тома сказал о себе Куэрри больше, чем когда-либо говорил настоятелю, так как он знал, что настоятель охотно даст ему электрический фонарь и разрешит читать сколько угодно после того, как потушат свет, а это только выставит напоказ его слабости. Куэрри поискал глазами, куда сесть. В комнате был всего один стул, и отец Тома потянулся откинуть тюлевый полог над кроватью.

— А почему бы нам не пойти ко мне? — спросил Куэрри.— У меня виски.

— Я сегодня пощусь,— сказал отец Тома. — Пожалуйста, берите стул. А я сяду на кровать.

Огненный язычок свечки тянулся ровно вверх, точно карандаш, сужаясь к коптящему кончику.

— Я надеюсь, вы всем у нас довольны? — сказал отец Тома.

— Ко мне здесь очень хорошо относятся.

— С тех пор как я приехал сюда, вы первый обосновались в лепрозории надолго.

— Вот как?

Длинный узкий нос отца Тома как-то странно загибался в сторону — точно он принюхивался к еле уловимому запаху.

— Здесь требуется время, чтобы обжиться.— Он рассмеялся нервным смешком.— Я, кажется, все еще не обжился.

— Я вас понимаю,— машинально проговорил Куэрри за неимением лучшего ответа, но для отца Тома бром этой ничего не значащей фразы был как глоток вина.

— Да, вы все понимаете. Мне иной раз кажется, что миряне обладают бóльшим пониманием, чем священники. И зачастую,— добавил он,— и большей верой.

— Вот уж чего про меня не скажешь! — ответил Куэрри.

— Я ни с кем этим не делился,— проговорил отец Тома таким тоном, точно вручал Куэрри какую-то драгоценность, делая его на веки вечные своим должником.— После окончания семинарии я часто думал, что меня может спасти только мученичество... конечно, если смерть придет ко мне до того, как я потеряю последние крохи веры.

— Да вот не приходит она,— сказал Куэрри.

— Я хотел поехать в Китай, но меня туда не пустили.

— Ваша работа нужна здесь, наверно, не меньше, чем там, — Куэрри сдавал свои ответы быстро и машинально, точно карты.

— Обучать грамоте? — Отец Тома подвинулся на кровати, и складка полога от москитов, скользнув вниз, закрыла ему лицо, как подвенеч-

ная фата или сетка пчеловода. Он откинул ее, но она опять сползла вниз, точно неодушевленные предметы тоже умеют выбирать самые подходящие минуты, чтобы помучить человека.

— Ну что ж, пора спать,— сказал Куэрри.

— Вы извините меня. Я вас задерживаю. Надоедаю вам.

— Нет, нисколько,— сказал Куэрри.— К тому же у меня бессонница.

— Вот как? Это все жара. Я сплю четыре-пять часов в сутки, не больше.

— Могу предложить вам снотворное.

— Нет, нет, благодарю вас. Надо приучаться и без них. Ведь я послан сюда господом.

— Но вы же добровольно приехали?

— Да, конечно, но не будь на то его воли...

— Может, и на то будет его воля, чтобы вы приняли таблетку нембутала? Я принесу.

— Нет, мне будет лучше, если я просто поговорю с вами. Ведь там у нас не поговоришь — о серьезных вещах. Может быть, я отрываю вас от работы?

— Я при свечах не работаю.

— Я вас скоро отпущу,— сказал отец Тома, слабо улыбнувшись, и замолчал. Пусть джунгли подступают к самому порогу, в кои-то веки он не один! Куэрри сидел, зажав руки между колен, и ждал. Вокруг огонька свечки с жужжаньем вился москит. Опасное желание выговориться росло в отце Тома, точно напор сладострастия. Он сказал:

— Если бы вы знали, как иной раз бывает нужно поговорить с верующим, чтобы укрепить веру в самом себе.

Куэрри сказал:

— Для этого у вас есть отцы миссионеры.

— Мы говорим между собой только о динамо-машине и о наших школах,— сказал он.— Мне иногда кажется, что, если я здесь останусь, вере моей придет конец. Вы меня понимаете?

— Да, понимаю. Но, по-моему, об этом вам следует побеседовать с вашим духовником, а не со мной.

— Део Грациас говорил с вами? Говорил?

— Да. Немножко.

— У вас дар вызывать людей на откровенность. Рикэр...

— Помилуй бог! — Куэрри беспокойно заерзал на жестком стуле.— То, что я мог бы вам сказать, не спасет вас. Можете положиться на мое слово. Я... я неверующий.

— Вы само смирение! — сказал отец Тома.— Мы все это заметили.

— Если бы вы знали меру моей гордыни...

— Гордыня, которая строит церкви и больницы, не так уж плоха.

— Не делайте из меня контрфорса вашей веры, отец. Я окажусь самой ненадежной ее точкой. Мне не хочется еще больше нарушать ваш душевный покой, но... у меня ничего для вас нет... ничего. Я даже никогда не назвал бы себя католиком, разве только если бы попал в армию или в тюрьму. Я католик по анкетным данным, вот и все.

— Нас обоих одолевают сомнения,— сказал отец Тома.— И, может, у меня их больше, чем у вас. Они приходят ко мне даже в алтаре, когда я держу святые дары вот этими руками.

— Я давно покончил со всякими сомнениями. Если говорить начистоту, отец, я не верю в бога. Совсем не верю. Я разделался с верой... как с женщинами. У меня нет ни малейшего желания обращать в неверие других и вообще нарушать чей-то покой. Я предпочел бы держать рот на замке, если вы только дадите мне такую возможность.

— Вы даже не представляете себе, сколько мне дала беседа с вами! — взволнованно сказал отец Тома.— Здесь нет никого, с кем я мог бы поговорить. А ведь иной раз как бывает нужен человек, страдающий тем же, что и ты сам!

— Но вы меня не поняли, отец.

— Неужели вы сами не чувствуете, что, может быть, господь осенил вас своей милостью в пустыне? Может быть, вы идете по стопам Иоанна Крестителя в noche oscura *?

— Как вы далеки от истины! — сказал Куэрри, то ли возмущенно, то ли в полном недоумении, разводя руками.

— Я за вами наблюдал,— сказал отец Тома.— Я умею судить о людях по их поступкам.

Он наклонился всем телом вперед, так что его лицо приблизилось к лицу Куэрри, и Куэрри уловил запах гвоздичного масла, которое отец Тома употреблял против москитов.

— Впервые со дня приезда сюда я чувствую, что могу принести кому-то пользу. Когда у вас возникнет потребность в исповеди, помните, что я здесь, с вами.

— Если мне и придется когда-нибудь исповедоваться,— сказал Куэрри,— то разве лишь на допросе у судьи.

— Ха-ха! — Отец Тома подхватил шутку на лету и сунул ее за пазуху сутаны, точно мячик, конфискованный у школьника. Он сказал: — Вот вы говорите — сомнения. У меня они тоже есть, уверяю вас. А что, если мы с вами вспомним философскую аргументацию? Это нам поможет.

— Мне, отец, ничто не поможет. Такую аргументацию разобьет в пух и прах любой шестнадцатилетний школяр. Да и вообще я ни в какой помощи не нуждаюсь. Простите меня за резкость, но я не хочу верить, отец. Я вылечился.

— Тогда почему же в вас, как ни в ком другом, я черпаю самую суть веры?

— Это ваше собственное вероощущение, отец. Вы ищете веру и, видимо, обретаете ее. А я не ищу. Все то, что я постиг когда-то, а потом утерял, мне больше не нужно. Если бы вера была деревом и оно росло бы в конце вот этой улицы, клянусь вам, я бы шагу по ней не ступил. Мне не хочется оскорблять ваши чувства, отец. Будь я в силах помочь вам, я бы помог. Сомнения причиняют вам боль, но ведь это она, вера, болит в вас, и я желаю вам победы над самим собой.

— Значит, вы все, все понимаете? — сказал отец Тома, и Куэрри, доведенный до отчаяния, невольно поморщился.— Не сердитесь, может быть, я знаю вас лучше, чем вы сами себя знаете. Такого понимания мне не приходилось встречать «во всем Израиле», если можно назвать так нашу общину. Я вам стольким обязан. Может быть, мы еще поговорим — вот так же вечером. О разных проблемах — ваших и моих.

— Может быть, но...

— И помолитесь за меня, мосье Куэрри. Ваша молитва дорога мне.

— Я не молюсь.

— А Део Грациас говорил совсем другое,— сказал отец Тома, выдавив из себя улыбку — темную, приторную и клейкую, как лакричный леденец. Он сказал: — Есть молитвы внутренние, молитвы безмолвные. А люди доброй воли умеют молиться и бессознательно. Одна ваша мысль может стать молитвой в глазах господа. Думайте обо мне хоть изредка, мосье Куэрри.

— Непременно.

---

* Темную ночь *(исп.)*.

— Если бы я мог оказать вам такую же помощь, какую оказали мне вы!

Он помолчал, словно ожидая, что сейчас его о чем-то попросят, но Куэрри только поднял руку и отвел от лица липкую паутину, которую паук свесил с потолка между ним и дверью.

— Сегодня ночью я буду спать крепко,— угрожающе проговорил отец Тома.

Глава вторая

1

Епископская баржа раза два в месяц доставляла в лепрозорий тяжелые грузы, но случалось и так, что неделя убегала за неделей, а она все не появлялась. Приходилось терпеть и ждать. Может быть, вести о своей маломощной конкурентке привезет вместе с почтой капитан парохода ОТРАКО? Мало ли что случается в пути — подводная коряга пробьет ей днище, или она сядет на мель, или же налетит на упавшее дерево и сломает руль, а может быть, капитан лежит в лихорадке или же перешел на преподавание греческого в семинарии по распоряжению епископа, а другого священника ему взамен епископ еще не подыскал. Капитанская должность была у миссионеров не в почете. Тут не требовалось ни знания навигации, ни даже механики, потому что и в машинном отделении и на капитанском мостике всем фактически распоряжался помощник капитана из африканцев. Что ни рейс, то месяц одиночества на реке, у каждого причала поиски грузов, еще не зафрахтованных компанией ОТРАКО. Такую работу нельзя было и сравнить с назначением в городской собор и даже в семинарию в джунглях.

Уже наступили сумерки, когда обитатели лепрозория вдруг услышали колокол давным-давно ожидавшейся баржи. Колэна и Куэрри его звон застал на докторской веранде, когда они только что налили себе по первому за вечер стакану виски.

— Наконец-то! — сказал Колэн, сделав последний глоток.— Если бы только привезли новый рентгеновский аппарат!

В сумерках на длинной просеке раскрылись чашечки белых цветов, повсюду разводили огонь в очагах, на которых будут стряпать ужин, и великодушная тьма наконец-то спускалась над уродами и калеками. Ночные стычки еще не начались, и вокруг стояла такая тишина, что ее можно было потрогать, как лепесток, или вдохнуть, как запах горящих поленьев. Куэрри сказал Колэну:

— А вы знаете, мне хорошо здесь.

Он слишком поздно спохватился: в сладостной вечерней прохладе эти слова сорвались у него с языка как признание.

2

— Я помню, когда вы к нам приехали,— сказал Колэн.— Мы с вами встретились вот на этой дороге, и я спросил, надолго ли вы к нам. А вы ответили — помните?

Но Куэрри молчал, и Колэн понял, что он уже пожалел о своих словах.

Белая баржа медленно огибала излучину реки; на носу у нее стоял зажженный фонарь, в салоне горела калильная лампа. Черная фигура, совершенно обнаженная, если не считать набедренной повязки, покачивалась на понтоне с канатом в занесенной руке, готовясь бросить конец

на берег. На веранде, как мотыльки вокруг банки с патокой, толпились миссионеры в белых сутанах, а когда Колэн оглянулся, он увидел огонек настоятельской сигары, спешившей той же дорогой, что и они.

Колэн и Куэрри остановились на самом верху берегового откоса. Когда тарахтенье мотора утихло, другой африканец из команды прыгнул с понтона в реку и поплыл к берегу. Он поймал канат, закрепил его вокруг большого камня, и тогда накренившееся судно остановилось у причала. На берег перебросили сходни, и по ним двинулась женщина с двумя живыми индюшками на голове; она оправляла на ходу свое одеяние, разматывая и снова затягивая на бедрах кусок яркой ткани.

— Большой мир к нам пожаловал,— сказал Колэн.

— Что это значит?

Капитан замахал им рукой из окна салона. Дверь в епископскую каюту была затворена, но сквозь москитную сетку оттуда просвечивал неяркий огонь.

— Как знать, что баржа нам привезет. Ведь вы тоже с ней пожаловали.

— У них, кажется, пассажир в каюте,— сказал Куэрри.

Капитан продолжал жестикулировать, выглядывая в окно, его рука призывала их подняться на баржу.

— Что он, голос потерял? — сказал настоятель, подойдя к ним, потом сложил чашечкой руки у рта и что есть силы крикнул: — Капитан! Почему вы так задержались?

Рукав белой сутаны мотнулся кверху в сумерках: капитан поднес палец к губам.

— Господи помилуй! — сказал настоятель.— Кто у него там в каюте, уж не сам ли епископ?

Он первый спустился с откоса и перешел по сходням на баржу.

Колэн сказал, уступая дорогу:

— Прошу.— И почувствовал, что Куэрри колеблется. Он сказал: — Выпьем там пива. Это принято,— но Куэрри не двинулся с места.— Капитан будет рад вас видеть,— продолжал Колэн и поддержал Куэрри под локоть перед спуском.

Настоятель уже пробирался к железной лестнице возле машинного отделения, толкаясь среди женщин и коз и среди кухонных горшков, которыми был уставлен понтон.

— Что вы там говорили про большой мир? — спросил Куэрри.— Может быть, на самом деле...— и он запнулся, глядя на свою прежнюю каюту, где сейчас ветерок с реки колебал пламя свечки.

— Я пошутил,— ответил Колэн.— Вы сами посудите, похоже это на большой мир?

Ночь, которая наступает в Африке мгновенно, будто стерла баржу, оставив от нее только свечку в епископской каюте, калильную лампу в салоне, где две белые фигуры беззвучно приветствовали друг друга, и фонарь «молнию» у нижней ступеньки, где женщина толкла что-то на ужин мужу.

— Пошли,— сказал Куэрри.

На верху лестницы их встретил капитан. Он сказал:

— А вы все еще здесь, Куэрри? Рад вас видеть.

Капитан говорил полушепотом, будто по секрету. В салоне их ожидали раскупоренные бутылки пива. Капитан притворил за собой дверь и впервые заговорил во весь голос. Он сказал:

— Пейте скорей, доктор Колэн. Там вас ждет пациент.

— Кто-нибудь из команды?

— Нет, не из команды,— сказал капитан, поднимая стакан с пивом.— Настоящий пассажир. За два года у меня было только два на-

стоящих пассажира: первый — мосье Куэрри, а теперь еще вот этот. Платный пассажир, не миссионер.

— Кто же это такой?

— Он пожаловал к нам из большого мира,— сказал капитан, как эхо подхватив фразу Колэна.— Намучился я с ним. По-фламандски не говорит, по-французски еле-еле, а уж когда заболел, совсем беда. Я очень рад, что мы приехали,— добавил он и замолчал, то есть перешел в более привычное для него состояние.

— Зачем он сюда явился? — спросил настоятель.

— А я почем знаю. Вы же слышали — по-французски он не говорит.

— Врач?

— Безусловно нет. Врач никогда бы так не перепугался из-за легкого приступа лихорадки.

— Пойти, что ли, сейчас его посмотреть? — сказал Колэн.— На каком же языке он говорит?

— На английском. Я попробовал перейти на латынь,— сказал капитан.— Даже на греческий, но ничего из этого не получилось.

— Я знаю английский,— нехотя проговорил Куэрри.

— Приступ сильный? — спросил Колэн.

— Сегодня самый тяжелый день. Завтра будет полегче. Я сказал: «Finitum est», но он, видимо, понял так, что ему самому конец.

— Где вы его подобрали?

— В Люке. За него кто-то похлопотал у епископа, кажется, Рикэр. Он опоздал на пароход ОТРАКО.

Колэн и Куэрри пошли по узкой палубе к епископской каюте. С кормы свисал бесформенный спасательный круг, похожий на сушеного угря, почти над самой водой окутанная паром душевая кабина, уборная с дверью на одной петле, тут же кухонный стол и клетка, где в темноте похрустывали два кролика. Ничто здесь не изменилось — за исключением, надо полагать, кроликов. Колэн распахнул дверь каюты, и на Куэрри глянула фотография укутанной в снега церкви, но в смятой постели, которая, как ему почему-то показалось, должна была все еще хранить отпечаток его тела, точно на заячьей лежке, он увидел очень толстого голого человека. Человек лежал навзничь, на шее у него собрались три складки, и пот, скапливаясь в бороздках между ними, стекал ему под голову, на подушку.

— Придется, видно, перевести его на берег,— сказал Колэн.— Если у миссионеров есть свободная комната.

На столе рядом с кроватью стояла фотокамера «роллефлекс» и портативная машинка «ремингтон», а в нее был заложен лист бумаги, на котором пассажир успел напечатать несколько слов Куэрри поднес свечу поближе и прочел по-английски: «вековые леса хмуро насупившись стоят вдоль берегов реки так же как они стояли когда Стэнли и его небольшой отряд». Фраза сошла на нет без знаков препинания. Колэн взял больного за кисть и пощупал ему пульс. Он сказал:

— Капитан прав. Через два-три дня будет на ногах. Спит, значит, приступ идет к концу.

— Тогда почему не оставить его здесь? — сказал Куэрри.

— Вы знаете, кто это?

— Первый раз его вижу.

— Что-то у вас голос какой-то испуганный,— сказал Колэн.— Отправить его в обратный рейс все-таки нельзя, ведь проезд сюда он оплатил.

Как только доктор отпустил руку больного, он проснулся и спросил по-английски:

— Вы доктор?

— Да. Я доктор Колэн.

— Я Паркинсон,— значительно произнес больной, точно он был единственный оставшийся в живых представитель целого племени Паркинсонов.— Я умираю?

— Ему хочется знать, умирает ли он,— перевел Куэрри.

Колэн сказал:

— Через два-три дня будете здоровы.

— Жарища какая, черт бы ее подрал,— сказал Паркинсон. Он взглянул на Куэрри.— Слава богу, хоть один говорит по-английски. — Потом посмотрел на свой «ремингтон» и сказал: — Могила белого человека.

— Вы не сильны в географии. Это не Западная Африка.— Куэрри поправил его сухим и недружелюбным тоном.

— А *там* все равно ни черта, ни дьявола в этом не смыслят, — сказал Паркинсон.

— И Стэнли никогда здесь не был,— продолжал Куэрри, не пытаясь скрыть свою неприязнь.

— Нет был. Ведь эта река — Конго?

— Нет. С Конго вы расстались неделю назад, когда отплыли из Люка.

Паркинсон снова повторил свою непонятную фразу:

— *Там* все равно в этом ни черта, ни дьявола не смыслят. У меня голова разламывается.

— Он жалуется на головную боль,— сказал Куэрри доктору.

— Переведите: когда его снесут на берег, я ему что-нибудь дам. Узнайте, дойдет ли он сам до миссии? Это же немыслимо — тащить такую тяжесть!

— Сам? — крикнул Паркинсон. Он повернул к ним голову, и пот с шеи вылился по желобкам на подушку.— Вы что, убить меня хотите? Прелестная статейка получится, только не мне ее придется читать. Паркинсона приняла та же земля, по которой Стэнли...

— Стэнли здесь не был,— сказал Куэрри.

— Был или не был, не все ли равно. Вот прицепились! Жара, черт ее подери! Почему вентилятора нет? Если этот тип действительно врач, пусть кладет меня в хорошую больницу.

— Вам наша больница, пожалуй, не понравится,— сказал Куэрри.— Она у нас для больных лепрой.

— Тогда я останусь здесь.

— Баржа завтра уходит обратно в Люк.

Паркинсон сказал:

— Я не понимаю, что он говорит, этот ваш доктор. Можно ему довериться? Он хороший врач?

— Да, хороший.

— Но ведь они правды никогда не скажут. Мой старик так и умер в полной уверенности, что у него язва двенадцатиперстной кишки.

— Вы не умираете. У вас легкий приступ малярии, только и всего. Самое худшее позади. Если бы вы прошлись до миссии пешком, для нас всех это было бы гораздо проще. Впрочем, может, вы хотите вернуться в Люк?

— Если я за что взялся,— последовал туманный ответ,— то доведу дело до конца.— Он вытер шею пальцами.— Ноги у меня как кисель,— сказал он.— Наверно, фунтов тридцать потерял. Боюсь, не отразилось бы на сердце.

— Ничего не попишешь,— сказал Куэрри доктору.— Придется тащить его.

— Пойду посмотрю, что тут можно сделать,— сказал Колэн и вышел из каюты. Когда они остались одни, Паркинсон спросил:

— Вы умеете обращаться с фотоаппаратом?

— Конечно.

— И с блицлампой?

— Да.

Он сказал:

— Тогда я вас попрошу — окажите мне любезность, щелкните несколько снимков, когда меня будут переносить на берег. И постарайтесь, чтобы вышло с настроением. Ну, знаете как? Со всех сторон черные лица — сострадают, беспокоятся.

— С чего бы им беспокоиться?

— Это можно великолепно инсценировать,— сказал Паркинсон.— А беспокоиться им будет о чем — вдруг уронят? *Там* все равно не разберутся.

— Зачем вам эти снимки?

— Такие вещи всегда пользуются успехом. Фотография не врет — во всяком случае, так принято думать. А знаете, с тех пор как вы вошли в каюту и я снова могу говорить по-английски, мне стало гораздо легче. И потею меньше, правда? Хотя голова...— Он осторожно повернул голову на подушке и снова застонал.— Ну, ладно. Если б у меня не было этой малярии, пришлось бы ее, пожалуй, выдумать. Прелестный штрих.

— А вы бы поменьше говорили.

— Как я рад, что это плавание кончилось, черт бы его подрал.

— А зачем вы сюда приехали?

— Вы знаете такого — Куэрри? — сказал Паркинсон.

Он с трудом перевернулся на бок. Огонек свечи заблестел в капельках и разводах пота на его лице, так что оно стало похоже на разъезженную дорогу после сильного дождя. Куэрри знал наверняка, что он никогда раньше не видел этого человека, но ему вспомнилось, как доктор Колэн сказал: «Большой мир к нам пожаловал».

— Зачем вам понадобился Куэрри? — спросил он.

— А вот понадобился. Такая моя работа, черт бы ее подрал,— ответил Паркинсон. Он снова застонал.— Это вам не игрушечки, к чертудьяволу. А вы правду мне говорите про врача? Не скрываете, что он сказал?

— Нет.

— Сердце меня беспокоит. За неделю похудеть на тридцать фунтов! «О ты, моя тугая плоть», как бы тебе на самом деле не сгинуть. Рассказать вам по секрету? Разудалый Паркинсон частенько так боится смерти — просто сил нет!

— Кто вы такой? — спросил Куэрри.

Но этот человек раздраженно отвернулся от него и с полным безразличием закрыл глаза. Через минуту он снова заснул.

Он все еще спал, когда его вынесли с баржи, завернутого в брезент, точно тело, которое надлежит предать морской пучине. Чтобы поднять такую тяжесть, понадобилось шесть человек, и они мешали друг другу, а на подъеме в гору один из них споткнулся и упал. Куэрри успел вовремя подхватить тяжелую ношу. Голова спящего ударила его в грудь, и ночной воздух отравило благоухание бриллиантина. Куэрри не привык таскать тяжести, и к тому времени, когда они поднялись на самый верх откоса, где их встретил отец Тома с фонарем, он весь покрылся потом и еле переводил дыхание. Его сменил африканец, а он пошел сзади рядом с отцом Тома. Отец Тома сказал:

— Зачем вы это? Ведь тяжесть какая! Да еще в жару! В вашем возрасте такие порывы не рекомендуются. Кто он такой?

— Не знаю. Чужой, не здешний.

Отец Тома сказал:

— Возможно, что истинную цену человеку и узнаешь по его порывам.

Из темноты на них надвигался огонек настоятельской сигары.

— Здесь порывистость не в почете,— со злобой продолжал отец Тома.— Кирпич, известка, ежемесячные платежи по счетам — вот о чем мы думаем. Да! Только не о самаритянине на дороге в Иерихон.

— Я о нем тоже не думаю. Просто подсобил им немного, только и всего.

— Мы все должны учиться у вас,— сказал отец Тома, беря Куэрри за руку повыше локтя, точно дряхлого старца, которому нужна поддержка ученика.

Их догнал настоятель. Он сказал:

— Ума не приложу, куда мы его денем. Свободных комнат у нас нет.

— Давайте его ко мне. У меня хватит места на двоих,— сказал отец Тома и сжал Куэрри локоть, точно говоря: «Вот хоть один внял вашему уроку. Я не такой, как братья мои».

Глава третья

I

Перед доктором Колэном лежала карточка с контурами человеческого тела. Рисунок сделал он сам, карточки были заказаны в Люке, так как у него уже не осталось ни малейшей надежды получить что-нибудь подходящее из Европы. Они слишком дешево стоили, вот в чем была вся беда. Такие заказы тончайшей пылью сыпались сквозь финансовое сито, которое просеивало его просьбы о присылке тех или иных материалов. В министерских низах не было чиновников, облеченных властью разрешить расход в каких-нибудь шестьсот франков, и у тамошних служащих не хватало мужества обеспокоить тех, кто старше чином, столь мизерным требованием. Теперь, когда доктору приходилось пользоваться этими карточками, несовершенство собственных рисунков раздражало его. Он провел пальцами по спине пациента и нащупал у него под левой лопаткой новый очаг уплотнения. Потом заштриховал это место на карточке и позвал:

— Следующий!

Если бы новое больничное здание было отстроено и новый аппарат для измерения температуры кожи установлен, может быть, ему удалось бы предотвратить образование вот этого бугорка. «Важно не то, что я сделал,— вспомнилось ему,— а то, что я еще сделаю!»

Эта оптимистическая фраза имела для доктора Колэна свой особый, иронический смысл.

Когда он только что приехал в эту страну, в Люке жил один грек, хозяин лавки, старик семидесяти с лишним лет, славившийся своей молчаливостью. Он был уже несколько лет женат на молодой африканке, которая не умела ни читать, ни писать. Все дивились на эту странную супружескую чету: он старый, и все больше молчит, она круглая невежда. Что между ними общего? Однажды грек увидел, как его приказчик африканец устроился с его женой в чулане при лавке, за мешками с кофе. Он ничего им не сказал, но на следующий день пошел в банк и взял все свои сбережения. Большую их часть он запечатал в конверт и опустил в почтовый ящик на двери местного приюта, всегда переполненного детьми-метисами, от которых матери старались отделаться.

Остальные деньги грек оставил при себе, поднялся в верхнюю часть города, на ту улицу, где позади здания суда был гараж, торговавший допотопными автомобилями, и купил там машину — самую что ни на есть дешевую. Это была такая рухлядь, что, продав ее, хозяин гаража почувствовал угрызения совести, может, потому, что сам был грек. Тронуться с места она могла только в том случае, если ее пустить под уклон, но старик сказал, что ему это не важно. У него есть мечта: перед смертью хоть разок самому сесть за руль. Хотите назвать мечту причудой — пожалуйста. Тогда ему показали, как включить мотор, как нажать педаль акселератора, и, подтолкнув машину сзади, дали ей хороший старт. Грек съехал с горы и, выкатив на городскую площадь, где стоял его магазин, начал что есть силы сигналить. Прохожие удивлялись: старик обзавелся машиной и сам ею управляет! А когда он проезжал мимо своей лавки, приказчик выбежал посмотреть на это интересное зрелище. Старик объехал площадь во второй раз — останавливаться ему все равно было нельзя, так как с ровного места машина бы не двинулась, снова промчался мимо африканца, который подзадоривал его, махая ему рукой с порога, потом круто повернул руль, дал газ и, прокатив по своему приказчику, въехал в лавку, где машина и остановилась на веки вечные у кассового аппарата. Тут грек вылез из нее и, оставив все как есть, ушел в комнату за лавкой ждать полицию. Приказчик был жив, но у него были сломаны обе ноги и раздроблен таз, так что о женщинах ему отныне следовало забыть. Вскоре в лавку вошел начальник полиции. Он был совсем молодой, и это было его первое расследование, а грек считался уважаемой личностью в Люке. «Что же вы сделали?» — сказал начальник, входя в комнату за лавкой. «Важно не то, что я сделал,— ответил старик,— а то, что я еще сделаю!» — и он достал револьвер из-под подушки и выпалил себе в голову. С тех пор доктор Колэн частенько находил утешение в этом четко сформулированном ответе старого греческого лавочника.

Он снова крикнул:

— Следующий!

День выдался из ряда вон знойный и душный, больных пришло мало, и все они были какие-то вареные. Доктор до сих пор не переставал удивляться, до чего же трудно акклиматизируются люди даже в своей родной стране: африканцы страдают от жары не меньше европейцев. Вот так же мучительна была долгая зимняя ночь для шведки, которую он знал когда-то. Точно она была родом с юга. Больной, стоявший перед доктором, избегал встречаться с ним взглядом. На карточке было проставлено его имя: «Интенсиво», и хотя сейчас он действительно интенсивно думал о чем-то, мысли его бродили где-то далеко.

— Опять было плохо ночью? — спросил доктор.

Больной испуганно взглянул поверх докторского плеча, точно оттуда на него надвигалась какая-то опасность, и сказал:

— Да.

Веки у него были опухшие, белки в красных прожилках; вобрав в себя впалую грудь, он повел плечами вперед, точно закрывая корки книжного переплета.

— Это скоро пройдет,— сказал доктор.— Потерпи немножко.

— Я боюсь,— сказал больной на своем языке.— Когда наступит ночь, пожалуйста, вели связать мне руки.

— Неужели так тяжело?

— Да. Я боюсь за сына. Он спит рядом со мной.

Лечение препаратом ДДС было дело не простое. Реакция на это лекарство иной раз бывает просто ужасная. Если беда заключалась только в том, что прием ДДС вызывал боль в нервных стволах, пациента начинали пользовать кортизоном, но в некоторых случаях с наступле-

нием темноты больные, которым давали ДДС, становились невменяемыми.

Человек повторил:

— Я боюсь. Я могу убить сына.

Доктор сказал:

— Это пройдет. Еще одна ночь, и все. Ты только помни, что тебе надо крепиться. Ты умеешь узнавать время по часам?

— Да.

— Я дам тебе часы, которые светятся, время по ним можно проверять и в темноте. Начнется у тебя в восемь часов. К одиннадцати станет хуже. Если тебе свяжут руки, ты будешь биться. Сдерживай себя, не бейся. Лежи и смотри на часы. К часу ночи будет совсем плохо, а потом начнет стихать. К трем ты почувствуешь себя лучше, вот как сейчас, а потом станет все легче и легче, и исступление пройдет. Не своди глаз с часов и помни, что я тебе говорил. Ну как, согласен?

— Да.

— Часы я принесу тебе еще засветло.

— Мой сын...

— Не беспокойся о сыне. Я попрошу монахинь, чтобы они приглядели за ним, пока тебе не полегчает. А твое дело смотреть и смотреть на часы. Стрелки движутся, и исступление тоже не будет стоять на месте. В пять часов утра зазвонит звонок. Тогда ты уснешь. То, что тебя мучит, уйдет. И не вернется больше.

Он старался говорить как можно убедительнее, но сам чувствовал, что жара глушит в его голосе всякую интонацию. Когда больной ушел, ему показалось, будто его выпотрошили и швырнули потроха прочь. Он сказал своему помощнику:

— Сегодня никого больше не приму.

— Там только шестеро.

— Что, в самом деле, мне одному не положено страдать от жары?

И все же чувство стыда шевельнулось в нем, когда он, как дезертир, покидал свой крохотный участок фронта, где тоже шла битва.

Может быть, это чувство и привело его еще к одному пациенту. Проходя мимо комнаты Куэрри, он увидел, что тот сидит за чертежной доской, дальше была комната отца Тома. Отец Тома тоже не работал в то утро — его классы, как и амбулатория, пустовали бы в такую жару. Паркинсон сидел на единственном в комнате стуле в одних пижамных штанах, вздержка в них, казалось, опоясывает яйцо, причем не очень надежно. Когда Колэн вошел к ним, отец Тома горячо говорил что-то на английском языке, несколько странном даже на слух доктора. Он уловил фамилию «Куэрри». В узком проходе между двумя кроватями негде было стать.

— Ну-с, мосье Паркинсон,— сказал Колэн,— как видите, вы не умерли. От легкой лихорадки не умирают.

— Что он говорит? — спросил Паркинсон отца Тома.— Вот тоска, когда ничего не понимаешь. Стоило норманнам завоевывать Англию, если мы до сих пор говорим на разных языках!

— Зачем он сюда пожаловал, отец Тома? Вы это выяснили?

— Он все расспрашивает меня о Куэрри.

— Это еще почему? Какое ему до него дело?

— Он только ради того и приехал, чтобы поговорить с ним.

— Тогда вполне бы мог отправиться в обратный путь на барже, потому что Куэрри разговаривать с ним не будет.

— Куэрри! Да, да, Куэрри! — сказал Паркинсон. — Что он там выкомаривает? Это же глупо! Какой смысл прятаться от Монтегю Паркинсона? Разве не ко мне мечтой стремится каждый человек? Цитата. Из Суинберна.

— Что же вы ему рассказали, отец?

Отец Тома сразу ощетинился:

— Я только подтвердил то, что ему говорил Рикэр.

— Ах, Рикэр? Ну, значит, он наслушался всякого вранья.

— Разве история с Део Грациасом вранье? И новая больница тоже вранье? Я надеюсь, что мне удалось подать все это в должном освещении.

— Какое же это освещение?

— Католическое,— ответил отец Тома.

Портативный «ремингтон» стоял здесь на столе рядом с распятием. По другую сторону распятия, точно второй разбойник, свисала с гвоздя фотокамера «роллефлекс». Доктор Колэн увидел на столе лист бумаги с машинописным текстом. Читать по-английски ему было проще, чем говорить. Он прочел заголовок: «Отшельник с берегов Великой реки» и перевел осуждающий взгляд на отца Тома.

— Вы знаете, о чем тут?

— Это история Куэрри,— сказал отец Тома.

— Вот эта белиберда?

Колэн снова взглянул на страничку: «Такое имя дали туземцы неизвестному, появившемуся среди них в самом сердце Черной Африки». Колэн спросил:

— Qui êtes vous ?*

— Паркинсон,— последовал ответ.— Вам уже было сказано: Монтегю Паркинсон.— Он разочарованно добавил: — Неужели это имя ничего вам не говорит?

Ниже на странице Колэн прочел: «...три недели, чтобы добраться на барже до этих диких мест. На седьмой день я заболел, и меня в бессознательном состоянии снесли на берег — укусы мухи цеце и москитов даром не проходят. Там, где Стэнли прокладывал себе путь пулеметами, сейчас ведется другая битва, на сей раз на благо африканцам,— битва со смертельной опасностью, с проказой... очнувшись, увидел, что лежу в больнице для прокаженных...»

— Но это все ложь,— сказал Колэн отцу Тома.

— Чего он кипятится? — спросил Паркинсон.

— Он говорит, что здесь у вас не совсем все... правда.

— Скажите ему, что здесь все вернее всякой правды. Это страница современной истории. Неужели вы воображаете, что Цезарь действительно сказал: «И ты, Брут?» Это надо было сказать, и те, кто при сем присутствовал,— старик Геродот, что ли? Нет, он, кажется, был грек... значит, другой, Светоний — проявили оперативность и сообразили, что тут требуется. Правду всегда предпочитают забыть. Питт потребовал на смертном одре пирожков со свининой, но история вложила ему в уста другое.

За извилистым ходом мысли Паркинсона не мог уследить даже отец Тома.

— Мои очерки надо помнить как исторические факты. Хотя бы от воскресенья до воскресенья. В следующем воскресном номере будет «Святой с прошлым».

— Вы тут что-нибудь понимаете, отец? — спросил Колэн.

— Не очень,— признался отец Тома.

— Зачем он сюда явился — причинять неприятности?

— Нет, нет! Ничего подобного. Я понял так, что его прислала в Африку газета писать о волнениях на британской территории. Туда он опоздал, но к тому времени начались беспорядки у нас в столице, и он приехал к нам.

---

* Кто вы такой? *(Франц.)*

— Не зная ни слова по-французски?

— У него был обратный билет первого класса до Найроби. Их газете не по средствам держать в Африке сразу двоих светил, как он выражается, и ему телеграфировали, чтобы он перебрался на нашу территорию. К нам он тоже опоздал, но тут до него дошли слухи о Куэрри. Он говорит, что ему нельзя возвращаться с пустыми руками, надо хоть чем-нибудь блеснуть. И вот в Люке он повстречался у губернатора с Рикэром.

— Что ему известно о прошлом Куэрри? Мы сами...

Паркинсон внимательно прислушивался к их спору, его глаза перебегали с одного лица на другое. Хватаясь время от времени за какое-нибудь одно понятное слово, он тут же делал поспешные, скоропалительные, ошибочные умозаключения.

— Оказывается,— продолжал отец Тома,— в редакциях английских газет есть так называемые морги. Стоит ему сделать телеграфный запрос, и они вышлют сюда конспективное изложение всех материалов, публиковавшихся о Куэрри.

— Как полицейское досье.

— Я уверен, что ничего компрометирующего там не будет.

— Неужели,— печально вопросил Паркинсон,— никто из вас не слыхал моего имени — Монтегю Паркинсон? Уж, кажется, следовало бы запомнить.— Было непонятно, смеется он над собой или нет.

Отец Тома сказал:

— Откровенно говоря, до вашего приезда...

— Имя мое написано на воде. Цитата. Из Шелли *,— перебил его Паркинсон.

— А Куэрри знает, что тут затевается? — спросил доктор Колэн.

— Пока нет.

— Он только-только начинает привыкать. Ему хорошо здесь.

— Не торопитесь, доктор,— сказал отец Тома.— Есть и другая сторона вопроса. Наш лепрозорий может прославиться, как больница Швейцера, а англичане, по слухам, народ щедрый.

Фамилия Швейцер, видимо, помогла Паркинсону уловить смысл того, что говорил отец Тома. Он выпалил единым духом:

— Мои очерки публикуются одновременно в Соединенных Штатах, Франции, Германии, Японии и Южной Америке. Никто из ныне здравствующих журналистов...

— До сих пор мы как-то обходились без рекламы, отец,— сказал Колэн.

— Реклама — та же пропаганда. А специальным методам пропаганды обучают у нас в Риме.

— В Риме, отец, это, вероятно, более уместно, чем в Центральной Африке.

— Реклама может стать серьезной проверкой человеческих достоинств. Хотя лично я уверен, что Куэрри...

— Я никогда не увлекался жестокими видами спорта, отец. А уж таким, как охота на человека, и подавно.

— Вы преувеличиваете, доктор. Из всего этого может проистечь много добра. Вспомните, какая у вас всегда нехватка средств. Миссия не может финансировать лепрозорий. Государство не желает. Подумайте о своих пациентах.

— Может быть, Куэрри тоже наш пациент,— сказал Колэн.

— А, бросьте! Я говорю о прокаженных. Вы же сами всегда мечтали: были бы деньги, хорошо бы ввести восстановительную терапию для больных — для этих ваших беспалых калек.

---

* На самом деле это слова Китса.

— Может быть, Куэрри тоже калека,— сказал доктор и посмотрел на толстяка, сидевшего на стуле.— А где ему теперь проходить курс восстановительной терапии? Огни рампы противопоказаны увечным.

Дневная жара и вспышка взаимной злобы заставили их забыть об осторожности, и не они, а Паркинсон увидел, что человек, о котором здесь шел спор, уже переступил порог комнаты отца Тома.

— Здравствуйте, Куэрри,— сказал Паркинсон.— А я не узнал вас тогда, на барже.

Куэрри ответил:

— Я вас тоже не узнал.

— Слава богу, что вы не кончились, как все эти беспорядки,— сказал Паркинсон.— Ну вот, по крайней мере один материальчик мне обеспечен. Нам с вами надо потолковать, друг мой.

2

— Вот это и есть новая больница? — сказал Паркинсон.— Я, правда, мало что смыслю в таких делах, но, по-моему, ничего оригинального в ней нет.— Он наклонился над чертежом и сказал явно с намерением вызвать на разговор:— Что-то в этом роде есть в одном из наших городов-спутников. То ли в Хемел-Хемстиде, то ли в Стивнидже.

— Тут архитектуры нет и в помине,— сказал Куэрри.— Это дешевое строительство, только и всего. Чем дешевле обойдется, тем лучше. Главное, чтобы выдержало жару, дожди и влажность воздуха.

— И для строительства этой больницы им требуется такой, как вы?

— Да. У них нет строителя.

— И вы решили остаться здесь до конца, пока не построят?

— Останусь и дольше.

— Значит, в рассказах Рикэра какая-то доля правды есть?

— Сомневаюсь. По-моему, ни одному его слову нельзя верить.

— Но похоронить себя здесь — это действительно под стать только святому!

— Нет. Я не святой.

— Тогда кто же вы? Чем вы руководствуетесь в своих поступках? Я о вас много чего знаю. Сводку по вашему досье мне выслали,— сказал Паркинсон. Он опустился всей своей тяжестью на кровать и добавил доверительным тоном:— Ведь вы не из тех, кто любит ближних своих, а? Речь идет, понятно, не о женщинах.

Растленность обладает гипнотической силой, а в Паркинсоне она так и лезла в глаза, будто фосфоресцируя у него на коже. Все доброе давно скончалось от удушья в этой горе мяса. Священника, может быть, не ужасает греховность человека, но горечь и разочарование он способен чувствовать. Паркинсона же чужие грехи просто радовали. Огорчить его могла только собственная неудача, разочаровать — сумма, проставленная в чеке.

— Вы слышали, как меня только что назвал доктор? Увечным. Среди прокаженных есть такие, которых болезнь сначала обгложет, елико возможно, а потом оставит.

— По вашему виду этого не скажешь, вы пока что целехоньки,— ответил Паркинсон, разглядывая пальцы, лежащие на чертежной доске.

— Я истратил себя до конца. И вот это место, где мы с вами находимся, и есть конец. Дальше никуда не уедешь — ни по дороге, ни по реке. Вас ведь тоже прибило здесь к берегу?

— Э, нет! У меня дело.

— На барже я вас испугался, а теперь не боюсь.

— Не понимаю, что во мне страшного. Человек как человек.

— Нет,— сказал Куэрри.— Вы такой же, как я. Творческие люди — это порода особая. Если они что теряют, их потери больше, чем у других. Каждый из нас, на свой лад, конечно, священник, лишенный сана. Сознайтесь, ведь и у вас когда-то было призвание — может, к писательству.

— При чем это тут? Почти все журналисты так начинают.

Паркинсон сдвинул с места свои ягодицы, будто поволочил два мешка, и кровать прогнулась под его тяжестью.

— А кончают... на ваш манер?

— К чему вы, собственно, клоните? Хотите оскорбить меня? Пустая затея, мосье Куэрри. Не выйдет.

— Зачем мне вас оскорблять? Мы с вами два сапога пара. Я начинал архитектором, а кончаю как простой строитель. В таком продвижении мало приятного. А в *вашем* финише, Паркинсон, есть какая-нибудь приятность?

Куэрри посмотрел на страницу машинописного текста, которую он прихватил с собой из комнаты отца Тома.

— Работа, она работа и есть.

— Безусловно.

— Она кормит меня,— сказал Паркинсон.

— Да.

— И напрасно вы приравниваете нас друг к другу. Я, по крайней мере, живу и наслаждаюсь жизнью.

— Ну, еще бы! Ублажаете свою плоть. Любите покушать, Паркинсон?

— Приходится ограничивать себя. — Он поймал болтающийся угол полога от москитов и отер им лоб. — Я вешу двести пятьдесят фунтов.

— Ну, а женщины, Паркинсон?

— Почему, собственно, вы меня расспрашиваете? Я сам пришел взять у вас интервью. Ну, конечно, иной раз случается — переспишь, но в жизни каждого мужчины наступает такое время, когда...

— Вы моложе меня.

— Сердце начинает пошаливать.

— Значит, вы тоже истратили себя до конца, Паркинсон? И вот где мы оба очутились. Двое увечных. Таких, наверно, много на белом свете. Надо бы нам придумать какой-нибудь масонский знак, что ли, чтобы опознавать друг друга.

— Я не увечный. У меня есть работа. Самые крупные газеты перепечатывают...

Ему, видимо, хотелось во что бы то ни стало подчеркнуть свое полное несходство с Куэрри. Как больной, который обнажается перед врачом, он старался доказать, что у него нет ни уплотнений на коже, ни узелков — словом, ничего такого, что могло бы поставить его на одну доску с другими прокаженными.

— Было время,— сказал Куэрри,— когда вы не написали бы этой фразы о Стэнли.

— Маленький ляпсус, подвела география, только и всего. События надо драматизировать. Это первый урок, который преподают репортерам нашей «Пост»,— приперчивайте материал. И вообще никто этой ошибки не заметит.

— А вы написали бы обо мне всю правду?

— Существуют законы о клевете в печати.

— Я бы не стал привлекать вас к ответственности. Обещаю вам. — Он прочел вслух газетный анонс: — «Святой с прошлым. Вот так святой!»

— Вы так уверены, что Рикэр судит о вас неправильно? Ведь мы же по-настоящему себя не знаем.

— Надо знать, если хочешь вылечиться. Когда доходишь до точки, тут все ясно. Когда пальцев у тебя не осталось ни на руках, ни на ногах и соскобы, взятые с кожи, дают отрицательные результаты, тогда ты уже никому не причинишь вреда. Ну так как, Паркинсон, напишете обо мне всю правду, если услышите ее от меня самого? Да нет, где вам! Ваша болезнь не изжила себя. Вы все еще бациллоноситель.

Паркинсон обратил на Куэрри страдальческий взор. У него был вид человека, доведенного пыткой до изнеможения, готового признать все, в чем его обвиняют.

— Если я осмелюсь, меня тут же выпрут из газеты,— сказал он.— Рисковать хорошо, когда ты молод. Мне далеко до вечного блаженства и т. д. и т. п. Цитата. Из Эдгара Аллана По.

— Это не Эдгар По.

— Такие пустяки никто не замечает.

— Каким же прошлым вы меня наградили?

— Ну-с, вспомним, например, дело Анны Морель. Было такое? О нем писали даже английские газеты. Ведь как-никак мать у вас была англичанка. А вы к тому времени как раз закончили постройку той модернистской церкви в Брюгге.

— Только не в Брюгге. Что же там у вас сказано об этом?

— Что она покончила с собой из-за любви к вам. Восемнадцати лет. Из-за сорокалетнего.

— С тех пор прошло больше пятнадцати лет. Неужели у газет такая длинная память?

— Нет. К нашим услугам морг. Вот я и опишу в лучших литературных традициях воскресных выпусков, как вы приехали сюда, чтобы искупить...

— Газеты, вроде вашей, не обходятся без мелких ошибочек. Ту женщину звали не Анна, а Мари. Ей было не восемнадцать, а двадцать пять лет. И она покончила с собой вовсе не из-за любви ко мне. Ей нужно было во что бы то ни стало спастись от меня. Вот и все. Так что— видите? — мне искупать нечего.

— Она хотела спастись от любимого человека?

— Вот именно. Женщине, должно быть, невыносимо еженощно предаваться любви с безотказно действующим механизмом. Я никогда не разочаровывал ее. Она бросала меня несколько раз, и каждый раз я заставлял ее возвращаться. Мое тщеславие, видите ли, не допускало, чтобы женщина сама меня бросила. Бросать должен был я.

— Как же вы ее возвращали?

— Мы, люди искусства, обычно проявляем способности и в смежных областях. Художник пописывает. Поэт возьмет да и сочинит какой-нибудь мотивчик. Я в те годы был недурным актером. Один раз пустил в ход слезы. Потом принял большую, но конечно не смертельную, дозу нембутала. Потом завел роман с другой женщиной, чтобы эта поняла, чего она лишится, если уйдет от меня. Я даже сумел внушить ей, что не смогу без нее работать. Убедил, что отойду от церкви, если моя вера лишится ее поддержки — она была доброй католичкой, даже в постели. В глубине души я, конечно, от церкви уже давно отошел, но она даже не подозревала этого. Немножко-то я верил, как чуть ли не все мы верим, но главным образом по большим праздникам — на рождество, на пасху, когда воспоминания детства будят в нас нечто вроде набожности. А она всегда принимала это за любовь к господу богу.

— И все-таки ради чего-то вы приехали сюда, к прокаженным.

— Не ради искупления грехов, мистер Паркинсон. Женщин было много и после Мари Морель, и до нее. Еще лет десять я, пожалуй, както ухитрялся верить в свои собственные чувства: «родная моя», «tout á

toi» * и прочее, тому подобное. Мы стараемся избегать повторения одних и тех же фраз, стараемся принять для каждой женщины ей удобное положение, хотя, по Аретино, таких положений насчитывается только тридцать два, а ласкательных слов у нас в запасе и того меньше. Но в конце-то концов, у большинства женщин оргазм легче всего наступает в самом обычном положении, и мы сопровождаем его самыми обычными словами. Мне понадобилось только время — понять, что это не любовь, что по-настоящему я никогда не любил. Я лишь принимал любовь. И вот тогда на меня навалилась скука. Потому что я обманывал самого себя не только с женщинами, я обманывал себя и с работой.

— Вашу славу никто и никогда не ставил под сомнение.

— Будущее поставит! Склонился сейчас над чертежной доской на глухой улочке Брюсселя юнец, который со временем развенчает меня. Любопытно бы поглядеть, какой собор он выстроит. Впрочем, нет. Если б было любопытно, меня бы сюда не занесло. Этого юнца не лишат сана. Он пройдет искус в послушании.

— Не пойму, что вы несете, Куэрри? Так и кажется, будто Рикэра слушаешь!

— Да? Может быть, он тоже с масонским знаком?

— Если вас одолевает скука, почему бы вам не скучать с комфортом? Квартирка в Брюсселе или вилла на Капри. Ведь вы состоятельный человек, Куэрри.

— Скучать с комфортом вдвое хуже. Я думал, что, может быть, здесь, где столько мук и столько страха, мне удастся отвлечься от... — Он взглянул на Паркинсона.— Уж, кажется, кто-кто, а *вы* должны бы меня понять.

— Ровным счетом ничего не понимаю!

— Неужели я такое чудовище, что даже вы?..

— А как же ваша работа, Куэрри? Что бы вы ни говорили, она-то вам не могла наскучить? Ведь вы пользовались бешеным успехом.

— Вы о деньгах? Но я же сказал, что работал я плохо! Что такое мои церкви по сравнению с Шартрским собором? В них, конечно, виден мой почерк — Куэрри не спутаешь с Корбюзье. Но кому из нас известно имя шартрского зодчего? Он о славе не помышлял. Им двигала любовь, а не тщеславие, любовь и, надо полагать, вера. Строить церковь, не веруя в бога,— в этом отчасти есть что-то непорядочное, правда? Подметив это за собой, я взял заказ на строительство городской ратуши, но ведь веры в политику у меня тоже не было. Посмотрели бы вы на ту нелепую коробку из железобетона и стекла, которую я водрузил на злосчастной городской площади! Понимаете, что произошло? Я увидел ниточку у себя на обшлаге, потянул за нее, и весь свитер стал разматываться. Может быть, правда нельзя верить в какое-нибудь божество, не любя человека, или наоборот: нельзя любить человека, не веруя в божество? Вот говорят: «сила любви, сила любви». А откуда взять творческие силы, чтобы любить самому? Обычно тем дело и ограничивается, что ты любим,— если тебе повезло.

— Допустим, все это правда. Но зачем вы мне это говорите, мосье Куэрри?

— А затем, что вас правда не шокирует, хотя всю правду обо мне вы вряд ли напишете. Может быть,— как знать! — после нашего разговора вы откажетесь от той нелепой душеспасительной дребедени, которую распространяет обо мне Рикэр? Я не Швейцер. Боже мой! Как бы этот человек не довел меня до того, что мне захочется соблазнить его жену. Тогда, по крайней мере, он запоет по-другому.

— А вы ручаетесь за успех?

---

* Весь твой *(франц.)*.

— Как ни грустно, Паркинсон, но не хвастливость, а опыт заставляет меня ответить на ваш вопрос утвердительно.

Паркинсон с неожиданной для него уважительностью развел руками. Он сказал:

— Я видеть близ себя хочу лишь толстяков, худые люди могут быть опасны. Цитата. Из Шекспира. На сей раз точно. А вот я даже не знал бы, с чего начать.

— Начинайте с читательниц вашего «Поста». Вы пользуетесь у них успехом, а успех, как возбуждающее средство, действует безотказно. Самая легкая добыча, Паркинсон, замужние дамы. Молоденькая девица чаще всего действует с оглядкой, а замужней уже ничто не грозит. Муж в конторе, ребятишки в детском саду, предохранительный колпачок в сумочке. Замуж она выскочила, ну, скажем, в двадцать лет, и почему бы ей не предпринять небольшую прогулочку в сторону, пока не стукнуло тридцать? Если муж у нее тоже молодой — пусть это вас не смущает,— может быть, она пресытилась молодостью. От людей нашего с вами возраста можно не ждать сцен ревности.

— Все, что вы говорите, имеет весьма отдаленное отношение к любви. По вашим собственным словам, вас любили. Если не ошибаюсь, вы даже посетовали на это. Но, может, я все-таки ошибаюсь? Сами понимаете, чего же еще ждать от какого-то паршивого журналиста!

— Где признательность, там недолго — увы, совсем не долго — и до любви. Самая очаровательная женщина почувствует признательность даже к стареющему мужчине, такому как я, если она снова познает с ним наслаждение. После десяти лет в одной и той же постели молоденький розан несколько увядает, а теперь он вновь расцвел. Муж видит, как она похорошела. Дети для нее уже не обуза. Она, как и в былые дни, проявляет интерес к своим хозяйским обязанностям. Намекает кое на что самым близким подругам, потому что быть любовницей знаменитого человека — это повышает ее уважение к самой себе. Интрижка подходит к концу. Начинается роман.

— Ну и каналья же вы, да какая бесчувственная! — с глубочайшим уважением произнес Паркинсон, точно отзываясь о владельце газеты «Пост».

— Вот и напишите об этом вместо той душеспасительной белиберды.

— Нельзя, никак нельзя. Наша газета предназначена для семейного чтения. Конечно, в слове «прошлое» есть определенный привкус, но тут подразумевается отказ от прежних безумств, а не от добродетелей, правда? Мы коснемся мадемуазель Морель со всей возможной деликатностью. Ну, а Гризон... был такой, а?

Куэрри молчал.

— Какой смысл отрицать? — сказал Паркинсон.— Гризон тоже мумифицирован в нашем морге.

— Да, был такой. Вспоминаю. Но без всякого удовольствия, потому что я не любитель фарсов. Гризон занимал крупную должность в министерстве почт и телеграфа. Он вызвал меня на дуэль, как только я бросил его жену. На современную фиктивную дуэль, когда стреляют куда угодно, только не в противника. Меня так и подмывало нарушить дуэльный кодекс и подранить его, но тогда эта женщина вообразила бы, что мною двигала пылкая любовь. За все время нашей связи он, бедняга, ни на что не жаловался, но, когда я бросил ее, она стала закатывать своему супругу такие сцены на людях... Я был гораздо милосерднее к нему, чем его собственная жена.

— Удивляюсь, почему вы все это мне выкладываете,— сказал Паркинсон.— Обычно в беседах со мной люди бывают более сдержанны. Впрочем, был один убийца, так он говорил не меньше вашего.

— Может быть, болтливость — характерное свойство убийц?

— Этого молодчика не повесили, и я выдал себя за его брата и по два раза в месяц ходил к нему в тюрьму. Но все-таки ваше поведение меня удивляет. Поначалу вы не показались мне таким уж разговорчивым.

— Я ждал вас, Паркинсон, вас или вам подобного. Ждал, хотя и побаивался.

— Да, но почему?

— Вы мое зеркало. С зеркалом разговаривать можно, но все-таки страшновато. Оно дает слишком точное отражение. Если бы я поговорил с отцом Тома вот так, как с вами, он извратил бы каждое мое слово.

— Весьма вам признателен за добрый отзыв.

— Добрый отзыв? Да я чувствую к вам не меньшую неприязнь, чем к самому себе. Мне было почти хорошо здесь перед вашим приездом, Паркинсон, а говорил я с вами сейчас для того, чтобы у вас не осталось поводов задерживаться в лепрозории. Интервью окончено, и признайтесь, что более интересного у вас никогда не было. Ведь вам не нужно знать, какого я мнения о Гропиусе *? Ваши читатели, наверно, понятия не имеют, кто такой Гропиус.

— Тем не менее у меня вот тут набросаны кое-какие вопросы,— сказал Паркинсон.— Может, перейдем к ним, поскольку путь теперь расчищен?

— Я сказал, что интервью окончено.

Не вставая с кровати, Паркинсон наклонился вперед и тут же откинулся к стене, словно китайский болванчик, изображающий тучного божка благоденствия. Он сказал:

— Что является для вас основной побудительной силой, мосье Куэрри,— любовь к богу или любовь к человечеству? Как, по-вашему, что ожидает христианство в будущем? Не под влиянием ли нагорной проповеди вы решили посвятить свою жизнь прокаженным? Кто ваш любимый святой? Верите ли вы в действенность молитвы?

Он кончил хохотом, и его огромный живот заколыхался, точно дельфин на волнах.

— Возможны ли чудеса в наши дни? Посетили ли вы Фатиму? — Он встал с кровати.— И прочая тому подобная чепуха. «В своей каморке с голыми стенами, в самом сердце черного континента один из величайших зодчих современности и один из известнейших католиков наших дней открыл душу корреспонденту «Поста». Монтегю Паркинсон, который был в Южной Корее в пору самых горячих событий, проявил оперативность и на сей раз. В воскресном номере он откроет нашим читателям основную побудительную силу поступков мосье Куэрри. Эта побудительная сила — сокрушение о прошлом. Подобно многим канонизированным святым, Куэрри искупает свою бурную молодость служением людям. Святой Франциск был самым веселым ветрогоном, какого только знал веселый городок — по-старинному Фиренце, а по-нашему Флоренция».

Паркинсон вышел в нестерпимое сияние конголезского дня, но решил, что еще не все сказано. Он повернул назад, уткнулся лицом в сетку и словно брызнул сквозь нее словами:

— В воскресном номере: «Самоубийство из-за любви». Вы мне так же мало симпатичны, Куэрри, как и я вам, но я вас превознесу. Я вас так превознесу, что вам воздвигнут здесь памятник у реки. Отчаянно безвкусный — известно, какие они бывают. Но воспротивиться этому вы не сможете, потому что вас тогда не будет в живых. Представляете? Вы стоите на коленях в окружении ваших гнусных прокаженных и учите

* Немецкий архитектор (1824—1880).

их молиться богу, в которого сами не верите, а птички тем временем какают вам на голову. То, что вы религиозный шарлатан, Куэрри, меня мало трогает, но я не позволю вам использовать меня для облегчения вашей кровоточащей совести. И если лет через двадцать к месту вашего упокоения начнется паломничество, я нисколько не удивлюсь. Вы уж поверьте мне, вот так она и пишется, история. Exegi monumentum *. Цитата. Из Вергилия.

Куэрри вынул из кармана письмо с емкой заключительной фразой, которая, впрочем, могла быть и вполне искренней. Письмо пришло от той женщины, о существовании которой Паркинсон не знал: морг «Поста» оказался не настолько велик, чтобы вместить все трупы, какие были. Он снова перечитал его под впечатлением разговора с Паркинсоном. «Ты помнишь?» Эта женщина не признавала, что когда умирает чувство, вместе с ним умирает и память о прошлом. Приходилось принимать ее воспоминания на веру, потому что в правдивости ей никто бы не отказал. Она была как та гостья, которая требует в хаосе закончившейся пирушки, чтобы ей отыскали ее собственную коробку спичек.

Он подошел к кровати и лег. Горячая подушка накалила шею, но сегодня ему было бы трудно вынести общество миссионеров за завтраком. Он подумал: одно-единственное я мог делать, и теперь это оправдает мое пребывание здесь. Обещаю и тебе, Мари, и тебе Toute à toi, и другим тоже: ни со скуки, ни из тщеславия не стану я больше завлекать другое человеческое существо в свою безлюбую пустыню. Никому не причиню я больше зла, думал он и радовался, как радуется прокаженный, когда больничное затворничество наконец-то раскрепощает его от боязни заразить других. Мари Морель уже много лет, как исчезла у него из мыслей, а сейчас он вспомнил тот день, когда впервые услышал ее имя. Он услышал его от студента — молодого архитектора, которому он помогал в занятиях. Они съездили на день в Брюгге и вернулись в залитый неоновым светом вечерний Брюссель и у Северного вокзала случайно столкнулись с этой девушкой. Он немного позавидовал своему скучному, ничем не примечательному спутнику, когда при виде его она вся просияла на ярком свету. Приходилось ли кому наблюдать, чтобы мужчина улыбался женщине так, как женщина вдруг улыбнется любимому — где-нибудь на автобусной остановке, в поезде, в бакалейной лавке за покупкой круп, улыбнется невзначай, такой непосредственной, открытой, такой радостной улыбкой? Обратное, пожалуй, тоже будет правильно. Ни один мужчина не способен улыбаться так деланно, как улыбается девица в зале публичного дома. Но та девица, думал Куэрри, подражает чему-то настоящему. У мужчин таких образцов для подражания нет.

Вскоре у него уже не было причин завидовать своему тогдашнему спутнику. Даже в те давние годы он умел давать нужное направление потребности в любви, присущей каждой женщине. Женщине? Она была моложе того студента, фамилия которого выскочила у него из памяти, какая-то некрасивая фамилия, вроде Хоге. Мари Морель умерла, а бывший студент, вероятно, жив и строит разным буржуа загородные виллы — эдакие агрегаты для житья. Куэрри обратился к нему, лежа на кровати:

— Простите меня. Я ведь и в самом деле был убежден, что не причиняю вам зла. Я и в самом деле думал в те годы, что мною движет любовь.

Бывает такой период в жизни, когда человек с весьма скромными актерскими данными может обмануть даже самого себя.

---

* Воздвиг себе памятник *(лат.)*.

ЧАСТЬ V

Глава первая

I

Неожиданное появление и неожиданное исчезновение людей характерно для Африки, точно пустынные просторы слабо развитого континента способствуют такому дрейфованию. Прилив выбрасывает всякие обломки на берег и, уходя, уносит их с собой, а потом бросает где-нибудь в другом месте. Паркинсона никто не ждал, о его приезде никого не предупредили, и через несколько дней, «проявляя оперативность» и торопясь куда-то еще, он уже шагал со своим «роллефлексом» и «ремингтоном» к реке, где стоял пароход ОТРАКО. Две недели спустя поздно вечером у причала остановился катер с молодым чиновником из Люка, который сыграл с миссионерами партию в кости, выпил на ночь стакан виски, а утром, даже не позавтракав, исчез в серо-зеленой бескрайности. Он оставил после себя номер английского журнала «Архитектурное обозрение», точно это было единственной целью его приезда. (В номере, кроме критических высказываний по поводу новой автомагистрали, было несколько снимков безобразного собора, только что выстроенного в одной из британских колоний. Может быть, молодой чиновник думал, что это послужит предостережением для Куэрри?) Незаметно пробежало еще несколько недель — несколько смертей от туберкулеза, на несколько футов выше поднялись над фундаментом стены больницы,— и вот с парохода ОТРАКО сходят двое полисменов навести справки об офицере Армии спасения, которого разыскивают власти. Как выяснилось, он уговорил людей одного племени, недалеко от здешних мест, продать ему все их одеяла, ибо в день воскресения мертвых в такой одежде будет жарко, и ему же отдать вырученные деньги, а он их спрячет от воров в самом надежном месте. В виде компенсации африканцы получили от него бумажки, охраняющие их от католических и протестантских миссионеров, которые, как он уверял, при помощи колдовства оптом вывозят в Европу запечатанные контейнеры с человеческими трупами, а там их пускают на консервы под названием «Лучший африканский тунец». В лепрозории полисмены ничего не узнали о беглеце и через два часа отбыли обратно, уплывая с той же скоростью и в том же направлении, что и маленькие островки водяных гиацинтов, точно они оба тоже были частью растительного мира.

Куэрри начинал забывать Паркинсона. Большой мир сделал свое черное дело и ушел, и снова наступил какой-то покой. Рикэр не напоминал о себе, эхо газетных статей из далекой Европы пока что не доходило до Куэрри. Даже отец Тома уехал на время в семинарию в джунглях, надеясь привезти оттуда преподавателя для вновь открытого класса. Ноги Куэрри постепенно привыкли к длинной латеритовой дорожке, тянувшейся между его комнатой и больницей; по вечерам, когда самая страшная жара спадала, латерит переливался розовато-красными бликами, точно распускающийся ночной цветок.

Отцы миссионеры не интересовались личной жизнью окружающих. Один пациент, вылечившись, уехал из лепрозория, а его жена перебралась к другому мужчине, но ей никто ничего не сказал. Школьный учитель, которого проказа изувечила как только могла, не оставив ему ни носа, ни пальцев на руках и на ногах (будто его кто обкорнал, обстругал, подровнял ножом), прижил ребенка с женщиной, которая могла передвигаться только ползком, волоча за собой тонкие, как палочки, иссушенные полиомиелитом ноги. Отец принес ребенка в церковь — кре-

стить, и ему дали имя Эммануель, не читая нравоучений, ни о чем не расспрашивая. Миссионерам некогда было возиться с тем, что церковь считала грехом (догматика интересовала их меньше всего). Приглушенные инстинкты окольными путями, может, иногда и пробивались наружу у отца Тома, но в эти дни его в лепрозории не было, и он никому не докучал своими тревогами и сомнениями.

Понять, что собой представляет доктор, оказалось гораздо труднее. В противоположность миссионерам, ни в какого бога он не верил, и поэтому ему не на что было опираться в своей нелегкой работе. Однажды во время приема, когда Куэрри позволил себе какое-то замечание о его образе жизни (поводом для этого послужил несчастный больной с застарелой проказой), доктор пригляделся к нему с той же профессиональной пытливостью, с какой только что смотрел на пациента. Он сказал:

— Если бы я сейчас взял у вас соскоб, мы получили бы, пожалуй, вторичный отрицательный результат.

— Не понимаю.

— Вы проявили интерес еще к одному человеку.

— А кто был первым? — спросил Куэрри.

— Део Грациас. А знаете, в выборе призвания я оказался удачливее вас.

Куэрри посмотрел на длинный ряд рваных матрацев, на которых в неудобных позах лежали больные, все забинтованные. В воздухе стоял сладковатый запах струпной кожи.

— Удачливее? — переспросил он.

— Только очень сильная натура может выдержать призвание, которое требует от человека погружения в самого себя и остается с ним один на один. Вы, по-моему, оказались недостаточно сильным. И меня бы тоже на это не хватило.

— А почему человек избирает таксе призвание, как ваше? — спросил Куэрри.

— Он сам тут в роли избранника. Не божьего, конечно! Все решает случай. Один старый врач в Дании — он и сейчас не сложил оружия — стал лепрологом на склоне лет. Совершенно случайно. Производил раскопки на заброшенном кладбище и обнаружил там скелеты без кистевых фаланг, оказалось, что кладбище это четырнадцатого века, хоронили на нем прокаженных. Старик сделал рентгеновские снимки скелетов и открыл в костяке, особенно в носовой полости, вещи, нам совершенно неизвестные. Ведь большинство из нас не имеет возможности работать на скелетах. После этого он стал лепрологом. Его можно встретить на любой международной конференции по лепре с небольшой сумкой в руках — знаете, какие выдают в самолетах, и в этой сумке лежит череп. Представляете себе, у скольких таможенников он побывал в руках? Они, наверно, каждый раз шарахаются от этого черепа, но пошлиной его, кажется, не облагают.

— А вы, доктор Колэн? Какой случай решил вашу судьбу?

— У меня в роли случая, видимо, выступил темперамент,— уклончиво ответил доктор.

Они вышли из больницы на воздух, влажный, ничуть не освежающий.

— Только поймите меня правильно. Я вовсе не рвался к смерти, как отец Дамьен. Теперь, когда лепра излечима, мы все реже и реже будем встречаться с людьми, которые сопрягают свое призвание с обреченностью, а в прежние времена это было довольно частое явление.

Они шли в тень, падавшую от здания больницы, где на ступеньках, ожидая приема, сидели прокаженные. Доктор остановился посреди дороги, на раскаленном латерите.

— Раньше процент самоубийств среди лепрологов был довольно велик. Они, вероятно, не выдерживали ожидания того самого анализа, который, как им казалось, должен был дать положительные результаты. Необычное призвание вело к не совсем обычным способам самоубийства. Один человек — я его хорошо знал — сделал себе инъекцию змеиного яда, а другой облил керосином мебель в комнате и одежду и потом поджег самого себя. Как вы, вероятно, заметили, обоим этим способам присуща одна общая черта — ненужные муки. На это тоже идут по призванию.

— Что-то я не понимаю вас.

— Разве страдать не лучше, чем терпеть неудобства? Физическое неудобство раздражает наше «я», как комариный укус. Чем нам неудобнее, тем больше мы ощущаем самих себя, а страдания — это совсем другое дело. Мне иной раз кажется, что тяга к страданиям и память о перенесенных страданиях — это единственная для нас возможность слиться с условиями бытия человеческого. Страдания приобщают нас к христианскому мифу.

— Тогда научите меня страдать,— сказал Куэрри.— А то мне причиняют боль только комариные укусы.

— Если мы проторчим здесь еще хоть минуту, тогда вы узнаете, что такое страдание,— сказал доктор и потянул Куэрри в тень.—Сегодня я покажу вам несколько интересных случаев поражения глаз.

Он подсел к столу с хирургическими инструментами, и Куэрри поставил свой стул рядом. Такие ярко-красные глаза, какие сейчас смотрели на них, Куэрри видел только на детских рождественских масках из холстины, изображающих скрягу или дряхлого старца.

— Потерпите немножко,— сказал доктор Колэн,— обрести страдания не так трудно,— и Куэрри стал вспоминать, кто же это ответил ему почти теми же словами несколько месяцев назад? Собственная забывчивость рассердила его.

— А не слишком ли вы легковесно отзываетесь о страданиях? — сказал он.— Женщина, которая умерла на прошлой неделе...

— Не сокрушайтесь о тех, кто умирает в муках. От мук хочется поскорее уйти. А вот каково выслушать смертный приговор, когда ты здоров и полон сил.

Доктор Колэн отвернулся и заговорил на местном диалекте со старухой, лепрозные веки которой ни на миг не смыкались над глазными яблоками.

В тот вечер, поужинав с миссионерами, Куэрри пошел к домику доктора. Прокаженные сидели у своих хижин, стараясь надышаться прохладой, наступившей с темнотой. На маленьком столике при свете фонаря «молния» какой-то человек торговал гусеницами, собранными в лесу, — пять франков за пригоршню. На соседней улице кто-то тянул песню, а потом Куэрри увидел у костра группу молодежи, танцующую вокруг его боя Део Грациаса, который, присев на корточки, ритмически постукивал своими культями, точно барабанными палочками, по старой канистре из-под керосина. Лопоухие собаки — и те, как надгробные изваяния, неподвижно лежали на земле. Молодая женщина с обнаженной грудью прохаживалась по тропинке, уводившей в лес. Лунный свет ненадолго снял язвы у нее с лица, очистил кожу от пятен. Девушка, как любая другая, пришла на свидание, ждет мужчину.

После взрыва, на который его вызвал англичанин, Куэрри не переставало казаться, будто из его организма выкачали стойкий яд. Он не помнил такого чувства вечернего покоя с той самой минуты, когда последние штрихи легли на его первый проект — может быть, единственный, принесший ему полное удовлетворение. Заказчики, конечно, изуродовали эту постройку, как уродовали в дальнейшем все его работы.

Разве здание убережешь от обстановки, от картин, от людей, которых оно должно будет со временем вместить? Но до всего этого был вот точно такой же покой. Consummatum est *, боль миновала, и покой охватывает тебя, как короткое забвение.

После второго стакана виски он спросил доктора:

— Если анализ соскоба дает отрицательный результат, это уже твердо?

— Нет, не всегда. Выпускать пациента на волю можно только после повторных анализов в течение... да, в течение полугода, никак не раньше. Рецидивы случаются даже при современных лечебных средствах.

— А бывает так, что им трудно возвращаться на волю?

— Бывает, и очень часто. Они ведь привязываются к своей хижине, к своему маленькому участку земли, а увечным вообще на воле жить нелегко. Их уродства — это явные всем стигмы проказы. Люди думают: прокаженного только могила исцелит.

— Я, пожалуй, начинаю понимать ваше призвание. И все же... Миссионеры верят, что за ними стоит истина христианства, и это облегчает им жизнь в таких местах. У нас с вами этой опоры нет. Может быть, вам достаточно христианского мифа, о котором вы говорили.

— Я хочу быть там, где жизнь меняется,— сказал доктор.— Если б мне пришлось родиться амебой, наделенной способностью мыслить, я мечтал бы о том дне, когда на земле появятся приматы. И старался бы способствовать наступлению этого дня всем, чем могу. Насколько мы можем судить, эволюция в конце концов обосновалась в человеческом мозгу. Муравей, рыба и даже обезьяна дошли до определенной точки и дальше двинуться не смогут, а что делается у нас в мозгу, боже мой! Мы эволюционируем, и с какой стремительностью! Не помню, сколько сотен миллионов лет пролегло между динозавром и приматами, но в наше время, на нашей памяти совершился переход от дизеля к реактивному самолету, люди расщепили атом, научились лечить проказу!

— И вы считаете, что все эти перемены к лучшему?

— Они неизбежны. Нас несет на гребне могучего девятого вала эволюции. Христианский миф тоже влился в этот вал, и, кто знает, может быть, он и есть самая ценная его часть. Что, если любовь станет развиваться в нас с такой же быстротой, с какой развивается наша техника? В отдельных случаях, может, так и было. Скажем, у святых... у Христа, если такой действительно существовал.

— И вы способны находить утешение во всем этом? — спросил Куэрри.— Мотив-то не новый — все та же старая песенка о прогрессе.

— Девятнадцатый век не так уж заблуждался, как нам хочется думать. Наше скептическое отношение к прогрессу вызвано теми мерзостями, которые за последние сорок лет люди проделывали у нас на глазах. Но тем не менее, пробуя, ошибаясь, двигаясь вперед ощупью, амеба все-таки стала обезьяной. Фальстарты и неправильные повороты были, очевидно, и в те времена. И сегодня эволюция может породить как гитлеров, так и Иоанна Крестителя. Просто я лелею крохотную надежду, совсем крохотную, что тот, кого называют Христом, был плодоносящим началом, и оно искало трещинку в стене, куда можно заронить семечко. Для меня Христос — это амеба, сделавшая правильный поворот. Я хочу быть там, где прогресс движется вперед, а не сворачивает на полпути в сторону. Птеродактили мне не симпатичны.

— А если мы не способны любить?

— Вряд ли такие люди существуют. Любовь уже заложена в человеке, в некоторых случаях даже в виде эдакого бесполезного придатка, вроде аппендикса. Впрочем, иногда любовь называют ненавистью.

---

* Кончено *(лат.)*.

— У себя я и следов ее не обнаружил.

— А может быть, вы ищете чего-то очень уж большого и очень значительного? Или очень действенного.

— На мой взгляд, в ваших убеждениях ничуть не меньше суеверия, чем в религиозном кредо наших миссионеров.

— Ну и что ж. Этим суеверием я живу. Было еще такое суеверие — никем не подтвержденное, что Земля движется вокруг Солнца. Им страдал Коперник. Не будь этого суеверия, мы не смогли бы теперь запускать ракеты в сторону Луны. Суевериями надо уметь спекулировать. Как это делал Паскаль. — Он допил виски.

— Вам хорошо? Вы довольны своей жизнью? — спросил Куэрри.

— Как будто да. Я что-то никогда не задавался таким вопросом. Разве те, кому хорошо, задумываются над собой? Живешь день за днем.

— Доверяетесь волне, которая вас несет, — с завистью сказал Куэрри. — А женщина вам не бывает нужна?

— Та единственная, которая была нужна мне, — сказал доктор, — умерла.

— Вот почему вы сюда приехали.

— Ошибаетесь, — сказал Колэн. — Ее могила в ста ярдах отсюда. Она была моей женой.

Глава вторая

I

За последние три месяца строительство больницы сильно двинулось вперед. Строительная площадка уже не была похожа на раскопки древней римской виллы — поднялись стены, оконные проемы дождались проволочных сеток. Теперь уже можно было высчитать, когда начнут крыть крышу. Видя, что дело идет к концу, прокаженные приналегли на работу. Куэрри шел по недостроенному зданию вместе с отцом Жозефом, они, точно призраки, проходили сквозь несуществующие двери, проникали в помещения, которых еще не было: в будущую операционную, в рентгеновский кабинет, в комнату, где со временем поставят бачки с парафином для изъязвленных рук, в диспансер, в обе главные палаты.

— Что вы будете делать, — спросил отец Жозеф, — когда мы тут все кончим?

— А вы, отец?

— Вообще-то все зависит от настоятеля и доктора, но мне хотелось бы построить школу, где увечные могли бы учиться ремеслам. Если не ошибаюсь, это называется курс восстановительной терапии. Сестры проводят кое с кем индивидуальные занятия, но африканцы, и в особенности увечные, не так уж жаждут, чтобы в них видели отдельных индивидуумов. Выделяться из массы никому не хочется. На общих занятиях, когда можно и посмеяться и пошутить, они бы усвоили все гораздо быстрее.

— Ну а потом куда бы вы пошли?

— На ближайшие двадцать лет строительной работы хватит, даже если будем строить одни уборные.

— Ну, тогда и я, отец, не останусь без дела.

— Архитектора жалко использовать не по назначению. Ведь у нас простые строительные работы, и больше ничего.

— Я теперь тоже строитель.

— Разве вам не хочется еще разок повидать Европу?

— А вам, отец?

— Я дело другое. Членам нашего Ордена почти все равно где жить,

что в Европе, что здесь: несколько домиков, очень похожих на здешние, такие же в них комнаты, такая же часовня (даже распятия одинаковые), те же классы, та же еда, одежда и такие же лица вокруг. Но ведь для вас Европа это нечто гораздо большее — для вас это театры, друзья, рестораны, бары, книги, магазины, общество равных вам. Там вы будете, как говорится, пожинать славу.

Куэрри сказал:

— Я доволен своей жизнью здесь.

Близилось время обеда, и они пошли к миссии мимо дома, где жили монахини, мимо домика доктора, мимо убогого маленького кладбища. За кладбищем следили плохо — служение живым отнимало у миссионеров слишком много времени. О могилах вспоминали только в день поминовения усопших, и тогда на каждой, будь она языческая или христианская, вечером горела свеча или фонарь. Приблизительно у половины могильных холмиков были кресты — простые и все одинаковые, как на братских могилах солдатских кладбищ. Теперь Куэрри знал, где лежит мадам Колэн. На ее могиле креста не было, и она немного отстояла от других, но такая обособленность объяснялась только тем, что рядом с ней когда-нибудь должен был лечь и сам доктор.

— Надеюсь, вы тут и для меня найдете местечко, — сказал Куэрри. — Стоить будет недорого — креста не понадобится.

— С отцом Тома это так просто не уладишь. Он будет доказывать, что, поскольку вас крестили, вы христианин на веки вечные.

— Значит, придется умирать до его возвращения.

— Тогда поторапливайтесь. Он, того и гляди, пожалует.

Миссионерам и тем дышалось свободнее без отца Тома, этот человек был до такой степени всем неприятен, что даже вызывал к себе жалость.

Слова отца Жозефа оказались пророческими. Занятые осмотром новой больницы, они пропустили мимо ушей звон колокола с парохода ОТРАКО. Отец Тома уже был на берегу с картонной коробкой, заменявшей ему чемодан. Он поздоровался с ними, стоя у входа в свою комнату, как-то необычно, взволнованно, точно хозяин, встречающий гостей.

— Как видите, отец Жозеф, я вернулся раньше времени.

— Да, видим, — сказал отец Жозеф.

— А, мосье Куэрри! Мне надо поговорить с вами об одном очень важном деле.

— Да?

— Все в свое время. Терпение, терпение. За мое отсутствие произошло столько нового.

— Не мучайте нас неизвестностью!— сказал отец Жозеф.

— За обедом, за обедом, — ответил отец Тома и, точно дароносицу, подняв над головой картонную коробку, вошел с ней к себе.

В окне соседней комнаты они увидели настоятеля. Он совал головную щетку, клеенчатый мешочек с губкой и ящик сигар в рюкзак цвета хаки, который сохранился у него с последней войны и, в качестве воспоминания, последовал за ним на другой конец света. Он снял распятие со стола и, обернув его носовыми платками, тоже положил в рюкзак. Отец Жозеф сказал:

— Что-то мне все это не нравится.

За обедом настоятель молчал и о чем-то сосредоточенно думал. Отец Тома сидел справа от него. Он крошил кусок хлеба с непроницаемым, значительным видом. Настоятель заговорил, только когда обед кончился. Он сказал:

— Отец Тома привез мне письмо. Епископ вызывает меня в Люк. Я могу пробыть в отлучке несколько недель и даже месяцев и потому прошу отца Тома заместить меня на время моего отсутствия. Вы, отец,

единственный, — добавил он, — у кого найдется время на возню с отчетами.

Это должно было служить извинением перед остальными миссионерами и завуалированным упреком по адресу отца Тома, который уже успел возомнить о себе. В нем не осталось почти ничего общего с тем неуверенным, жалким существом, каким он был всего месяц назад. Видимо, повышение в должности, даже временное, служит хорошим тонизирующим средством, когда человек начинает выдыхаться.

— Можете быть уверены, все будет в порядке, — сказал отец Тома.

— Я уверен в каждом из вас. Моя работа здесь самая маловажная. Вот отец Жозеф строит больницу, брат Филипп следит за динамо, а я ни того, ни другого не умею.

— Постараюсь, чтобы мои школьные дела не пострадали от этого,— сказал отец Тома.

— Я уверен, что вы со всем справитесь, отец. Мои обязанности отнимут у вас не так уж много времени, вы сами в этом убедитесь. Начальник — при всех обстоятельствах лицо заменимое.

Чем беднее наша жизнь, тем больше мы страшимся перемен. Настоятель прочел молитву и огляделся по сторонам в поисках своих сигар, но они были уже в рюкзаке. Он закурил сигарету, предложенную Куэрри, и она «сидела» на нем так же неуклюже, как если бы ему пришлось сменить сутану на обычный мужской костюм. Миссионеры, не привыкшие к проводам, стояли грустные. Куэрри чувствовал себя посторонним, попавшим в чужой дом, когда там горе.

— Больницу, наверно, достроят раньше, чем я вернусь, — печально проговорил настоятель.

— Конек без вас ставить не будем, — ответил отец Жозеф.

— Нет, нет! Обещайте ничего из-за меня не откладывать. Отец Тома, вот вам мое последнее наставление: конек ставьте без промедлений и отпразднуйте это событие шампанским... если найдете жертвователя.

Тихое, однообразное житье-бытье заставляло их забывать на долгие годы, что они здесь на послушании, но сейчас это сразу вспомнилось. Кто знает, что ждет настоятеля, какой обмен письмами мог произойти между епископом и начальством в Европе? Настоятель рассчитывал вернуться через несколько недель (епископ, пояснил он, хочет о чем-то посоветоваться с ним), но все они отлично понимали, что его могут и вовсе не вернуть сюда. Может быть, где-то уже принято решение об этом. Они не выказывали своих чувств и только с душевной любовью смотрели на него, как смотрят на умирающего (все, кроме отца Тома, который уже пошел перетаскивать свои бумаги в настоятельский кабинет), и настоятель тоже смотрел на них и на стены неуютной трапезной, где прошли его лучшие годы. Отец Жозеф говорил правильно: куда ни поедешь, жилье всюду одинаковое, трапезные отличаются одна от другой не больше, чем колониальные аэровокзалы, но именно поэтому человек и отмечает малейшие различия между ними. Всюду и везде на стене будет висеть цветная репродукция портрета папы, но вот у этой в правом уголке коричневое пятно, потому что прокаженный, который окрашивал рамку, нечаянно мазнул тут кистью. Стулья в трапезной тоже были сделаны прокаженными по тому казенному образцу, который полагается в учреждениях мелким служащим. Такие тоже можно было увидеть в каждой миссии, но один из здешних стульев считался ненадежным; с тех пор как приезжий миссионер, отец Анри, попытался проделать на нем цирковой номер с балансированием на спинке, его всегда отставляли к стене. Даже книжный шкаф отличался своим особым недостатком: верхняя полка у него была немного перекошена, а рядом на стене виднелись пятна, которые напоминали каждому что-то свое. На других стенах и пятна будут похожи на что-то другое. Куда ни переберешься, имена у твоих

коллег почти те же (популярных святых, в честь которых чаще всего называют, не так уж много), но тамошний отец Жозеф будет не совсем таким, как здешний.

С реки донесся зов пароходного колокола. Настоятель вынул сигарету изо рта и посмотрел на нее, будто недоумевая, как она туда попала. Отец Жозеф сказал:

— Надо бы выпить вина.

Он поискал в буфете и вынул оттуда бутылку, уже наполовину распитую несколько недель назад по случаю праздника. Все-таки каждому по наперстку хватило.

— Bon voyage *, отец.

Пароходный колокол ударил еще раз. Отец Тома заглянул в дверь и сказал:

— А не пора ли, отец?

— Да. Только схожу за своим рюкзаком.

— Вот он, — сказал отец Тома.

— Ну, тогда... — Настоятель украдкой снова оглядел комнату: пятно на портрете, сломанный стул, кривая полка.

— Благополучного возвращения, — сказал отец Поль. — Я пойду позову доктора Колэна.

— Нет, нет, он сейчас отдыхает. Мосье Куэрри объяснит ему, почему так получилось.

Они пошли проводить его до берега, рюкзак нес отец Тома. У сходней настоятель взял его и перекинул за спину привычным солдатским движением. Он тронул отца Тома за локоть:

— По-моему, бухгалтерия у меня должна быть в порядке. В следующем месяце постарайтесь задержать отчеты как можно дольше... а вдруг я вернусь.

Он неуверенно помолчал и добавил с извиняющейся улыбкой:

— Берегите себя, отец Тома. Постарайтесь без излишней экзальтации.

И через несколько минут пароход и река увезли его от них.

Отец Жозеф и Куэрри вместе возвращались домой. Куэрри спросил:

— Почему он выбрал именно отца Тома? Любой из вас живет здесь гораздо дольше его.

— Как настоятель сказал, так оно и есть. Мы все выполняем определенные обязанности, но, откровенно говоря, отец Тома единственный среди нас, кто хоть что-то смыслит в счетоводстве.

Куэрри лег в постель. В это время дня из-за жары нельзя было ни работать, ни даже спать, разве только по несколько минут, неглубоким сном. Ему приснилось, будто он уезжает вместе с настоятелем, но во сне они ехали почему-то не к Люку, а в обратную сторону. Пароход шел по сужающемуся руслу, все дальше и дальше забираясь в гущу джунглей, и теперь это был не пароход, а епископская баржа. В епископской каюте лежал покойник, и они с настоятелем везли его хоронить в Пенделэ. Удивительно, откуда он взял тогда, что лепрозорий самая крайняя точка для епископской баржи? Ведь сейчас он едет на ней все дальше и дальше в глубь страны.

Его разбудил скрип стула. Наверно, это баржа задела днищем подводную корягу. Он открыл глаза и увидел отца Тома, который сидел возле его кровати.

— Я не хотел вас будить, — сказал отец Тома.

— Я не спал, так — дремал немножко.

— Один ваш друг просил меня кое-что передать вам, — сказал отец Тома.

---

* Счастливого пути *(франц.)*.

— У меня нет друзей в Африке, кроме тех, что я нашел здесь.

— У вас их больше, чем вы думаете. Я говорю о мосье Рикэре.

— Рикэра я своим другом никогда не считал.

— Да, верно, это человек немножко несдержанный, но перед вами он просто преклоняется. Его жена что-то ему рассказала, и теперь он жалеет, что говорил о вас с английским журналистом.

— Значит, жена гораздо умнее его.

— К счастью, все получилось как нельзя лучше, — сказал отец Тома, — и этим мы обязаны мосье Рикэру.

— Как нельзя лучше?

— Англичанин написал о вас просто великолепно и о нас тоже.

— Как, уже?

— Первый очерк он передал из Люка по телеграфу. Мосье Рикэр ходил на почту вместе с ним. Он поставил условием, что ему дадут прочитать написанное. Мосье Рикэр, конечно, не пропустил бы ничего такого, что могло бы повредить нам. Ваша работа там просто превозносится. Первый очерк уже появился на французском языке в «Пари-диманш».

— В этой газетенке?

— У нее широкий круг читателей, — сказал отец Тома.

— Она печатает одни сплетни!

— Тем не менее там все-таки заинтересовались вашим посланием, а это делает им честь.

— Каким посланием? О чем вы?

Он резко повернулся на другой бок и лег лицом к стене, чтобы не видеть подобострастно-въедливого взгляда отца Тома. Зашуршала бумага — отец Тома вынимал что-то из кармана сутаны. Он сказал:

— Разрешите мне прочитать вам оттуда. Уверяю вас, вы получите большое удовольствие. Очерк называется «Зодчий душ человеческих. Отшельник с берегов Конго».

— Набор слов! Тошно слушать! Право, отец, писания этого человека меня совершенно не интересуют.

— Вы слишком суровы к нему. А я очень жалею, что не успел показать эту вырезку настоятелю. Тут слегка перепутано название нашего Ордена, но чего же еще ждать от англичанина? Послушайте хотя бы самый конец. «Когда один знаменитый политический деятель Франции уединился в глуши, сложив с себя бремя государственных забот, мир протоптал дорогу к его двери».

— Он все путает,— сказал Куэрри.— Решительно все. Это был писатель, а не политический деятель. И писатель американский, а не французский.

— Зачем же придираться к мелочам? — укоризненно проговорил отец Тома. — Слушайте дальше: «Весь католический мир обсуждал таинственное исчезновение знаменитого архитектора Куэрри. Того самого Куэрри, творческий диапазон которого простирается от современнейшего храма, построенного им в Соединенных Штатах,— настоящего дворца из стекла и стали, до крохотной белой доминиканской капеллы на Лазурном берегу...»

— Теперь он путает меня с этим дилетантом Матиссом, — сказал Куэрри.

— Не обращайте внимания на мелочи.

— Я надеюсь, в ваших же интересах, что евангелисты были повнимательнее к мелочам, не то что мистер Паркинсон.

— «Знаменитого архитектора уже давно не видели в тех ресторанах, где он был завсегдатаем. Я выслеживал его от любимого им «Седла барашка»...

— Это же несусветная чепуха! За кого он меня принимает — за гурманствующего туриста, что ли?

— «...до самого сердца Африки. Недалеко от тех мест, где Стэнли, окруженный дикими племенами, когда-то разбил свой лагерь, след Куэрри наконец-то отыскался».

Отец Тома поднял голову и сказал:

— Вот тут он в самых лестных словах отзывается о нашей работе. «Самоотверженность... беззаветное служение делу... белоснежные одежды, беспорочная жизнь». По-моему, у него определенно есть чувство стиля. «Что подвигло великого Куэрри пожертвовать карьерой, которая принесла ему славу и богатство, и посвятить себя служению неприкасаемым? Я был не в силах задать ему этот вопрос, ибо, когда мои поиски подошли к концу, меня в бессознательном состоянии, в сильнейшем приступе лихорадки, снесли на берег из пироги— утлой скорлупки, в которой я проник в те места, что Джозеф Конрад назвал «Сердцем Тьмы». Своим спасением я обязан горстке верных туземцев, сопровождавших меня в моем путешествии по Великой реке и выказавших мне такую же преданность, с какой их деды служили Стэнли».

— Дался ему этот Стэнли, — сказал Куэрри. — Сколько путешественников побывало в Центральной Африке, но англичане, видно, больше ни о ком не слышали.

— «Когда я очнулся, пальцы Куэрри нащупывали мой пульс, глаза Куэрри не отрывались от моих глаз. И тут я понял, что этого человека окружает великая тайна».

— Неужели вам в самом деле нравится эта белиберда? — спросил Куэрри. Он рывком поднялся и сел на кровати.

— Жития многих святых написаны гораздо хуже, — сказал отец Тома. — Стиль дела не решает. Намерения у него были благие. Может, не вам об этом судить? Слушайте дальше: «О существе этой тайны я услышал из уст самого Куэрри. Хотя говорил он со мной так, как, может статься, ему никогда ни с одной душой человеческой не приходилось говорить, — столько жгучего раскаяния и сожалений о прошлом, не менее колоритном и озорном, чем прошлое святого Франциска, проведшего юность в темных закоулках городка на реке Арне...» Как жалко, — грустно сказал отец Тома, — что меня не было, когда вы все это рассказывали. Следующий абзац я опускаю, там главным образом о прокаженных. Он, видимо, заметил только увечных, что очень жаль, так как это создает довольно мрачное представление о нашей жизни здесь.

В роли настоятеля отец Тома был более благосклонен к миссии, чем месяц назад.

— А вот тут он, по его собственному выражению, подходит к самой сути дела. «Разгадку тайны мне поведал ближайший друг Куэрри — некто Андрэ Рикэр, управляющий местной пальмовой плантацией. Это, видимо, очень похоже на Куэрри: из скромности таиться от миссионеров, давших ему работу здесь, и с такой готовностью открыть душу этому плантатору — человеку, которого вы меньше всего ожидали бы видеть в роли ближайшего друга великого архитектора. «Хотите знать, какая им движет пружинка?— спросил меня мосье Рикэр.— Любовь, беззаветная, самоотверженная любовь, не ведающая ни барьеров классовых различий, ни разницы в цвете кожи. Мне не приходилось встречать человека, столь умудренного в вопросах веры. Вот за этим самым столом мы допоздна сидели с великим Куэрри и говорили о природе божественной любви». Как видите, обе половины этой странной натуры смыкаются: мне Куэрри рассказывал о женщинах, которых он любил в Европе, а своему другу на фабрике, затерянной в джунглях, — о любви к богу. В век атома миру нужны святые. Когда один знаменитый политический деятель Франции уединился в глуши, сложив с себя бремя государственных забот, мир протоптал дорогу к его двери. И мир, который отыскал Швейцера в Ламберене, безусловно сумеет найти путь и к отшельнику с берегов Конго».

По-моему, без упоминания о святом Франциске вполне можно было обойтись, — сказал отец Тома. — Чего доброго, истолкуют как-нибудь неправильно.

— Сколько же тут вранья! — воскликнул Куэрри. Он встал с кровати и подошел к чертежной доске с наколотым на нее листом ватмана. Он сказал: — Я не допущу, чтобы этот человек...

— Что вы хотите? Журналист, — сказал отец Тома. — Такие преувеличения у них в порядке вещей.

— Я не о Паркинсоне. Для него это работа. Рикэр — вот я о ком. Я никогда не говорил с Рикэром ни о любви, ни о боге.

— А он мне рассказывал, что у вас с ним была однажды очень интересная беседа.

— Беседы никогда не было. Какая же это беседа, когда человек говорит один?

Отец Тома посмотрел на газетную вырезку.

— Оказывается, через неделю будет второй очерк. Вот тут сказано: «В следующем выпуске: Святой с прошлым. Искупление через муки. Прокаженный, заблудившийся в джунглях». Это, наверно, про Део Грациаса, — сказал отец Тома. — И фотография есть: англичанин разговаривает с Рикэром.

— Дайте.

Куэрри разорвал вырезку на мелкие клочки и бросил их на пол. Он сказал:

— Дорога сейчас проезжая?

— Когда я уезжал из Люка, была проезжая. А что?

— Тогда я возьму грузовик.

— Куда это вы?

— Побеседовать кое о чем с Рикэром. Неужели вы не понимаете, отец, что его надо заставить замолчать? Так дальше не может продолжаться. Я борюсь за свою жизнь.

— За жизнь?

— Да, за жизнь здесь. Это все, что у меня теперь есть.

Он устало опустился на кровать. Он сказал:

— Я так долго сюда добирался. Если придется уезжать отсюда, куда я денусь?

Отец Тома сказал:

— Да, для хорошего человека слава — вещь нелегкая.

— Я совсем не такой, каким вы меня считаете, отец. Поверьте же мне! Неужели вам тоже надо все исказить? Мало, что ли, Рикэра и того, другого? Я приехал сюда не из добрых побуждений. Я забочусь только о себе и всегда заботился только о себе, но даже себялюбец вправе искать хоть каплю покоя в жизни.

— Ваша скромность поистине достойна удивления, — сказал отец Тома.

ЧАСТЬ VI

Глава первая

I

Мари Рикэр перестала читать «Подражание Христу», как только увидела, что муж заснул, но вставать со стула было все еще опасно, это могло разбудить его, да и кто знает — вдруг он притворяется и хочет застичь ее врасплох? Ей уже слышался его укоризненный голос: «Неужели ты не могла один час бодрствовать со мной?» — ибо иной раз подра-

жание Христу заводило ее супруга довольно далеко. Его пустопорожнее лицо было повернуто к стене, глаз не видно. Она подумала: пока он хворает, можно не говорить ему, и это не будет нарушением долга, потому что больных нельзя беспокоить неприятными вестями. Сквозь проволочную сетку в окно потянуло прогорклым маргарином — запахом, который неизменно связывался у нее с супружеской жизнью, а с того места, где она сидела, ей было видно, как в машинном отделении засыпают в топку скорлупу от пальмового ореха.

Ей стало стыдно своих страхов и чувства томительной скуки и тошноты. Она прекрасно знала, что colon не подобает так вести себя, ибо она выросла в колонистской семье. Ее отец служил в той же фирме, что и муж, в качестве, так сказать, странствующего ее представителя, а так как его жена не отличалась крепким здоровьем, он отослал ее рожать домой, в Европу. Мать воевала, не желая уезжать, потому что она была настоящая colon и дочь colons. Это слово, произносимое в Европе так пренебрежительно, считалось у самих colons почетным званием. Приезжая в Европу, они и там держались друг друга, ходили в одни и те же рестораны и кафе, хозяева которых в прошлом сами были colons, и снимали виллы на время отпуска на одних и тех же курортах. Сидя под сенью пальм в горшках, жены ждали, когда их мужья вернутся из страны пальм, они играли в бридж и читали друг другу письма своих мужей, передававших им сплетни из тамошней жизни. На конвертах этих писем марки были яркие, со зверями, цветами, птицами, почтовые штемпеля — с названиями разных экзотических мест. Мари начала собирать их с шести лет, но так как она сохраняла и конверты со штемпелями, то свою марочную коллекцию ей приходилось держать не в альбоме, а в шкатулке. На одном из конвертов стоял штемпель города Люк. Можно ли было тогда предвидеть, что наступит время, когда она будет знать Люк гораздо лучше, чем свою Рю-де-Намюр!

С нежностью, вызванной чувством вины, и даже не побоявшись разбудить мужа, Мари вытерла ему лицо носовым платком, смоченным в одеколоне. Она считала себя только подделкой под colon. Это было все равно что изменить своей стране — грех особенно тяжкий, когда твоя страна так далеко и ее предают поруганию.

Из сарая вышел рабочий и помочился у стены. Повернувшись, он поймал на себе ее взгляд. Но, разделенные всего несколькими ярдами, они смотрели друг на друга точно в телескопы, с огромного расстояния. Она вспомнила завтрак у моря, и бледное европейское солнце на воде, и ранних купальщиков, а отец учил ее, как на языке монго «хлеб», «кофе» и «джем». Кроме этих трех слов она ничего больше на языке монго не выучила. Но «кофе», «хлеб», «джем» — разве таким запасом обойдешься? У нее и у этого человека нет средств общения друг с другом, она даже не может выругать его, как выругали бы отец и муж, пустив в ход понятные ему слова. Он повернулся и ушел в сарай, а она снова почувствовала, как одиноко живется, когда изменяешь этой стране colons. Если б можно было попросить прощения у старика отца, который жил там — дома; не ставить же ему в вину все те марки и почтовые штемпеля. Ее матери так хотелось остаться с ним. Она не понимала, как ей повезло, что у нее было слабое здоровье. Рикэр открыл глаза и спросил:

— Который час?

— Что-то около трех.

Он тут же заснул, не услышав ответа, а она так и осталась сидеть у его постели. Во дворе к сараю задним ходом подавали грузовик. Он был до верху нагружен пальмовыми орехами, которые шли и под пресс и в топку. Орехи были похожи на ссохшиеся человеческие головы — урожай дикарского побоища. Она попыталась читать дальше и не смогла — на «Подражании Христу» сосредоточиться было трудно. Раз в месяц ей

присылали очередной выпуск «Мари Шанталь», но читать их приходилось тайком, когда Рикэр был занят, так как он относился с презрением к тому, что у него называлось «дамским чтивом», и осуждал пустую мечтательность. А что ей было делать, как не мечтать? В форму мечтаний облекались надежды, но она прятала их от него, как прятали на себе ампулы с ядом бойцы Сопротивления. Ей не верилось, что это конец — так и будешь стареть, без людей, с глазу на глаз с мужем, так и будет запах маргарина, черные лица кругом, двор, заваленный металлическим ломом, и жара, влажная жара. Она ждала каждый день: вот по радио раздастся какой-то сигнал и пробьет час ее освобождения. И иногда ей казалось, что ради освобождения она не отступит ни перед чем.

«Мари Шанталь» доставляли наземной почтой, выпуски запаздывали на два месяца, но это было не важно, ибо романы с продолжениями, как и прочие виды литературы, — ценности непреходящие. В том, который она теперь читала, одна девушка пришла в "Salle Privée" в Монте-Карло и поставила 12000 франков, последние свои деньги, на цифру 17. И вдруг чья-то рука протянулась из-за ее плеча и, не дожидаясь, когда шарик остановится, переставила жетон с цифры 17 на 19. Не прошло и секунды, как шарик упал в ячейку под цифрой 19, и девушка оглянулась — кто же он, ее благодетель?.. Но узнать это можно будет не раньше, чем через три недели. Он ехал к ней почтовым пароходом вдоль Западного побережья Африки, но и добравшись до Матади, еще долго-долго будет плыть оттуда рекой. Во дворе залаяли собаки, и Рикэр проснулся.

— Посмотри, кто там, — сказал он. — Но в дом не пускай.

Она услышала, как во двор въехала машина. Должно быть, это представитель пивоваренного завода — одного из двух, которые конкурируют между собой. Каждый из них по три раза в году объезжал дальние поселения и, созвав жителей во главе с вождем, угощал всех бесплатно пивом своего завода. Считалось, не понятно почему, что это мероприятие должно способствовать увеличению спроса.

Когда она вышла во двор, «сушеные головы» лопатами сбрасывали с грузовика. В кабине небольшого «пего» сидели двое. Один был африканец, второго она не могла разглядеть, потому что солнце, бившее в ветровое стекло, ослепило ее, но она услышала, как он сказал:

— Мои дела здесь много времени не займут. К десяти поспеем в Люк.

Она подошла к дверце кабины и увидела, что это Куэрри. Ей вспомнилась позорная сцена несколько недель назад, когда она в слезах бежала к своей машине. Ту ночь она провела в лесу у дороги, предпочитая быть изъеденной москитами, чем встретить кого-нибудь, кто, может быть, тоже презирает ее мужа.

Она подумала с чувством благодарности: «Сам приехал. Тогда у него было просто дурное настроение, это cafard * в нем говорила, а не он». Ей захотелось пойти к мужу и сказать ему, что приехал Куэрри, но она вспомнила: «В дом не пускай».

Куэрри вылез из грузовика, и она увидела, что бой, который приехал с ним, увечный. Она спросила:

— Вы к нам? Мой муж будет очень рад...

— Я еду в Люк, — ответил Куэрри, — но сначала мне нужно кое-что сказать мосье Рикэру.

Он чем-то напомнил ей мужа — иногда у него бывало точно такое же выражение лица. Если ту оскорбительную фразу ему продиктовала cafard, значит, он и сейчас во власти этой cafard.

Она сказала:

---

* Тоска, уныние *(франц.)*.

— Муж болен. К нему нельзя.

— А мне нужно. Я потерял три дня на дорогу и...

— Скажите мне. — Он стоял у дверцы кабины. — Разве через меня нельзя передать?

— Нет, женщину я не смогу ударить, — сказал Куэрри. Судорога, вдруг передернувшая ему рот, поразила ее. Может быть, он пытался смягчить свой ответ, но от этой улыбки его лицо показалось ей еще уродливей.

— И только за этим вы и приехали?

— Более или менее, — сказал Куэрри.

— Тогда пойдемте.

Она шла медленно, не оборачиваясь. Ей казалось, будто сзади нее идет вооруженный дикарь, которому и виду нельзя подавать, что ты его боишься. Только бы дойти до дому — там она будет в безопасности. У людей их круга драки обычно происходят под открытым небом, кушетки и безделушки не способствуют оскорблению действием. В дверях она чуть было не поддалась искушению убежать в свою комнату, бросив больного на милость Куэрри, но, представив себе, что Рикэр скажет после его отъезда, только покосилась в конец коридора, где была безопасная зона, и, свернув влево к веранде, услышала за собой шаги Куэрри.

На веранде она заговорила совсем другим, любезным тоном, будто переоделась в парадное платье:

— Не хотите ли вы чего-нибудь выпить?

— В такой ранний час — нет. А ваш муж правда болен?

— Конечно правда. Я же вас предупредила. Здесь очень много москитов. Дом стоит слишком близко к воде. Палудрин он перестал принимать. Не знаю почему. Хотя у него все зависит от настроения.

— Паркинсон, наверно, здесь и подхватил малярию.

— Паркинсон?

— Английский журналист.

— Ах, этот! — с брезгливой гримасой сказала она. — Разве он все еще здесь?

— Не знаю. Вы же с ним виделись, когда ваш муж направил его по моему следу.

— Он причинил вам какие-нибудь неприятности? Очень жаль. Я на его вопросы не отвечала.

Куэрри сказал:

— Я, кажется, ясно дал понять вашему супругу, зачем я сюда приехал — чтобы меня оставили в покое. Он навязался мне в Люке. Прислал за мной вас в лепрозорий. Туда же направил Паркинсона. Распространяет обо мне в городе какие-то чудовищные слухи. Теперь эта статья в газете, того и гляди, появится другая. Я приехал сказать ему, чтобы он прекратил это преследование!

— Преследование?

— А как это, по-вашему, назвать?

— Вы не понимаете. Моего мужа так взволновал ваш приезд. Встреча с вами. С кем ему здесь поговорить о том, что его интересует? Почти не с кем. Он очень одинок.

Она смотрела на реку, на лебедку парома, на чащу за рекой.

— Когда он увлечется чем-нибудь, ему не терпится завладеть этим. Как дитя малое.

— Я не люблю малых детей.

— Единственное, что в нем есть юного... — сказала она, и эти слова вырвались у нее, точно кровь, брызнувшая из раны.

Он сказал:

— А вы не можете внушить ему, чтобы он перестал болтать обо мне?

— Я на него никак не влияю. Он меня не слушает. Да и чего ему меня слушать.

— Если он любит вас...

— А я этого не знаю. Он иногда говорит, что любит одного бога.

— Тогда я сам с ним побеседую. И он меня выслушает. Легкий приступ малярии его не спасет. — Он добавил: — Я не знаю, которая его комната, но их в доме не так уж много. Найду.

— Нет! Прошу вас, не надо. Он подумает, что это я во всем виновата. Он рассердится. Я не хочу, чтобы он был сердитый. Мне надо сказать ему одну вещь. А если он будет сердиться, я не смогу. И без того это ужасно.

— Что ужасно?

Она бросила на него отчаянный взгляд. Слезы выступили у нее на глазах и некрасиво, точно капли пота, поползли по щекам. Она сказала:

— Я, кажется, забеременела.

— Я думал, женщины обычно радуются...

— Он не хочет. А предохраняться не позволяет.

— Вы показывались врачу?

— Нет. У меня не было повода для поездки в Люк, а машина у нас одна. Не дай бог, еще поймет, в чем дело. Он обычно только потом интересуется, все ли в порядке.

— А на сей раз не интересовался?

— По-моему, он не помнит, что после того раза у нас с ним опять было.

Куэрри невольно растрогался — какое смирение! Она была совсем молоденькая и очень недурна, но ей и в голову не приходило, что мужчина не должен забывать такие вещи. Она сказала, как будто тем все и объяснялось.

— Это было после приема у губернатора.

— Вы не ошибаетесь?

— У меня уже два раза не приходило.

— Ну, друг мой, в здешнем климате все может быть. — Он сказал:— Вот вам мой совет... как вас зовут?

— Мари.

Из всех женских имен это было самое обычное, но для него оно прозвучало предостережением.

— Да? — живо отозвалась она. — Ваш совет...

— Мужу пока ничего не говорить. Мы придумаем какой-нибудь предлог, чтобы вам съездить в город и показаться врачу. А зря беспокоиться нечего. Вы хотите ребенка?

— Хочу или не хочу, не все ли равно? Раз он не хочет.

— Ну, давайте придумаем что-нибудь, и я бы взял вас с собой.

— Кто его уговорит, если не вы? Он так восхищается вами!

— Доктор Колэн просил меня получить в городе медикаменты, кроме того, я хотел сделать сюрприз миссионерам, купить шампанского и еще кое-чего к тому дню, когда будем ставить конек на крыше. Так что доставить вас обратно я смогу только завтра к вечеру.

— Ну и что же? — сказала она.— Его слуга лучше меня за ним ухаживает. Он у него давно, раньше, чем я.

— Я не о том. Может быть, он не доверит мне...

— Дождей последнее время не было. Дорога хорошая.

— Что же, пойти спросить его?

— Но ведь вы собирались говорить о чем-то другом?

— Постараюсь обойтись с ним помягче. Вы отняли у меня мое жало.

— А как будет интересно съездить в Люк одной,— сказала она.— То есть с вами.— Она вытерла глаза тыльной стороной руки, совсем не стыдясь своих слез, как ребенок.

— Врач, может быть, скажет, что ваши опасения напрасны. Где его комната?

— Вон та дверь в конце коридора. Вы правда не очень будете его ругать?

— Правда.

Когда он вошел, Рикэр сидел в постели. Скорбная мина у него на лице была как маска, но при виде гостя он быстро снял ее и заменил другой, выражающей радушие.

— Куэрри? Это вы приехали?

— Я завернул к вам по дороге в Люк.

— Как это мило с вашей стороны навестить меня на одре болезни.

Куэрри сказал:

— Я хотел поговорить с вами о дурацком очерке этого англичанина.

— Я дал его отцу Тома, чтобы он отвез вам.

Глаза у Рикэра блестели, то ли от лихорадки, то ли от радости.

— «Пари-диманш» буквально расхватали в Люке. Книжный магазин выписал дополнительные экземпляры. А следующего номера, говорят, заказали сразу сотню.

— Вам не приходило в голову, что мне это может быть неприятно?

— Да, правда, газета не из самых почтенных, но очерк написан в хвалебных тонах. Его даже перепечатали в Италии — представляете себе, что это значит? Говорят, Рим уже послал запрос нашему епископу.

— Рикэр, вы будете слушать меня или нет? Я заставляю себя говорить сдержанно, потому что вы больны. Но этому надо положить конец. Я не католик и даже не христианин. Не радейте обо мне, я не желаю, чтобы ваша церковь принимала меня в свое лоно.

Рикэр сидел под распятием, и на лице у него была всепонимающая улыбка.

— Я не верю ни в какого бога, Рикэр. Ни в бога, ни в душу человеческую, ни в вечную жизнь. Мне все это неинтересно.

— Да. Отец Тома говорил, как тяжко вы страдаете в пустыне.

— Отец Тома ханжа и дурак, а я приехал сюда спасаться от дураков, Рикэр. Можете вы обещать, что оставите меня в покое? Если нет, то я уеду. Мне было хорошо здесь до того, как все это началось. Я убедился, что могу работать. Я чем-то заинтересовался, в чем-то принимаю участие...

— Гении принадлежат миру — такой ценой они расплачиваются за свою гениальность.

Если уж нельзя было избежать пытки, с какой радостью он взял бы себе в палачи наглеца Паркинсона. В этой расхристанной натуре оставались хотя бы щели, куда изредка можно было заронить семечко истины. Рикэр же точно стена, так вся залепленная церковными объявлениями, что и кирпичной кладки под ними не видно. Он сказал:

— Я не гений, Рикэр. У меня был кое-какой талант, не очень большой, и я истратил его до конца. Создавать что-нибудь новое мне стало уже не по силам. Я мог только повторять самого себя. И я решил покончить с этим. Видите, насколько все просто и обыденно. Точно так же покончил я и с женщинами. В конце концов существует только тридцать два способа вбивания гвоздей в доску.

— Паркинсон говорил мне про вас, что раскаяние...

— Никогда я ни в чем не раскаивался. Никогда в жизни. Все вы чересчур любите драматические эффекты. Уход от дел, уход от чувств — и то и другое вполне естественно. Вот вы сами, Рикэр, вы уверены, что все еще сохранили непосредственность чувств, что они у вас не поддель-

ные? Вы очень огорчились бы, если б завтра повстанцы сожгли ваш заводик дотла?

— У меня это не главное в жизни.

— И жена у вас тоже не главное. Мне это стало ясно в первую же нашу встречу. Вам нужен кто-то, кто бы спасал вас от того, чем грозит святой Павел, — от разжигания.

— В христианском браке ничего дурного нет,— сказал Рикэр.— Он гораздо лучше, чем брак по страстной любви. Но если хотите знать правду, главное у меня в жизни — моя вера, и так было всегда.

— Как подумаешь, так мы с вами не такие уж разные люди. Оба понятия не имеем о том, что такое любовь. Вы притворяетесь, будто любите бога, потому что не любите никого другого. А я притворяться не хочу. Единственное, что во мне осталось, это некоторое уважение к истине. Оно было лучшей стороной моего скромного таланта. Вы все время что-то выдумываете, Рикэр, ведь правда? Некоторые мужчины объясняются в любви проституткам — они не смеют даже переспать с женщиной, не придумав для этого оправдания в каких-то чувствиях. А вы изволили выдумать меня, лишь бы оправдаться перед самим собой. Но я, Рикэр, на эту удочку не пойду.

— Смотрю я на вас,— сказал Рикэр,— и вижу муку человеческую.

— Увы, ошибаетесь! За последние двадцать лет я боли не знаю. И чтобы заставить меня испытать это чувство, нужен кто-то посильнее вас.

— Как хотите, Куэрри, а вы послужили всем нам высоким примером.

— Примером чего?

— Бескорыстия и смирения.

— Я вас предупреждаю, Рикэр: если вы не перестанете распространять обо мне всякую чепуху...

Он почувствовал свою полную беспомощность. Его заманили в эту словесную ловушку. Оплеуха была бы куда проще и полезнее, но время для оплеух уже упущено.

Рикэр сказал:

— Глас людской причислял достойных к лику святых. И не знаю, может быть, такой метод лучше, чем судилище в Риме. Мы приняли вас, Куэрри, под свою эгиду. Вы уже не принадлежите самому себе. Вы потеряли себя в ту ночь, когда молились с прокаженным в лесу.

— Я не молился. Я только...

Он замолчал. Стоит ли продолжать? Последнее слово осталось за Рикэром. И только хлопнув дверью, он вспомнил, что так ничего и не сказал Рикэру о его жене и о ее поездке в Люк.

А она терпеливо, но вся начеку, ждала его в дальнем конце коридора. Он пожалел, что нет при нем кулечка с конфетами, чтобы утешить ее. Она взволнованно спросила:

— Позволил?

— Я так и не спросил его.

— Вы же обещали.

— Я рассердился и забыл. Простите меня.

Она сказала:

— Все равно я поеду с вами в Люк.

— По-моему, не стоит.

— А вы там очень бушевали?

— Нет, не очень. Почти весь мой гнев остался при мне.

— Тогда я поеду.

Он и слова не успел сказать, как она исчезла и через несколько минут вернулась, готовая в дорогу, с одной сумкой «сабена» в руках.

Он сказал:

— Вы путешествуете налегке.

Когда они подошли к грузовику, он спросил:

— Может, мне все-таки пойти и поговорить с ним?

— А если он не пустит? Что тогда?

Они оставили позади запах маргарина и кладбище ржавых котлов, и тень леса легла на них с обеих сторон. Она спросила вежливо, тоном радушной хозяйки:

— Как у вас там дела в больнице?

— Хорошо.

— А как поживает настоятель?

— Он уехал.

— У вас была гроза в прошлую субботу? У нас очень сильная.

Он сказал:

— Не трудитесь поддерживать разговор, это не обязательно.

— Муж считает, что я чересчур молчаливая.

— Молчаливость не такое уж дурное качество.

— Нет, дурное... когда тоска на душе.

— Простите. Я забыл.

Несколько километров они проехали молча. Потом она спросила:

— Почему вы забрались в эти места, а не куда-нибудь еще?

— Потому что эти места далеко.

— Другие тоже далеко. Например, Южный полюс.

— Когда я приехал в аэропорт, самолетов на Южный полюс не было.

Она хихикнула. Как молодых легко развеселить, даже если у них тоска на душе.

— Один самолет вылетал в Токио,— пояснил он,— но мне показалось, что сюда гораздо дальше. Кроме того, гейши и цветущие вишни меня не интересуют.

— Неужели вы правда не знали, куда...

— Одно из преимуществ абонементной книжки состоит в том, что вам можно решать в самую последнюю минуту, куда вы полетите.

— А близких у вас дома разве не осталось?

— Близких — нет. Была одна, но без меня ей лучше.

— Бедная.

— Ничуть. Она ничего особенно ценного не лишилась. Женщине трудно жить с человеком, который не любит ее.

— Да.

— Среди дня неизбежно бывают такие минуты, когда перестаешь притворяться.

— Да.

Они молчали до тех пор, пока не стало темнеть, и тогда он включил фары. Их лучи скользнули по чучелу с кокосовым орехом вместо головы, сидевшему в покосившемся кресле. Она испуганно ахнула и прижалась к его плечу. Она сказала:

— Как что-нибудь непонятное, так пугаюсь.

— Частенько же вам приходится пугаться.

— Частенько.

Он обнял ее за плечи, стараясь успокоить. Она сказала:

— А вы простились с ней?

— Нет.

— Она же, наверно, видела, как вы укладываетесь?

— Нет. Я тоже путешествую налегке.

— Так без всего и уехали?

— Взял бритву, зубную щетку и аккредитив из американского банка.

— Что же вы, на самом деле не знали, куда поедете?

— Понятия не имел. Поэтому набирать с собой разную одежду не имело смысла.

Дорога пошла плохая, и ему понадобились обе руки на штурвале. До сих пор он не задумывался над своим тогдашним поведением. В то время ему казалось, что логично поступить именно так. Он позавтракал плотнее обычного, потому что не знал, когда еще придется есть, потом взял такси. Его путешествие началось с огромного, почти безлюдного аэропорта, специально выстроенного к международной выставке, которая уже давно закрылась. По его коридорам можно было пройти с милю и не встретить почти ни одного человеческого существа. В необозримом зале люди сидели поодиночке в ожидании самолета на Токио. Они были похожи на статуи в музее. Он попросил билет до Токио и вдруг увидел транспарант с названиями африканских городов.

Он сказал:

— А на этот рейс есть места?

— Да, но из Рима до Токио самолета не будет.

— Я поеду до конечного пункта.

Он дал кассиру свою абонементную книжку.

— Где ваш багаж?

— Багажа нет.

Теперь он понимал, что его поведение могло показаться несколько странным. Он сказал кассиру:

— Будьте добры, проставьте на билете только мое имя, фамилии не надо. И в списке пассажиров — тоже. Я не хочу иметь дело с прессой.

Это было одним из немногих преимуществ, которые дает человеку слава: странности его поведения никого не настораживают. Таким бесхитростным способом он думал замести свои следы, но, вероятно, допустил какой-то просчет, иначе письмо, подписанное «toute à toi», не дошло бы до него. Может быть, она сама приезжала в аэропорт на разведку. У кассира, вероятно, было что порассказать ей. Но так или иначе, ни в конечном пункте, ни в маленькой гостинице, где кондиционированного воздуха не было, а душ хоть и был, но не работал, его никто не узнал, хотя он назвался по фамилии. Значит, выдать его местопребывание мог только Рикэр. Интерес, который проявил к нему Рикэр, зыбью прошел полмира, точно радиоволна, и эта зыбь докатилась до международной прессы. У него вдруг вырвалось:

— Как я жалею, что встретился с вашим мужем!

— И я тоже.

— Разве у вас были из-за меня какие-нибудь неприятности?

— Я... я о себе. Я тоже об этом жалею.

Фары выхватили из темноты деревянные подпорки и на них клетку высоко в воздухе. Мари Рикэр сказала:

— Я все здесь ненавижу. Хочу домой.

— Мы далеко отъехали, поворачивать поздно.

— Здесь у меня дома нет, — сказала она. — Здесь завод.

Он прекрасно знал, чего она ждет от него, но не хотел произносить эти слова. Посочувствуешь — пусть неискренне, в заученных выражениях, а что за этим обычно следует, давно известно по опыту. Тоска — это голодный зверь, который притаился у лесной тропы в ожидании своей жертвы. Он сказал:

— У вас есть где остановиться в Люке?

— Нет, у нас там никого нет из друзей. Я поеду с вами, в гостиницу.

— Вы оставили записку мужу?

— Нет.

— Напрасно.

— А вы оставили — перед тем как уехать в аэропорт?

— Это другое дело. Я уезжал навсегда.

Она сказала:

— Вы дадите мне взаймы на билет домой... в Европу, конечно?

— Нет.

— Так я и знала.

И как будто этим все было решено, и ей ничего больше не оставалось делать, она отвернулась от него и заснула. Он подумал — несколько опрометчиво: бедная, запуганная зверушка! Эта еще слишком молода и потому не очень опасна. Жалеть их рискованно, только когда они входят в полную силу.

2

Было уже около одиннадцати вечера, когда они проехали мимо маленькой речной пристани у самого въезда в Люк. Там стояла на якоре епископская баржа. Кошка, поднимавшаяся на нее по сходням, остановилась на полпути и уставилась на них, и Куэрри сделал крутой вираж, чтобы не наехать на дохлую собаку, которая валялась посреди дороги в ожидании утра, когда ее растерзают стервятники. Гостиница на площади, против губернаторского дома, еще не сняла с себя остатков праздничного убранства. Может быть, там недавно давала свой ежегодный банкет дирекция местного пивоваренного завода или же на радостях, что ему так повезло, отпраздновал свой перевод на родину какой-нибудь чиновник. В баре, над стульями из гнутых металлических трубок, придававших всему залу уныло-деловой вид машинного отделения, свисали сиреневые и розовые бумажные цепи, на кронштейнах ухмылялись во весь рот круглые лунные рожицы абажуров.

Номера наверху были без кондиционированного воздуха, и перегородки между ними не достигали до потолка, так что ни о какой обособленности и думать не приходилось. Из соседнего номера доносился каждый звук, и Куэрри мог следить за всем, что там делает Мари Рикэр,— ж-жикнула молния на сумке, щелкнули складные плечики, стеклянный флакон звякнул о фаянсовый умывальник. На голый пол упали туфли, полилась вода. Он сидел и думал, чем ее утешить, если завтра утром доктор скажет, что она беременна. Ему вспомнилось долгое ночное бдение возле Део Грациаса. Тогда тоже пришлось успокаивать человека, которого одолевал страх. За стеной скрипнула кровать.

Он достал из своей сумки бутылку виски и налил себе стакан. Теперь настала его очередь звякать, лить воду, шуршать, он точно перестукивался с соседней тюремной камерой. Из-за стены донесся какой-то непонятный звук — уж не плач ли? Он почувствовал не жалость к ней, а только раздражение. Вот навязалась, и теперь, пожалуй, не даст выспаться. Он еще не успел раздеться. Он прихватил с собой бутылку виски и постучал к ней в дверь.

Ему сразу стало ясно, что он ошибся. Она полулежала в постели и читала книгу в мягкой обложке — успела все-таки сунуть ее в свою «сабену». Он сказал:

— Простите. Мне показалось, вы плачете.

— Нет, что вы,— сказала она.— Это я смеялась.

Он увидел, что она читает популярный роман, в котором описывается парижское житье-бытье одного английского майора.

— Так смешно, просто ужас!

— А я принес вот это, на случай, если понадобится утешать.

— Виски? В жизни не пробовала.

— Вот и попробуйте. Но вам вряд ли понравится.

Он сполоснул ее кружку из-под зубной щетки, налил туда немного виски и сильно разбавил его водой.

— Не нравится?

Она сказала:

— Сама идея нравится. Пить виски в полночь, в комнате, где ты сама себе хозяйка.

— Полночи еще не пробило.

— Ну, вы понимаете, что я хочу сказать. И читать в постели. Мой муж не любит, когда я читаю в постели. Особенно если такую книжку.

— А чем она плоха?

— Не серьезная. Не про бога. Он прав, конечно,— добавила она.— Образования мне не хватает. Монахини уж как старались, а не привилась мне наука.

— Я очень рад, что вы забыли о своих опасениях.

— Может, все будет хорошо. Вот у меня вдруг живот схватило. От виски вряд ли. Слишком быстро, правда? Может, гости?

Речи радушной хозяйки были отправлены на чердак — туда же, где валялись за ненадобностью поучения монахинь, и она перешла на жаргон пансионского дортуара. Смешно было думать, что такое инфантильное существо может представлять собой какую-то опасность.

Он спросил:

— А в школе вам хорошо жилось?

— Ой, как в раю! — Она еще выше подтянула ноги под простыней и сказала: — Вы бы сели.

— Вам пора спать.

Он разговаривал с ней, как с ребенком, и не мог иначе. Вместо того чтобы лишить жену невинности, Рикэр раз и навсегда оставил ей ее девство.

Она сказала:

— Что вы будете делать дальше? Когда больницу выстроят?

Все задавали ему этот вопрос, но на сей раз он не стал уклоняться от ответа. Существует теория, что иным надо говорить чистую правду.

Он сказал:

— Я останусь здесь. Назад не поеду.

— Иногда-то надо будет ездить — например, в отпуск.

— Предоставляю это другим.

— Заболеете с тоски, если будете жить безвыездно.

— Я закаленный. А потом, не все ли равно? Рано или поздно всем нам суждена одна и та же болезнь — старость. Видите, коричневые пятнышки у меня на руках? Моя мать говорила, что это печать могилы.

— Самые обыкновенные веснушки,— сказала она.

— Э-э, нет. Веснушки бывают от яркого солнца. А эти — от непроглядной тьмы.

— Что за мрачные мысли,— сказала она тоном школьной директрисы.— Просто не понимаю вас. Мне-то приходится здесь жить, но, господи боже, если бы я была свободна, как вы!

— Хотите, я расскажу вам кое-что?

Он налил себе второй раз тройную порцию виски.

— Ой, как много! Вы что, сильно пьете? Мой муж пьет.

— Не столько сильно, сколько регулярно. А этот стакан должен помочь мне, потому что я рассказчик неопытный. С чего же начать?

Он не спеша отхлебнул виски.

— В некотором царстве, в некотором государстве...

— Ну, знаете!— сказала она.— Мы с вами люди взрослые — и вдруг сказки!

— Да, верно. Но сказка-то как раз об этом. В некотором царстве, в некотором государстве, в деревенской глуши жил был мальчик...

— Это вы про себя?

— Нет. Зачем же проводить такие тесные параллели? Романисты,

как говорят, опираются в своих писаниях не на отдельные факты, а на общий жизненный опыт. А я до сих пор кроме городов нигде и не бывал подолгу.

— Ну, дальше.

— Этот мальчик жил-поживал со своими родителями на ферме — не так чтобы большой, но им там места хватало, а с ними еще жили двое слуг, шестеро работников, кошка, собака, корова... Кажется, и свинья была. Я деревенскую жизнь плохо знаю.

— Ой, сколько действующих лиц! Уснешь, пока всех запомнишь.

— Вот этого я и добиваюсь. Родители часто рассказывали мальчику разные истории о Царе, который жил в городе, за сто миль от них — на расстоянии самой далекой звезды...

— Чепуха какая! До звезд биллионы и триллионы...

— Да, но мальчик-то думал, что до той звезды сто миль. Он и понятия не имел о световых годах. Не знал, что звезда, на которую он смотрел, может быть, погасла и умерла еще до сотворения мира. Ему говорили, что хотя Царь живет далеко-далеко, он все равно следит за тем, где что делается. Опоросилась свинья, мотылек сгорел над лампой — Царю все известно. Поженились мужчина и женщина — ему и это известно. И он доволен ими, потому что, когда они дадут приплод, количество его подданных увеличится. Он вознаграждал их по заслугам — какая это была награда, никто не видел, потому что женщина часто умирала в родах, а ребенок иногда рождался глухим или слепым, но в конце концов воздуха тоже никто не видит, а он существует, если верить знающим людям. Когда какой-нибудь работник и работница любились в стоге сена, Царь наказывал их. Наказание не всегда было видно — мужчина, случалось, находил себе работу получше, девушка расцветала, став женщиной, и потом выходила замуж за десятника, но это все только потому, что наказание откладывалось. Иной раз оно откладывалось до самой их смерти, но и это не имело никакого значения, ибо мертвыми Царь тоже правил, и кто знает, какие ужасы он мог уготовить им в могиле.

Мальчик подрастал. Он женился, честь честью, и получил награду от Царя, хотя единственный его ребенок умер и с работой ему не везло, а он мечтал создавать статуи, такие же большие и величественные, как сфинксы. После смерти ребенка он поссорился с женой, и Царь наказал его за это. Наказания, разумеется, тоже не было видно, как и награды, то и другое надлежало принимать на веру. С течением времени он стал знаменитым золотых дел мастером, ибо одна женщина, которой он сумел угодить, дала ему денег на учение, и он создал много прекрасных драгоценных украшений в честь своей любовницы и, разумеется, в честь Царя тоже. Награда за наградой начали сыпаться на него. А также деньги. От Царя. Все говорили в один голос, что деньги эти от Царя. Он бросил жену и любовницу, бросал и многих других женщин, но, прежде чем бросить, развлекался с каждой как только мог. Они называли это любовью, и он тоже так называл. Не было такого правила, какого он не нарушил бы, и за это, конечно, ему следовало наказание, но поскольку все наказания были незримы, он своего тоже не мог узреть. Он богател и богател, и драгоценные изделия получались у него все красивее и красивее, а женщины любили его все больше и больше. Все в один голос говорили, что живется ему просто замечательно. Плохо было только одно: он начал скучать, день ото дня все сильнее и сильнее. Ему никто никогда не говорил «нет». Никто не заставлял его страдать — страдали всегда другие. Иной раз он даже был не прочь испытать боль — от наказаний, которые Царь все время налагал на него. Путешествовал он всюду, где только захочется, и вот ему стало казаться, что странствия уводили его гораздо дальше, чем за сто миль, что отделяют от Царя.

гораздо дальше, чем самая далекая звезда, и тем не менее возвращался он всегда на то же самое место, где было все то же самое: в газетах по-прежнему восхваляли его изделия, женщины по-прежнему обманывали мужей и спали с ним, а царские слуги по-прежнему провозглашали его преданнейшим и вернейшим из подданных Царя.

И так как люди видели только дарованные ему награды, а наказания оставались для них незримыми, за ним утвердилась слава хорошего человека. Иной раз, правда, удивлялись, как же так? Человек хороший, а женщин меняет одну за другой? Нет ли тут измены Царю, издавшему совсем иные законы? Но со временем и этому подыскали объяснение: стали говорить, что любвеобилие его велико, а любовь всегда считалась в той стране славнейшей из добродетелей. И поистине, даже Царь не мог измыслить большей награды, потому что любовь незримее, чем какие-то там мелкие материальные блага — деньги, успех и членство в Академии художеств. Наконец этот человек и сам уверовал, что он умеет любить много-много лучше всех так называемых хороших людей, которые не так уж хороши на самом-то деле (посмотрите хотя бы, какие наказания им назначаются — бедность, смерть детей, а кто лишится обеих ног во время железнодорожной катастрофы, да мало ли чего еще). И для него было ударом, когда в один прекрасный день он открыл, что никого и ничего не любит.

— Как же он это открыл?

— Это было первое важное открытие, которое он сделал в те дни, а дальше последовали другие. Говорил я вам, что человек он был очень умный, гораздо умнее тех, кто его окружал? Еще мальчиком он без посторонней помощи открыл для себя Царя. Правда, родители рассказывали ему разные истории о нем, но эти истории ничего не могли доказать. Скорее всего, его тешили небылицами. Мы любим Царя, говорили родители, но он пошел дальше них. Он доказывал его существование с помощью исторического, логического, философского и этимологического методов. Родители говорили, что это потеря времени, что они знают про Царя все и без доказательств, они его видели. «Где?!» — «У нас в сердце, конечно». Как он потешался тогда над их простодушием и суеверием! Разве Царь может быть у них в сердце, если он, их сын, способен доказать, что Царь и шагу не сделал из города, который отстоит за сотню миль от их фермы? Его Царь существует объективно, и нет другого Царя, кроме его собственного.

— Я не очень-то люблю притчи, а ваш герой мне вовсе не нравится.

— Мой герой сам себе не очень нравится, и поэтому он не любит распространяться на свой счет, разве только вот в такой форме.

— Вы сказали: «Нет другого Царя, кроме его собственного» — это совсем как у моего мужа.

— Не вините рассказчика в том, что он вводит в свой рассказ подлинных людей.

— Когда же будет самое интересное? А конец счастливый? Если нет, тогда я сейчас же засну. И хоть бы женщин его описали!

— Вы не лучше литературных критиков. Хотите, чтобы я сочинял по вашему вкусу.

— Вы читали «Манон Леско»?

— Сто лет назад.

— В монастыре мы этим романом зачитывались. Он, конечно, был под строжайшим запретом и ходил у нас по рукам, а я наклеила на него обложку с «Истории религиозных войн» мосье Лежена. Эта книга до сих пор у меня.

— Дайте мне досказать мою сказку.

— Ну, ладно,— покорилась она, откидываясь на подушки.— Досказывайте, если вам так уж хочется.

— Я говорил о первом открытии моего героя. Второе было сделано гораздо позже, когда ему стало ясно, что он не художник, а всего лишь искусный умелец, золотых дел мастер. Однажды он отлил из золота яйцо величиной со страусовое и покрыл его финифтью, а когда его откроешь, внутри за столиком сидит маленький золотой человечек, а на столике перед ним лежит маленькое золотое с финифтью яичко, а если открыть это яичко, там внутри за маленьким столиком тоже сидит маленький человечек, и на столике тоже лежит золотое с финифтью яичко, если открыть и это... Дальше можно не продолжать. Его назвали великим мастером своего дела, но многие пели ему хвалы и за высокую идею этого произведения искусства, ибо каждое яйцо было украшено в честь Царя золотым крестом, обложенным алмазной крошкой. Но изощренность этого замысла вымотала у него все силы, и вдруг, когда он трудился над последним яичком с помощью оптического стекла — так называли лупу в те древние времена, к которым относится наша сказка, ибо, конечно же, в ней нет и намека на современность и на кого-либо из ныне живущих...

Он надолго приложился к стакану. С незапамятных времен не было у него такой странной душевной приподнятости. Он сказал:

— О чем это я? Я, кажется, немножко пьян. Виски никогда на меня так не действовало.

— О золотом яйце,— ответил из-под простыни сонный голос.

— Ах, да, второе открытие.

Сказка получалась печальная, и ему было непонятно, откуда в нем это чувство раскрепощения и свободы, точно у заключенного, который наконец-то «раскололся» и во всем признается своему инквизитору. Может быть, это то самое воздаяние, которое получает кое-когда сочинитель? «Я сказал все, теперь можете меня казнить».

— Что вы говорите?

— О последнем яичке.

— Ах да, правильно. Так вот, наш герой вдруг понял, как ему все надоело. О том, чтобы снова приниматься за оправу драгоценных камней, и думать не хотелось. С ремеслом надо было расстаться — он истратил себя в нем до конца. Ничего более искусного или более бесполезного, чем то, что уже сделано, он не создаст, более высоких похвал, чем те, которыми его до сих пор осыпали, не услышит. И вообще это дурачье могло проваливаться со своими восхвалениями ко всем чертям.

— Ну, а дальше?

— Он пошел к дому номер 49 на Рю-де-Рампар, где его любовница снимала квартиру, с тех пор как ушла от мужа. Ее звали Мари. Ваша тезка. Около дома собралась толпа. А наверху он застал врача и полицию, потому что час назад она убила себя.

— Какой ужас!

— Его это не ужаснуло. В наслаждениях он давным-давно истратил себя до конца, так же как теперь — в работе. Правда, он все еще предавался им, подобно ушедшему со сцены танцовщику, который по привычке начинает день с упражнений у станка и не догадывается, что эти занятия можно прекратить. Да, наш герой почувствовал только облегчение; станок сломался, а заводить другой, решил он, не стоит труда. И месяца через два, конечно, завел. Но, увы, поздно! Многолетняя привычка была нарушена, и он никогда больше не занимался этим с прежним рвением.

— Какая противная сказка,— проговорил голос из-под простыни. Ее лица ему не было видно, потому что она накрылась с головой. Он оставил критику без внимания.

— Уверяю вас, бросить ремесло так же трудно, как мужа. И в том и в другом случае вам без конца твердят о долге. К нему приходили и требовали яиц с крестами (в этом заключался его долг по отношению к Царю и к царским приверженцам). По тому, какой шум вокруг всего этого

подняли, можно было подумать, будто кроме него никто не умеет делать ни яиц, ни крестов. Для того чтобы отвадить всю эту публику и показать ей, что прежних воззрений в нем не осталось, он отделал еще несколько драгоценных камней, придав им самую фривольную форму, какую только мог выдумать. Это были прелестные маленькие яблочки, которые вставлялись в пупки,— украшения для женских пупков сразу же вошли тогда в моду. Потом он стал мастерить мягкие золотые кольчуги с просверленным вверху камнем наподобие всевидящего ока, которые мужчины надевали на свои причинные места. Их почему-то прозвали каперскими свидетельствами, и некоторое время они тоже были в большом ходу, как подарки. (Вы сами знаете, как трудно женщине подобрать подходящий рождественский подарок мужчине.) И вот на нашего героя снова посыпались деньги и хвалы, а он злился, что к этой чепухе относятся не менее серьезно, чем в свое время к яйцам и крестам. Но он был придворный золотых дел мастер, и ничто не могло изменить это. Его провозгласили моралистом, и в этих изделиях увидели едкую сатиру на современность, что, как вы сами догадываетесь, неблагоприятно отразилось на торговле каперскими свидетельствами. Какой мужчина захочет носить сатиру на таком месте? Да и женщин, которым раньше так нравились податливые мягкие кольчуги с драгоценным камнем, теперь касались этих сатирических произведений искусства с большой опаской.

Впрочем, то обстоятельство, что его ювелирные изделия уже не пользовались успехом у широкой публики, принесло ему еще больший успех у знатоков, ибо знатоки презирают все, имеющее широкий спрос. О его творениях начали писать книги, и писали их главным образом те, кто претендовал на особую близость и любовь к Царю. Книги эти были написаны все на один лад, и, прочитав какую-то одну, наш герой получил представление и обо всех прочих. Почти в каждой была глава, называвшаяся «Яблоко в тесте — творчество падшего человека», или «От пасхального яичка до каперских свидетельств. Золотых дел мастер на службе у первородного греха».

— Почему вы все говорите: золотых дел мастер? — послышалось из-под простыни.— Будто не знаете, что он был архитектор.

— Я вас предупреждал: не ищите прототипов моей сказки. Чего доброго, узнаете себя в той Мари. С вас станет! Хотя вы, слава создателю, не из тех, кто кончает жизнь самоубийством.

— Вы еще не знаете, на что я способна,— сказала она.— Ваша сказка совсем не похожа на «Манон Леско», но тоже очень жалостная.

— Никто из этих людей не подозревал, что в один прекрасный день наш герой сделал очередное поразительное открытие — у него больше не было веры во все те доводы исторического, философского, логического и этимологического порядка, с помощью которых он установил существование Царя. Осталась лишь память о том, кто жил не в каком-то определенном городе, а в сердце его родителей. К несчастью, у него у самого сердце было устроено несколько по-другому, чем то единственное, которое поделили между собой его родители. Оно зачерствело от гордости и успехов, и теперь только гордость могла заставить его сердце биться учащенно, когда, завершив работу, он видел здание...

— Вы сказали здание.

— ...когда завершив работу, он видел у себя на верстаке готовую драгоценность или когда женщина в последний миг стонала: «Да, да, да, да!»

Он посмотрел на бутылку — виски там было на самом дне, стоило ли оставлять? Он вылил все в стакан, и воды туда не добавил.

— Видите, что получилось? — сказал он.— Наш герой обманул не только других, но и самого себя. Он искренне верил, что, любя свою работу, он любил и Царя, что, лаская женщину, он хоть и весьма несо-

вершенным образом, но подражал Царю, любящему свой народ. Ведь Царь так возлюбил мир, что послал в него и быка, и золотой дождь, и сына своего...

— Какая у вас каша в голове,— сказала она.

— Но, открыв, что нет такого Царя, в какого он верил, мой герой понял также, что все, им содеянное, было содеяно во имя любви к самому себе. Так стоит ли делать драгоценные украшения и ласкать женщин ради собственного удовольствия? Может, он истратил себя до конца и в любви и в творчестве еще до своего последнего открытия о Царе, а может, само это открытие послужило концом всему? Я-то не знаю, но говорят, бывали минуты, когда он думал: «А может быть, мое неверие это и есть последнее, окончательное доказательство существования Царя?» Кромешная пустота, видимо, была его карой за самовольное нарушение законов. А может статься, это было то самое, что люди называют болью. Все запуталось до нелепости, и он уже начинал завидовать простому, ничем не обремененному сердцу своих родителей, где, согласно их вере, жил Царь — жил в сердце, а не где-то за сто миль, во дворце, огромном и холодном, как собор святого Петра.

— Ну, а дальше что?

— Я же вам сказал, бросать ремесло — все равно что бросать мужа, одинаково трудно. Если б вы своего бросили, перед вами протянулись бы бесконечные дали дневного света, которые неизвестно как и где пересечь, и бесконечные дали ночной темноты, не говоря уж о телефонных звонках и участливых расспросах друзей и о какой-нибудь заметке в газетной хронике. Но эта часть сказки уже не интересна.

— И вот он взял свою самолетную книжку...— сказала она.

Виски было допито, и экваториальный день вспыхнул за окном, будто что-то вдруг разбилось о край неба, и бледно-зеленые, бледно-желтые и розовые, как фламинго, струйки потекли оттуда по горизонту и вскоре пожухли и перешли в обычную серость будничного дня. Он сказал:

— Я до утра вас проморил.

— Если бы хоть что-нибудь романтичное. Но и то ладно, по крайней мере те мысли отогнали.

Она хихикнула под простыней:

— А ведь я могла бы сказать ему, что мы провели ночь вместе. Почти так и есть. Как вы думаете, он подал бы на развод? Нет, вряд ли. Церковь разводов не разрешает. Церковь то, церковь се...

— А вам действительно так тоскливо живется?

Ответа не последовало. К молодым сон приходит так же внезапно, как наступает городской день в тропиках. Он тихонько отворил дверь и вышел в полутемный коридор, где все еще горела бледная, оставленная на ночь лампочка. Кто-то вставший ни свет, ни заря или, наоборот, полуночник притворил за собой дверь — пятую по коридору, в тишине заклокотала, захлебнулась спущенная вода. Он сел на кровать, день вокруг него разгорался — это был час прохлады. Он подумал: Царь почил в бозе, да здравствует Царь. Может быть, именно здесь он обрел родину и какую-то жизнь.

Глава вторая

I

Куэрри постарался выйти в город пораньше, чтобы выполнить до жары хотя бы часть докторских поручений. К завтраку Мари Рикэр не появилась, по ту сторону перегородки стояла полная тишина. В соборе Куэрри забрал почту, дожидавшуюся следующего парохода, обрадо-

вался, что ему писем не было. Toute à toi, видимо, ограничилась одним-единственным жестом по направлению к этим неведомым местам, и он надеялся, в ее же интересах, что этот жест был продиктован не любовью, а чувством долга и традициями, и, следовательно, его молчание будет воспринято безболезненно.

К полудню жара его иссушила, и, находясь в это время недалеко от реки, он свернул к пристани и поднялся по сходням на епископскую баржу посмотреть, нет ли капитана на борту. У трапа он остановился, сам себе удивляясь. Впервые после большого перерыва его вдруг потянуло с кем-то повидаться. Ему вспомнилось, как было страшно в тот вечер, когда он в последний раз поднялся на эту баржу и увидел огонек в каюте. Готовясь к очередному рейсу, команда уже погрузила топливо на понтоны, какая-то женщина развешивала выстиранное белье между трапом и котлом. Поднимаясь наверх, он крикнул: — Капитан! — но миссионер, сидевший в салоне за проверкой фрахтовых документов, был ему незнаком.

— Можно войти?

— Я догадываюсь, кто вы. Мосье Куэрри? Не откупорить ли нам бутылочку пива?

Куэрри спросил, где тот капитан.

— Он теперь преподает богословскую этику,— ответил его преемник,— в Ба Канге.

— Ему не хотелось уходить отсюда?

— Наоборот! Он был просто в восторге. Жизнь на реке не очень-то его прельщала.

— А вас она прельщает?

— Я еще сам не знаю. Это мой первый рейс. Все-таки перемена обстановки после семинарии и канонического права. Мы уходим завтра.

— В лепрозорий?

— Да, это наш конечный пункт. Будем там через неделю. Дней через десять. Еще не знаю точно, где придется брать грузы.

Уходя с баржи, Куэрри чувствовал, что им не заинтересовались. Капитан даже не спросил его о новой больнице. Может быть, «Паридиманш» сделала свое дело, и худшее уже позади, и ни Рикэр, ни Паркинсон больше не страшны ему? У него было такое ощущение, будто он на границе при въезде в чужую страну: беженец не сводит глаз с консула, следя, как тот берет перо, чтобы поставить последнюю резолюцию на его визу. Но беженцу до последней минуты не верится, что все сойдет гладко; слишком часто приходилось ему натыкаться на неожиданное сомнение, новый вопрос, новое требование, новую папку, с которой входит в кабинет консула вызванный им чиновник. В баре гостиницы, под абажуром с лунной рожицей и под сиреневыми цепями, сидел какой-то человек, это был Паркинсон.

Паркинсон поднял стакан с розоватым джином и сказал:

— Выпьем? Угощаю.

— Я думал, вы уехали, Паркинсон.

— Уезжал, но всего только в Стэнливиль, там беспорядки. Очерк написан, передан по телеграфу, и теперь я свободный человек до следующей поживы. Что будете пить?

— И надолго вы сюда?

— Пока не вызовут. Ваш материал прошел хорошо. Возможно, потребуется третий очерк.

— То, что я вам рассказал, вы не использовали.

— Не годилось для семейного чтения.

— Больше вы от меня ничего не получите.

— Как знать, как знать,— сказал Паркинсон.— Иной раз так повезет, такое подвалит! — Он встряхнул кусочки льда в стакане.— Пер-

вый очерк прошел с огромным успехом. Перепечатан всюду, даже у антиподов, кроме тех мест, конечно, что за железным занавесом. Американцы просто упиваются. Религия и антиколониалистский дух — лучшей смеси для них не придумаешь. Я только об одном жалею, что вы тогда не сфотографировали, как меня, больного, переносили на берег. Пришлось обойтись тем снимком, который сделала мадам Рикэр. Зато я снялся в Стэнливиле у сожженной машины. Это вы придирались ко мне из-за Стэнли? Наверно, он все-таки был в тех местах, иначе город не назвали бы в его честь. Куда вы?

— К себе в номер.

— А, да! Вы в шестом, по тому же коридору, что и я?

— В седьмом.

Паркинсон помешал пальцем кусочки льда.

— Ах вот как! В седьмом. Вы не обиделись на меня? Ради бога, не придавайте значения моим наскокам во время нашей прошлой беседы. Я хотел заставить вас разговориться, только и всего. Таким, как я, лезть на рожон не по чину. Копья, которыми пикадоры беспокоят быка, невзаправдашние.

— А что взаправдашнее?

— Следующий очерк. Прочтете — увидите.

— Заранее говорю, что правды там ни на грош.

— Туше! — сказал Паркинсон.— Странная вещь с метафорами — дыхание, что ли, у них короткое? Не выдерживают до конца. Хотите верьте, хотите нет, но в былые времена я уделял много внимания стилю.

Он заглянул в свой стакан с джином, точно в колодец.

— Ох и длинная же это штука — жизнь! Правда?

— Не так давно вы боялись, как бы не расстаться с ней.

— Она у меня одна-единственная,— сказал Паркинсон.

Дверь на слепящую улицу отворилась, и в бар вошла Мари Рикэр. Паркинсон сказал веселеньким голосом:

— Смотрите, кто идет!

— Мадам Рикэр приехала со мной, я ее подвез с плантации.

— Еще стакан джина! — крикнул бармену Паркинсон.

— Благодарю вас, но я не пью джин,— ответила ему Мари Рикэр фразой, будто бы взятой из английского разговорника.

— А что вы пьете? Вспоминаю, действительно я ни разу не видал вас со стаканом в руке, пока жил на плантации. Может быть, orange pressée, дитя мое?

— Я очень люблю виски,— горделиво сказала Мари Рикэр.

— Молодец. Взрослеете не по дням, а по часам.

Он пошел к бармену на дальнем конце стойки и по дороге вдруг подпрыгнул с неожиданной для такого толстяка легкостью и качнул рукой бумажные цепи.

— Ну что? — спросил Куэрри.

— Пока еще ничего нельзя сказать — будет ясно только послезавтра. Но он думает...

— Да?

— Он думает, что я влипла,— мрачно проговорила она, и тут же к ним подошел Паркинсон со стаканом в руке. Он сказал:

— Говорят, у вашего старика приступ?

— Да.

— Сочувствую! Я-то знаю, что это такое,— сказал Паркинсон.— Но ему везет, за ним молодая жена ухаживает.

— Сиделка ему не нужна.

— Вы сюда надолго?

— Не знаю. Дня на два.

— Тогда пообедаем вместе? Время найдется?

— О-о, нет! На это не найдется,— не колеблясь ответила она.

Он невесело ухмыльнулся.

— Еще туше!

Выпив свое виски, Мари Рикэр сказала Куэрри:

— Мы с вами вместе обедаем, да? Я только на минутку, руки вымою. Сейчас возьму ключ.

— Разрешите *мне*,— сказал Паркинсон и, не дав ей времени возразить, через минуту вернулся с ключом, болтающимся у него на мизинце.

— Номер шесть,— сказал он.— Значит, мы все трое на одном этаже.

Куэрри сказал:

— Я тоже поднимусь.

Мари Рикэр заглянула в свой номер и тут же подошла к его двери. Она спросила:

— Можно к вам? У меня так неуютно, просто ужас! Я встала поздно, и постель не успели постелить.

Она вытерла лицо его полотенцем и сокрушенно посмотрела на следы пудры, оставшиеся на нем.

— Простите, ради бога. Вот насвинячила! Не сообразила.

— Пустяки.

— Женщины отвратительны, правда?

— За свою долгую жизнь я этого не заметил.

— Втянула я вас в историю. Теперь проторчите из-за меня лишние сутки в этой дыре.

— Но доктор мог бы сообщить вам результаты письменно.

— Я не уеду, пока не буду знать наверняка. Как вы этого не понимаете? Если ответ будет «да», мне надо сразу же сказать ему. Это единственное, чем я смогу оправдать свою поездку.

— А если «нет»?

— Ну! Такое счастье? Тогда мне все будет нипочем. Может, и домой-то не вернусь.— Она спросила: — Что такое проверка на кролике?

— Я точно не знаю. Кажется, берут у вас мочу, разрезают кролика...

— Разрезают? — с ужасом спросила она.

— Потом опять зашьют. Он, кажется, доживает до следующей проверки.

— И почему мы так спешим узнавать худшее? Да еще за счет несчастного зверька.

— А вам совсем не хочется ребенка?

— Маленького Рикэра? Нет.

Она взяла его расческу из головной щетки на столике и, не взглянув на нее, провела ею по волосам.

— Я напросилась обедать с вами. Может, вы с кем-нибудь другим уговаривались?

— Нет.

— Это все из-за того типа. Он мне просто омерзителен.

Но отделаться от него в Люке было немыслимо. Из двух ресторанов, имеющихся в городе, они попали в один и тот же. Кроме них троих там никого не было; сидя у самой двери, Паркинсон поглядывал в их сторону между глотками супа. Свой «роллефлекс» он повесил на спинку соседнего стула, как вешают револьверы штатские в наше неспокойное время. Следовало отдать ему справедливость: он выходил на охоту, вооружившись одной фотокамерой.

Мари Рикэр подложила себе картофеля на тарелку.

— Только не говорите,— сказала она,— что я ем за двоих.

— Не собираюсь.

— Это ходячая колонистская шуточка, когда у кого-нибудь глисты.
— Как живот — болит?
— Увы, прошло. Доктор считает, что одно с другим не связано.
— Может, вам все-таки позвонить мужу? Он же будет волноваться, если вы и сегодня не вернетесь.
— Линия, наверно, испорчена. Здесь почти всегда так.
— Грозы эти дни не было.
— Африканцы вечно крадут провода.
Она молчала до тех пор, пока не прикончила ужасающего лилового крема.
— Пожалуй, вы правы. Пойду позвоню,— и ушла, предоставив ему пить кофе в одиночестве. Его чашка и чашка Паркинсона в унисон позвякивали о блюдца на пустых столиках.
Паркинсон заговорил с другого конца зала:
— Почта еще не пришла. Я жду свой второй очерк. Если придет, занесу к вам в номер. Да, кстати! Вы в шестом или седьмом? Как бы не ошибиться. Еще попадешь куда не следует.
— А вы не трудитесь.
— За вами должок — фотоснимок. Может, вы и мадам Рикэр сделаете мне такую любезность?
— От меня вы никаких фотоснимков не получите, Паркинсон.
Куэрри уплатил по счету и пошел на поиски телефона. Аппарат стоял на конторке, за которой сидела женщина с синими волосами и в синих очках и выписывала оранжевой ручкой счета.
— Звонок есть,— сказала Мари Рикэр,— но никто не отвечает.
— Надеюсь, ему не хуже?
— Наверно, ушел на завод.
Она повесила трубку и сказала:
— Все, что могла, я сделала, правда?
— Перед тем как пойдем ужинать вечером, надо позвонить еще раз.
— Теперь вам от меня не отделаться!
— Мне от вас, вам от меня.
— Другую сказку расскажете?
— Нет. Я только одну и знаю.
— До завтра с ума сойдешь. Просто не представляю себе, куда деваться, пока не узнаю.
— А вы ложитесь и полежите.
— Нет, не могу. Как, по-вашему, будет очень глупо, если я пойду в собор и помолюсь?
— Нисколько не глупо. Лишь бы провести время.
— Но если это здесь сидит, во мне,— сказала она,— от молитвы оно не исчезнет?
— Вряд ли.— Он нехотя сказал: — Священники и те не требуют, чтобы в это верили. Они, должно быть, посоветовали бы вам молиться об исполнении воли господней. Впрочем, не ждите от меня наставлений насчет молитв.
— Ну, знаете! — сказала Мари Рикэр.— Прежде чем молиться об исполнении его воли, я бы поинтересовалась, какая она. Но все равно пойду помолюсь. Буду молиться о счастье. Ведь так можно?
— Думаю, что можно.
— А это почти все охватывает.

2

Куэрри тоже не знал, куда девать себя. Он опять спустился к реке. Погрузку на епископской барже закончили, и на борту никого не было. Магазины на маленькой площади стояли с закрытыми ставнями. Каза-

лось, весь мир спал крепким сном, кроме него и молодой женщины, которая, наверно, все еще молилась. Впрочем, вернувшись в гостиницу, он обнаружил, что еще один человек бодрствует — Паркинсон. Он стоял под сиренево-розовыми цепями и не сводил глаз с двери. Как только Куэрри переступил порог, Паркинсон на цыпочках подошел к нему и сказал тоном хитроватым, но настоятельным:

— Мне надо поговорить с вами по секрету, прежде чем вы поднимете сь к себе.

— О чем?

— Обрисовать вам ситуацию,— сказал Паркинсон.— Буря над Люком. Знаете, кто там наверху?

— Где наверху?

— На втором этаже.

— Я вижу, вам не терпится сказать. Ну, говорите.

— Супруг,— пробасил Паркинсон.

— Какой супруг?

— Рикэр. Разыскивает жену.

— Пусть заглянет в собор, она, вероятно, там.

— Это все не так просто. Он знает, что она здесь с вами.

— Конечно знает. Я был вчера у него в доме.

— Тем не менее вряд ли он предполагал, что вы займете два смежных номера.

— Ход мысли, типичный для репортера скандальной хроники,— сказал Куэрри.— Какая разница — смежные номера, не смежные? В одну постель можно сойтись и с разных концов коридора.

— Вы недооцениваете репортеров скандальной хроники. Они пишут историю. От прекрасной Розамунды до Евы Браун.

— Ну, в историю чета Рикэров вряд ли войдет.

Он подошел к конторке и сказал:

— Приготовьте мне счет, пожалуйста. Я уезжаю.

— Удираете? — спросил Паркинсон.

— Зачем мне удирать? Я задержался здесь только потому, что хотел подвезти ее домой. Теперь она тут с мужем. Пусть он о ней и заботится.

— Ну и тип вы! Ничем вас не прошибешь! — сказал Паркинсон.— Я начинаю думать, что в ваших рассказах о себе кое-что и верно.

— Вот и напечатайте их вместо вашей ханжеской белиберды. Неужели не заманчиво хоть раз в жизни поведать правду?

— Но какую правду? Вы не такой простачок, Куэрри, каким прикидываетесь, а в моем очерке фактических искажений не было. Конечно, если не считать Стэнли.

— А пирога, а преданные слуги?

— Но то, что о вас, это все правда.

— Нет.

— Похоронили вы себя здесь? Похоронили. Работаете на прокаженных. Пошли в джунгли за тем африканцем. Все одно к одному, а в результате получается то, что люди любят именовать «благостью».

— Я знаю, что мною руководило.

— Ой ли! А святые тоже знали? А как же быть с «несчастнейшим из грешников» и тому подобной чепухой?

— Вы говорите, как отец Тома. Не совсем, конечно, но почти.

— История с одинаковым успехом может принять и мою версию, и вашу. Я обещал возвеличить вас, Куэрри. Но мы еще посмотрим — может быть. если я стащу вас с пьедестала, получится даже интереснее. А дело, кажется, к тому и идет.

— И вы воображаете, что это в ваших силах?

— Монтегю Паркинсона печатают повсюду.

Женщина с синими волосами сказала:

— Получите счет, мосье Куэрри,— и он повернулся к ней — платить.

— А может быть,— сказал Паркинсон,— вам все-таки стоит попросить меня об одолжении?

— Не понимаю.

— Мне часто приходилось выслушивать угрозы. Мою фотокамеру два раза разбивали вдребезги. Однажды я провел ночь в каталажке. Три раза меня колотили в ресторанах. Получалось почти как у святого Павла: «Три раза меня били палками, однажды камнями, три раза я терпел кораблекрушение...» — Он сказал:— И вот что странно — хоть бы кто-нибудь попробовал воззвать к моим лучшим чувствам! Ведь это могло бы подействовать. Вдруг они есть во мне... где-нибудь.— Он будто и в самом деле опечалился.

Куэрри мягко сказал:

— Я бы и попробовал, Паркинсон, да мне все равно.

Паркинсон сказал:

— Сил нет терпеть ваше чертово равнодушие! А вам известно, что он там нашел? Впрочем, разве вы снизойдете до того, чтобы расспрашивать журналиста? Полотенце у вас в номере. Я это полотенце сам ему показал. И расческа с длинными волосами.

На один-единственный миг его страдающий взгляд выдал, каково быть таким вот Паркинсоном. Он сказал:

— Вы меня разочаровали, Куэрри. Ведь я начинал верить в то, что писал о вас.

— Что ж, прошу прощения,— сказал Куэрри.

— Человек должен хоть немножко во что-то верить, не то сматывай удочки.

Кто-то шел вниз по лестнице и споткнулся на повороте. Это был Рикэр. В руке он держал книгу в ярко-красной мягкой обложке. Его пальцы, скользившие по перилам, дрожали, то ли от малярии, то ли от волнения. Он остановился, и с ближайшего кронштейна на него уставилась ухмыляющаяся, щекастая рожица лунного человечка. Он сказал:

— Куэрри.

— Здравствуйте, Рикэр. Ну, как вы себя чувствуете? Лучше?

— Я отказываюсь понимать,— проговорил Рикэр.— Кто угодно, только не вы...

Он замолчал, судорожно подыскивая готовые штампы — штампы из романов «Мари Шанталь», а не те, которые были привычны ему по богословской литературе.

— Я считал вас своим другом, Куэрри.

Оранжевая ручка застрочила что-то очень уж деловито, а синяя голова нагнулась над конторкой слишком низко.

— О чем это вы, Рикэр? — сказал Куэрри.— Давайте лучше перейдем в бар. Там мы будем более или менее одни.

Паркинсон двинулся было за ними, но Куэрри стал в дверях, загородив ему дорогу. Он сказал.

— Нет, Паркинсон, это не для вашего «Поста».

— Мне нечего скрывать от мистера Паркинсона,— сказал Рикэр по-английски.

— Как вам угодно.

Дневная жара прогнала из бара даже бармена. Бумажные цепи свисали с потолка, точно водоросли. Куэрри сказал:

— Ваша жена звонила вам после завтрака, но у вас никто не ответил.

— И не удивительно. В шесть утра я уже был в дороге.

— Я очень рад, что вы здесь. Теперь мне можно уехать.

Рикэр сказал:

— Отрицать бесполезно, Куэрри. Бесполезно. Я был в номере моей жены — в номере шестом, а ключ от седьмого у вас в кармане.

— К чему такие глупые, скоропалительные выводы, Рикэр? Даже по поводу полотенец и расчесок. Допустим, она умывалась утром в моем номере. Ну и что же? Номера смежные? Но только эти два и были готовы, когда мы приехали.

— Почему вы увезли ее, не сказав мне ни слова?

— Хотел сказать, но мы с вами разговорились совсем о других вещах.

Он посмотрел на Паркинсона, который стоял, опершись о стойку. Паркинсон не сводил глаз с их губ, точно это помогало ему понимать язык, на котором они говорили.

— Она уехала, бросила меня больного, с высокой температурой.

— При вас остался ваш бой. А у нее были дела в городе.

— Какие такие дела?

— Пусть, Рикэр, она вам сама обо всем расскажет. Разве у женщины не может быть секретов?

— Однако вы в них посвящены? Муж имеет право...

— Слишком вы любите говорить о своих правах, Рикэр. У нее тоже есть кое-какие права. Но я вовсе не собираюсь стоять здесь и доказывать вам...

— Куда вы?

— Пойду отыщу своего боя. Надо выезжать. У нас в запасе часа четыре до темноты.

— Но мне еще о многом надо поговорить с вами.

— О чем? О любви к богу?

— Нет,— сказал Рикэр.— Вот об этом.

Он протянул ему книжку в красном переплете, открытую на странице, вверху которой стояла дата. Куэрри увидел, что это дневник — тетрадка в одну линейку, а над строкой что-то написано аккуратным школьным почерком.

— Вот,— сказал Рикэр.— Прочитайте.

— Я не читаю чужих дневников.

— Тогда я сам вам прочту. «Провела ночь с К.»

Куэрри усмехнулся. Он сказал:

— Да, это верно... до некоторой степени. Мы пили виски, а я рассказывал ей длинную сказку.

— Не верю ни одному вашему слову.

— Вы заслуживаете, чтобы вас сделали рогоносцем, Рикэр, но у меня никогда не было вкуса к совращению малолетних.

— Интересно, что сказали бы на это в суде.

— Осторожнее, Рикэр. Не угрожайте мне. А вдруг я изменю своим вкусам?

— За такое можно поплатиться,— сказал Рикэр.— Здорово поплатиться.

— Сомневаюсь. Нет такого суда в мире, который поверил бы вам, а не нам с ней. Прощайте, Рикэр.

— Что же, вы думаете так легко отделаться — будто ничего и не было?

— Я очень хотел бы оставить вас в состоянии мучительной неизвестности, но это будет нечестно по отношению к ней. Между нами ничего не было, Рикэр. Я даже не поцеловал вашу жену. Она меня как женщина не интересует.

— Кто дал вам право так презирать нас?

— Возьмитесь за ум. Положите этот дневник туда, где вы его взяли, и ничего не говорите ей.

— «Провела ночь с К.» — и ничего не говорить?

Куэрри повернулся к Паркинсону:

— Дайте вашему другу чего-нибудь выпить и образумьте его. Вы ведь ему обязаны — материалом для своего очерка.

— Дуэль... Как это было бы прекрасно для нашей газеты,— мечтательно проговорил Паркинсон.

— Ее счастье, что у меня не буйный нрав,— сказал Рикэр.— Хорошая трепка...

— Это тоже входит в понятие о христианском браке?

Он вдруг почувствовал страшную усталость: вся жизнь прошла в разгаре таких вот сцен, слушать такие голоса ему на роду было написано, и если сейчас не остеречься, они будут звучать у него в ушах и на смертном одре. Он повернулся к ним обоим спиной и вышел, не обращая внимания на почти истошный вопль Рикэра:

— Это мое право! Я требую...

Сидя в кабине рядом с Део Грациасом, он успокоился. Он сказал:

— Ты больше не ходил в леса и меня туда никогда не возьмешь, я знаю... Но как бы мне хотелось... А где оно, Пенделэ? Далеко?

Део Грациас сидел, опустив голову, и молчал.

— Ну, ладно.

Около собора Куэрри остановил грузовик и вышел. Надо все-таки предупредить ее. Соборные двери были растворены настежь для вентиляции, и от безобразных витражей, пропускавших красный и синий свет, солнце казалось здесь еще пронзительнее, чем снаружи. Башмаки священника, который шел к ризнице, со скрипом ступали по кафельным плитам, старуха африканка позвякивала четками. Этот храм не годился для медитаций, в нем было жарко и неспокойно, как на людном рынке; в притворе гипсовые торгаши навязывали прихожанам кто младенца, кто кровоточащее сердце. Мари Рикэр сидела под статуей святой Терезы Лизьесской. Трудно было сделать более неудачный выбор. Кроме молодости их ничто не роднило.

Он спросил ее:

— Все еще молитесь?

— Да нет. Я не слышала, как вы подошли.

— Ваш муж в гостинице.

— А-а,— вяло протянула она, глядя на святую, не оправдавшую ее надежд.

— Вы оставили свой дневник у себя в номере, и он прочел его. Зачем вы написали: «Провела ночь с К.»?

— Но ведь это правда. Кроме того, я специально поставила восклицательный знак, чтобы было понятно.

— Что понятно?

— Что это в шутку. Монахини не сердились, если с восклицательным знаком. Например: «Мать настоятельница рвет и мечет!» Они называли его «преувеличительный знак».

— Вряд ли ваш муж знает монастырский код.

— Так он серьезно думает?..— спросила она и фыркнула.

— Я пытался разубедить его.

— Ах, как обидно, если он все равно в этом уверен. Мы бы и на самом деле могли... Куда же вы теперь поедете?

— Домой.

— Если б вы захотели, я бы уехала с вами. Но вы не захотите, я знаю.

Он посмотрел на гипсовое лицо с жеманной ханжеской улыбкой.

— А она что скажет?

— Я с ней не обо всем советуюсь. Только in extremis *. Хотя сейчас такой extremis, дальше некуда, правда? Учитывая и то, и се, и многое другое. Как, по-вашему, сказать ему про беременность?

— Лучше сказать, пока он сам не дознался.

— А я-то просила у нее счастья,— презрительно проговорила она.— Тоже, надеялась! А вы верите в силу молитвы?

— Нет.

— И никогда не верили?

— Раньше как будто верил. Тогда же, когда верил и в великанов.

Он оглядел собор — алтарь, раку, бронзовые паникадила и европейских святых, бесцветных, как альбиносы, на этом темном континенте. Он уловил в себе смутную тоску о прошлом, но это, вероятно, удел всех пожилых людей — тосковать о прошлом, даже о мучительном прошлом, потому что муки эти нерасторжимо связаны с молодостью. Если есть такое место Пенделэ, подумал он, я не стану искать оттуда пути назад.

— Вы, вероятно, считаете, что я тут только даром время потеряла на молитвы?

— Все-таки лучше, чем валяться в постели и думать свою невеселую думу.

— Значит, вы совсем не верите в силу молитвы? И в бога тоже?

— Нет.— Он мягко добавил: — Может быть, я и не прав.

— А Рикэр верит,— сказала она, называя его по фамилии, точно он уже не был ее мужем.— И почему это среди верующих совсем не те люди, какие нужны?

— Как же так? А монахини?

— Ну-у, они профессионалки. Во все верят. Даже в то, что ангелы перенесли богородицу из Назарета в Лоретское святилище. Они требуют от нас веры и в то, и в это, и в пятое, и в десятое, а мы верим все меньше и меньше.

Может быть, это говорилось только для того, чтобы оттянуть возвращение в гостиницу. Она сказала:

— Мне однажды здорово влетело за то, что я нарисовала Лоретское святилище в воздухе, с крыльями, как у реактивного самолета. А вы сильно верили... когда у вас еще была вера?

— Да. Как тот мальчик в сказке, я вооружался разной аргументацией и мог уверовать почти во все. При соответствующей настройке мыслей у тебя что угодно получится. И женишься и призвание найдешь. А когда годы пройдут и твоя женитьба или твое призвание окажутся пустым номером, лучше выходи из игры. Так и с верой. Люди цепляются за свою семейную жизнь, чтобы не остаться в одиночестве на старости лет, а за свое призвание — из страха перед нищетой. В том и в другом случае мотивировка неправильная. И так же неправильно цепляться за церковь только потому, что ее шаманство облегчает нам уход из этого мира.

— А приходить в этот мир разве шаманство не помогает? — спросила Мари Рикэр.— Если у меня внутри ребенок, ведь его придется крестить? Вряд ли я буду спокойно себя чувствовать с некрещеным. Как, по-вашему, это нечестно с моей стороны? Если бы только у него был другой отец!

— Почему же нечестно? И рано еще вам думать, что брак у вас неудачный.

— Конечно неудачный.

— Я имею в виду не Рикэра, а...— Он проговорил резко: — И прошу вас, хоть вы-то не берите меня за образец для подражания!

---

* В крайнем случае *(лат.)*.

Глава третья

I

Шампанское, которое Куэрри достал в Люке, было сладковатое, но ничего лучше он не нашел, а после трехдневного путешествия на грузовике и небольшой поломки машины у первого парома качество его и вовсе не повысилось. Монахини выставили от себя консервированный гороховый суп, четыре тощие жареные курицы и сомнительного вида омлет с желе из гуавы, омлет «сел» на полдороге между их домом и домом миссионеров. Но в тот день, когда с церемонией водружения конька было наконец-то покончено, наводить критику никому не захотелось. Перед амбулаторией натянули тент, а под ним на длинных досках, положенных на козлы, миссионеры и монахини поставили угощение для прокаженных, которые работали на строительстве больницы, и для членов их семей — официальных и неофициальных: мужчинам — пиво, женщинам и детям — фруктовую воду с булочками. Подготовка к пиршеству в доме монахинь велась в строжайшей тайне, но, по слухам, там должны были подать кофе, заваренный крепче обычного, и несколько коробок печенья птифур, хранившегося про запас с рождества и, по всей вероятности, успевшего заплесневеть за это время.

Перед пиром отслужили молебен. Отец Тома обошел снаружи все здание новой больницы, поддерживаемой отцом Жозефом и отцом Полем, и окропил его стены святой водой под пение гимнов на языке монго. Потом читали молитвы и слушали проповедь отца Тома, которая чрезмерно затянулась; он еще плохо владел языком монго, и понимали его с трудом. Прокаженным помоложе надоело слушать, и они разбрелись кто куда, а одного мальчугана брат Филипп застиг на месте преступления: он орошал новые стены своей собственной водичкой.

Никого не беспокоило, что в стороне от пирующих сидели и пели свои гимны несколько человек, не имеющих никакого отношения к местному племени. Только доктор, который работал раньше в Нижнем Конго, знал, что это повстанцы с побережья больше чем за тысячу километров отсюда. Из прокаженных вряд ли кто понимал их язык, и поэтому доктор не мешал им петь. О том, какой длинный путь они проделали, добираясь сюда лесными тропами, рекой и дорогой, можно было судить только по шести велосипедам, приставленным один к другому на ведущей в глубь леса тропинке, которой доктор случайно проходил тем утром.

E ku Kinshasa ka bazeyi ko.
E ku Luozi ka bazeyi ko...
В Киншаса никто ничего не знает.
В Луози никто ничего не знает.

Они пели и пели свою горделивую песнь, исполненную чувства превосходства — превосходства над своими же собратьями, над белыми, над христианским богом, над всеми, кто вне этой шестерки в спортивных каскетках с рекламой пива «Поло».

В Верхнем Конго никто ничего не знает.
На небе никто ничего не знает.
Те, кто поносит Духа, ничего не знают.
Вожди ничего не знают.
Белые люди ничего не знают.

Бога Нзамбе никогда еще не подвергали унижениям, это был особый бог. Один только Део Грациас приблизился к этой группе. Он сидел

на корточках между ними и больницей, и доктор вспомнил, что его привезли в лепрозорий ребенком откуда-то из Нижнего Конго.

— Таково наше будущее? — сказал Куэрри. Он судил не по словам песни, которые были непонятны ему, а по заносчиво сдвинутым набекрень каскеткам с рекламой пива «Поло».

— Да.

— Вас оно пугает?

— Еще бы! Но я не хочу пользоваться свободой за счет других.

— А они не прочь.

— Наша выучка.

Из-за всяких задержек и конек подняли наверх и начали пир почти перед самым закатом. Тент, натянутый перед амбулаторией, чтобы уберечь строителей от зноя, теперь был не нужен, но, взглянув на черные тучи, собиравшиеся за рекой, отец Жозеф не велел убирать его, на случай дождя.

С решением отца Тома ставить конек согласились не сразу. Отец Жозеф хотел оттянуть еще на месяц, в расчете что отец настоятель вернется к тому времени, и отец Поль сначала поддержал его, но, когда доктор Колэн стал на сторону отца Тома, они сняли свои возражения.

— Пусть отец Тома устраивает пир и распевает гимны, это его дело,— сказал им доктор.— А мне нужна больница.

Доктор Колэн и Куэрри отошли от людей, приехавших с востока, и, вернувшись назад, застали самый конец торжественной церемонии.

— Мы поступили правильно,— сказал доктор,— но все-таки жаль, что настоятеля не было. Он порадовался бы, глядя на этот спектакль, а кроме того, его проповедь была бы понятнее.

— И короче,— сказал Куэрри. Глухие голоса африканцев затянули новый гимн.

— А все-таки не уходишь и слушаешь.

— Да, я слушаю.

— А почему?

— Голоса предков. Воспоминания. Разве вам не приходилось в детстве лежать и прислушиваться, что они там говорят внизу? Слов не разбираешь, а в самих голосах есть что-то успокоительное. Вот и сейчас так. Приятно слушать, а самому молчать. Пожара в доме нет, вор не затаился в соседней комнате. Ничего я не хочу понимать, ни во что не хочу верить. Если веришь, так надо еще и думать. А я думать больше не намерен. Строить крольчатники, сколько бы их вам ни понадобилось, можно и не думая.

Попивая шампанское за ужином, в миссии очень веселились. Отца Поля поймали на том, что он хотел выпить лишний стакан. Кто-то еще — брат Филипп? вряд ли, на него это не похоже — налил содовой в опорожненную бутылку, и бутылка обошла полстола, пока это не обнаружили. Куэрри вспомнил то, что было несколько месяцев назад: вечер в семинарии на берегу реки, когда миссионеры жульничали в карты. Тогда он ушел в заросли, так ему было нестерпимо слушать их инфантильные шуточки, их смех. Как же это он сейчас сидит здесь и улыбается вместе со всеми? Он даже поймал себя на том, что его раздражает физиономия отца Тома, который со строгим видом восседал во главе стола, не участвуя во всеобщем веселье.

Доктор провозгласил тост в честь отца Жозефа, а отец Жозеф провозгласил тост в честь доктора. Отец Поль провозгласил тост в честь брата Филиппа, а брат Филипп сконфузился и будто язык проглотил. Отец Жан провозгласил тост в честь отца Тома, но отец Тома ответного тоста не предложил. Шампанское уже подходило к концу, как вдруг кто-то извлек из недр буфета початую бутылку сандемановского порт-

вейна, и портвейн стали пить из ликерных рюмок, чтобы на дольше хватило.

— Если хотите знать, так англичане пьют портвейн после десерта,— сказал отец Жан.— Странный обычай, возможно протестантский, но тем не менее...

— А в богословской этике на сей счет ничего не сказано? — спросил отец Поль.

— В каноническом праве сказано: Lex contra Sandemanium. Но и этот закон был, разумеется, так истолкован одним славным бенедиктинцем...

— Отец Тома, рюмочку портвейна?

— Благодарю вас, отец. С меня вполне достаточно того, что я уже выпил.

Тьма за растворенной дверью вдруг подалась назад, и на мгновение в странном желтом свете, как на выцветшей фотографии, они увидели низко накренившиеся пальмы. Потом там опять все почернело, и ветер, ворвавшийся в комнату, шевельнул страницы киножурнала отца Жана. Куэрри встал затворить дверь от надвигающейся грозы, но передумал и, ступив наружу, закрыл ее за собой. Небо на севере снова вспыхнуло, как будто над рекой продернули длинную ленту. Оттуда, где веселились прокаженные, донесся гул барабанов, и тут же — раскат грома в ответ, точно воинская часть шла на смену. На веранде кто-то был. При вспышке молнии он увидел, что это Део Грациас.

— Почему же ты не на празднике, Део Грациас?

И он тут же вспомнил, что праздник устроен не для увечных, а для каменщиков, плотников, столяров. Он сказал:

— Молодцы, хорошо поработали, больница выстроена.

Део Грациас стоял молча. Куэрри сказал:

— Ты что, опять задумал побег? — и, раскурив сигарету, сунул ее бою в рот.

— Нет,— сказал Део Грациас.

Куэрри почувствовал в темноте прикосновение култышки. Он сказал:

— Что случилось, Део Грациас?

— Ты уедешь,— сказал Део Грациас.— Когда больница готова.

— Нет, нет, не уеду. Я доживу здесь до конца дней своих. Туда, откуда я приехал, мне возвращаться нельзя, Део Грациас. Нет мне там места.

— Ты убил человека?

— Я убил все, что можно было убить.

Гром послышался ближе, и тут же зашумел дождь. Сначала он разведчиком тихонько шуршал среди пальмовых вееров, крался в траве, потом уверенной поступью великого водяного воинства двинулся от реки и приступом захлестнул ступеньки веранды. Барабаны прокаженных умолкли сразу, как погашенное пламя, и даже удары грома были едва слышны сквозь мощную атаку дождя.

Део Грациас подступил ближе.

— Возьми меня с собой,— сказал он.

— Говорю тебе, я останусь здесь. Почему ты мне не веришь? До конца жизни. Меня здесь и похоронят.

Может быть, его не было слышно из-за дождя, но Део Грациас повторил:

— Я с тобой.

Где-то задребезжал телефон — банальный звук человеческого жилья, как неутешный детский плач, пронзающий шум ливня.

2

Когда Куэрри вышел, отец Тома сказал:

— Мы всех тут почтили, а за того, кому больше всех обязаны, не выпили.

Отец Жозеф сказал:

— Он прекрасно знает, как мы ему благодарны. А тосты ведь были шуточные, отец Тома.

— Я считаю, что, когда он вернется, мне следует выразить ему нашу благодарность официально, от имени всей общины.

— И тем самым вы только смутите его,— сказал доктор Колэн.— Человеку нужно от нас лишь одно — чтобы его оставили в покое.

По крыше забарабанил дождь, брат Филипп стал зажигать свечи на буфете, на случай если погаснет электричество.

— Благословен тот день, когда он к нам приехал,— сказал отец Тома.— Кто бы мог предвидеть это? Знаменитый Куэрри!

— А для него тот день вдвойне благословен,— ответил доктор.— Дух поддается лечению гораздо труднее, чем тело, и все-таки мне кажется, что он почти здоров.

— Чем достойнее человек, тем сильнее объемлет его бесплодность пустыни,— сказал отец Тома.

Отец Жозеф с виноватым видом посмотрел сначала на свой стакан, потом на сотрапезников. По милости отца Тома у всех у них было такое чувство, будто они пьянствуют в церкви.

— Человек малой веры и не заметит временной утраты ее.— Отец Тома был непогрешим в своих сентенциях. Отец Поль подмигнул отцу Жану.

— Вы слишком много ему приписываете,— сказал доктор.— Его случай, вероятно, гораздо проще. Бывает же так, что полжизни человек верит без достаточных к тому оснований, а потом вдруг обнаруживает свою ошибку.

— Вы, доктор, рассуждаете, как все атеисты, точно нет на свете божественной благодати. Вера без благодати немыслима, а господь никогда не отымет у человека своего дара. Человек сам себя его лишает — своими поступками. Поступки Куэрри у всех у нас на виду, и по ним можно судить, каков он.

— Надеюсь, вам не придется потерпеть разочарование,— сказал доктор.— К нам на излечение увечные тоже поступают, но мы не считаем, что их объемлет пустыня. У нас это объясняется так: болезнь изжила сама себя.

— Вы очень хороший врач, но все же мне кажется, что мы лучше можем судить о духовном состоянии человека.

— Да, да, безусловно! Если таковое существует.

— Вы обнаруживаете уплотнение на коже там, где наш глаз ничего не заметит. Но не отказывайте нам в чутье на... гм!..— отец Тома запнулся,— ...на доблесть.

Из-за грозы они говорили громче обычного. Зазвонил телефон.

Доктор Колэн сказал:

— Это, должно быть, из больницы. У меня там умирает один больной.

Он подошел к буфету, где стоял аппарат, и поднял трубку. Он сказал:

— Кто это? Сестра Клэр? — Потом обратился к отцу Тома: — Кто-то из ваших монахинь. Вы ответите? Я не разбираю, что она говорит.

— Может быть, они добрались до нашего шампанского? — сказал отец Жозеф.

Доктор Колэн передал трубку отцу Тома и вернулся к столу.

— Голос взволнованный, а кто, я не понял,— сказал он.

— Говорите медленнее,— сказал отец Тома.— Кто это? Сестра Элен? Я вас не слышу, гроза очень сильная. Повторите, пожалуйста. Не понимаю.

— Какое счастье,— сказал отец Жозеф,— что у сестер не каждый день пир горой.

Отец Тома, взбешенный, круто повернулся к нему. Он сказал:

— Замолчите, отец. Я из-за вас ничего не слышу. Дело не шуточное, случилась страшная вещь.

— Кто-нибудь заболел? — спросил доктор.

— Передайте матери Агнесе,— сказал отец Тома,— что я сейчас же приду. И его разыщу и приведу с собой.

Он повесил трубку и ссутулился над телефоном, как вопросительный знак.

— Что случилось, отец? — спросил доктор.— Моя помощь не требуется?

— Кто знает, где Куэрри?

— Он только что вышел на веранду.

— Как бы я хотел, чтобы настоятель был здесь!

Они удивленно посмотрели на отца Тома. Эти слова как нельзя более свидетельствовали о его смятении.

— Может, мы все-таки узнаем, что случилось? — спросил отец Поль.

Отец Тома сказал:

— Завидую вам, доктор, что в вашем деле лабораторный анализ решает все! Вы были правы, когда предупреждали меня о возможном разочаровании. И вы и настоятель. Он говорил почти то же самое. Я слишком полагался на видимость!

— Куэрри в чем-нибудь провинился?

— Упаси меня боже осуждать человека, не проверив всех...

Дверь отворилась, и вошел Куэрри. Следом за ним в комнату ворвались дождевые струи, и ему не сразу удалось захлопнуть за собой дверь. Он сказал:

— В водомерном стекле уже на полсантиметра воды.

Все молчали. Отец Тома шагнул ему навстречу.

— Мосье Куэрри, это правда, что вы ездили в Люк с мадам Рикэр?

— Да. Я подвез ее.

— На *нашем* грузовике?

— Да, конечно.

— И это в то время, когда ее муж лежал больной?

— Да.

— Что такое? В чем дело? — сказал отец Жозеф.

— Спросите мосье Куэрри,— ответил ему отец Тома.

— О чем?

Отец Тома надел резиновые сапоги и взял зонтик с вешалки.

— Что я такого сделал? — сказал Куэрри и посмотрел сначала на отца Жозефа, потом на отца Поля. Отец Поль недоуменно развел руками.

— Все-таки не мешало бы нам знать, что произошло, отец,— сказал доктор Колэн.

— Я вынужден попросить вас, мосье Куэрри, чтобы вы пошли со мной. Мы посоветуемся с сестрами, как быть дальше. Я до последней секунды надеялся, что произошла какая-то ошибка. Я даже был бы рад, если бы вы попытались отрицать все это. И вдруг такое бесстыдство! Если Рикэр приедет сюда, я не хочу, чтобы он застал вас здесь.

— А зачем Рикэру сюда приезжать? — сказал отец Жан.

— Зачем? Полагаю, что за женой. Его жена сейчас у сестер. Она

приехала полчаса назад. Три дня в дороге — одна. Она беременна,— сказал отец Тома. Телефон снова зазвонил.— Ребенок ваш.

Куэрри сказал:

— Какой вздор! Она не могла этого говорить.

— Несчастная женщина. У нее, вероятно, не хватило духа признаться мужу. Она приехала из Люка, разыскивает вас.

Снова зазвонил телефон.

— Кажется, моя очередь отвечать,— сказал отец Жозеф, со страхом берясь за трубку.

— Мы здесь так хорошо вас приняли. Ни о чем не расспрашивали. Никто не любопытствовал узнать ваше прошлое. И в благодарность за все это вы преподносите нам такую... такую скандальную историю. Мало вам было женщин в Европе? Вы и нашу маленькую общину сделали ареной своих похождений!

Отец Тома вдруг снова превратился в того издерганного, во всем изверившегося священника, который не спал по ночам и боялся темноты. Он заплакал и, точно африканец, цепляющийся за свой тотем, прижал зонтик к груди. Он был похож на пугало, проторчавшее всю ночь на огороде.

— Алло, алло! — кричал в трубку отец Жозеф.— Заклинаю вас всеми святыми, говорите громче! Кто это?

— Пойдемте к ней вместе. Сейчас же,— сказал Куэрри.

— Это ваше право,— сказал отец Тома.— Хотя сейчас она, наверно, не в состоянии что-то доказывать. Последние три дня она ничего не ела, кроме плитки шоколада. Она приехала одна, без слуги. Ах, если бы настоятель... И кто? Подумать только — мадам Рикэр! Сколько наша миссия видела добра от них! Боже мой! Да что там такое, отец Жозеф?

— Это из больницы,— с облегчением проговорил отец Жозеф и передал трубку доктору Колэну.

— Я ждал этого звонка — больной умер,— сказал доктор.— Слава богу, естественный ход вещей кое в чем еще сохранился.

3

Отец Тома в полном молчании шагал впереди под своим огромным зонтом. Дождь ненадолго утих, но с зонтичного каркаса все еще капало. Отца Тома было видно только во время вспышек молнии. Фонарика у него не было, но он и в темноте мог идти по этой тропинке, не сбиваясь. Не один омлет и не одно суфле погибли здесь, на этой тропе, а сколько на них было потрачено яиц! Белый домик монахинь внезапно вырос перед ними при вспышке молнии и одновременном громовом раскате. Ударило в дерево где-то совсем близко, и во всей миссии перегорели пробки.

В дверях их встретила одна из монахинь. Она посмотрела на Куэрри через плечо отца Тома, точно перед ней предстал сам дьявол — столько в ее взгляде было ужаса, отвращения и любопытства. Она сказала:

— Мать настоятельница около мадам Рикэр.

— Мы пройдем туда,— мрачно проговорил отец Тома.

Она провела их в комнату с белыми стенами, где Мари Рикэр лежала на кровати, выкрашенной белой краской. Над ней висело распятье, рядом на столике горел ночник. Мать Агнеса сидела рядом и гладила Мари Рикэр по щеке. Первое впечатление у Куэрри было такое, что после долгих странствий по чужим краям в дом благополучно вернулась дочь.

Отец Тома спросил алтарным шепотом:

— Ну, как она?

— Цела и невредима,— сказала мать Агнеса,— телесно невредима.

Мари Рикэр повернулась на бок и посмотрела на них. Во взгляде у нее была незамутненная правдивость, как у ребенка, который приготовился сказать твердокаменную ложь. Она улыбнулась Куэрри и проговорила:

— Простите меня. Я не могла не приехать. Мне было страшно.

Мать Агнеса отняла руку от лица Мари Рикэр и уставилась на Куэрри, точно боясь, как бы он чего не сделал с ее подопечной.

Куэрри мягко сказал:

— Не бойтесь. Было страшно ехать одной в такую даль, а теперь бояться нечего. Теперь вы среди друзей и можете объяснить им...— Он не договорил.

— Да, да,— прошептала она.— Я все объясню.

— Они не поняли, что вы им говорили. О нашей поездке в Люк. И о ребенке. Это подтвердилось — о ребенке?

— Да.

— Так скажите им, чей это ребенок.

— Я сказала,— ответила она.— Ваш.— И добавила: — Ну, и мой, конечно,— как будто это добавление должно было все объяснить и все оправдать.

Отец Тома сказал:

— Вот видите!

— Зачем же вы так говорите? Вы же знаете, что это неправда. До поездки в Люк мы с вами даже не оставались наедине.

— В тот раз,— сказала она,— когда мой муж впервые привел вас в дом.

Ему было бы легче, если бы он разозлился, но зла против нее у него не было. В определенном возрасте лгать так же естественно, как и играть с огнем. Он сказал:

— Вы говорите вздор и сами это прекрасно знаете. Я уверен, что вы не хотите причинить мне зло.

— Нет, нет! — сказала она.— Как можно! Je t'aime, cheri. Je suis toute à toi *.

Мать Агнеса брезгливо сморщила нос.

— Потому я к тебе и приехала,— сказала Мари Рикэр.

— Ей надо отдохнуть,— сказала мать Агнеса.— Все это можно обсудить завтра утром.

— Разрешите мне поговорить с ней наедине.

— Ни в коем случае,— сказала мать Агнеса.— Это недопустимо. Отец Тома, вы не позволите ему...

— Почтеннейшая! Неужели же я буду ее бить? При первом ее вопле вы можете прибежать на выручку.

Отец Тома сказал:

— Если мадам Рикэр согласна, вряд ли мы сможем воспрепятствовать этому.

— Конечно согласна,— сказала Мари Рикэр.— За тем я сюда и приехала.

Она тронула Куэрри за рукав. Ее улыбка, полная печали и поруганного доверия, была достойна Сары Бернар в роли умирающей Маргариты Готье.

Когда они остались вдвоем, она сказала со счастливым вздохом:

— Вот так-то.

— К чему вся эта ложь?

— Это не все ложь,— сказала она.— Я ведь вас правда люблю.

— С каких пор?

— С тех пор как провела с вами ночь.

---

* Я люблю тебя, дорогой. Я вся твоя *(франц.)*.

— Но вы же прекрасно знаете, что тогда ничего не было. Мы пили виски. Я рассказывал вам сказку, чтобы вы поскорее уснули.

— Да. В некотором царстве, в некотором государстве. Вот тогда я и влюбилась. Нет, не тогда. Кажется, опять вру,— сказала она с наигранным смирением.— Это было, когда вы в первый раз к нам пришли. Un coup de foudre *.

— В ту ночь, которую, по вашим словам, мы провели вместе?

— Нет, это тоже вранье. На самом деле я провела с вами ночь после приема у губернатора.

— Да что вы несете?

— Мне с ним не хотелось. И тогда, чтобы как-то себе помочь, я закрыла глаза и вообразила, что это вы.

— Я, видимо, должен рассыпаться в благодарностях,— сказал Куэрри,— за комплимент.

— Тогда, наверно, ребенок и получился. Так что видите, я им не наврала.

— Не наврали?

— Ну, серединка на половинку. Если бы я не думала тогда о вас, у меня было бы все по-другому, и я бы не забеременела. Значит, в какой-то степени это и ваш ребенок.

Он посмотрел на нее отчасти даже с уважением. Только богословам было бы под силу дать должную оценку извилистым путям ее логики и отделить в них добрый умысел от злого, а ведь совсем еще недавно он думал, что такое юное и бесхитростное существо не может представлять никакой опасности. Она улыбнулась ему чарующей улыбкой, словно надеясь выудить у него еще какую-нибудь сказку и оттянуть время сна. Он сказал:

— Лучше расскажите мне, что там у вас произошло в Люке, когда вы увиделись с мужем.

Она сказала:

— Кошмар! Просто кошмар! Я думала, он меня убьет. Про дневник не поверил. И донимал, донимал меня расспросами всю ночь и под конец так измучил, что я сказала: «Хорошо. Пусть будет по-твоему. Я спала с ним. И здесь, и дома, и всюду, и везде». Тогда он ударил меня. И еще хотел ударить, да мистер Паркинсон помешал.

— Ах, Паркинсон тоже там был?

— Он прибежал на мой крик.

— Сделать несколько фотоснимков?

— Нет, по-моему, он в тот раз ничего не снимал.

— А потом что было?

— Ну, а потом он узнал и про все вообще. Он хотел сейчас же увезти меня домой, а я сказала, что мне надо побыть в Люке, пока я не буду знать наверняка. Он спросил: «Что знать?» И тут все выплыло наружу. Утром я пошла к доктору, выслушала там страшное подтверждение и, не возвращаясь в гостиницу, поехала сюда.

— Рикэр думает, что ребенок мой?

— Я всячески ему втолковывала, что ребенок его... потому что до некоторой степени это так и есть.

Со вздохом удовлетворения она вытянулась на кровати и сказала:

— Господи, до чего же хорошо. А как было страшно ехать одной! Ведь еды я из дому не взяла, койку тоже, приходилось спать прямо в машине.

— В машине, которая принадлежит ему?

— Да. Но я надеюсь, что мистер Паркинсон довезет его до дому.

— Я бы попросил вас сказать отцу Тома, как все было на самом деле, но думаю, что это бесполезно.

* Здесь — любовь с первого взгляда *(франц.)*.

— Да, корабли-то я уже сожгла.

— Вы сожгли единственное мое пристанище,— сказал Куэрри.

— Надо же мне как-то вырваться отсюда,— извиняющимся тоном ответила она. Впервые в жизни он столкнулся с эгоизмом, таким же безграничным, как и его собственный. Та, другая Мари была отомщена, а что касается Toute à toi — вот когда она может торжествовать.

— Чего же вы теперь ждете от меня? — спросил Куэрри.— Ответной любви?

— Это было бы очень мило, но если вы не захотите, так им придется отослать меня на родину.

Он подошел к двери и отворил ее. Мать Агнеса маячила в конце коридора. Он сказал:

— Я сделал все, что мог.

— Вы, наверно, заставляли эту бедняжку выгораживать вас?

— Мне она, конечно, во всем призналась, но магнитофона у меня нет. Какая жалость, что церковь осуждает установку потайных микрофонов.

— Могу я попросить вас, мосье Куэрри, чтобы вы больше не появлялись в нашем доме?

— Я и без просьб не появлюсь. Но вы сами будьте поосторожнее с этим маленьким динамитным патроном, что в той комнате.

— Это несчастная, невинная молодая женщина...

— Ах, невинная! Пожалуй, вы правы. Да избавит вас бог от всяческой невинности. Грешники, по крайней мере, знают, что творят.

Перегоревшие пробки еще не починили, и ноги сами привели его по тропинке в миссионерский поселок. Ливень ушел к югу, но вспышки молнии нет-нет да и колыхали небо над рекой и лесной чащей. К зданию миссии надо было идти мимо дома доктора. В окне у него горела керосиновая лампа, а сам он стоял рядом и вглядывался в темноту. Куэрри постучал в дверь.

Колэн спросил:

— Ну, что там у вас?

— Она упорствует в своей лжи. Это единственное, что поможет ей бежать.

— Бежать?

— Бежать от Рикэра и из Африки.

— Отец Тома держит там совет. Меня это не касается, и я ушел.

— Они, наверно, захотят, чтобы я уехал?

— Ах, если бы настоятель был здесь! Отец Тома — личность не совсем уравновешенная.

Куэрри сел к столу. Атлас по лепре был открыт на странице с пестрыми завихрениями рисунков. Он спросил:

— Что это такое?

— У нас это называется «рыбка плывет вверх по реке». Вот эти яркие пятнышки — это бациллы, кишащие в нервных стволах.

— Когда я сюда добрался,— сказал Куэрри,— мне думалось, что дальше путей нет.

— Ничего, пронесет. Пусть выговорятся. Нам с вами есть еще над чем поработать. Больница построена, и теперь надо заняться передвижными амбулаториями и проектом новых уборных, о котором я вам говорил.

— Мы имеем дело не с больными, доктор, и не с вашими пестрыми рыбками. Их поведение можно определить заранее. А эти люди вполне нормальны и здоровы, и за их поступки ручаться нельзя. Похоже, что мне, так же как и Део Грациасу, не суждено добраться до Пенделэ.

— Я не подчиняюсь отцу Тома. Можете жить у меня, если вас не испугает, что спать вам придется в моей рабочей комнате.

— Нет, нет. Вам нельзя ссориться с ними. Вы здесь так нужны. А мне придется уехать.

— Куда же вы уедете?

— Не знаю. Странно, не правда ли? Когда я приехал сюда, мне казалось, что я не способен испытывать боль, и это меня очень беспокоило. Вероятно, прав был миссионер, которого я встретил тогда на реке. Он сказал, что страдания рано или поздно придут. И вы мне говорили то же самое.

— Я очень жалею, что так вышло.

— А про себя я этого, пожалуй, сказать не могу. Вы как-то говорили, будто, страдая, начинаешь чувствовать, что приобщаешься к бытию человеческому со стороны христианского мифа. Помните? «Я страдаю, следовательно, я существую». Нечто подобное написано у меня в дневнике, но, когда я это написал и при каких обстоятельствах, не помню. Да и вместо «страдаю» там было какое-то другое слово.

— Если человек вылечился,— сказал доктор,— разве можно пускать его силы на ветер!

— Вылечился?

— Вам больше не понадобится делать анализы соскобов.

4

По рассеянности отец Жозеф вытер нож о полу сутаны и сказал:

— Все-таки не следует забывать, что обвинение держится только на ее словах.

— Зачем ей было выдумывать такую страшную историю? — спросил отец Тома.— Ребенок-то, по-видимому, ожидается на самом деле.

— Куэрри столько для нас сделал,— сказал отец Поль.— Мы должны быть благодарны ему.

— Благодарны? Вы это серьезно, отец? После того как он выставил нас на всеобщее посмешище? «Отшельник с берегов Конго. Святой с прошлым». Сколько всего о нем было написано в газетах! А что теперь будут писать?

— Вас эти писания радовали больше, чем самого Куэрри,— сказал отец Жан.

— Конечно радовали. Я в него верил. Я думал, что он появился здесь с добрыми намерениями. И даже выгораживал его перед настоятелем, когда тот предостерегал меня. Но в те дни я ведь знать не знал, что его заставило приехать сюда.

— А если теперь узнали, поделитесь с нами.— Отец Жан говорил сухо и односложно, как на дискуссиях по богословской этике, когда все то, что касалось сексуальных грехов, надо было подавать без всякой эмоциональной окраски.

— Я только могу предположить, что он бежал из Европы от каких-то неприятностей с женщинами.

— Неприятности с женщинами — термин не точный, а кроме того, разве нам не предписано бежать от этого? Святой Августин советовал не спешить в таких случаях, но его советом руководствуются далеко не все и не везде.

— Куэрри прекрасный строитель,— упорствовал отец Жозеф.

— Так что же вы предлагаете? Чтобы он остался в миссии и жил во грехе с мадам Рикэр?

— Конечно нет,— сказал отец Жан.— Мадам Рикэр завтра же должна уехать отсюда. Судя по вашим же словам, он не жаждет отправиться следом за ней.

— На том дело не кончится,— сказал отец Тома.— Рикэр потребует

раздельного жительства. Может быть, даже подаст на Куэрри в суд и начнет бракоразводный процесс, и тогда вся эта поучительная история попадет в газеты. Куэрри и без того их интересует. Как вы думаете, генерал обрадуется, когда прочитает за завтраком о скандале в нашем лепрозории?

— Конек, к счастью, уже поставлен,— сказал отец Жозеф, все вытирая и вытирая нож,— но нам еще столько надо строить.

— А что, если просто подождать? — сказал отец Поль.— Кто знает? Может, она все выдумала. Может, Рикэр не предпримет никаких шагов. В газетах ничего не будет. Ведь им не интересно показывать миру такого Куэрри. Может, вся эта история и не дойдет до ушей или глаз генерала.

— А вы думаете, епископ так ничего и не узнает? В Люке сейчас, наверно, только и разговоров что об этом. В отсутствие настоятеля я несу ответственность.

Заговорил брат Филипп — впервые за все время.

— Там кто-то ходит,— сказал он.— Отпереть дверь?

Это был Паркинсон, мокрый до костей, потерявший дар речи от спешки. Он водил ладонью по левой стороне груди, будто стараясь усмирить зверька, что сидел у него под рубашкой, как у спартанца.

— Подайте ему стул,— сказал отец Тома.

— Где Куэрри? — спросил Паркинсон.

— Не знаю. Должно быть, у себя.

— Рикэр его разыскивает. Он ходил к сестрам, но не застал его там.

— А откуда вы знали, где искать?

— Она оставила дома записку Рикэру. Мы бы догнали ее, да машина сломалась у последней переправы.

— Где сейчас Рикэр?

— Бог его знает. Темнотища-то какая. Может, сбился с дороги и ухнул в реку.

— Он виделся с женой?

— Нет. Какая-то старая монашка вытолкала нас обоих за дверь и заперлась на ключ. Тогда он еще пуще взбеленился. Мы с ним и шести часов не спали с тех пор, как выехали из Люка, а это было больше трех дней назад.

Он покачивался взад и вперед, сидя на стуле.

— О, если б этот грузный куль мясной... Цитата. Из Шекспира. У меня больное сердце,— пояснил он отцу Тома, которому слабое знание английского мешало следить за ходом его мыслей. Остальные слушали внимательно, но понимали и вовсе немного. Всем им только становилось ясно, что дело безнадежно запутывается.— Дайте мне, пожалуйста, чего-нибудь выпить,— сказал Паркинсон.

Отец Тома обнаружил шампанское на дне одной из бутылок, которые все еще стояли на столе среди куриных костей и расковырянного вилками недоеденного суфле.

— Шампанское? — воскликнул Паркинсон.— Я бы предпочел глоточек джина.

Он посмотрел на бутылки и рюмки — в одной остался недопитый портвейн, и сказал:

— Вы тут себе ни в чем не отказываете.

— У нас сегодня особенный день,— несколько смущенно ответил отец Тома, впервые взглянув на стол как бы со стороны.

— Еще бы не особенный! Я думал, мы так и не успеем на паром, а теперь из-за грозы черт знает когда отсюда выберешься. И вообще, знал бы, никогда бы не приехал на этот черный континент, будь он проклят! Каркнул ворон: «Никогда!» Цитата. Не помню откуда.

Снаружи послышались крики, но слов нельзя было разобрать.

— Это он,— сказал Паркинсон.— Ходит-бродит. И рвется в бой. Я его спрашиваю: разве христианам не полагается все прощать? Но ему сейчас что говори, что нет — бесполезно.

Голос послышался ближе.

— Куэрри! — разобрали они.— Куэрри! Где вы, Куэрри?

— Из-за какой чепухи подняли всю эту кутерьму! Да там, наверно, никаких фиглей-миглей и в помине не было. Я его убеждал: «Они всю ночь говорили, мне же было слышно. Любовники не станут всю ночь разговоры разговаривать. У них бывает с паузами».

— Куэрри! Где вы, Куэрри?

— Ему, по-моему, нужно, чтобы подтвердилось наихудшее. Понимаете почему? Если у них с Куэрри идет борьба за женщину, значит, они на равной ноге.— И он добавил с неожиданной проницательностью: — Не хочется ему быть ничтожеством, это для него нож острый.

Дверь снова отворилась, и на пороге появился взлохмаченный, промокший до нитки Рикэр — растение в ванной, вытянувшееся от чрезмерной сырости. Он осмотрел миссионеров, всех по очереди, точно ожидая, что среди них может оказаться переодетый в сутану Куэрри.

— Мосье Рикэр,— начал было отец Тома.

— Где Куэрри?

— Пожалуйста, входите, садитесь, давайте поговорим...

— До того ли мне? — сказал Рикэр.— Я агонизирую.— Тем не менее он сел — на сломанный стул, и еле державшаяся спинка у стула треснула.— Я потрясен, я страдаю, отец. Я душу открыл этому человеку, поделился с ним самыми своими сокровенными мыслями, и вот как меня отблагодарили.

— Давайте обсудим все спокойно, трезво.

— Он насмехался надо мной и презирал меня,— сказал Рикэр.— Кто ему дал право меня презирать? Пред очами господа мы все равны. Все — и скромный управляющий плантацией и *знаменитый* Куэрри. Посягнуть на христианский брак! — От него сильно пахло виски. Он сказал: — Года через два я подам в отставку. Уж не думает ли он, что я буду растить его ублюдка на свою пенсию?

— Вы провели три дня в пути, Рикэр. Вам надо выспаться. Потом мы...

— Она не хотела со мной спать. Никогда не хотела. Вечно какие-нибудь отговорки. И в первый же его приход, только потому, что он знаменитость...

Отец Тома сказал:

— Нам крайне нежелательно доводить дело до скандала.

— Где доктор? — вдруг крикнул Рикэр.— Они дружки, их водой не разольешь.

— Доктор у себя дома. Он тут совершенно ни при чем.

Рикэр шагнул к двери. Он застыл у порога, точно актер, забывший свою реплику.

— Ни один суд меня не осудит,— сказал он наконец и вышел в темноту, под дождь.

Первую минуту они молчали, а потом отец Жозеф спросил, обращаясь ко всем сразу:

— Это как же понимать?

— Утром мы над всем этим посмеемся,— сказал отец Жан.

— Не вижу тут ничего смешного,— отрезал отец Тома.

— Я хочу сказать, что вся эта история смахивает на какой-нибудь фарс в Пале-Рояле. Мне приходилось их читать. Оскорбленный муж то в дверь, то из двери.

— Я не читаю фарсов, которые ставят в Пале-Рояле, отец.

— Иной раз кажется, что господь бог был настроен не очень серьезно, когда награждал человека половым инстинктом.

— Если *такие* доктрины вы преподаете на занятиях по богословской этике...

— И когда изобрел богословскую этику. Если уж на то пошло, так у святого Фомы Аквината написано, что господь сотворил мир играючи.

Брат Филипп сказал:

— Вы меня извините...

— Вам сильно повезло, отец Жан, что вся ответственность за миссию возложена на меня, а не на вас. Я не могу относиться ко всему этому, как к фарсу, что бы там ни писал святой Фома. Куда вы, брат Филипп?

— Он что-то говорил про суд, отец, и я подумал, а вдруг у него оружие? Может, надо пойти, предупредить...

— Ну, это уж слишком! — сказал отец Тома. Он повернулся к Паркинсону и спросил по-английски: — Есть у него револьвер?

— Понятия не имею. По теперешним временам многие ходят с револьверами в кармане. Но пустить его в ход он не посмеет. Я же говорю, что ему только одного хочется — придать себе весу.

— Если вы мне разрешите, отец, я все-таки схожу к доктору Колэну,— сказал брат Филипп.

— Смотрите, брат, будьте осторожнее,— сказал отец Поль.

— Ничего! Для меня огнестрельное оружие вещь знакомая,— ответил ему брат Филипп.

5

— Там кто-то кричит? — спросил доктор Колэн.

— Я не слышал.

Куэрри встал и вгляделся в темноту за окном. Он сказал:

— Скорее бы брат Филипп починил электричество. Пора домой, а фонарика у меня нет.

— Теперь тока уже не дадут. Одиннадцатый час.

— Они, вероятно, потребуют, чтобы я уехал как можно скорее? Но пароход вряд ли придет раньше, чем через неделю. Может, кто-нибудь отвезет меня на грузовике?

— Сомневаюсь. Дорогу, наверно, развезло после такого ливня, и эта гроза не последняя.

— Тогда у нас впереди несколько дней, и мы сможем заняться передвижными амбулаториями, о которых вы так мечтаете. Но я не инженер. От брата Филиппа проку будет больше, чем от меня.

— Да ведь мы здесь всегда довольствуемся самым малым,— сказал доктор Колэн.— Что мне нужно? Нечто вроде сборного домика на колесах, только и всего. Такого, чтобы можно было ставить на шасси полутонки. Куда этот листок запропастился? Я хотел показать вам — тут у меня возникла одна идея...

Доктор выдвинул ящик письменного стола. В ящике лежала фотография женщины. Не видимая постороннему глазу, она всегда лежала там, не боясь пыли, лежала и ждала, когда ящик откроют.

— А я буду скучать по этой комнате, куда бы меня ни забросило. Вы никогда мне не рассказывали о своей жене, доктор. Отчего она умерла?

— Сонная болезнь. В первые годы нашей жизни здесь она подолгу бродила в джунглях, все уговаривала прокаженных, чтобы они приходили к нам лечиться. В те времена еще не было эффективных средств против сонной болезни. Люди умирают преждевременно.

— А я-то надеялся, что лягу в ту же землю, что и вы и она. Втроем мы образовали бы здесь эдакий атеистический уголок.

— А были бы вы там у места?

— Почему же нет?

— Вас слишком тревожит утрата веры, Куэрри. Вы то и дело трогаете эту болячку, как будто хотите сковырнуть ее. С меня достаточно существования мифа, а вам этого мало, вам подавай либо веру, либо неверие.

Куэрри сказал:

— Там кого-то зовут. Мне на секунду показалось, что меня. Человеку всегда кажется, что это его зовут. Даже если в именах совпадает только один слог. Мы такие эгоцентрики.

— Вы, должно быть, очень крепко верили, если так тоскуете без веры.

— Если это можно назвать верой, так я проглотил тот миф целиком, не разжевывая. Сие есть тело мое, сие есть кровь моя. Когда я читаю теперь это место, мне так ясна его символичность, но разве можно требовать от бедных рыбарей, чтобы они понимали символику? Я только, поддаваясь суеверию, вспоминаю, что от причастия я отказался до того, как перестал верить. Священники усмотрели бы тут определенную связь, Рикэр назвал бы это отвержением божественной благодати. Да, пожалуй, вера — это своего рода призвание, а у большинства людей в сердце и в уме не хватает места для двух призваний сразу. Если мы на самом деле верим во что-то, нам волей-неволей надо идти в своей вере все дальше и дальше. Иначе жизнь постепенно сведет ее на нет. Моя архитектура топталась на месте. Нельзя быть ни полуверующим, ни полуархитектором.

— Стало быть, вы хотите сказать, что и этой половинки в вас теперь не осталось?

— Вероятно, оба мои призвания были недостаточно сильными, и жизнь, которую я вел, убила их. Надо, чтобы призвание в тебе было очень, очень сильное, иначе ты не устоишь перед успехом. Популярный священник, популярный архитектор... Отвращение с такой легкостью убивает их талант.

— Отвращение?

— Да. Отвращение к похвалам. Если бы вы знали, доктор, до какой степени они глупы и тошнотворны! Люди, губившие мои церкви, потом громче всех пели мне хвалу. Книги, которые обо мне писали, благочестивые побуждения, которые мне навязывали,— этого было вполне достаточно, чтобы отвратить меня от чертежной доски. Устоять перед всем этим с моей верой было нельзя. Славословия попов и ханжей — этих Рикэров, которых хватает везде и всюду.

— Люди большей частью довольно легко мирятся со своим успехом. А вы приехали сюда.

— По-моему, я почти от всего вылечился, даже от чувства отвращения. Мне здесь было хорошо.

— Да, вы уже довольно свободно начинали владеть пальцами, несмотря на увечье. А одна болячка все-таки осталась, и вы все время ее бередите.

— Ошибаетесь, доктор. Вы иной раз совсем как отец Тома.

— Куэрри! — теперь уже совершенно явственно донеслось из темноты.— Куэрри!

— Рикэр,— сказал Куэрри.— Должно быть, приехал сюда за женой. Надеюсь, сестры не пустили его к ней. Пойду поговорю...

— Пусть сначала остынет.

— Надо же ему объяснить, пусть видит, как это все нелепо.

— Тогда отложите объяснение до утра. В темноте он все равно ничего не увидит.

— Куэрри! Куэрри! Где вы, Куэрри!

— Вот дурацкое положение! — сказал Куэрри.— И надо же, чтобы это случилось именно со мной. Безвинный прелюбодей. Недурное название для комедии.

Губы у него скривились в попытке улыбнуться.

— Дайте мне лампу.

— Мой вам совет, Куэрри, не связывайтесь вы с ним.

— Надо же что-то сделать. Он поднял такой крик. Отец Тома прав это действительно скандал.

Доктор нехотя вышел следом за ним. Гроза совершила полный круг и снова двигалась на них откуда-то из-за реки.

— Рикэр! — крикнул Куэрри, высоко поднимая лампу.— Я здесь.— К ним кто-то бежал, но, когда бегущий попал в круг света, они увидели брата Филиппа.

— Прошу вас, зайдите в дом,— сказал брат Филипп,— и запритесь. Мы опасаемся, что Рикэр с оружием.

— Что он, сумасшедший? Не будет же он стрелять! — сказал Куэрри.

— Ну, все-таки... во избежание неприятностей...

— Неприятностей? Удивительная у вас способность преуменьшать, брат Филипп.

— Я вас не понял.

— Не важно. Я послушаюсь вашего совета и залезу к доктору Колэну под кровать.

Он пошел было к дому и вдруг услышал голос Рикэра:

— Стойте. Ни с места.— Рикэр нетвердыми шагами вышел из темноты. Он обиженно забрюзжал: — Я вас ищу, ищу.

— Вот я, здесь.

Все трое посмотрели на его правую руку, засунутую в карман.

— Мне надо поговорить с вами, Куэрри.

— Ну, говорите, а потом я тоже кое-что вам скажу.

Наступило молчание. Где-то в лепрозории залаяла собака. Молния озарила их, точно вспышка блицлампы.

— Я жду, Рикэр.

— Вы... вы отступник.

— Что же, затеем диспут на религиозные темы? Я признаю, что в вопросе о любви к богу вы более сведущи.

Ответ Рикэра был почти целиком погребен под тяжким обвалом грома. И только конец последней фразы высунулся наружу, точно пара ног, торчащих из-под обломков.

— ...убедить меня, что запись в дневнике сделана в шутку, а сами прекрасно знали, что она с ребенком.

— С вашим ребенком. Не с моим.

— Докажите. Это еще надо доказать.

— Доказательство от противного — вещь трудная, Рикэр. Конечно, доктор может взять у меня кровь на определение группы, но вам придется ждать месяцев шесть...

— Кто дал вам право смеяться надо мной!

— Я смеюсь не над вами, Рикэр. Ваша жена не пощадила нас обоих. Я назвал бы ее лгуньей, да она вряд ли отдает себе отчет в том, что такое ложь. По понятиям вашей жены правда — это все то, что послужит ей защитой или поможет уехать домой, в детскую.

— Вы живете с ней и ее же осыпаете оскорблениями. Вы трус.

— Может быть.

— Может быть. Что бы я ни сказал, мои слова не способны разгневать нашего *знаменитого* Куэрри. Он такая важная персона, а тут всего лишь управляющий маслобойным заводом. У меня бессмертная душа, Куэрри, как и у вас.

— Я не претендую на бессмертие. Можете быть важной персоной во владениях господа бога, Рикэр. А знаменитым я числюсь только у вас. Во всяком случае, сам себя я таковым не считаю.

— Мосье Рикэр, пойдемте в миссию,— умоляюще проговорил брат Филипп.— Там вам поставят кровать. За ночь отдохнем, и всем станет легче. А утром примем холодный душ,— добавил он, и как бы в пояснение его слов на них вдруг водопадом низвергся ливень. Куэрри издал странный, хриплый звук, в котором доктор за последнее время стал узнавать смех, и Рикэр выстрелил два раза подряд. Лампа упала вместе с Куэрри и разбилась, горящий фитиль вспыхнул, на секунду осветил открытый рот и два удивленных глаза и погас под лавиной дождя.

Доктор рухнул на колени прямо в лужу и стал шарить в темноте. Голос Рикэра проговорил:

— Он смеялся надо мной. Кто дал ему право надо мной смеяться?

Доктор сказал брату Филиппу:

— Вот голова, нащупал. Найдите, где ноги. Надо внести его в дом.— Он крикнул Рикэру: — Бросьте револьвер, болван, и помогите нам.

— Не над Рикэром,— сказал Куэрри.

Доктор нагнулся ниже, слова были еле слышны. Он сказал:

— Не надо говорить. Сейчас мы вас поднимем. Все будет хорошо.

Куэрри сказал:

— Над собой смеялся.

Они перенесли его на веранду и положили там, куда не заливал дождь. Рикэр принес подушку ему под голову. Он сказал:

— Нечего было смеяться.

— Не так уж легко это у него получалось,— сказал доктор, и снова послышались странные звуки, напоминающие судорожный смешок.

— Нелепость,— сказал Куэрри.— Нелепость или же...

Но какую альтернативу — философскую или психологическую — он имел в виду, они так и не узнали.

6

Настоятель вернулся через несколько дней после похорон, и вдвоем с доктором Колэном они пошли на кладбище. Куэрри похоронили недалеко от мадам Колэн, оставив, впрочем, место между могилами, которое в свое время понадобится доктору. Приняв во внимание столь исключительные обстоятельства, отец Тома не настаивал на кресте, и в могильный холм воткнули только дощечку с вырезанным на ней именем Куэрри и двумя датами. Обошлись и без католического погребального обряда, хотя молитву у могилы отец Жозеф все же прочел. Кто-то (вероятно, Део Грациас) поставил возле могильного холмика консервную банку из-под джема, полную веточек и трав, как-то особенно переплетенных между собой. Это было похоже скорее на приношение Нзамбе, чем на погребальный венок. Отец Тома хотел выбросить банку, но внял уговорам отца Жозефа.

— На христианском кладбище этому не место,— возражал отец Тома.— Весьма двусмысленное приношение.

— Он сам тоже был двусмысленный,— ответил отец Жозеф.

Паркинсон раздобыл в Люке венок — по всем правилам, с лентой, на которой было написано: «От трех миллионов читателей «Поста». Природа — мой кумир, а вслед за ней — Искусство. Роберт Браунинг» *. Он сфотографировал его для использования снимка в дальнейшем, но, проявив неожиданную скромность, сняться рядом с ним не захотел.

* На самом деле цитата из стихотворения У. С. Лэндора.

Настоятель сказал Колэну:

— Не перестаю сокрушаться о том, что меня здесь не было. Может, мне удалось бы образумить Рикэра.

— Рано или поздно все равно что-нибудь стряслось бы,— сказал Колэн.— Они не оставили бы его в покое.

— Кто «они»?

— Дураки, назойливые дураки, которых везде хватает. Он от всего вылечился, кроме своей славы, но от славы не вылечишь, так же как моим увечным не вернешь пальцев на руках и на ногах. Я отсылаю их в город, но в магазинах на них все глазеют, на улицах тоже обращают внимание и показывают друг другу — вон, смотрите. Точно так же обстоит дело и со славой — она увечит природу человека. Вы со мной?

— А вам куда?

— В амбулаторию. И так уж слишком много времени потратили на мертвого.

— Я вас провожу немножко.

Настоятель сунул руку в карман сутаны, но сигары не оказалось.

— Вы видели Рикэра перед отъездом из Люка? — спросил Колэн.

— Да, конечно. Он прекрасно устроился в тюрьме. Ходил к исповеди и хочет каждое утро причащаться. Усиленно читает Гарригу-Лагранжа. И, разумеется, весь Люк видит в нем героя. Мистер Паркинсон уже взял у него интервью, передал по телеграфу в свою газету, и скоро к нам повалят журналисты из метрополии. Если не ошибаюсь, мистер Паркинсон озаглавил свой очерк «Смерть отшельника. Святой с изъяном». Исход судебного процесса, разумеется, предрешен.

— Оправдают?

— Безусловно. Le crime passionel.* И теперь кто чего добивался, тот свое и получил. Счастливая концовка, не правда ли? Рикэр почувствовал себя значительной личностью в глазах бога и человека. Он даже завел со мной разговор по поводу ходатайства в Бельгийскую коллегию в Риме о расторжении брака, но я его не поддержал. Мадам Рикэр скоро уедет домой, и ребенок останется у нее. Мистер Паркинсон получил в руки такой материал, о каком и мечтать не мог. Кстати, я очень рад, что Куэрри не успел прочесть его второй очерк.

— Но для Куэрри такой конец вряд ли можно считать счастливым.

— Вы думаете? Но ведь ему все хотелось забраться куда-то подальше.— Настоятель смущенно спросил: — Как вы полагаете, было у него что-нибудь с мадам Рикэр?

— Нет.

— Не знаю. Судя по второму очерку Паркинсона, это был человек весьма... гм!.. любвеобильный.

— Я в этом далеко не уверен. И у него самого были сомнения на сей счет. Он как-то сказал мне, что женщин он только использовал, но, по-моему, этот человек был безжалостен к самому себе. Мне иной раз даже думалось, а не страдает ли он холодностью? Как женщина, которая непрерывно меняет любовников в надежде на то, что когда-нибудь ей все-таки удастся испытать истинное наслаждение. Ритуал любви он, по его словам, выполнял исправно, даже по отношению к богу, в те годы, когда еще верил. Но потом ему стало ясно, что любит он только свою работу, и тогда с ритуалом было покончено. В дальнейшем он уже не мог притворяться и выдавать свои чувства за любовь, а тогда и побуждений для работы у него больше не осталось. Это как во время кризиса, когда больной теряет всякий интерес к жизни. В такие минуты люди часто кончают самоубийством, но он был крепкий человек, очень крепкий.

---

* Убийство в состоянии аффекта *(франц.)*.

— Вы говорите, он совсем вылечился?

— Я убежден в этом. Он научился служить людям и даже смеяться. Странный это был смех, но все же смех. Я побаиваюсь людей, которые никогда не смеются.

Настоятель несмело проговорил:

— А я так вас понял, что он начал понемногу обретать прежнюю веру.

— О нет! Не веру, а всего лишь оправдание для жизни. Вы всюду стараетесь найти шаблон, отец.

— Но раз шаблон существует... У вас нет сигары?

— Нет.

Настоятель сказал:

— Мы слишком любим докапываться до мотивов человеческих поступков. Я как-то говорил об этом отцу Тома. Вы помните, что сказал Паскаль? Что человек, отправляющийся на поиски бога, уже обрел его. Не так ли и с любовью? Может быть, отправляясь на поиски любви, мы ее уже обретаем.

— Он был склонен, я сужу об этом по его же собственным словам, склонен ограничивать свои поиски районом женской постели.

— Ну что ж, место для этого не такое уж плохое. Сколько на свете людей, которые находят там одну лишь ненависть.

— Как Рикэр?

— Мы слишком мало знаем Рикэра, чтобы осуждать его.

— Какой вы цепкий, отец! Никого так просто не отпустите. Вам, наверно, и Куэрри хотелось бы заполучить в свою собственность.

— Что-то я не замечал, чтобы вы отступались от больного, до тех пор пока он не умрет.

Они подошли к амбулатории. Больные сидели на раскаленных цементных ступеньках и ждали, что будет. К стенам новой больницы были приставлены лестницы, последние работы шли полным ходом. Конек прогнуло во время последней грозы, но он все же держался на месте, крепко привязанный к стропилам канатом из пальмового волокна.

— Я заметил по счетам,— сказал настоятель,— что вы перестали прописывать витаминное драже. Разумна ли такая экономия?

— Я не уверен, что лечение препаратом ДДС вызывает анемию. Это все от глистов. Строительство уборных обойдется дешевле, чем покупка витаминного драже. Это первое, чем мы должны заняться. То есть должны были заняться. Сколько сегодня пришло? — спросил он своего помощника.

— Около шестидесяти.

— Ваш бог,— сказал доктор Колэн,— должен испытывать легкое разочарование, глядя на созданный им мир.

— Плохо вас обучали теологии в детстве. Богу не ведомы ни разочарования, ни муки.

— Может быть, поэтому я и не утруждаю себя верой в него.— Доктор сел за стол и взял чистую карточку.— Первый! — крикнул он.

Первым был трехлетний малыш, совсем голенький, с раздутым животом, под которым болтался крантик. Он вошел в приемную, запустив палец в рот. Доктор стал водить рукой ему по спине, его мать стояла рядом.

— А я знаю этого молодого человека,— сказал настоятель.— Он все прибегал ко мне за конфетами.

— Болен. Все ясно,— сказал доктор Колэн.— Пощупайте... вот утолщение, вот. Но не беспокойтесь, друг мой,— сдерживая ярость, проговорил он.— Через год, через два мы его вылечим, и обещаю вам, что на сей раз увечий не будет.

ДИЛАН ТОМАС

„Когда октябрьский ветер..."

Перевод с английского и предисловие
АНДРЕЯ СЕРГЕЕВА

Первая же книга английского поэта Дилана Томаса (1914—1953), вышедшая в 1934 году, обратила на себя внимание критики и читателей. Английская поэзия 30-х годов задыхалась от сверхинтеллектуализма, чрезмерной усложненности и рационализма. Стихи Дилана Томаса казались глотком свежего воздуха.

Истоки его творчества — в природе и людях Уэльса, в причудливом кельтском фольклоре, в мир образов которого поэт был погружен с детства. Важнейший след в творчестве поэта оставило и его увлечение Шекспиром. Как и строки шекспировских трагедий, стихи Дилана Томаса рассчитаны прежде всего не на чтение глазами, а на произнесение вслух. Недаром Дилан Томас был одним из лучших в Англии чтецов. Каждое стихотворение Дилана Томаса — монолог из трагедии, которой была его жизнь. Он в полной мере познал тяжесть нужды и болезней. Высокое поэтическое творчество приходилось соединять с поденщиной ради куска хлеба. Он знал и шумное признание и равнодушное непонимание.

Дилан Томас умер молодым. Он не успел в полной мере оправдать все возлагавшиеся на него надежды. Но и то, что он сделал, очень значительно. Стихи его принадлежат к лучшим страницам современной английской поэзии. Зарубежная прогрессивная печать ныне по достоинству оценила творчество Дилана Томаса.

Особенно, когда октябрьский ветер
Мне в волосы запустит пятерню,
И солнце крабом, и земля в огне,
И крабом тень моя легла на берег,—
Под перекличку птичьих голосов
И кашель ворона на палках голых
По жилам сердце деловито гонит
Ямбическую кровь, лишаясь слов.
Вон женщины во весь шумливый рост
Идут по горизонту, как деревья,
Вон бегают по перелеску дети,
В движении похожие на звезд.
Я создаю тебя из гулких буков,
Из шелеста дубов, осенних чар,
Корней боярышника, хмурых гор —
В прибое создаю тебя из звуков.
Над парком беспокойный циферблат.
Часы толкуют время, славят утро
И флюгеру о направлении ветра
Колючими словами говорят.
Я создаю тебя из дольних вздохов.
Трава пророчит: все, что я постиг,
Покроет мокрый изъязвленный снег.
Но ты вдали от злых вороньих криков.
Особенно, когда октябрьский ветер
(Я создаю тебя в канун зимы,
Когда гремят валлийские холмы)
Молотит кулаками репы берег,
Я создаю из бессердечных слов
Тебя—сердечных сердцу не хватило.
Химическая кровь мне полнит жилы.
На взморье, среди птичьих голосов.

■ ■ ■

Уши с башенок слышат,
Как кто-то стучится в дверь,
Глаза из оконниц видят,
Как руки замок теребят.

Открыть мне или остаться
Скрытым до самой смерти
От посторонних взглядов
В домике на утесе?

Руки, в вас хлеб или яд?

На этой скале в плену
У тесного моря плоти,
В плену у клетки грудной
Я совсем не слышу страну
И не различаю горы.

Ни дрозд, ни летучая рыба
Мой не нарушат покой.

Уши с острова слышат
Ветер, быстрый, как пламя,
Глаза мои с острова видят
Корабль, вошедший в залив.
Броситься мне к кораблю,
Чтобы ветер играл волосами,
Или остаться в доме,
Дверь морякам не открыв:
Что у них, хлеб или яд?
Руки на дверь ворчат —
Внять ли настойчивой просьбе?
Корабль бросает якорь —
Открыть ли дверь морякам?
Или жить в одиночестве,
Пока не придет ко мне смерть?
Руки, ответьте, корабль, ответь:
Что у вас, хлеб или яд?

Среди жертв утреннего налета был столетний старик

Когда утро едва забрезжило над войной,
Он встал, оделся, из комнаты вышел и умер.
Взрывной волной все двери в домах распахнуло.
Он рухнул на камни, на свой любимый паркет.
Пусть любимая улочка с траурной черной каймой
Знает, что здесь он на миг задержал рассвет,
Что глаза его были весенние почки и пламя,
Когда со звоном ключи из замков вылетали.
Не ищите обломков жизни в седом его сердце,
Не ждите звона лопаты — уже несется
Небесная скорая помощь, влекомая смертью.
О, спасите его от этой пошлой кареты!
Утро парит на крыльях его столетья,
И сотня аистов села на руку солнца.

Стихи в октябре

Под небом мой год тридцатый
Пробудился в звуках от моря до ближнего леса,
От ракушек в пруду до цапли
На дюнах,
А утро звало —
Хоралами волн и чаек пронзительной песней,
И стуками парусных лодок о мшистую пристань —
В ту же секунду
Покинуть
Еще не проснувшийся город.
Вместе с птицами певчими
Птицы крылатых деревьев несли мое имя
Над лошадьми и фермами,
И в осенний
Мой день рождения
Все былые дни на меня низвергались ливнем.

Цапля ныряла в приливе, когда я вышел.
Городок пробудился,
За мною
Ворота его затворились.
Стая жаворонков в бегущей
Туче, и в кустах придорожных посвист
Дроздов, и почти июльское
Солнышко
На плече холма.
Вешний воздух и звонкое пенье нежданно
Влились в утро, в котором бродил я и слушал
Шум дождя
И в дальнем
Лесу завыванье осени.
Бледный дождь над заливом,
И над морем церковь размером с улитку —
Ро́жки пронзают туман,
Домик
Сереет, как филин.
Сады же весны и лета цвели небылицей
За горизонтом, под облаком, полным птиц.
Наверно, туда
Уходил
Мой день рожденья, но вдруг —
В край мой из стран блаженных,
Освежая природу и проясняя небо,
Повеяло чудом лета,
Смородиной,
Грушами, яблоками.
И на склоне года я вдруг увидел ребенка,
Который забытым утром шагает с матерью
Сквозь светлые сказки
Солнца
В легендах зеленого храма,
По детству дважды родному.
И детские слезы текли по моим щекам.
Этот лес, и река, и море —
Такие же,
Как тогда,
Когда я мальчишкой в затишье летнего зноя
Поверял свою радость камням, деревьям и рыбам,
И пели тайны
Живые,
Пели птицы и волны.
И там был мой день рождения.
Но погода совсем изменилась, и ожившая радость
Давно ушедшего детства
Запела
В сиянье солнца.
Стал летним полднем тридцатый мой год под небом,
Хотя городок внизу обагрялся кровью октябрьской.
Пусть же сердце
С холма
Поет на повороте года.

ПЯТЬ КОНТИНЕНТОВ СМЕЮТСЯ

ГЕНРИХ БЁЛЬ

ФРГ

НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ

Я вовсе не против зверей, совсем наоборот, я к ним очень тепло отношусь, я люблю по вечерам гладить нашу собаку, усадив на колени нашу кошку. Мне приятно смотреть, как дети кормят в углу комнаты черепаху. Даже маленький бегемот, которого мы держим в ванной, занимает уголок в моем сердце, а кролики, свободно разгуливающие по всей квартире, уже давным-давно не волнуют меня. Кроме того, я привык заставать у себя по вечерам нежданных визитеров — жалобно попискивающего цыпленка или бездомного пса, которого приютила моя жена. Ибо моя жена — добрая женщина, она никому не отказывает в приюте, будь то человек или зверь, и уже давным-давно в вечерние молитвы наших детей включен следующий перл: «Пошли нам, боже, нищих и зверей».

Гораздо печальнее то обстоятельство, что моя жена не способна оказывать сопротивление также коммивояжерам и разносчикам, поэтому у нас растет гора предметов не первой, на мой взгляд, необходимости: мыло, щетки, бритвенные лезвия и шерсть для штопки, а в ящике стола накапливаются документы, которые вызывают у меня беспокойство,— всякого рода счета и обязательства. Мои сыновья застрахованы на время обучения, мои дочери — до замужества, но мы не можем до самой свадьбы или до конца государственчых экзаменов кормить их мылом или штопкой, и даже бритвенные лезвия далеко не всегда полезны человеческому организму. Отсюда понятно, что я время от времени выказываю признаки легкого нетерпения, хотя вообще-то я известен как человек чрезвычайно спокойный. Часто я ловлю себя на том, что с завистью гляжу на кроликов, которые уютно устроились под столом и преспокойно хрупают морковкой, а тупой взгляд бегемота, который разводит плесень в нашей ван-

ной, иногда побуждает меня высунуть ему язык. Даже черепаха, стоически гложущая листья салата, нимало не подозревает, какие заботы волнуют мое сердце: мечта о чашке ароматного кофе, о табаке, хлебе и яйцах, о благодатном тепле, разливающемся после рюмки водки в глотках обремененных заботами людей. Единственная моя отрада — это Белло, наш пес: он воет с голоду точно так же, как и я. А если ко всему еще заявляются нежданные гости — современники, небритые, как и я, мамаши с младенцами, которых надлежит поить горячим молоком и кормить размоченными сухарями,— тогда мне остается только собрать все силы, чтобы сохранить спокойствие. Но я сохраняю его, ибо больше мне уже нечего сохранять.

Бывают дни, когда от одного взгляда на только что отваренный желтый картофель у меня текут слюнки, поскольку уже давно — я признаю это с большим трудом, признаю и заливаюсь краской,— уже давно кухня наша не заслуживает звания благопристойной. Окруженные зверьем и гостями человеческой породы, мы просто время от времени устраиваем импровизированные приемы пищи стоя.

К счастью, моя жена на длительный срок лишена возможности приобретать ненужные нам вещи, поскольку наличных денег у нас не осталось, все причитающиеся мне суммы задержаны на неопределенный срок, а сам я вынужден, переодевшись так, чтобы сделать свою внешность неузнаваемой, разъезжать вечерами по пригородам и продавать населению лезвия, мыло и пуговицы по цене, много ниже установленной, ибо наше положение наводит на раздумья. Правда, у нас есть еще несколько центнеров мыла, несколько тысяч лезвий, огромный выбор пуговиц, и, добравшись за полночь домой, я выгребаю из кармана деньги, а мои дети, мои звери и моя жена обступают меня с горящими глазами, так как обычно я делаю по пути какие-нибудь закупки: хлеб, кофе, яблоки, жир, картофель — короче, что-нибудь из съестного, чего настоятельно требуют дети и звери; в полночный час вся семья собирается за радостной трапезой; довольные дети и довольные звери окружают меня, жена улыбается мне, мы нарочно распахиваем дверь в ванную, чтобы бегемот не изнывал от одиночества, и его довольное хрюканье доносится к нам из ванной. Обычно в таких случаях жена сознается, что припрятала в чулане какого-нибудь дополнительного гостя, но показывают мне его не раньше, чем мои нервы подкрепятся едой; и вот какие-нибудь робкие, небритые мужчины присаживаются, потирая руки, к нашему столу, а женщины втискиваются на скамейку между детьми и тут же кипятят молоко для ревущих младенцев. Таким же путем меня знакомят и со зверями, которые мне неугодны: чайки, лисицы, свиньи, а однажды мне представили небольшого одногорбого верблюжонка.

— Ну правда, прелесть? — спросила жена, и я был вынужден признать, что верблюд прелестный, и с легкой примесью беспокойства следил, как это животное цвета моих шлепанцев изо всех сил работает челюстями и посматривает на меня своими серыми глазками. К счастью, верблюд прожил у нас всего одну неделю, а дела у меня в ту пору шли хорошо: высокое качество товара и низкие цены принесли мне известность, и я мог иногда продавать предметы, даже не пользующиеся спросом в обычных условиях, как-то: щетки и шнурки для ботинок. Это привело к кажущемуся процветанию, и моя жена — совершенно игнорируя законы экономики — произнесла по этому поводу фразу, которая меня смутила: «Мы на подъеме». Я-то со своей стороны видел, что запасы мыла убывают, что число бритв сокращается и что даже запасы щеток и штопки не внушают теперь уверенности.

И вот однажды вечером, именно в то время, когда мне очень и очень не помешала бы моральная поддержка, мы мирно сидели за столом, но вдруг наш дом задрожал как бы от землетрясения средней силы: закачались картины, пошатнулся стол, и круг жареной колбасы спрыгнул с моей тарелки. Я было вскочил, чтобы узнать, в чем дело, но увидел, что дети мои еле удерживаются от смеха.

— Что здесь происходит? — вскричал я и впервые за всю свою богатую приключениями жизнь действительно вышел из себя.

— Вальтер,— тихо сказала жена, отложив вилку,— это просто наш Волло.

Тут она зарыдала, а против слез жены я бессилен, ибо она подарила мне семерых детей.

— Какой Волло? — спросил я устало. И в эту минуту дом опять сотрясся.

— Волло — это слон, который сидит у нас в подвале,— сказала младшая дочь.

Сознаюсь, я был ошеломлен, и вы легко поймете причины моего ошеломления. До сих пор мы не давали приюта зверям крупнее верблюда, и я считал, что для слона наша квартира несколько маловата, потому что от благ государственного строительства жилых домов нам пока ничего не перепало.

Жена и дети, ничуть не смутившись, все мне объяснили: обанкротившийся хозяин цирка решил припрятать у нас своего слона. Слон спокойно съехал в подвал по желобу, по которому мы обычно спускали уголь.

— Он свернулся в клубок,— сказал мой старший сын,— он такой умненький.

Я не позволил себе усомниться в умственных способностях слона, примирился с его присутствием, и меня торжественно повели в подвал. Слон оказался не особенно большой, он хлопал ушами и, судя по всему, прекрасно себя чувствовал, если учесть, что ему выделили на прокорм целую гору сена.

— Ну правда, прелесть? — спросила меня жена, но я воздержался от ответа. Слово «прелесть» показалось мне неподходящим для слона. И вообще семейство было явно разочаровано моими весьма умеренными восторгами. Выходя из подвала, жена даже упрекнула меня: — Как ты низок! Неужели ты хочешь, чтобы несчастное животное пошло с молотка?

— При чем здесь молоток и при чем низость? Укрывательство предметов, подлежащих продаже с аукциона, карается по закону.

— Мне все равно,— ответила жена,— но животное нужно спасти.

Среди ночи нас разбудил хозяин цирка, робкий темноволосый человек. Он поинтересовался, не можем ли мы дать приют еще одному зверю.

— Это все, что у меня осталось, мое последнее достояние. И всего на одну ночь. А как поживает слон?

— Хорошо,— сказала жена,— вот только его желудок меня беспокоит.

— Это естественно,— ответил хозяин цирка,— перемена обстановки, знаете ли. Ведь звери так восприимчивы. Ну так как же, берете вы мою кису — всего на одну ночь?

Он поглядел на меня, а жена толкнула меня в бок и сказала:

— Не будь таким бессердечным.

— Бессердечным? — повторил я.— Хорошо, я не буду бессердечным. Можешь положить кошку на кухне.

— Она у меня на улице, в машине,— сказал хозяин.

Дальнейшее устройство кошки я предоставил жене и залез обратно в постель. Жена вернулась какая-то бледная, и мне даже показалось, что она слегка дрожит.

— Замерзла? — спросил я.

— Да,— ответила она,— меня почему-то знобит.

— Это от усталости.

— Возможно,— сказала жена и как-то странно на меня взглянула.

Ночь прошла спокойно. Но даже во сне я видел странный взгляд жены и по непонятной причине проснулся раньше обычного. Тогда я решил раз в жизни побриться.

В кухне под столом лежал лев средних размеров: он спокойно спал, только кончик хвоста у него чуть подергивался, производя легкий стук — словно кто-то играл в мяч.

Я осторожно намылился, стараясь по возможности не шуметь, но, когда я повернул голову вправо, чтобы выбрить левую щеку, я увидел, что лев открыл глаза и наблюдает за мной. «Они в самом деле похожи на кошек»,— подумал я. Что подумал при этом лев, мне неизвестно, но он продолжал наблюдать за мной, а я продолжал бриться и даже не порезался, хотя должен заметить, что это странное ощущение — бриться в присутствии льва. У меня был самый ничтожный опыт в обращении с хищниками, поэтому я ограничился тем, что пристально взглянул льву в глаза, вытер лицо и вернулся в спальню. Жена уже проснулась и хотела что-то сказать, но я не дал ей раскрыть рта и закричал:

— О чем тут еще говорить?

Тогда жена расплакалась, и я погладил ее по голове и сказал:

— Согласись все-таки, что это немножко странно.

— А что, по-твоему, не странно? — сказала жена, и я не нашелся что ответить.

Меж тем проснулись кролики, в ванной зашумели дети, бегемот — его звали Готлиб — принялся трубить, Волло уже потягивался со сна, и только черепаха продолжала спать — впрочем, она спит почти все время.

Я впустил кроликов в кухню — там у них под шкафом стоит кормушка,— кролики обнюхали льва, лев обнюхал кроликов, а дети — они у меня очень бойкие и привыкли возиться со зверьем — уже давным-давно пробрались в кухню. Мне даже показалось, что лев улыбается: мой третий по старшинству сын тут же придумал для него имя — Бомбилиус. На том и порешили.

Несколько дней спустя льва и слона увезли. Должен признаться, что я не грустил, расставаясь со слоном — он мне казался туповатым: а вот спокойная и приветливая задумчивость льва покорила мое сердце, и отъезд Бомбилиуса меня крайне огорчил. Я очень привязался к нему — он был первым из зверей, кто сумел завоевать мое расположение. С каким бесконечным терпением относился он к детям, какие тесные узы дружбы связывали его с кроликами! Мы даже приучили его питаться кровяной колбасой, а ведь кровяная колбаса относится к разряду мясных кушаний только по наименованию.

Я страдал, когда Бомбилиуса увезли, а вот уход Волло вызвал у меня чувство облегчения. И я прямо сказал об этом жене, когда хозяин грузил зверей на машину.

— О,— воскликнула моя жена,— до чего ты бессердечен!

— Ты находишь? — сказал я.

— Да, по временам ты совершенно бессердечен.

Но сам я в этом далеко не уверен.

Перевод с немецкого С. ФРИДЛЯНД

ПЬЕР ДАНИНОС

ФРАНЦИЯ

СНОБЫ И ЛИТЕРАТУРА

— Что вы скажете о книге Гермодора?

— Что она плохая,— ответил Антим.

— Плохая?

— Настолько плохая, что ее и книгой назвать нельзя, не то что о ней говорить.

— А вы читали ее?

— Нет,— сказал Антим.

Лабрюйер.

Книга, с которой интеллектуальный сноб прогуливается летом по пляжу, изменяет свой цвет и формат с интервалами довольно неравномерными. Долгое время это была повесть или эссе — неважно какие, но непременно изданные у Галлимара, в белой обложке, с красными буквами названия, в рамочке красной с черным,— или то был объемистый роман в переплете и, разумеется, на английском языке: Джон Дос Пассос или Д. Г. Лоуренс. Марка «НРФ» * до сих пор не утратила определенной привлекательности для эстетов подобного рода (обычно это начинающий писатель, который безмерно пыжится, гордясь самим фактом своего писательства, да так и остается один на один со своей гордыней и своим писательством), но она уже не способна должным образом выразить всю необъятность дистанции, отделяющей нашего

* «НРФ» — начальные буквы слов «Нувель ревю франсез», марка издательства Галлимар. *(Прим. перев.)*

сноба от остальной читательской массы. Что до пухлых американских или английских романов, то о них сейчас просто смешно говорить: ведь теперь каждый встречный балакает по-английски (английского при этом не зная), и съездить в Нью-Йорк — для него все равно что в Бордо прокатиться; посему романы на языке оригинала уже не свидетельствуют об исключительности их владельца; предоставим же их тем простакам, которые еще пытаются ошеломить своих пляжных знакомых, отправляясь в оплаченный отпуск. Сборничек латиноамериканских стихов, да чтоб в нем было не больше двух-трех слов на странице, а то и вообще страницы без единого слова — вот что у нас теперь в чести.

Пруст, Жид, Кокто некогда ходили у снобов в избранниках, но теперь они слишком доступны для всех и слишком ясны. Так что пришлось им потесниться и уступить место Кьеркегору или Джойсу. Во всяком случае, именно Кьеркегора и Джойса снобы таскали под мышкой минувшим летом. Но в жизни все преходяще! И, пожалуй, лишь наимоднейшей нашей гадалке под силу сегодня предсказать, что будут носить на будущий год. Сохранят ли снобы пристрастие к свободному покрою — будут ли в ходу немецкие романтики, которые в прошлом сезоне произвели на курортах подлинный фурор? Или снова вернемся мы к фасонам построже, к элегантной отделке — скажем, к китайским поэтам пятнадцатого века? Лично я не отважусь утверждать на этот счет ничего определенного. Буду говорить лишь о том, что видел своими собственными глазами.

Ведя речь о делах литературных, я отнюдь не случайно касаюсь вопросов кройки и шитья. С чем же еще можно сравнить внезапный возврат к замшелым модам, к авторам, которые почили в бозе и чьи могилы давным-давно заросли густой травой долголетнего забвения. Видимо, между людьми, приобщенными к таинствам литературной моды, так же как между теми, кто вхож в святая святых портновского мастерства, существуют свои секретные способы связи и общения: ведь они порознь, даже не советуясь друг с другом, творят в тиши своих ателье, возрождая плащ древнего покроя или воскрешая какого-нибудь третьестепенного поэта восемнадцатого века. Так, у буржуазной антибуржуазной молодежи нежданно благосклонный прием нашел маркиз де Сад, он у всех в руках, если не на устах, и со всех сторон только слышишь: «...ах, дорогой, ведь графиня де Сегюр просто начинена этим Садом!» Таскать под мышкой «Улисса» * — тоже производило совсем недавно премиленькое впечатление, да и Тельяр де Шардена тоже; в Форменторе один изысканный господин заработал себе немалый успех, отмахивая каждое утро порядочный кусок пляжа с книжкой Сен-Джон Перса на бенгальском языке; но самое великолепное из того, что мне довелось увидеть,— это молодой человек из наших французских краев, который отправился на лето в Грецию и карабкался по горным тропам с «Критикой чистого разума» под мышкой.

Итак, Кант — пожалуйста. Но, конечно, не Мориак и не Саган. Если порой нелегко понять причины воскрешения древних покойников или высчитать время, когда пройдут чистилище покойники сравнительно свежие, то обнаружить, с какого момента считается хорошим тоном похоронить автора живого,— дело довольно простое. Всякому овощу свое время: одно время — для того, чтобы читать Саган, простите, я хотел сказать, чтобы гулять с Саган под мышкой; другое время, чтобы стесняться самому пойти в магазин и спросить книжку Саган; сноб теперь пошлет за ней кого-нибудь из знакомых. Перелом происходит в тот самый миг, когда писатель, до того не известный публике, попадает к ней в объятья. И хотя сам-то автор никак не может отвечать за подобный ход событий, «интеллигенция» считает его виновным, он, бедняга, проклят и отлучен, он высмеян и поруган теми самыми своими почитателями, которые еще вчера превозносили его до небес; вот его сочли бездарным и покинули, точно какой-нибудь ночной клуб или бистро на левом берегу Сены, куда раньше хаживали такие клиенты, как мистер Рокфеллер-младший, а теперь бог знает кто, и посему туда снобу ходить не след.

По существу, литературный снобизм приводит к следующей дилемме: есть книги, о которых все говорят, но которых никто не читает; и есть книги, которые все читают,

* Говоря об «Улиссе», я имею в виду того единственного «Улисса», о котором на каждом шагу слышишь: «Вы читали «Улисса»? Джойсовского, конечно». *(Прим. автора.)*

но о которых никто не говорит. С этой точки зрения ничто не изменилось за последние три века; диалог о книге Гермодора сохранил свою жгучую злободневность. Если что и изменилось, во всяком случае лет эдак за пятьдесят, это, пожалуй, отношение к пробелам собственного образования; теперь стало хорошим тоном выставлять эти пробелы напоказ: лишь бы они были покрупнее да поосновательнее. Не читать «Улисса» (Джойса, разумеется) — это неслыханно! Другое дело — признаться:

— Восемь раз принимался читать «Одиссею»... Ничего не могу с собой поделать!

Случается, конечно, и снобу говорить об авторе известном, даже популярном. Но делается это для того, чтобы назвать такое произведение этого писателя, которое было им создано на заре творчества и осталось в тени забвения.

— Он так и не написал ничего, что можно было бы поставить в один ряд с этой книгой,— заявляет наш герой, ибо он считает делом чести никогда не упоминать о книгах, которые читают другие.

Так, космополитические умники где-нибудь в венецианских дворцах или флорентийских виллах никогда не станут говорить о «Весне» Боттичелли, но непременно спросят вас, видели ли вы «того маленького амурчика с гвоздикой, которого княгиня Руффьери ди Стильяно хранит в сейфе в своем будуаре в Сан-Миниато и который несомненно самая сногсшибательная вещица Боттичелли». Боттичелли или одного из его учеников, потому что княгиня обычно говорит, показывая свой шедевр:

— Три крупнейших эксперта утверждают, что это кисть самого Сандро, но я так и не могу отделаться от мысли, что это писал один из его учеников.

Элегантнее не скажешь...

■

На почтительном расстоянии от столь высоких сфер обнаруживаются снобы иного толка. Они, не колеблясь, отдадут свои голоса признанным гениям, они даже не станут хулить их величайшие шедевры, но все же не устоят перед соблазном показать свою ученость. Это — приверженцы школы, которая называется «Ах, прочтите его переписку», если речь идет о Вольтере, или «Для меня «Люсьен Левен» прекрасней всех его книг», если разговор заходит о Стендале. Представьте себе на минутку, что всей своей славой Вольтер обязан своей переписке или что Стендаль стал велик благодаря «Люсьену Левену», и эти же самые люди тут же скажут о первом из них: «Ах, прочтите его философские повести», а о втором — «Для меня «Красное и черное» прекрасней всех его книг» *.

В одной газете, которая нередко берет меня под свою защиту и где несколькими взмахами кисти дана «картина современной литературы», я прочитал, что «произведения, имеющие читательский успех, никоим образом не принадлежат к тому, что принято называть литературой». И что «история нашей литературы должна предоставить значительное место писателям, чьих книг никто не читал».

Лучше и не скажешь. Для снобов литература — это то, что невозможно читать.

Эта тенденция достигает вершин на торжественных заседаниях, посвященных эксгумации литературных трупов, и на международных конгрессах, когда знатоки, оказавшись в своей среде, чтобы объясниться с коллегами, используют выражения, которые они сами не понимают. Вы думаете, я преувеличиваю? Покидая зал заседаний международного литературного фестиваля в Эдинбурге, австралийский писатель Хол Портер заявил:

— Я прилежно слушал все речи, но не понял ни слова! **

Всегда находятся люди, которым обязательно надо все понять! В этом есть что-то мелкобуржуазное, да еще в худшем своем варианте — в австралийском! Конечно же, этот австралиец не сумел поддаться очарованию слов покойного писателя, которого чествовали на фестивале, не сумел избежать соблазна проникнуть в их смысл:

---

* Некоторым писателям все же удалось избежать подобной операции: это те редкие счастливцы, которые, подобно Ален-Фурнье, написали всего один роман. *(Прим. автора.)*

** Цитировалась в 1963 г. в «Экспрессе». *(Прим. автора.)*

«Где. Кучевооблачнодождевоперисто озарял небо (жало желания пропороло тайное сердце вод, и лес, самый населенный из всех лесов округи, ныне рванулся в рост), приспособленный в высшей степени к нуждам упаковочного человечества и среди всего, что карабкается, и среди всего, что опускается, и туман облаков, и облака тумана, где мы исходим потом, лишь оглушаемые, так что, даже не указывая местонахождение, казалось бесполезным усложнять то, что можно прочесть, благодаря тому, что, невзирая на свое содержание, не дает нам во всяком случае добавить, что старик с моря и старуха в эфире, если они будут держать язык за зубами, не обманут нас...» — и так далее.

Ну как тут не понять, что если тут ни черта не понять, то все великолепно можно понять! Но поймите нас правильно. Речь идет вовсе не о том, чтобы не признавать таланта, даже гения Джойса, как автора «Улисса», или его новаторскую отвагу в «Поминках по Финнигену», откуда взят этот отрывок. И не о том, чтобы использовать в комических целях признания Мишеля Бютора, автора предисловия к французскому изданию, когда он пишет, что «в книге имеются десятки и десятки страниц, которые просто невозможно прочесть» *. Нет, нет, ничего похожего мы не собирались делать. Речь идет не об этом. Сноб — не Джойс. Сноб — не Мишель Бютор и не Андре дю Буше, переводчик Джойса. Сноб — это тот, кто прохаживается по пляжам Форментора с «Поминками по Финнигену» в руке. Он — или злоумышленник, сильная и тонкая личность, каковая заранее знает, что первый же встречный знакомый купальщик возьмет книгу из его рук, спросит: «Что хорошенького читаете?» — и пойдет топиться в море. Или он — что гораздо чаще — просто обыкновенный сноб среднего качества, который использует книгу Джойса как внешний знак своего умственного изобилия. В обоих случаях следует признать, что пляж Форментора, с его воплями, с возней детишек и писком транзисторов,— не самое лучшее место для чтения и толкования текста Джойса, несмотря на цитированные выше намеки на туман и на море.

Вот и скажите после этого, что было делать нашему австралийцу, этому необразованному кенгуру с вечным пером, среди знатоков, среди публики, которая считает литературой то, что невозможно прочесть, и не считает литературой то, что читать можно? Ах, он наверняка не понимает смака в дроблении слогов, в «антипсихологизме», в «небытии», в «антироманe», в «несообщаемости», в «расщеплении языка». Конечно, этот представитель «алитературы» не делает никакого различия между «литературой венозной» и «литературой артериальной». Конечно, он недостаточно был тонок, чтобы понять, как измерить «глубину» сюжета до того, как этот сюжет дошел до тебя, и как говорить о «письме» или «почерке» по поводу не книги, а фильма. Он не умеет восклицать на вернисажах: «Это здорово написано... у этой живописи своя грамматика... стиль без сучка, без задоринки...» О романе он не скажет, что это выдержано в прекрасной палитре и очень мускулисто. Он не настолько искушен в парадоксах нашего времени, чтобы сказать о женщине: «Она уродлива — уродлива настолько, что становится прекрасной!» Как же ему было оценить по достоинству ценность творчества какого-нибудь писателя-рака, который пишет свои фразы, пятясь задом? Или другого, который отбросил прочь всякую пунктуацию? Или третьего, который таким манером разбрасывает реплики своих персонажей, что невозможно понять, кто же именно их произносит? Или писателя, который, объявив себя принципиальным противником нумерации страниц, помещает эпилог в середину романа? Или того, кто обрывает повествование на половине фразы, бросая читателя в полном неведении и предоставляя ему самому выбираться из этого болота?

Должен признаться, что, если лично от меня потребуют подобных усилий воображения, я предпочту сам написать роман, чем домысливать за автора судьбу его героев. И я выражаю нашему австралийцу самые горячие симпатии; если он идет не в ногу со временем, он идет в ногу со мной, и я готов напялить на себя такой же дурацкий колпак, какой сидит на нем. Когда я иду в концерт и беру в руки программу исполняемой музыки, мне ровным счетом ничего не говорят такие строки: «Это — наиболее характерное произведение серийной музыки, с ее диагональным сплете-

---

* А в книге всего-то пятьдесят одна страница. *(Прим. автора.)*

нием структуры, непрестанно деформирующейся под воздействием параметров». Не очень поможет мне и указание на то, что «творчество Форэ — это несомненно одна из самых красноречивых парадигм того сократического открытия самого себя, которое является тайным принципом всякого подлинного искусства».

Когда я иду в театр, мне бы хотелось понимать, что говорят на сцене, что там происходит перед моими глазами, в какой стране и по каким причинам человек убивает девочку. Очевидно, у меня слабые фары, и я очень быстро достигаю той степени сгущенности тумана, которая не позволяет мне ехать дальше, если я хочу оставаться в пределах какого-либо понимания.

■

Что касается тумана с его коэффициентом сгущенности, это я не сам придумал. Один из лучших в США «советников по читабельности» м-р Ганнинг выводит формулы, на основании которых читатель, опираясь на длину слов и на процентное соотношение количества слов и слогов, может судить, забрался ли он уже в туман*. Работы м-ра Ганнинга убедительно показали, что, если исключить комиксы (иллюстрированные комиксы — коэффициент 5), самый низкий коэффициент тумана — у Библии: 6. При коэффициенте 10 объявляется тревога. После 14 можно увязнуть — и прощай белый свет...

Парадоксы, смутившие нашего австралийца, придуманы не сегодня. Объявляя войну понятности и ясности, отдавая предпочтение туманности, умники наших дней странным образом похожи на умников времен Лабрюйера, которые упрямо хотели «объявить темным то, что темным не является, и не желают понять того, что так понятно».

В ту эпоху умели, правда, выбирать себе развлечения по вкусу. И хотя скука имела уже тогда своих снобов, она не достигла еще атомной мощи... Сколько раз я видел, как люди засыпают со скуки на представлениях авангардистского театра, а потом, в кулуарах, поют дифирамбы и распространяются о достоинствах драматурга, чью пьесу они и слыхом не слыхали! Сколько раз я видел, как знатоки хохочут в свое удовольствие на генеральной репетиции комедии кого-либо из известных драматургов, а потом в своих рецензиях кривятся да морщатся с величайшим презрением!..

Как-то довелось мне присутствовать при споре нескольких эстетов, которым предстояло выбрать пьесу для торжественного спектакля по случаю посещения английской королевой театра Габриэль в Версале. Назывались имена Мариво, Мюссе, Мольера. И тогда кто-то сказал:

— Полагаю, тут требуется что-нибудь поскучнее. Это было бы так элегантно!

Его привлекала скука. Он ощущал в ней нечто королевское.

Недавно меня посетил один из подобных эстетов, склонных не понимать ясных вещей и находить ясность в путанице и тумане, словом, современный жеманник. Хотя его имя мало соответствовало его внешности (черный джемпер, выцветшие джинсы, кафкианское выражение лица) и хотя, казалось, трудно найти человека более далекого от семнадцатого века, чем он, но именно о нем писал провидец Лабрюйер, именно его портрет набросал он за три века до его рождения. Все было схвачено удивительно точно, и вряд ли можно было добавить где-нибудь хоть штришок. Разве что такую черточку, как стремление находить грандиозное в ничтожном и крохотное в колоссальном. При виде окорока он возгласил: «Кафедрально!» — и я понял, что, глядя на Шартрский собор, он непременно воскликнет: «Да, это вам не свиная отбивная!»

Но находить в хрустально-прозрачном густой мрак — тут он не имел себе равных. Его взгляд упал на стеклянную дароносицу, хрупкую вещицу восемнадцатого века,

---

* Если принять за «a» количество слов в тексте (не менее сотни), за «b» количество фраз, за «c» количество слов с тремя и более слогами, получится следующая формула: коэффициент тумана равен $\frac{a}{в} + \frac{c \times 100}{a} \times 0,4$. За всеми разъяснениями обращаться непосредственно к м-ру Ганнингу. *(Прим. автора.)*

в которую я обычно ставлю свежую розу. Да, представьте себе, вид одинокой розы, которая стоит в этом наполненном водой шаре, радует мне глаз.

— Красиво, а? — сказал я ему.

Он погрузился в глубочайшее раздумье.

— Потрясно! — изрек он наконец. Затем, крепко потерев лицо обеими руками, словно для того, чтобы лучше собраться с мыслью, сказал: — Я нахожу это...

Пауза. Мне показалось, что он вот-вот потеряет сознание, но он перевел дух и продолжал:

— ...несколько психо...

— Простите?

— ...психо... ну... заточенно... улавливаете? Лично на меня это действует болезненно! Жестоко, ну! На это нельзя смотреть без ужаса, черт побери!

Перевод с французского М. ВАКСМАХЕРА

РАДУ СТЭНЕСКУ

РУМЫНИЯ

ИНТЕРЕСНАЯ ТЕМА

На днях я проходил по улице мимо строящегося здания, и вдруг ни с того ни с сего меня остановил подъемный кран.

— Алло, алло, товарищ!

Я притворился, будто не слышу. В самом деле, вступать на улице в беседу с незнакомыми подъемными кранами — не в моих привычках. Но кран не отставал.

— Эй, товарищ! Почему вы делаете вид, что не слышите? Я с вами говорю...

И я почувствовал, как в мой воротник вцепился крюк и повернул меня с мощностью двух тысяч лошадиных сил. Что мне было делать? Их две тысячи, а я один. Пришлось остановиться.

— Вы пишете в «Урзике»? — спросил кран.

— Да,— ответил я коротко, надеясь отбить у него охоту разговаривать.

— А что вы там пишете? — донимал меня кран.

— Как что пишу? Юмористику. О бухгалтере, который в срок не составил баланса, об официантах, не дающих сдачи, о тех, кто включает на полную мощь радио по ночам, когда все спят. Всякие такие шуточки, от которых люди со смеху катаются...

— Ну и как идут дела? — поинтересовался кран.

— Слава тебе, господи,— ответил я,— идут помаленьку. То в трамвае не бросят билет в корзинку, то найдется стиляга с коком, то одно, то другое, так оно и идет. А теперь извините, но я должен идти. Мне надо проверить один случай: какой-то гражданин в трамвае не уступил место старому пенсионеру. Сами понимаете, я не хочу упустить такой лакомый кусочек! И, кроме того, кажется, один из наших карикатуристов в редакции пронюхал об этом, и я боюсь, как бы он не свистнул у меня тему.

И я хотел было двинуться дальше, но крюк со всем своим табуном лошадей еще сидел в моем воротнике. И я остался на месте, а кран вкрадчиво шептал:

— А обо мне вы ничего не хотите написать?

Я рассвирепел:

— Вот что, уважаемый кран! Мне о вас писать нечего! Это относится к отделу «положительных явлений». А я в это дело не вмешиваюсь. Что мне о вас писать? Что вы помогаете строить дома? Что вы поднимаете целые стены, что вы облегчаете труд каменщиков? Желаю вам здравствовать, но это не моя область! Обещаю прислать к вам

завтра моего коллегу — фоторепортера, он сделает с вас первоклассный снимок и расхвалит, как только ваша душа пожелает!

— Нечем мне хвалиться! — вздохнул кран.

— Как это — нечем хвалиться? А тем, что вы делаете?

— Ничего я не делаю! — стыдливо вымолвил кран.

— Ага,— саркастически произнес я, довольный, что это оборачивается в мою пользу,— значит, вы — кран-лентяй!

— Нет! Я — кран-бродяга! — робко проскрипел кран.

Я окинул его взглядом снизу доверху. Он производил впечатление вполне приличного крана, высотой в тридцать метров. У него вовсе не было легкомысленного вида, которым обладают некоторые несерьезные краны, занимающиеся глупостями.

Случай показался мне интересным. Я торопливо поискал в кармане блокнот, с которым никогда не расстаюсь, и, убедившись, что забыл его неизвестно где, сказал крану:

— Не изложите ли вы мне в двух словах, что с вами случилось? И вытащите наконец крюк из моего воротника.

Кран поспешил отвести крюк.

— Пожалуйста, простите меня,— начал он извиняться,— за то, что я пустил в ход крюк. Но поверьте — нету больше моего терпения! И если я стал бродягой, то это не моя вина!

— А кого же вы обвиняете?

— Трест! — закричал кран.

— При чем тут трест? — возразил я.— Быть может, вы представляете собой патологический случай. Я знавал таких типов, которых обуревала неестественная страсть к бродяжничеству.

— Да что вы?! Поверьте, во всем виноват трест. Зачем он одновременно начал работы на слишком большом количестве площадок? Вы знаете, что теперь происходит? Сегодня меня смонтировали здесь, на строительной площадке номер один. Когда монтаж закончился и я был готов к работе, вдруг является кто-то из треста и кричит: «Немедленно демонтировать кран и бросить его на площадку номер три — туда уже прибыли детали!» Немедленно — это только так говорится, потому что демонтирование тянется дня три-четыре. Наконец, когда я попадаю на площадку номер три, меня опять монтируют и опять приходит некто из треста и опять кричит: «Демонтировать кран и перевести его на площадку номер два — туда пришли лесоматериалы!» И так далее и тому подобное... Что мне делать? Эти переводы меня убивают! И очень возможно, что бродяжничество портит мой характер! Разве вы не замечаете, что у меня появились странные привычки? Я говорю! По-моему, порядочному крану не полагается болтать. Помогите, напишите что-нибудь обо мне и о моих злоключениях!

— Право, не знаю,— ответил я, поскребывая затылок,— это не слишком юмористический случай. Вот если бы вы не уступили в трамвае место беременной женщине,— это было бы легче. А так... Знаете что? Я изложу ваш случай главному редактору, и, возможно, он решит, что на эту тему стоит написать — эпиграмму или очерк. Привет!

И я отправился прямо в редакцию, где и рассказал все, что со мной приключилось.

Решение главного редактора я прочел в записочке, направленной в отдел: «Тема интересная. Речь идет о критике организаций, которые начинают сразу строительство слишком большого количества жилых домов, и это ведет к тому, что все работы удорожаются и задерживаются из-за распыления материальных средств. Стэнеску этого не давать, он уже начал бредить наяву, как видите, берет интервью у кранов. Пусть напишет Комша» *.

И Комша, взяв лист бумаги, начал писать: «Солнце заливало золотым светом строительную площадку номер один, когда послышался голос...»

Перевод с румынского Д. ШПОЛЯНСКОЙ

---

* Самокритичное примечание редакции «Урзика»: «Мы искренне сожалеем, что не поручили этого Комше».

ЛЕШЕК МАРУТА
ПОЛЬША

ПЕЩЕРНЫЙ ЖИТЕЛЬ

Я всегда был упрямым человеком. Когда отец говорил мне: «Учись, сынок, учись», я нарочно не учился и оставался на второй год в том же классе. Когда мать предостерегала меня: «Не бегай, а то вспотеешь», я нарочно бегал и обильно потел.

И вот, начитавшись о разных ракетах на Луну, искусственных спутниках Земли, атомных электростанциях и сверхзвуковых самолетах, я принял непреклонное решение: «Стану пещерным человеком. Назло всему миру! Вы — вперед, я — назад. Вы меня — атомом, а я вас — дубиной!»

Но легко сказать: с сегодняшнего дня я становлюсь пещерным человеком. По правде говоря, я не имел абсолютно никакого представления об этих вещах и не смог бы отличить пещерного человека, ну, скажем, от гротолаза. И вот, после долгих размышлений, мне пришла в голову мысль расспросить моего старого школьного коллегу, ныне ученого-антрополога.

Коллега принял меня в своем кабинете. Он как раз пересчитывал зубы в нижней челюсти какой-то старой, истлевшей черепушки. Он очень нервничал, так как ему никак не удавалось сосчитать все зубы.

Несмотря на это, он поприветствовал меня довольно вежливо, что было странно для школьного коллеги, занимающего более высокое положение.

— А-а, как дела? Один, два, три... Что слышно? Четыре, пять, шесть... Все здоровы? Семь, восемь, девять...

— Благодарю! — ответил я.— Дома, слава богу, все здоровы! Кому это ты зубы считаешь?

— Пятнадцать...— бормотал профессор.— Боже, теперь ты меня сбил!.. Кому? Это череп троглодита, пещерного жителя. Наша новейшая находка!

— О! — обрадовался я.— А как он выглядел в жизни?

— Обычно, как первобытный человек,— буркнул ученый.— Весь обросший, одевался в шкуры, охотился с дубиной на зверей, жил в пещере, огонь высекал при помощи кремня и трута...

— Значит, он не пользовался электричеством?

— Ты что? — удивился антрополог.

— А он умел читать и писать?

— Откуда же! Он умел только выполнять примитивные рисунки на стенах пещер.

— Благодарю тебя, дорогой! Этого мне достаточно. Ну, не буду тебе больше мешать... Считай себе, считай!..— воскликнул я в порыве благодарности.

Вернувшись домой, я немедленно набросал план действий. Итак: перестану стричься и бриться, продам все свои книги и одежду, попрошу выключить газ и электричество, куплю на толкучке шкуры и дубину, выполню на стенах комнаты ряд примитивных рисунков.

Спустя месяц я был уже стопроцентным пещерным человеком. Усатый и бородатый, облаченный в котиковое манто (других шкур достать не смог), сидел я в углу комнаты при свече (не овладел еще техникой высекания огня) и самоотверженно поглощал сырую телячью печень. Мне пришлось покупать сырое мясо у нашего мясника, так как о диких зверях не было ни слуху, ни духу. Время от времени я (чисто символически) обсасывал кость мамонта, которую мне удалось стянуть из местного музея естествознания.

Комната была полностью освобождена от мебели. На полу лежала облинявшая медвежья шкура, купленная в комиссионке за огромные деньги, а стены, расписанные тушью, пестрели буйволами, оленями, носорогами и обнаженными женскими фигурами.

Только дубины я, к сожалению, не смог нигде достать! Временно ее заменяла мне телефонная трубка... Хотя я и достиг желанной цели, но в тот вечер меня охватили невеселые мысли. Кредит у мясника кончился, домоуправление грозило выселением за неуплату по счетам. Соседи собирались пожаловаться в милицию, что я их детей пугаю...

И тогда зазвонил телефон, моя единственная связь с цивилизованным миром! Т-р-р-р, т-р-р-р.

Взяв в руки дубину, то есть телефонную трубку, я, как и полагается неотесанному пещерному жителю, хрипло буркнул:

— Чего?

— Хэлло, это пещерный человек?

— Ага.

— У меня есть к вам предложение... Не хотите ли вы принять участие в конкурсе-концерте «Угадай» вместе с финалистками воеводского конкурса красоты? Это было бы исключительно интересно!

— Сколько? — коротко спросил я.

— Три сотенные,— был ответ.

— За три сотенные можешь себе нанять извозчика, а не пещерного жителя. Самое меньшее — пять. У меня высокий прожиточный минимум. Дорогостоящие туалеты, меха, амортизация дубины.

— Ну, пусть будет пять! Итак — завтра в семь, в зале Рудавы.

Вечером следующего дня, позаимствовав у соседа ножку от фортепиано в качестве дубины, я явился к устроителям мероприятия.

Уже по дороге я заметил огромные афиши, расклеенные на всех заборах: «Сегодня в зале Рудавы — пещерный человек и пятнадцатая «Miss Universum». «Не забудьте, в семь часов: пещерный человек, четыре Грации и популярный джаз-банд братьев Пищак».

Организаторы конкурса встретили меня с растерянными лицами:

— Пан Неандерталец! — сказали они.— У нас к вам просьба: возьмите на себя роль конферансье!

Я испугался: как это, я — первобытный человек — должен забавлять цивилизованную публику?

— Не бойтесь,— успокоили они меня,— наша публика тоже иногда ведет себя как первобытная!

Прозвенел звонок. Меня вызвали на эстраду. Поправив на себе шкуры, пригладив бороду, подкрутив ус, я взял дубину и уверенно вышел на сцену.

Зрители приняли меня несмелыми аплодисментами.

— Граждане! — начал я хриплым голосом.— Сегодня я буду вести концерт. Кому это не нравится, того могу сразу оглоушить дубинкой!..

Меня наградили бурными, долго не смолкающими аплодисментами.

— А теперь я расскажу вам о моей последней охоте на мамонтов...

После концерта в мою уборную ворвался импресарио:

— Поздравляю! Какой успех! Женщины безумствуют! Ну, теперь мы уж вас с эстрады не отпустим!

— Могу остаться, но...— предупредил я его,— за выступление тысячу злотых. Пора покончить с каменным веком. Пусть начнется век золотой,— повторил я вслед за Овидием.

Так началось мое триумфальное шествие по стране.

Вскоре имя «Пещерный человек» значило больше, чем имена Тито Росси, Яна Кипуры или Славы Пшибыльской.

А зарабатывал я, зарабатывал!.. На что мне эти деньги? Э-э, вот и не угадаете! Теперь наконец исполнится моя самая заветная мечта, мечта пещерного человека:

Я КУПЛЮ СЕБЕ АВТОМОБИЛЬ.

Перевод с польского В. ГОЛОВСКОГО

ГАНС КОХ

В БОРЬБЕ ЗА НОВОГО ЧЕЛОВЕКА

Во время Всегерманского слета молодежи в новом центре Берлина был организован книжный базар, где за прилавки встали писатели. Никогда еще мне не приходилось видеть, чтобы так штурмовали писателей и книги. Здесь собрались десятки тысяч молодых людей, повсюду страшная толкотня. Особенно много народу там, где раздают автографы Бруно Апиц и герой его романа «Голый среди волков», «дитя Бухенвальда» Стефан Ежи Цвейг, писатели Эрвин Штриттматтер, Дитер Нолль и Криста Вольф. Непрерывно, на протяжении нескольких часов, делает надписи на своем первом романе Эрик Нейч, продавая в среднем по три экземпляра в минуту. Большим спросом пользуется и книга Альфреда Куреллы «Димитров против Геринга». Многочисленные западногерманские гости только дивятся, что в ГДР современная литература так же популярна, как у них — киозвезды или исполнители модных песенок. С каждым днем все ощутимее становится та новая связь между литературой и народом, которая укрепилась у нас в последние годы.

Широкое обсуждение литературных произведений в печати, бурные споры, страстные выступления «за» и «против» — явление для нас новое. Предметом наиболее оживленной полемики стали «Расколотое небо» Кристы Вольф, второй том «Приключений Вернера Хольта» Дитера Нолля. «След камней» Эрика Нейча. Только за последние месяцы было опубликовано несколько сот дискуссионных статей о романе Эрвина Штриттматтера «Оле Бинкопп». Читательские конференции, посвященные этому роману, неизменно собирают полные залы. Мнения читателей расходятся: одни выражают горячее одобрение, другие не скрывают своего разочарования.

В западногерманской прессе тоже идут споры о литературе ГДР. В стене долголетнего молчания и злобной клеветы пробита брешь. Один из журналов (орган западногерманских библиотекарей) пишет: «Мы не можем похвастаться нашими поэтами. Совершенно очевидно, что хорошие немецкие стихи создаются ныне только к востоку от Эльбы». Крупная буржуазная газета «Вельт», не решаясь оспаривать факты, все же не стерпела такой «коммунистической пропаганды» и злобно огрызнулась: «При чем тут Восток или Запад? Раз написано по-немецки, значит — немецкая поэзия». Об этой перепалке двух западногерманских печатных органов рассказывал на Второй Биттерфельдской конференции член Центрального Комитета КПГ Оскар Нейман.

Пример этот — кстати, один из многих — свидетельствует о том, что литература Германской Демократической Республики приобрела подлинное общенациональное значение, которого уже не могут не признавать на Западе.

В этом году молодые писатели ГДР на протяжении двух с лишним месяцев каждую пятницу выступали с чтением своих произведений перед студентами Западного Берлина. И всякий раз после чтения возникали литературные и политические дискуссии, которые затягивались далеко за полночь. В этих вечерах участвовали поэт Гейнц Калау, прозаик и сценарист Гюнтер Рюкер (автор текста к «Русскому чуду»), поэт Гюнтер Дайке, Криста Вольф, Гюнтер де Бруин, который приобрел широкую известность после выхода в свет его первого романа «Овраг», поэт и сценарист Пауль Винс, прозаик и публицист Герман Кант, чей роман «Актовый зал» обещает стать событием в нашей литературной жизни, и поэт Адольф Эндлер, который несколько лет назад переехал к нам из Западной Германии.

Вот как пишет одна западногерманская газета о том интересе, который проявляли слушатели к этим литературным вечерам: «Люди сидели на полу, на подоконниках, на батареях. У входа толпились опоздавшие». Эти встречи, которые будут продолжаться, показывают, что наша социалистическая литература стала действенным фактором в откровенном разговоре между двумя Германиями. Пренебрежение к нашей литературе теперь все чаще воспринимается как анахронизм. «Тагесшпигель», стараясь выражаться осторожно, пишет по этому поводу: «Вместо весьма расплывчатого и неоправданно обобщающего понятия «писатели в тисках тоталитарного режима», мы увидели реальных людей, получили представление о разнообразных течениях в восточногерманской литературе, о которых прежде имели весьма смутное представление». Можно добавить, что на этих встречах в Западном Берлине потерпели полный крах те люди, которые упорно не желали называть ГДР ее полным именем и, цепляясь за доктрину Хальштейна, разглагольствовали о «Восточной Германии», «Средней Германии» или «так называемой ГДР»; зал встречал этих людей смехом и возмущенными криками. Факт существования нашего государства все больше доходит до сознания немцев, живущих в ФРГ, и в этом немалую роль играет наша литература. Даже «Тагесшпигель» — а это в нынешних условиях говорит о многом — признает: «Чтения и дискуссии... в которых участвовали многие восточноберлинские писатели, по-видимому, знаменуют новую фазу в идеологическом споре между Востоком и Западом: прочь от шаблонного мышления времен холодной войны...» Все встречи этого рода — в том числе и дискуссии писателей ГДР с руководящими членами «группы 47» — тесно связаны с усилиями нашей государственной политики в деле смягчения напряженности в Германии.

Факты, приведенные выше, говорят о некоторых принципиальных особенностях нашей литературы: ее подлинно народном характере, неотделимом от реалистического метода изображения, о боевом, активном участии в жизни нашей республики, об ее усилившемся влиянии.

Связь с народом — главный вопрос литературы, особенно в современном обществе, где грамотность — достояние каждого и где необычайно возрастает роль печатного слова. Небезынтересно сравнить в этом плане литературу обоих германских государств.

Какие произведения пользуются спросом в Западной Германии? Кого там больше читают — Бёля, Грасса, Энценсбергера, Рихтера, Вальзера, Йонсона, Хохгута? Разумеется, книги этих писателей тоже выходят иногда очень высокими тиражами и даже фигурируют в списках бестселлеров, хотя и не на первых местах. Но читает ли произведения лучших современных западногерманских авторов читательская публика? К сожалению, нет.

В Западной Германии, вытесняя серьезную литературу и поэзию, прочно обосновалась псевдолитература, которую официальная пресса величает «народной», или «массовой»; эта литература, на долю которой выпадает 90—95% всей читающей публики, безусловно находится за пределами всякого искусства: она примитивна, низкопробна и играет откровенно реакционную роль.

Точные социологические исследования, изучающие спрос на книжном рынке, наглядно показывают, что в ФРГ так называемая «серьезная художественная литература», именуемая там еще «квалифицированной» литературой и поэзией, имеет всего 5—6% читателей. Доля рабочих и крестьян среди таких читателей и абсолютно, и относительно самая низкая. Это одно из многих печальных последствий длительного господства империализма в Германии, которое разрушило связь между литерату-

рой и народом. При этом официальные политики пытаются убедить всех, что для современной литературной жизни ФРГ характерны такие имена, как Бёль и Грасс, Вальзер и Хохгут, Кёппен и Энценсбергер, хотя в действительности господствуют там совсем другие силы и течения. Боннские пропагандисты всячески стараются выдать за «своих» даже Томаса Манна и Бертольта Брехта. Некоторое время назад «Тагесшпигель» писал с поразительным цинизмом: «Проявим широту души. С самонадеянностью, которая в конечном счете таит в себе благоразумие, скажем раз и навсегда, что всякое значительное явление в искусстве заведомо принадлежит нам... Нам нужен вместительный желудок, который Гёте приписывает церкви и о котором Мефистофель говорит, что он способен переварить многое. Он переваривает даже отрицание самого себя».

В отличие от Западной Германии, положение литературы в ГДР иное.

За последние пять лет современная социалистическая литература выиграла, если можно так выразиться, «битву за читателя». При этом происходил процесс духовного и эстетического созревания как литературы, так и самих читателей. Вторая Биттерфельдская конференция отчетливо показала, что литература ГДР стала *общественным делом,* волнующим не только интеллигенцию, но и весь народ. Господство империализма и фашизма в Германии создало глубочайшую пропасть между литературой и народом, которая полностью не исчезла даже спустя десять лет после основания ГДР. На Первой Биттерфельдской конференции было выдвинуто требование ликвидировать этот разрыв. Сегодня мы можем с гордостью сказать, что задача в основном выполнена.

В ГДР укрепились позиции социалистической литературы, и это укрепление позиций определяется как ее внутренним духовным и эстетическим содержанием, так и фактическим распространением среди масс. Это касается, естественно, не только нашей «собственной» литературы, но и литературы других социалистических стран, и в первую очередь Советского Союза.

В доказательство можно было бы привести многочисленные убедительные примеры. Вот некоторые из них. Только произведения Михаила Шолохова, необычайная популярность которого среди читателей ГДР нашла яркое подтверждение во время его недавнего визита к нам, были изданы тиражом 1,25 миллиона. Роман Николая Островского «Как закалялась сталь» вышел у нас общим тиражом в 592 тысячи экземпляров. «Педагогическая поэма» Макаренко — 348,5 тысячи и т. д.

Мне кажется, что только на фоне глубокого разрыва между литературой и народом Западной Германии становится особенно ясно великое значение тех перемен, которые произошли в литературной жизни ГДР. Впервые в стране с таким отчетливо выраженным империалистическим прошлым произошел полный переворот в искусстве.

Изменение отношений между литературой и народом — один из главных результатов «Биттерфельдского пути», оно означает серьезный успех социалистических писателей, и прежде всего молодого поколения. Выдвижение молодых писателей весьма характерно для нашей культурной жизни, хотя это и не означает, что можно говорить о какой-то «смене караула» или о духовной «отставке» испытанных мастеров пера.

Но эти глубокие сдвиги нельзя рассматривать как явление чисто литературное. Бурные дискуссии, вечера поэзии с непривычно широким участием читательской публики — прежде всего результат тех здоровых изменений, которые внесла в нашу жизнь политика партии после 13 августа 1961 года и особенно VI съезда СЕПГ и которые связаны также с заключением исторического договора о дружбе между нашими обеими странами. Обсуждение таких произведений, как «Расколотое небо», «Оле Бинкопп», «След камней», привлекшее десятки тысяч людей, резко отличается от дискуссий прежних лет. Сегодняшние наши острые дискуссии — *это выражение общей борьбы за решение новых проблем,* назревших в жизни, и в то же время свидетельство дальнейшей демократизации общественной жизни республики.

Об этом подробно говорилось на Второй Биттерфельдской конференции. Выступление товарища Ульбрихта с особой силой выявило неразрывную связь между проблемами развития литературы и основными вопросами нашей жизни в период развернутого строительства социализма. Вторая Биттерфельдская конференция выдвинула требование создавать высокохудожественные, подлинно народные произведения, укреплять связь искусства со всеми основ-

ными жизненными процессами нашего общества.

Немецкую литературу социалистического реализма нельзя представить себе сегодня без ожесточенной борьбы против милитаризма и фашизма, за преодоление его психологических и идеологических последствий. Эта борьба определяет всю жизнь нашего народа в двадцатом столетии.

«Драма решения» — так можно было бы назвать тему, получившую широкое распространение в творчестве писателей ГДР старшего и младшего поколения. Она представлена, в частности, в таких произведениях, как «Еврейский автомобиль» Франца Фюмана, «Приключения Вернера Хольта» Дитера Нолля, «Мы не пыль на ветру» Макса Вальтера Шульца, «Мечта дорога» Арнольда Цвейга. Об этих книгах говорилось в статье Е. Книпович *. Не имеет смысла еще раз подробно останавливаться на них, стоит только добавить еще несколько имен и названий: трилогию о Феликсе Хануше Юрия Брезана, «Овраг» Гюнтера де Бруина, роман «Самое дорогое и умирающее» Гюнтера Гёрлиха, трилогию Иобста «Нелегкая жизнь Адама Пробста» и особенно ряд новых рассказов Фюмана, а также уже давно написанный превосходный роман Эрвина Штриттматтера «Чудодей».

Общая черта, характерная для всех этих очень разных произведений, состоит в том, что они рассказывают о борьбе с фашизмом в душах людей. Как заметила Криста Вольф по поводу книги Шульца, расчет с прошлым перерастает в проблему установления новых связей с нацией, в строгий пересмотр исторического пути и культурных ценностей своего народа, в утверждение собственного места в новом обществе. Сегодня «прощание с прошлым» уже не является главной проблемой большинства произведений наших писателей, хотя и остается их центральной темой. Многие писатели видят в этом «прощании» лишь *предпосылку решения* в пользу нового. В основе всех названных выше произведений лежит мысль о полной победе социализма над фашизмом. окончательном решении в пользу социализма. Это решение приобретает здесь широкий смысл, о котором говорила Криста Вольф, в процессе развития литературы оно углубляется самой жизнью. Именно поэтому книги на «историческую тему», которые раскрывают процесс искоренения фашистской идеологии в душах людей (обычно начиная непосредственно с 1945 года), так актуальны в период развернутого строительства социализма в нашей республике.

Для многих «молодых» было нелегко вершить суд над прошлым с позиций социалистического настоящего и будущего. Должно было пройти двенадцать-пятнадцать лет после войны, чтобы такой взгляд на прошлое дал литературные плоды. И сегодня еще появляются произведения — причем, надо отметить, очень талантливые, — в которых при всем искреннем и честном отрицании этого страшного прошлого не ощущается утверждения нашей современности, нашего будущего. Но характерно, что подобные произведения находят значительно меньший отклик среди читателей, причем их больше читают в Западной Германии, чем у нас.

Совершенно очевидно, что «драма решения» в нашей литературе интересна прежде всего не как «исторический материал». Убедительным примером является, с моей точки зрения, второй том «Приключений Вернера Хольта», который был принят читателями не так единодушно, как первый. Многие из тех, кто пережил послевоенные годы, изображенные в романе, отнеслись к нему скептически и даже отрицательно: они сравнивают прочитанное с собственным опытом и пожимают плечами. Основной художественный недостаток этой книги — вялость действия, противоречащая ритму тех лет, увлечение абстрактно-интеллектуальными проблемами.

Но большинство молодой интеллигенции приняло роман восторженно. Нолль затрагивает проблемы, волнующие молодежь шестидесятых годов и отражающие своеобразие ее «решения» в пользу социализма и нашего государства. Интеллектуальные «приключения» Вернера Хольта как нельзя больше соответствуют нежеланию молодежи довольствоваться готовеньким (которое проявляется порой весьма анархически), стремлению самим все понять, осмыслить и проверить, не просто «признать» марксизм своим мировоззрением, не заучивать его, как катехизис, а постичь в спорах и завоевать его для себя. Понятно нашей молодежи и искреннее желание молодого интеллигента, героя романа, разобраться в марк-

* «Иностранная литература» № 10, 1963 г.

систском тезисе о ведущей роли рабочего класса. Все эти проблемы читатель воспринимает как «собственные» — они тесно связаны с «решением», которое для многих в нашей республике и по сей день остается актуальным.

Именно в этом аспекте интересен центральный герой романа Эрика Нейча «След камней» — бригадир плотников Ганнес Балла, образ подлинно немецкий. Балла — отличный специалист, но это не мешает ему быть птицей перелетной, кочевать чуть ли не по всем стройкам нашей республики. Грубый, неотесанный человек, лихой удалец с пиратскими замашками, он никого не уважает, от членов своей бригады требует безоговорочного повиновения, не желает «допускать на стройку политику»; он — неизменный покоритель женских сердец, он исполнен суровой золотоискательской романтики и в то же время не чужд сентиментальности; одним словом, Балла — материал, из которого легко было бы вылепить и фашистского молодчика. Его «классовое сознание» выражается в анархистско-мародерских настроениях, чувство ответственности перед людьми — в желании любыми средствами обеспечить высокий заработок членам своей бригады. Сила воли, проявляющаяся главным образом в «пролетарской непочтительности», находит у него применение лишь в мелочной войне с «социалистическим начальством». И тем не менее Балла с его удалью, необузданностью — весьма располагающая личность, хотя от его похождений иногда мороз по коже подирает.

В этой фигуре с самого начала заложены две возможности. Первая: Балла станет сознательным рабочим. О другой говорилось выше. Эта вторая возможность, заложенная в Балле, коренится в его прошлом. Во время войны он плавал на подводной лодке, точнее на управляемой торпеде. Но Нейча меньше интересует прошлое. Едва ли не впервые в нашем современном романе герои почти не имеют предыстории, об их жизни до сорок пятого года известно очень мало. Нейча больше волнуют *современные условия*, которые формируют облик его героев, определяют их конфликты, успехи и поражения. Воспроизводя различные стороны нашей жизни, писатель показывает, как недостатки в деятельности руководства, слабости и формализм в партийной работе, бюрократизм и неорганизованность в социалистическом производстве и т. д. способствуют закреплению негативного начала в характере героя. Художественно менее убедительно показано в романе влияние на таких людей, как Балла и члены его бригады, буржуазных взглядов на жизнь, проникавших к ним из Западной Германии, особенно до 13 августа 1961 года. Эта мысль дана главным образом в форме рассуждений и деклараций. Но в целом драматический процесс «решения» в пользу социализма показан на широком фоне жизни нашей республики, а не просто как «сдвиги в сознании героя».

В нашей литературе были и сохраняются до сих пор некоторые явления своеобразной «теории бесконфликтности», выражавшейся в том, что сам по себе недостаток сознательности уже составлял основу «конфликта». Когда человек в результате какого-то события становился более сознательным, «конфликт» был разрешен. Как реакция на этот схематизм возникла тенденция изображать конфликт ради конфликта, человек оказывается слепым объектом противоречий, движение идет по замкнутому кругу. Поэтому Вторая Биттерфельдская конференция с особой настойчивостью поставила вопрос о социальных, общественных основах противоречий и конфликтов в период строительства социализма.

Личная судьба Баллы и его друга-противника, секретаря партийной организации стройки Горрата (как и других людей этого коллектива) находится в прямой зависимости от тех изменений, которые произошли в нашей жизни. Впервые в литературе ГДР столь глубоко отражено влияние социалистического труда на формирование человека. Однако это не единственный фактор, способствовавший изменению характера Баллы; причину автор видит во всей *совокупности* отношений героя к жизненным процессам социалистического строительства в нашей республике и к Западной Германии. В романе Нейча понятие «общество» предстает не как абстракция, а выражается в богатстве и разнообразии связей и отношений, которые, по Марксу, и определяют личность.

В многочисленных произведениях последних лет можно найти художественно обобщенную картину тех сложных внутренних и внешних конфликтов, столкновений и битв, глубоких противоречий и трудностей, которые сопровождают переход людей из самых различных общественных слоев к социализму. Приобщаясь к революционному духу нашей новой действительности, к уча-

стию в демократическом и социалистическом строительстве, эти люди ищут и находят свою новую, немецкую родину. Наша социалистическая литература не просто воспроизводила личное и национальное решение сотен тысяч и миллионов немцев. Она помогала людям принять это решение, укрепляла и поддерживала его. Тем самым она органически продолжает и развивает лучшие традиции гуманистической литературы тридцатых — сороковых годов.

Идея становления нового человека пронизывает не только широкие эпические полотна, содержащие художественный анализ длительных и сложных процессов развития, но и многочисленные произведения о современности. Таковы, например, пьеса Гельмута Байерля «Фрау Флинц» и повесть Юрия Брезана «История одной любви», мастерски написанная новелла Франца Фюмана «Богемия у моря» и новая драма Гаральда Хаузера «Барбара». При всем различии «Описания одного лета» Карла Гейнца Якобса и некоторых рассказов из сборника «Биттерфельдские истории» Эрика Нейча в них есть схожие общественные проблемы. Перед необходимостью принять решение оказываются Адмирал и Король из «Свадьбы на Леннекене» Нахбара. А старшеклассники из «Прибытия в будни» или герои «Братьев и сестры» Бригитты Рейман? Сложная дилемма возникает и перед юношей Ганнесом из романа Шмоля «В семнадцать лет ты еще не герой», и крестьянином Гриммбергером из «Осеннего дыма» Бернгарда Зеегера, и перед героем книги Фрица Зельбмана «Возвращение Иоахима Отта». То же можно сказать и об Эгоне из повести Иоахима Вольгемута «Эгон и восьмое чудо света», и о Рите Зейдель и Манфреде Герфурте из романа Кристы Вольф «Расколотое небо».

Эти книги вызвали большой интерес общественности. Необходимо заметить, что самыми полнокровными и яркими в них обычно оказывались герои, находящиеся в конфликте с социалистическими условиями жизни; присущее им внутреннее напряжение вытекает из неустойчивого, неровного отношения к новой действительности или даже из откровенного сопротивления ей. В нашей литературе возник обобщенный и вместе с тем сугубо индивидуализированный тип человека, который стремится в своем сознании, своих практических действиях подняться до уже существующего уровня социалистических условий жизни или, как Манфред Герфурт из «Расколотого неба», не выдерживает трудного испытания и приходит к полному моральному краху. Так альтернатива — за нашу республику или против нее — в корне меняет жизнь этих литературных героев.

Правдивое изображение трудностей, противоречий, конфликтов, носящих личный и национальный характер, сопровождающих переход людей к социализму, и составляет, с моей точки зрения, самое значительное творческое достижение нашей литературы. Оно определило ее возросшее национальное и международное значение.

В первое время после Биттерфельдской конференции 1959 года внимание партии и общественности сосредоточилось прежде всего на поддержке произведений, отражающих нашу современность, на тех тенденциях, которые могли привести к более глубокой и интенсивной связи писателей с жизнью народа и практикой социалистического строительства. Смысл этого заключается, конечно, не в фетишизации тематической актуальности, хотя такая опасность и возникла. Она была преодолена под принципиальным руководством Центрального Комитета и лично товарища Вальтера Ульбрихта.

Необходимость такого внимания к современной теме, расцененная нашими противниками и даже некоторыми не понявшими нас друзьями как узость и ограниченность, определялась не только стремлением преодолеть еще существовавший в ГДР разрыв между литературой и народом,— надо было углубить, укрепить в новых условиях *социалистические классовые позиции* нашей культуры. Немецкая социалистическая литература, выросшая из последовательной антифашистской борьбы и — после освобождения Советской Армией — антифашистско-демократического этапа нашей революции, приобрела, благодаря таким художникам, как Бехер, Брехт, Анна Зегерс, Вилли Бредель, Фридрих Вольф, Эрих Вайнерт и другие, мировое значение. Национальный и международный престиж немецкой антифашистской литературы поддерживался и непосредственным участием ее лучших представителей в борьбе. Эту традицию необходимо было сохранить и продолжить на новой основе — и не в последнюю очередь для того, чтобы обеспечить

преемственность в развитии немецкой литературы.

Одновременно в нашей литературе происходил чрезвычайно сложный и противоречивый процесс движения «вширь» — к богатству и многообразию тем и жанров, стилей и манер, индивидуальных почерков, к более многообразному проявлению творческих возможностей. «Широту» нельзя понимать как сосуществование идеологий и идейную неразбериху, как загрязнение наших принципов или как раскол идеологического единства в рядах писателей, как поблажку либерализму. Требование «либерализации» стало основным лозунгом и объектом усилий наших врагов, которые даже теперь, после закрытия государственной границы, еще имеют некоторые возможности для своей «деятельности» в области культуры. Под руководством партии была начата решительная борьба против проявлений «либерализма», в котором идеологически враждебные нам силы увидели для себя лазейку (известно, что в этой, в целом успешной, борьбе у нас были не только победы, но и потери). Поэтому на Второй Биттерфельдской конференции товарищ Вальтер Ульбрихт еще раз подробно говорил о диалектике свободы и ответственности деятелей культуры.

Широта в литературе — не самоцель. Смысл ее прежде всего в том, чтобы усилить роль искусства в формировании нового человека. Должно было пройти много времени, пока в нашей литературе появился герой, который, не только, упрощенно выражаясь, «карабкается наверх», стараясь не отставать от существующего уровня жизни, но и несет в себе «исторически действенное» начало, сам создает свой собственный новый мир. Можно не объяснять, как важно в период развернутого строительства социализма это выявление творческих возможностей человека, уничтожение преград, которые мешают ему развиваться. Эта активизация творческих сил на новом этапе социалистического строительства становится основным вопросом общественного развития во всех сферах жизни, настоятельным требованием нашей национальной борьбы.

Наша литература социалистического реализма обязана не отставать от этого требования. Но непосредственное отражение основных явлений, возникающих в обществе в процессе технической революции, означает лишь часть общей задачи. В целом же долг литературы заключается прежде всего в том, чтобы участвовать в формировании нового человека — строителя социалистического общества, подлинного *творца* и властелина природы, хранителя и продолжателя всех лучших традиций человеческой истории. Это должна быть литература, которая учит отличать прекрасное от уродливого, смеяться и плакать, любить и ненавидеть.

Герой — строитель и творец, хозяин жизни и своей республики, уже сделавший для себя выбор,— появился в нашей литературе относительно поздно. В пятидесятые годы у него был ряд предшественников — в произведениях Эдуарда Клаудиуса и Ганса Мархвицы, в поэзии Бехера, Фюрнберга, в стихах Кубы, Фюмана и других.

Сейчас этот герой победоносно входит и в эпическую литературу, и в драматургию. Здесь в первую очередь надо назвать «Новую главу» Вилли Бределя (вскоре выйдет продолжение этой книги), уже упоминавшиеся романы «Оле Бинкопп» Эрвина Штриттматтера, «След камней» Эрика Нейча, «Искатели сокровищ» Эриха Кёлера (первое крупное произведение автора, не лишенное известных слабостей), пользующуюся большим успехом драму Хорста Заломона о горняках «Кошачье золото», драматическую поэму Кубы «Терра инкогнита», «Годы возмужания» Юрия Брезана...

Ожесточенные споры вокруг романа Штриттматтера «Оле Бинкопп» вызваны прежде всего тем, как показана в нем руководящая деятельность партии и правительства. Мне представляется, что в книге не совсем правильно освещен важнейший вопрос социалистической революции — соотношение демократизма и централизма (этот недостаток романа носит политический характер, но с ним связаны и художественные промахи). И тем не менее книга эта, оригинальная, острая, искрящаяся юмором и полная глубокого трагизма,— подлинный, неподдельный Штриттматтер. При всех возражениях, которые вызывает этот роман, он несомненно принадлежит к наиболее значительным художественным произведениям последних лет. Неоспоримым остается, что в «Оле Бинкопп» автор создал ряд образов, интересных для читателя внутренним напряжением и сложностью натуры, причем впервые в современном немецком романе характеры героев уже не определяются альтернативой «за» или «против» социализма. Они всей душой «за», свой путь в нашей жизни им не приходится ис-

кать в трудных столкновениях и мучительных раздумьях, все их интересы неразрывно связаны с социалистическим обществом. И именно эти герои, которые в нашей литературе часто оказывались пресными, скучными, бесцветными, здесь — самые привлекательные и живые. А это уже много.

Пробуждение творческих сил народа при социализме — основная идея романа (хотя некоторые их источники попросту игнорируются, а общественные условия, в которых развертываются эти творческие возможности, отражены недостаточно). Наличие творческого начала в человеке определяет отношение к нему писателя, становится масштабом, которым он меряет своих героев.

В этом романе Штриттматтеру удалось то, чего не хватает многим произведениям о наших буднях. Повседневные события, труд он умеет окружить ореолом исторического величия, которое покоряет как сторонников, так и недругов этой книги. Можно спорить, достаточно ли показанный писателем деревенский быт, с заботами о скоте и домашней птице, с изготовлением циновок из камыша и тысячью других будничных деталей, отражает сегодняшний день сельскохозяйственных кооперативов; суть, как мне кажется, в другом: впервые в нашей литературе все эти обыденные дела исполнены подлинного величия, с ними связано счастье и горе людей. Это означает, что Штриттматтеру удалось поэтически раскрыть в повседневном труде «обычных» людей то историческое качество, которое присуще ему в действительности, но которое часто остается непонятным и незамеченным. Нельзя копировать действительность и думать, что так создается искусство. Повседневное, неприметное, обыденное осталось бы мелким и безнадежно провинциальным, не будь оно озарено светом большой эстетической идеи.

Именно поэтому, мне кажется, роман Штриттматтера — шаг вперед по пути изображения нового человека, несмотря на свойственную ему известную внутреннюю противоречивость.

Способствовать раскрытию всех творческих возможностей человека в социалистическом обществе — вовсе не означает непрерывно петь ему дифирамбы. Необходимо вести ожесточенную борьбу против всего, что мешает развернуться этим творческим возможностям.

Новая драматическая поэма Кубы «Терра инкогнита», написанная прекрасным стихом, ставит принципиальную проблему: раскрытие творческих возможностей человека осмыслено в ней как основной вопрос идейной борьбы двух общественных систем в Германии. Этот мотив возникает и в романе Штриттматтера, но не получает яркого художественного развития. Удачно избегая ходового «шпионского» сюжета, Куба раскрывает сложную, исторически обусловленную связь между нашими трудностями и подрывной деятельностью западногерманских монополий, глубже и убедительнее, чем в других произведениях, показывая социальную и историческую подоплеку этих явлений.

В последнее время в нашей литературе усилилась борьба с явлениями догматизма, бюрократизма, групповщины. Критический пафос, направленный против наших недостатков, стал неотделимой составной частью немецкой литературы социалистического реализма. Но общественность снова и снова предостерегает наших писателей от опасности слепого и нецеленаправленного «антидогматизма». Мне думается, что эти предостережения оправданны и в художественно-эстетическом отношении. На самом деле, если не считать Румбо из книги «Годы возмужания» Юрия Брезана, в нашей литературе нет ни одной фигуры «догматика», которая в пределах своих внутренних возможностей была бы выпуклой и пластичной. Мангольд в романе Кристы Вольф «Расколотое небо» — не что иное, как рупор схоластических, безжизненных идей. Блейбтрой («догматик» из романа Нейча) — бледная и расплывчатая фигура. Фрида Симсон, деревенский тиран из «Оле Бинкоппа» — предельно шаржированный герой, такого не знала еще немецкая литература; в этом образе сосредоточились характерные черты догматика, а живого человека не получилось (сравнение с пенсионером Яцуба из «Тронки» Гончара сразу делает отчетливым это различие). Причина, как мне кажется, в том, что важная и во многом правильная критическая мысль еще не поднялась здесь до исторической правды о нашем национальном развитии.

Обращение к творческим силам человека, к его возможностям не должно ограничиваться в нашей литературе лишь темами сегодняшнего дня. Требование преимущест-

---

ГАНС КОХ
В БОРЬБЕ ЗА НОВОГО ЧЕЛОВЕКА

венного отражения «актуальной тематики» неизбежно привело бы к узости.

В этом отношении чрезвычайный интерес представляют новые произведения на историческую тему — например, повесть Анны Зегерс «Свет на виселице» и большой роман Стефана Гейма «Бумаги Андреаса Ленца», важное художественное значение которых не все понимают и признают. Эти произведения находятся не где-то «на обочине», а в самой гуще нашего литературного развития, они не обряжают наших современников в исторический костюм, а воскрешают фигуры наших революционных предков, сохраняя историческую точность деталей, заставляя нас воспринимать этих людей как наших подлинных современников, соратников в борьбе. «Бумаги Андреаса Ленца» — не просто крупный исторический роман, представляющий собой значительное явление в нашей литературе (а в буржуазной литературе Западной Германии он не имеет себе равных); это воссозданный большим художником важный период нашей национальной истории, который еще и потому так дорог нам, что здесь мы встречаемся с образами Маркса и Энгельса, показанными во всем обаянии человеческой личности.

С этой же точки зрения достойны внимания повести и рассказы Эдуарда Клаудиуса «Из близких и далеких городов», «Девушка Нежное Облако», действие которых хотя и разыгрывается в Сирии, Вьетнаме или Лаосе, но которые тем не менее глубоко связаны с нами и с нашей жизнью, и многие другие произведения наших писателей.

В одной статье невозможно рассказать о всех интересных книгах, невозможно исчерпывающе показать пути развития немецкой социалистической литературы, о многих достижениях и промахах пришлось упомянуть только вскользь. Но одно можно сказать со всей убежденностью: при всех сложностях развития нашей литературы она свидетельствует о тех серьезных успехах, которыми Германская Демократическая Республика встречает свое пятнадцатилетие.

г. Берлин

И. АНИСИМОВ

РОМАНЫ ГРЭХЕМА ГРИНА

В романе «Ценой потери» кристаллизуются многие важнейшие выводы и лейтмотивы творчества Грэхема Грина. Это роман итоговый, его основание составляют те художественные достижения, которые были сделаны автором раньше, но возникают здесь не как повторы, а в новых связях, в новом освещении, в дальнейшем углублении. Большие и сложные искания, в которых воплощается столь свойственная творчеству Грина тревога за судьбу современного человека, получают в романе «Ценой потери» какую-то особенную завершенность.

Значение этого романа может быть понято только в связи со всем предшествующим творчеством Грэхема Грина. Ранний Грин конца 20-х — начала 30-х годов — это превосходный мастер криминального романа. В перечне его произведений до сих пор держится рубрика «entertainment», что значит развлечение, наряду с рубрикой «novel» — собственно роман. Однако и эти произведения Грина отличало нечто казавшееся не свойственным жанру, к которому он формально принадлежал. Уж слишком серьезной и напряженной была драматичность этих произведений с традиционно «раскручивавшимся» сюжетом, слишком велико беспокойство, которым пронизаны эти произведения.

Но все же до поры до времени это были романы развлекательного назначения. Но уже внутри этого жанра, казавшегося излюбленным, Грин заходит так далеко в направлении психологического реализма, и моральная нагрузка романа становится столь значительной, что впоследствии ему самому приходится переводить некоторые произведения из рубрики «entertainment» в рубрику «novel». Так было, например, с одной из самых блестящих его книг — «Брайтонской скалой», которая теперь всегда значится в рубрике романа, а когда-то иначе не называлась, как «an entertainment».

У Грина вокруг уголовного преступления, вокруг соответствующего подобному жанру нагромождения жестокостей, убийств, преследований всегда сгущается необыкновенно тревожная атмосфера и возникает образ безумия мира, порождающего эти преступления и ту роковую запутанность, которую уже никто не может распутать. Все это далеко выходит за пределы так называемого полицейского романа, с его в конце концов несложной амплитудой художественных возможностей.

Таким образом, жанр «entertainment» для Грина — это не только попытка даже в рамках вполне устоявшегося и всесторонне разработанного жанра достичь серьезных художественных результатов, но и

поиск выхода к гораздо более емкой, серьезной и глубокой художественной форме.

30-е годы, когда намечается переход Грина от успешно использованной жанровой формы к роману совершенно другого типа, к роману, в котором социально-психологическое содержание доминирует, были сложными и плодотворными годами. В европейских литературах совершалось серьезное размежевание сил. Глубокий духовный кризис охватил широкие круги интеллигенции. И хотя Грин тех времен далек от политики и не участвует в идейных схватках, которые увлекли тогда многих английских писателей, в его творчестве происходит трудная ломка.

В конечном счете это отзвуки тех бурных процессов, во власти которых находилось английское общество в годы экономического кризиса. И резко возросший интерес к социально-психологической проблематике, что так убедительно проявляется в «Брайтонской скале», и поиски более емкой формы романа получают у Грина последовательное выражение и вводят его творчество в русло критического реализма.

Одним из произведений Грина 30-х годов является роман «Меня сделала Англия». То особое напряжение, возникающее здесь вокруг моральных проблем, к которым всегда приковано внимание этого автора, достигается раскрытием социальной природы явлений. Существенно иную окраску приобретает изображение постоянно возникающего, как бы неотвратимого обесчеловечивания человека, вне которого невозможно себе представить гриновский роман. Аморальность, цинизм, преступность капиталистического мира теперь показаны с убедительностью реализма.

В центре действия — крупный капиталистический делец Крог, вокруг которого кипит грязное взбаламученное море предпринимательства, и его своеобразный двойник Эптон Феррент, который все же оказывается недостаточно грязен и гадок, чтобы до конца соответствовать своему могущественному покровителю. Все, что относится к персоне Крога, жизнь которого является сплошным преступлением, все нити романа ведут читателя к выводу, что социальная система, соответствующая подобной действительности, сама по себе античеловечна.

Непосредственно за этим романом следует необычайно интересная книга Грина — «Путешествие без карты» (1936). Это третья рубрика сочинений Грина «travel», к которой относится еще книга «Пути беззакония», вышедшая в конце 30-х годов и посвященная поездке в Мексику.

Между романом «Меня сделала Англия» и «Путешествием без карты» есть прямая связь. Путешествие европейца в одну из стран Западной Африки, в Либерию, предстает как бегство от той кроговской действительности, которая была показана в названном романе.

Утомительно трудный путь по дебрям Либерии заставил Грина многое испытать, но ввел его в мир необыкновенной природы и необыкновенных людей, которых еще не коснулась капиталистическая цивилизация. Их жизнь привлекательна, хотя это жизнь, полная лишений. Население территории, через которую продвигался Грин, живет очень бедно, почти нищенски, повсюду распространены тяжелые болезни, но люди сохраняют подлинно человеческий облик, чем не перестает восхищаться Грин.

Европейская цивилизация — это «дряхлый мир», мир, в котором «не хватает счастья», мир людей, которые «сбились с пути». Это представление о буржуазной Европе, постоянно переплетающееся с глубоко человеческой симпатией Грина к аборигенам Либерии, и составляет эмоционально-идейную основу великолепной книги, захватывающей читателя богатством наблюдений, своеобразием картин, сменяющих друг друга.

Книга «Путешествие без карты» явилась осуждением буржуазной цивилизации. В ней очень четко выражен контраст «дряхлого мира» и мира «подлинной человечности», в котором очутился Грин, начав свое путешествие по Либерии.

Интересны некоторые замечания, которые автор считает необходимым сделать в связи с предшествующей своей литературной деятельностью. Он как бы понимает, что находится на рубеже, отделяющем один период его творчества от другого. Он отдает себе отчет в том, что первобытный мир, в недра которого он проник, есть мир, жестокий во многих отношениях, но эта жестокость не может идти ни в какое сравнение с «обыденной жестокостью» цивилизованного мира, в высшей степени прозаической, отвратительной, циничной.

Африканское странствование оказало глубокое воздействие на все дальнейшее творчество Грина. Теперь контраст цивили-

заций европейской и колониальных стран Африки, Азии, Южной Америки, пробуждающихся к новой жизни, будет все чаще возникать в его произведениях, становясь все более напряженным.

■

Действие романа «Суть дела» (1948) происходит как раз в той самой обстановке, которую Грин имел возможность увидеть во время своего африканского путешествия: запутавшийся в своих внутренних противоречиях майор Скоби переживает духовную драму в какой-то неназванной колониальной стране. Скоби — полицейский, но его катастрофа далеко выходит за пределы его прозаической служебной карьеры. Это — драма человека, потерявшего себя.

«Я чувствую себя опустошенным»,— говорит Скоби. И в этом признании и заключена «суть дела». Все человеческое как бы выдохлось из него. Скоби — весьма ревностный католик, и совершаемые им служебные преступления сопровождаются посещением церкви и выполнением религиозных обрядов, что приобретает характер какой-то сделки с растревоженной совестью.

Скоби, полицейский чиновник, совершает должностные преступления, к которым его побуждают в общем-то благие намерения. Он — отзывчивый, добрый человек и никому не хочет зла, но в продажном мире буржуазного ханжества, помноженного еще на специфичность колониальных нравов, именно эта относительная порядочность Скоби делает неизбежным, окончательным его крах. В конце концов все запутывается до того, что только самоубийство католика Скоби может разрубить узел противоречий, нелепостей и преступлений, который он завязал.

Скоби — человек, существование которого утратило всякий смысл. Это образ, который часто встречается в современной литературе Запада, и надо сказать, что в романе Грина этот образ раскрыт с необычайной драматической силой.

Проникновенно показан весь процесс внутренней деградации человека, который понимает, что «гниение затронуло его душу». Достаточно примелькавшаяся история человека, который «потерял дорогу», разыгрывается в той действительности, где подобные явления встречаются на каждом шагу. И эта обыденность драмы Скоби и ее неотвратимость являются, пожалуй, самым крупным итогом этого очень значительного произведения.

Драма Скоби развертывается «в утратившем всякую реальность мире». Гниет на корню не только колониальное захолустье, где Скоби кончает с собой, но и сама «суть» буржуазных отношений, которая в конце концов привела к полному краху этого не удержавшегося на стезе добродетели полицейского. Последовательность, с которой Грин ведет свои расчеты с современной действительностью, является сильной стороной его реализма.

■

Можно было бы подробно говорить о двух романах Грина, которые привлекли в 50-х годах к нему особое внимание,— «Тихий американец» и «Наш человек в Гаване». Но эти романы так широко освещались советской критикой, что нет необходимости еще раз детально их анализировать. Нарастающая проницательность взгляда Грина на современный мир, сила критики буржуазного общества, заключенная в этих произведениях, разоблачение кровавого колониализма выделяют эти книги из всего созданного им.

В романе «Тихий американец», написанном от первого лица и таким образом сохраняющем характер свидетельского показания, особое значение имеет то, как изменяется позиция человека, который ведет повествование. Сначала это человек, который хочет остаться в стороне и подчеркивает свое нежелание «вмешиваться в политику», хотя он и попал на такой участок современного колониализма, где все горит.

Действие происходит во Вьетнаме в то время, когда еще французские империалисты вели там войну за свое господство. И само появление Фаулера объясняется на первых порах так, что его можно принять за Скоби, с которым мы встречались в «Сути дела». Журналист Фаулер тоже мягущийся, потерявший под собой почву человек, который так говорит о своих намерениях: «Я приехал на восток, чтоб меня убили».

Этот разочаровавшийся в европейской цивилизации интеллигент охвачен отчаянием, но он порядочный человек, всерьез задумывающийся над тем, что происходит

в современном мире, и, столкнувшись лицом к лицу с кровавой жестокостью колониализма, он в конце концов понимает, что неизбежно «настанет день», когда ему «придется стать на чью-либо сторону». И он становится на сторону тех, кто поднялся, чтобы сбросить иго колониального угнетения.

В заключительной, четвертой, части романа постоянно звучит лейтмотив: «Рано или поздно человеку приходится стать на чью-либо сторону. Если он хочет остаться человеком».

Это кристаллизующееся на наших глазах убеждение является высшим выводом творчества Грина. И оно освещает все происходящее в романе «Тихий американец», где с такой беспощадностью показан противостоящий Фаулеру двуличный американец Пайл в его мерзкой роли провокатора, пытающегося помешать победе угнетенных; и запутанный лабиринт романа «Наш человек в Гаване», где средствами жестокой иронии разоблачается шпиономания английского колониализма *. Все дальнейшее творчество Грина находится под воздействием этого многозначительного вывода.

■

И роман «Ценой потери», написанный несколько лет спустя, сохраняет в себе энергию больших обобщений, которые были сделаны Грином в 50-х годах.

Мы уже говорили, что это роман, в котором достигли особой выразительности многие лейтмотивы творчества Грина. Это роман короткий, как все, что пишет Грин, и самою сжатостью повествования подчеркивается его значительность. Утрата человеком веры в себя показана здесь как распространеннейшая духовная драма нашего времени, подобная грозной инфекции, с такой большой полнотой и глубокой убежденностью, что роман сразу приковывает к себе внимание.

В нем мало действующих лиц, и это тоже результат большой сконцентрированности его внутренних линий. Мы вступаем в давно уже обозначившийся в своих характерных очертаниях мир, где все духовные ценности обесценены. Мы встречаемся здесь с людьми, которые подобно господину Рикэру являются как бы воплощением этого всеобщего обесценения. Одна из глав романа оканчивается фразой: «Рикэр пожелал своему гостю спокойной ночи и вышел, а лягушки долго не унимались и будто повторяли его пустопорожние слова: таинство, долг, благодать, лю-бовь-бовь-бовь».

Если все, что считалось самым значительным, стало «пустыми словами», утратило всякое значение, то можно наглядно представить себе опустошенность человека, который понимает это. В романе многие понимают это. Во всяком случае, это понимает полностью человек, который говорит «моя фамилия Куэрри». Как более ранние герои Грина, он попадает в африканскую колониальную глушь, пытаясь скрыться там от этого утратившего смысл мира. Как и Фаулер в романе «Тихий американец», он попал сюда, чтобы здесь его убили. Но это очень привлекательный человек, и внутренний драматизм романа заключен в том, что Куэрри не имеет никаких шансов на то, чтобы найти выход из тупика.

В прошлом это очень известный в Европе архитектор, который изверился в том, что его творчество имеет какой-то смысл. Уже здесь, в Африке, в очень отвлеченной и далеко не сегодняшней бурлящей Африке, куда он принес с собой весь комплекс настроений европейского интеллигента, потерявшего веру в себя и в смысл своего существования, он приходит к выводу, что его духовный крах объясняется тем, что ему «не было дела до людей, до тех, кто займет пространство», оформленное постройками, которые он воздвигал, кто будет жить в построенных им домах.

«Мне были важны пропорции, освещение»,— говорит этот зараженный формализмом и потому обанкротившийся современный художник.

В том состоянии, в каком находится Куэрри, изолированный от остального мира островок действительности становится его последней иллюзией. И когда мудрый доктор Колэн, с которым ему пришлось встретиться в африканском захолустье, говорит, что «человек не может оставаться только с самим собой», то он сначала возмущается этим бесспорным выводом. И только потом, много позже он понимает, что доктор был прав.

Роман, как мы уже говорили, очень сжато написан, вместе с тем он является мно-

* Хотя «Наш человек в Гаване» значится под рубрикой «entertainment» и это вполне соответствует сюжетной структуре произведения, оно настолько далеко от внешней развлекательности и настолько обнажена и сатирически обострена в нем социальная «суть вещей», что с полным правом можно считать его и романом, притом одним из лучших романов Грина.

гослойным. В нем сближены, казалось бы, несовместимые одно с другим направления, и на возвышенную моральную проблематику романа и на очень тонко разработанную психологическую ткань накладывается слой доведенного до предела натуралистического изображения. Такое грубое напластование дает Грину возможность достигнуть резкого по тону и глубокого художественного впечатления.

Натурализм господствует всюду, где идет речь о проказе, начиная с атласа лепры, который «напоминает живопись Ван-Гога». Описание больницы для прокаженных дается самыми страшными деталями, которые можно себе представить. Образ лепры во всей его вопиющей натуралистической чудовищности проходит сквозь роман, и то, что в нем совершается, всегда стоит в определенном отношении к образу всепобеждающей проказы.

В «Сути дела» Скоби, оцарапав себе палец и зная, что в тропиках каждая ранка опасна, сразу же возвращается к постоянно гложущей его мысли, что «гниение затронуло его душу». В романе «Ценой потери» образ лепры есть достигающий огромной выразительности образ современного распада, и за натуралистической оболочкой сосредоточено большое философское обобщение. Это придает раскрытию духовного кризиса буржуазного общества необыкновенную остроту, делает его почти наглядным.

Переставший быть архитектором Куэрри признается: «Я истратил себя до конца», и это не фраза. Таким, все истратившим, мы его видим на всем пространстве романа и убеждаемся, что положение безысходно. Слишком далеко зашел процесс внутреннего опустошения, и сама духовная драма этого весьма привлекательного человека превращается в аргумент социального обвинения: мир, который мог породить подобную коллизию, вызывает возмущение.

Доктор Колэн посвятил себя борьбе с проказой, он гуманист действующий и говорит о себе, что «хочет быть на той стороне, где совершаются перемены». Он работает для какого-то будущего, ощущение которого совершенно утрачено архитектором Куэрри,— это совсем другой человек. И часто возникающий диалог двух гуманистов, одинаково потерпевших крушение, одинаково не способных оказать воздействие на дальнейший ход событий,— это сопоставление вариантов крушения. Оно снова и снова возвращает нас к тем проблемам углубляющегося кризиса современной цивилизации, которые поднимаются во всем творчестве Грина и особенно остро поставлены в его романе «Ценой потери».

Здесь действительно идет речь о том, что буржуазное общество — это одряхлевший мир, не способный вдохновить на творчество такого полного сил мастера, как Куэрри. Буржуазный способ жизни превращает Колэна в страдальца, а он ведь деятель крупного масштаба, способный действительно оздоровить весь тот край, где он вынужден ограничиваться малым, не имея возможности оказать подлинную помощь исстрадавшемуся, измученному нищетой и болезнями народу.

Колэн страстно хочет расширить возможности своего дела: «Я хочу стоять на стороне такого прогресса, который не обрывается на полпути»,— но мы знаем, что в условиях колониализма мечтания его напрасны и возможности его просто ничтожны.

В романе «Ценой потери» достигают предельного напряжения мотивы, основные для творчества Грина. Окончательно вынесен давно уже складывающийся приговор буржуазной цивилизации, чьим порождением является современный духовный кризис.

Очевидным оказывается и разочарование Грина в католической религии. Во многих его романах, например в «Сути дела», католическая церковь, хотя она и не принесла спасения «потерявшему себя» Скоби, неизменно присутствовала, и вера в бога изображалась как нечто глубоко значительное в жизни человека.

Правда, Грин уже давно сказал, что он не католический писатель, а пишущий католик, заявляя таким образом о своей свободе в обращении со сложной проблематикой католицизма. В его романах действительно встречались такие образы и такие сцены, которые в религиозном смысле были далеко не ортодоксальны. Роман «Ценой потери» является убедительным свидетельством того, что католическая религия перестала быть для автора тем, чем она раньше для него была. И сам Куэрри, заявляющий, что он католик на бумаге — «вот и все», и отнюдь не олеографическое

изображение монашеской общины, затерявшейся в джунглях, и все вызывающие выпады против католической ортодоксии, которых много в этом романе, свидетельствуют о том, что и эта сторона, столь существенная для творчества Грина, в романе «Ценой потери» достигает крайнего критического напряжения.

Доктор Колэн говорит: «Для меня Христос — это амеба, сделавшая правильный поворот». Статуя мадонны в церкви описывается так: «гипсовое лицо с жеманной, ханжеской улыбкой». Антирелигиозная, антиклерикальная направленность романа совершенно очевидна и ничем не смягчается.

Вся тональность романа, которую определяет последовательная критика обесчеловеченности, опустошенности капиталистической цивилизации, впечатляюще внушительна. В ней много горечи и накопившегося возражения против социальной системы, которую можно уподобить с такой естественностью миру всевластной лепры.

«Ценой потери» — роман большого итога. Здесь сосредоточены и достигают законченности и полноты выражения самые важные, самые глубинные мотивы творчества замечательного современного писателя, являющегося одной из наиболее ярких фигур английской литературы нашего времени.

ЯН КЕРЬЮ

(БРИТАНСКАЯ ГВИАНА)

МЫ ПИШЕМ ДЛЯ НАРОДА

Одна жительница Вест-Индии как-то сказала мне, что, лишь прочитав «Жизнь и смерть Сильвии» Эдгара Миттельхольцера, она впервые смогла не только примыслить себя к персонажу романа, но и узнать себя в героине книги — Сильвии. Моя собеседница была на четверть негритянкой, на четверть испанской еврейкой, на четверть шотландкой и на четверть китаянкой. Она представляла собой изделие карибской плавильной печи, где в течение нескольких столетий смешивались расы и культуры Европы, Азии и Африки. «Баллада о двух дедах» Николаса Гильена посвящена драме людей всех рас, сталкивающихся на карибском перекрестке:

Тени, что мне одному видны,
Тени двух дедов идут за мной следом...
Глаза — как Антарктики льды, мой
белый дед.
Темная кожа, долбленая кость, мой
черный дед...
Дон Фредерико кричит на меня, но
Тайта Факунда молчит...

В заключении баллады автор приветствует встречу в себе хозяина и раба. Их кровь, смешиваясь, дает жизнь внуку свободы:

Во мне они встретились...
Они кричат, они поют!

Примыслить себя к литературному персонажу или узнать себя в нем — это далеко не одно и то же. Можно вообразить себя на месте героя или героини книги, испытывать те же душевные муки, делить богатство и власть с графом Монте-Кристо или с отцом Горио — его отчаяние. Однако полное преображение читателя в персонаж оказывается невозможным, когда на пути возникает проблема расы и цвета кожи. Моя собеседница сказала, что до «Жизни и смерти Сильвии» она находила в литературе только одно свое изображение — образ сладострастной, глупой, вероломной метиски; тип женщины «низшей расы», «женщины-самки», чья судьба была безнадежно предрешена еще до ее рождения «проклятием» смешанной крови. Она так часто сталкивалась с этим стереотипом, что, вслух со всей силой изобличая всю его лживость, в душе начинала опасаться, не соответствует ли он все-таки действительности.

Можно по-разному оценивать «Жизнь и смерть Сильвии», но этот роман вместе с «Корентайнским громом» и «Утром в конторе» составляет трилогию, в которой вест-индское общество впервые может увидеть свое истинное изображение. А в мире молодых развивающихся стран, пожалуй, никто так не нуждается в знакомстве с собственным обликом, воссозданным их же писателями, как обитатели островов Карибского моря. Ибо их предки съезжались и насильственно свозились туда со всех концов мира, обрывались прежние связи, и прошлое

В этом номере мы продолжаем публикацию ответов, полученных от писателей разных стран на вопрос о настоящем и будущем романа (см. «Иностранную литературу» № 6, 1964 г.).

во многом стерлось. Большинству — африканским рабам — запрещали даже разговаривать на родном языке. Группы, объединенные культурной, национальной или племенной общностью, сознательно раздроблялись и рассеивались. Если бы империалисты могли с корнем вырвать память из африканской души, они бы сделали это. Ведь пока люди хранят воспоминания, они сохраняют соприкосновение с истоками своей культуры. Насильственное переселение из Африки через Атлантический океан в Новый Свет привело к возникиовению общества, единствениого в своем роде. В наши дни этот архипелаг, окаймляющий Карибское море подобно нефритовому ожерелью (и три Гвианы — Британская, Голландская и Французская — также относятся к нему, поскольку они всегда, с момента прибытия первых европейских поселенцев, представляли собой этническое и административное продолжение островной цепи), отражает как в зеркале многие стороны жизни возрождающихся народов.

Первые обитатели островов и побережья Карибского моря — кроткие араваки и воинственные карибы — недолго выдерживали натиск европейской цивилизации: через семьдесят пять лет после того, как европейцы прочно обосновались иа островах, эти иидейцы перестали существовать как народ. Европейцы, которые, говоря словами Кортеса, «страдали болезнью, вылечить которую могло только золото», начали на Карибском архипелаге с того, что расчистили себе поле деятельности — земли индейцев были захвачены, а сами индейцы либо истреблены, либо обращены в рабство. Херман Арсиниэгас в своей кииге «Карибское море Нового Света» писал:

«Несмотря на все эти насилия и прихотливый ход событий, Саи-Доминго через двадцать пять лет после прибытия испанцев был уже совсем иным островом. Изменилось все — даже ландшафт. Индейцы познакомились с лошадьми, железом, порохом, моиахами, испанским языком, имеием Иисуса Христа, стеклом, бархатом, колоколами, виселицами, каравеллами, свиньями, курами, ослами, мулами, сахаром, вином, пшеницей, африкаискими неграми, бородатыми мужчииами, башмаками, бумагой и буквами — или, как им казалось,— с белыми листьями, которые шептали на ухо... поля засаживались сахарным тростником, появились рудники... никогда еще на глазах одного поколения не происходили подобные бурные и всеобъемлющие перемены. На виселицах покачивались высохшие тела касиков (индейских вождей). Возник каменный город. На острове появился вице-король. И плотники, и портные, и сапожники. И звон колокола созывал людей в церковь. Родной остров превратился для индейцев в Новый Свет. В мир, гораздо более новый для них, чем для испанцев. Те, кто уцелел после первых кровавых стычек и перенес собственную мучительную растерянность, заметили, что даже их кожа меняет цвет, и иидиаики с нежностью смотрели на плод своей крови и крови пришельцев — на первых метисов, которые плакали в соломенных колыбелях.

Испанцы в свою очередь знакомились с различными новинками: хлебом из кассавы, кукурузой, кукурузной водкой, сифилисом, гамаками, картофелем, юккой, каноэ, стрелами, жемчужными отмелями, аллигаторами, морями и лесами, где ие было ни одного дерева, знакомого им по Испании, где каждая птица пела по-иному, каждый рассвет открывал еще не виданную гору, а каждая схватка с врагами потрясала даже больше, чем заветное золото, которое оии теперь наконец-то держали в дрожащих руках».

Та эпоха распадалась на три периода: период открытия, период завоевания и период заселения. Именно в третий период начался ввоз миллионов негров. И иеграм было суждено стать звеном, объединившим все миогоязычные расы и культуры. Слова Хилберту Фрейри, сказанные о Бразилии, относятся и к Карибскому морю: «Жаркий маслянистый воздух Африки словио бы смягчал строгость церковной дисциплины, визиготского права, готической архитектуры... управляла Европа, но властвовала Африка».

Колонизация нигде не способствовала развитию искусства и литературы. Взаимоотношения господина и раба — узы, сковывающие и того и другого, и время висит на шее у обоих, как кошмар. Ничто не зарождается, ничто не создается, кроме ненависти, злобы, страха, жестокости. Раб был подобен человеку, который плывет вииз по Реке Ночи в длиной пироге по волиам печали и поет, рассказывая про свои муки под ритм барабанов, а потом время засевает холодиую землю семенами его гнева. Все покоренные народы жили в долгом и неизбывном сумраке, который изредка озарялся пожаром восстаний. Эти пожары превратились на Гаити в одно всепожирающее пламя, как заокеаиское продолжеиие французской революции, уничтожившее господ-

ство монархической Франции. В этом первом за всю историю успешном восстании рабов Туссен-Лувертюр, Дессалин и Кристоф добились независимости своей страны, и это положило начало процессу, которым завершился долгий период исторического созревания колониальных народов. После этой тяжко завоеванной победы на Гаити наступили черные времена. Но как будто для того, чтобы поддержать славу эпохи революционной борьбы и отречься от современного режима Дювалье, принадлежащего скорее средневековью, чем XX веку, гаитянское искусство и литература отличились страстью к свободе и глубокой человечностью.

И вот, когда необоримая волна увлекла народы колониального мира к независимости, искусство и литература начали расцветать, как полевые цветы после дождя, и в этом быстром расцвете роману было суждено сыграть особенно важную роль, так как он дает в руки писателя развивающихся стран могучее оружие для выражения себя в искусстве.

Этим писателям приходилось преодолевать огромный разрыв между первобытным и современным сложным мироощущением. Им нужно было выдержать отход от устного слова и всецело отдать себя написанному слову. Между тем, что произошло в бассейне Карибского моря, и тем, что произошло в Африке, существует принципиальное сходство. Почти невозможно написать роман на племенном языке, совсем недавно приспособленном к письменности, или на новоразвитых языках, вроде папиементо или суринама. Во всем остальном мире, вероятно, трудно найти нечто подобное быстрому развитию этих двух языков, которые в области, лежащей между Маракаибо и устьем Амазонки, всего за каких-нибудь полвека обрели письменность. Папиементо и суринам — не диалекты, а абсолютно новые самостоятельные языки, принципиально отличные от местных диалектов французского, испанского и английского языков, несмотря на то, что их породила та же потребность неграмотных людей выражать свои мысли на языке, более отвечающем их конкретным нуждам, менее абстрактном. Развитие суринамского национализма сделало суринам из языка бедняков символом национальных надежд. Эдвард Брума, юрист, член законодательного собрания и писатель, создавал на суринамском языке пьесы, рассказы, стихи и очень способствовал его популяризации.

В британской Вест-Индии и Гвиане имелся «чистый английский язык» и «диалект». Родители, мечтавшие, чтобы их дети вышли в люди с помощью образования, всячески препятствовали употреблению «диалекта». Они презрительно называли его «испорченным английским» варварским языком некультурных людей, который может лишить тех, кто им пользуется, права занимать завидные посты в колониальном обществе. Однако за этим отречением от «диалекта» скрывалось бессознательное желание изгладить воспоминание о рабстве, принудительном труде и приниженности, ибо горькое наследие рабства надолго оставило раны, исцелить которые может только полная свобода. Призраки рабства все еще властвуют над тысячами деревень в мире, лежащем за пределами Европы, и демонически насмехаются над нагими живыми мертвецами — над миллионами обездоленных, которые без пищи и просвещения бредут жестоким путем к лесу Долгой Ночи. Один писатель, воссоздавая размышления раба после освобождения (это и сейчас еще остается правдой для многих тысяч), сказал:

«Когда я очнулся от опьяняющей радости сознания, что я свободен, я увидел жестокую действительность, которая сказала мне, что все осталось по-прежнему и для меня, и для моих друзей, скованных теми же цепями... Как и все остальные негры, я по-прежнему находился здесь, в этой проклятой стране; богачи по-прежнему владели всей здешней землей, и мы продолжали работать на них, как и прежде».

Но никто не в силах изгнать живой язык из людских сердец, ибо язык — это кладовая, которая хранит то, что Бернард Шоу назвал «памятью человечества». А «диалект» хранил эхо поющих барабанов, народных сказаний, древних, как реки, легенд о богах и злых духах, в нем воплотился творческий труд маленькой замкнутой группы — семьи, общины,— который был корнем всех культур. Таким образом, отречься от «диалекта» значило покинуть источник культурных богатств. И что получить взамен? Заимствованную подержанную культуру? Бесплодную имитацию?

Виктор Рид в романе «Новый день» впервые во всех англоязычных областях Карибского моря сделал «диалект» средством художественной литературы. Он ис-

пользовал этот новый язык с такой силой, красотой и поэтичностью, что заставил замолчать респектабельных критиков, которые имели обыкновение делать вид, будто диалекта вообще нет. Бодлер однажды сказал, что самую хитрую штуку дьявол сыграл, когда притворился, будто он не существует. И отношение колониальной буржуазии к корням своей культуры заставляет вспомнить бодлеровского дьявола. Она считает ее культурой низшего порядка. Крестьяне и городская беднота гораздо яснее буржуазии понимают, что ни один народ не может существовать без собственной культуры. Сильвия Уинтер очень метко определила эту буржуазию, сказав, что определенные круги так хорошо подражали своим колониальным хозяевам, что стали «фантомом чужого воображения». И в то же время большинство писателей, поэтов и художников происходит именно из этого среднего класса. Это в некоторой степени объясняется тем, что границы, разделяющие классы в развивающемся обществе, довольно неясны. Иногда велосипеда, воротничка и галстука достаточно, чтобы человек прочно утвердился в низших кругах среднего класса. А благодаря всеобщему избирательному праву и прихотливой игре случая в политических сферах — а это все бедные страны получают вместе с независимостью — может произойти что угодно.

«Новый день» Рида впервые показал карибцам, как красив их язык. Неграмотные рабы, вынужденные пользоваться английским языком своих колониальных господ, приспосабливали его к собственным потребностям. Они превратили его в язык образов. Устное слово должно было рисовать картины, создавать краски, пробуждать звуки, а речь должна была проникнуться песенными ритмами. Например, заря для тружеников была самой важной частью дня. Они жили далеко от полей и фабрик, на которых работали. Очень часто им приходилось вставать в три часа утра, чтобы успеть приготовить себе еду и не опоздать на работу. И вот они вставали «досветным утром», а на работу уходили «на чистом свету». Досветное утро было серым, темным и сырым от росы. Чистый свет наступал, когда сумрак исчезал с неба и на востоке развертывался веер солнечных лучей. Ночь называлась временем «не-могу-видеть», и не только потому, что в это время солнце уже заходило, но и потому, что у людей тогда «глаза темнели» от усталости. После дня, проведенного под палящим обжигавшим обнаженную спину солнцем, руки и ноги отказывались служить, а в голове не оставалось ни единой мысли. Язык обретал конкретность, непосредственно выражавшую, что люди чувствовали. Народная песня и речь были тесно связаны между собой. Речь была исполнена своих собственных ритмов, кадансов, тональных оттенков. Каким-то чудом Виктор Рид сумел передать все это письменным словом и запечатлеть на «белых листьях, которые шепчут уху». И когда читаешь «Новый день», страницы полны звуков, и кажется, что ты слышишь рассказчика, сидящего у костра и рассказывающего свою повесть, как это повелось с незапамятных времен.

Похвалы, которые «Новый день» снискал в Англии и Америке, также способствовали утверждению «диалекта» в качестве одного из литературных вест-индских языков. Хотя по большей части в этих странах его хвалили не за то, за что следовало бы. Его приветствовали, за редким исключением, как нечто экзотическое. Местная интеллигенция все еще идет на поводу у европейской и американской критики. Привычка к раболепству так просто не исчезает. При этом положение даже еще сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Писатель, которого хвалят за границей, вызывает у филистерской буржуазии собственной страны одновременно раздражение и зависть. Здесь формула «несть пророка в своем отечестве» действует в соединении с провинциальной узостью.

Хотя «Новый день» Виктора Рида был подлинным шедевром, он раскрыл не только силу «диалекта», но и его слабость. Если писатель хотел более полно осветить социальные, психологические, экономические и творческие проблемы нашего общества, необходимо было как-то слить «диалект» с литературным английским языком. И Виктор Рид после долгой борьбы со словом написал «Леопарда» *. В этом произведении он с несравненным искусством сумел создать поэтическую прозу, пронизанную кадансами и ритмами «диалекта» и воплощенную в чисто литературных английских формах.

Все писатели развивающихся стран проводили лингвистические эксперименты, в той или иной степени напоминающие работу Рида. Алан Пэйтон в романе «Плачь, люби-

---

* Опубликован в «Иностранной литературе» № 10, 1960 г.

мая страна» придал английской прозе ритмы языков зулу и коза. А Гарри Блум в «Трансваальском эпизоде» отказался от этих ритмов ради сухости, доведенной почти до крайности. Чинуа Ачебе в своем романе «Все распадается» стоит ближе к Гарри Блуму, чем к Пэйтону. Тутуола замкнулся в водовороте фантазии, то демоничной, то банальной, и не выходил за пределы этого магического круга. И творчество Тутуолы утрачивает мощь и чистую первобытную силу «Любителя пальмового вина». Виктор Рид вовремя понял, что ему необходимо вырваться из магического круга,— и вырвался из него. Камара Лайе пишет в четких ритмах, непосредственно заимствуя их из жизни и языка своего народа. Сенгор является верховным жрецом кружка Елисейских Полей, он блестяще и тонко проделывает с сюрреализмом операцию, обратную той, которую Модильяни и Пикассо произвели над западноафриканской маской. Ритмы стихотворений Сенгора повторяются, как удары барабанов. Киприан Эквенси настолько одержим силой жизни, что кажется, будто взятый им взаймы английский язык не может вместить все те мысли, чувства и страсти, которые он хотел бы выразить. Он — черный Прометей в оковах языка. «Лицом к горе Кении» Кениаты сочетает в себе черты романа, социологического исследования, народного сказания и памфлета.

В Латинской Америке есть такие поэты, как Пласидо, Гильен, Неруда, Дарио, и такие романисты, как Амаду и величайший мастер образной прозы Астуриас, чей роман «Господин президент» останется вечным памятником силе человеческого духа. Астуриас писал об одной из наиболее зверских диктатур в Гватемале с такой яркостью, с такой проникновенностью, что в памяти читателя запечатлеваются целые сцены со всеми мельчайшими подробностями. А эпический роман перуанца Сиро Алегриа «Широк и чужд мир» уже стал классическим. Сострадание автора беспредельно. И мы начинаем глубже понимать, как широк мир и как сильно должно быть воображение человека, чтобы объять его. Другой роман, эквадорца Хиля Хильберта «Хлеб наш насущный», написан в стиле таких писателей, как Амаду,— живо и экспрессионистично. Все эти латиноамериканские писатели соткали из народной жизни и языка прочную ткань прозы и поэзии.

Слова одного испанского поэта, сказанные о Рубене Дарио, можно отнести и к ямайскому писателю Роджеру Мейсу: «Верхом на редкостном Пегасе он устремляется к невозможному». Ибо Мейс был рыцарем невозможного. Он сжег себя, подобно комете, чтобы осветить путь другим вест-индским писателям. Когда Черчилль объявил, что он стал премьер-министром короля не затем, чтобы руководить ликвидацией Британской империи, Мейс написал ответ, озаглавленный «Теперь мы знаем», в котором описал нищету и скрытую за ширмой показного благополучия колониальную Ямайку, заявив в конце, что, хотя нам внушали, будто солнце никогда не заходит над Британской империей, те из нас, кто живет «в трущобах империи», знают, что «солнце никогда не вставало над Британской империей». А когда Мейса арестовали по чрезвычайным законам военного времени, вся Ямайка рукоплескала его пламенному памфлету. И в день, когда он был освобожден, у тюремных ворот собрались тысячные толпы, чтобы приветствовать его. «Холмы радовались вместе» — первый роман Роджера Мейса, рассказывает о жизни в тюрьме. Это лирическое сложное произведение, в котором действуют десятки персонажей. Со зрелым мастерством он сумел изобразить жизнь целой общины. Кроме этого, он написал еще два романа — «Брат человек» и «Черная молния». «Брат человек» представляет собой призыв к тем соотечественникам автора, жителям Ямайки, которые входят в Раста Фари, эту секту отверженных и обездоленных, ищущих после трехсотлетнего изгнания из Африки истинный смысл своей жизни, бросающих вызов концепции бога, навязанной им белыми. «Черная молния»— это баллада в прозе. Это произведение близко к сонету Китса:

Когда приходит страха черный миг,
Что уронить перо мне суждено
И никогда уже в амбары книг
Не будет мыслей убрано зерно,
Тогда гляжу я на безбрежный мир,
И думаю, и постигаю вновь,
Что звук пустой — и слава, и любовь.

«Черная молния» внушала тревожное ощущение, что это изумительное произведение искусства — лебединая песня Мейса. Между ее строк ощущается предчувствие смерти, которая уже подстерегала его. Мейс писал согласно завету: «Искусство и литература подобны молнии, а молния не бывает боязливой». Джон Хирн сказал про Мейса: «Он был глашатаем». И действительно,

---

ЯН КЕРЬЮ
МЫ ПИШЕМ ДЛЯ НАРОДА

когда Мейс умер, оказалось, что он наметил пути для всей вест-индской литературы. От него осталось около десяти картин, интересные сборники пьес и стихов и три романа. Он умер в 1953 году от рака, но еще при жизни стал легендарной фигурой для всех жителей Ямайки. Они никогда его не забудут. После Мейса пришли Виктор Рид, Джон Хирн и Сильвия Уинтер. И одновременно с ними появились писатели на других островках Карибского моря и в Гвиане. То, что вначале было лишь легкими подземными толчками, превратилось в настоящее извержение вулкана. Теперь только в одной Англии вышло свыше ста романов карибских писателей. Многие романы опубликованы также в Советском Союзе, в Соединенных Штатах, Бразилии, Франции, Италии, Португалии, Швеции, Дании, Голландии, Японии. В этой уже очень значительной литературе можно найти темы, общие не только для областей Карибского моря, но и для всех развивающихся стран: массовый уход крестьян из деревни в город, переход от относительно безопасного существования в семье, роде, деревне, племени к сложностям города, этого царства случайностей; вечная борьба людей за богатство и власть; обращение к поискам собственной личности после сокрушающего соприкосновения с миром XX века; путешествие через века из лесной деревушки в столичные центры старых и высокоразвитых цивилизаций; поиски новых идеологий, на которые можно будет опереться, когда прежние перестают внушать доверие; тоска по утраченному родному краю, «старой родине»; и вопрос о религии, тесно связанный с проблемой идеологий.

Показывая людям их изображения, эти романисты должны также рассматривать их религиозные верования. Ведь для африканца или жителя Вест-Индии, мусульманин ли он, индуист, христианин или анимист, религия является фантастической реальностью. Предвестниками тех, кто возглавляет чисто политические движения, всегда бывали руководители каких-нибудь религиозных сект. Так, например, предшественниками Туссен-Лувертюра были Макэндаль и Букман, гаитянские пророки вуду. Вот обращенное к народу песнопение Букмана, призывавшее его к восстанию накануне гаитянской революции: «Бог, создавший солнце, которое дает нам свет, вздымающий волны и повелевающий бурями, наблюдает за нами, хоть он и скрыт тучами. Он видит все, что делают белые. Бог белых подстрекает их на преступления, но наш бог призывает нас творить добрые дела. Наш бог, который добр к нам, приказывает нам отомстить за причиненные нам несчастья, свергнуть символ бога белых, который так часто заставлял нас плакать и прислушиваться к голосу свободы, вещающему в сердце у каждого из нас».

Вызов, брошенный богу белых, был, собственно говоря, первой значительной попыткой обездоленных отстоять свое достоинство. Самый факт, что черному его бога приносил миссионер, ставил новообращенного в невыгодное положение. Считалось, что и бог, и его белый апостол занимают в мистической иерархии место, которое не может быть подвергнуто сомнению. Поскольку эту концепцию поддерживали военные, экономические, культурные и политические власти, нетрудно понять, что таким образом вся колониальная система опиралась на неписаный закон, что белый является господином согласно божественному праву. В романе Сильвии Уинтер «Холмы Хеврона» ирландский пьяница-доктор говорит Мозесу Бартону, проповеднику-сектанту, одержимому манией величия: «Посмотрите что сделали англичане с вашим народом, Мозес. Посылали своих миссионеров торговать африканскими душами... ваши африканские вожди подписывали документы, отдавая свой континент ради приобретения христианской совести, выменивали свои земли и свои души за долю в царствии небесном. Поверьте мне, Мозес, христианство было величайшим обманом, которому когда-либо подвергались народы. Вот почему они вас заперли, друг мой. Вы были опасны. Вы бросили вызов этому их богу... Вы хотели пощупать их рай рукой, увидеть его своими глазами — и не когда-нибудь со временем, а сейчас и вот здесь».

Жрецы вуду, руководители сект, таких как Раста Фари на Ямайке и иорданиты в Британской Гвиане, перестали быть комическими фигурами, как и «черные мусульмане» в Америке. Все они стали воплощением бессознательного, слепого протеста тех, кого Джон Мейсфилд назвал «презираемыми, отверженными, людьми в кольце из копий», хотя этот протест принимает иногда ложные формы.

А величайшей задачей писателя является вскрытие и анализ подобных социальных искажений. Джеймс Болдуин в своем блестящем сборнике статей «Завтра — пожар»

очень трогательно рассказывает о своем посещении руководителя «черных мусульман», но, анализируя цели и идеалы этого движения, он их беспощадно обличает. Потому что, говорит он, расовая ненависть порождает только новую расовую ненависть, а потом начинает пожирать все вокруг.

Роман появляется в развивающихся странах в период, когда с ним соперничают дешевые банальные фильмы и претенциозный телевизионный хлам из-за границы, которые проникают туда, где в них нуждаются меньше всего. Однако все народы, рвущиеся к грамотности, обладают врожденным уважением к письменному слову, благоговейным почтением к книге. Они всем своим существом ощущают, что скрытые в книгах знания необходимы для их освобождения, и готовы на большие жертвы, лишь бы обрести эти знания. Когда вест-индские писатели — в большинстве своем изгнанники, живущие в Англии,— возвращаются на родину, филистеры всегда задают им вопрос из своей башни черного дерева: «Для кого вы пишете?», а те из нас, кто понимает, почему задан этот вопрос, отвечают: «Мы пишем для народа. Если пока он не может прочесть то, что мы пишем, то позже он это непременно прочтет. А если то, что мы пишем, правда, она выдержит испытание временем».

Однако и сейчас уже в Вест-Индии и Африке отрывки из романов местных писателей включаются в школьные учебники для всех классов. И студенты новых национальных университетов изучают произведения своих соотечественников. Рональд Дейторн, преподаватель Ибаданского университета, чей первый роман «Клецки в моем супе» был опубликован в 1963 году, пишет докторскую диссертацию об африканском и вест-индском романе.

И, глядя в будущее, романисты в развивающихся странах имеют полное право сказать вместе с Мелвиллом: «Наше происхождение теряется во вселенском карнавале... мы — наследники всех времен, и мы разделяем свое наследие со всеми нациями».

ХОАКИН ГУТЬЕРРЕС

(КОСТА-РИКА)

НАКАНУНЕ БОЛЬШОГО РАСЦВЕТА

Говоря о характерных чертах латиноамериканского романа, следует прежде всего указать на то, что он относительно молод. Со времени его возникновения прошло немногим более ста лет, и в Латинской Америке есть страны, где первый роман появился лишь в нашем столетии. В течение трехсотлетнего колониального периода истории Латинской Америки не был опубликован — и, насколько нам известно, не был написан — ни один роман!

Это явление объясняли по-разному, но, очевидно, самым точным объяснением остается до сих пор то, которое дает в своих трудах доминиканский критик Педро Энрикес Уренья. «Основная причина этого явления,— писал он,— заключается в том, что в законоуложениях колониального периода запрещалось распространение в колониях литературных произведений в стихах или прозе, заключавших в себе чистый вымысел, и строго-настрого предписывалось колониальным властям не разрешать их печатания или ввоза из Европы». Однако, отчасти благодаря попустительству властей, отчасти путем контрабанды, испанские романы все же проникали в колонии, доказательством чему может служить широкое распространение «Дон Кихота» Сервантеса *.

Любопытны доводы, которые приводились в защиту закона, запрещающего распространять художественную прозу: «Ни один испанец, поселившийся на территории Аме-

* Испанец Родригес Марин и американец Ирвинг А. Леонард приводят конкретные данные о распространении «Дон Кихота», найденные ими в Главном архиве Совета по делам Индии и в реестрах кораблей, отправляемых в ту эпоху к берегам Америки: из первого издания «Дон Кихота», вышедшего в свет в январе 1605 года на американский континент были вывезены в конце того же года 350 экземпляров что составляло почти половину тиража. Кроме того, имеются данные о перевозе через Атлантический океан рыцарских и плутовских романов и других произведений испанской прозы.

рики, и ни один индеец,— декларировали испанские власти,— не должен читать книги, повествующие о делах мирских или содержащие вымышленные истории, ибо из сего чтения могут произойти многие нежелательные последствия». Какие же имелись в виду нежелательные последствия? Очевидно, то, что, знакомясь с произведениями, основанными на художественном вымысле, индейцы могли перепутать эти вымыслы со сказаниями из Ветхого и Нового Завета. Подобным путем испанское государство защищало церковь, на которую оно опирается, в знак признательности за то, что она — религия — его поддерживала. (Недаром Мигель де Унамуно утверждал, что завоевание Латинской Америки осуществлялось с помощью «крестовой дубинки»).

Таким образом, только после провозглашения нашей независимости от Испании — в начале XIX века — появились первые латиноамериканские романы. Естественно, что этот жанр не сразу достиг своего расцвета. Не было своей традиции в создании художественной прозы; не существовало организаций, которые могли бы ее издавать, слишком многое препятствовало ее развитию. В самой Испании, являвшейся колыбелью романа, он переживал тогда период длительного упадка, закончившийся только в середине XIX века с приходом в литературу Бенито Переса Гальдоса. Едва ли также наши потенциальные романисты имели в то время возможность познакомиться в переводах с английскими романами XVII и XVIII веков, могущими послужить им образцом для подражания. Наша романическая литература вначале ощупью искала свою дорогу посреди других родственных жанров: хроник, бытовых зарисовок, путевых записок, которые в то время расцветали весьма пышно. Насколько процесс кристаллизации жанра был медленным и трудным, доказывает хотя бы то обстоятельство, что некоторые крупнейшие произведения нашей прозы, обычно причисляемые нами к романам («Факундо» аргентинца Доминго Фаустино Сармьенто, «Сертаны» бразильца Эуклидеса да Кунья, «Орел и змея» мексиканца Мартина Луиса Гусмана), в действительности таковыми не являются; еще и в наше время встречаются своеобразные литературные гибриды (как, например, первая часть романа «Мамита Юнай» коста-риканца Карлоса Луиса Фальяса, которая первоначально представляла собою ряд очерков).

Вторая особенность, присущая большинству латиноамериканских романов,— их целенаправленный характер. Для того чтобы объяснить это, надо сказать несколько слов о характере нашего исторического развития.

С начала XIX века классовая борьба в Латинской Америке заметно обострилась. Немногие из ее стран могут сослаться на периоды относительного «спокойствия». Установление независимости явилось лишь началом долгого процесса, который, в сущности, не завершился до сих пор. Программа буржуазной революции никогда не была полностью выполнена. Во-первых, нашей буржуазии не хватало твердости и последовательности, чтобы довести революцию до конца. Наше среднее сословие из-за условий своего развития было слабым. Ориентация на зарубежные страны, свойственная нашей экономике колониального периода, существует и сейчас. И хотя наша независимость принесла с собой множество экономических и культурных достижений, привела к большей демократизации и подъему нашего культурного уровня, латиноамериканский феодализм, устанавливая торговые связи с иностранным капитализмом, а позднее и с империализмом, сумел приспособиться к новым условиям, утвердившись в латифундиях и пустив глубокие корни в области идеологии. К этому следует добавить хроническую неустойчивость наших правительств, а также тот факт, что развитие латиноамериканского капитализма проходило в те же самые десятилетия, когда финансовый капитал уже охватывал своими щупальцами весь мир. Когда Испания исчезла с нашей политической арены, ее место заняли наши новые враги: Англия неоднократно нападала на Буэнос-Айрес, Франция пыталась захватить Мексику, и обе державы овладели некоторыми территориями на нашем континенте. Вслед за ними явился американский империализм со всей своей кровавой жестокостью.

Наши народы много раз шли на приступ, поднимая восстания и мятежи, организуя перевороты, развязывая гражданские войны, отражая атаки иноземных захватчиков и ведя освободительную борьбу. Эта борьба, в ряде случаев стихийная и безрезультатная, была всегда беззаветно героической и сыграла положительную роль. Так наши народы сами создавали свою историю.

Эти затяжные столкновения, обычно носившие драматический характер, составляют

сущность всей нашей общественной жизни; их было так много, они были столь глубоки и решительны, что обусловили собою особое развитие нашей литературы, заставив романистов волей-неволей считаться с ними. Трудно сидеть спокойно за письменным столом, когда ваш дом объят пламенем!

Когда мексиканец Хосе Х. Фериандес де Лисарди написал книгу «Чесоточный попугай», наш первый роман (в окончательной редакции он был напечатан в 1822 году), он создал острое обличительное произведение, возвышенное послание о моральном долге, почти памфлет. Пользуясь идеями французских энциклопедистов, господствовавшими в те времена, глубоко понимая социальную миссию литературы, писатель обличал и подвергал яростной критике язвы полуфеодального общества, которое мы унаследовали от колониального периода. И, словно «Попугай» был сигналом к действию, эта характерная черта, эта «обусловленность», прошла красной нитью через все наше романическое (и не только романическое) творчество. Ее яркий след редко теряется в общей гамме полутонов. Обычно же она сразу бросается в глаза.

Надо сказать несколько слов и о другом важном факторе нашей жизни — сказочной латиноамериканской природе. У нас есть самые длинные и полноводные в мире реки (чего стоит одна Амазонка!); есть гигантская горная цепь Андов, протянувшаяся более чем на 8 тысяч километров, с целой сотней вершин, достигающих более 5 тысяч метров над уровнем моря. У нас есть девственные, непроходимые (до сих пор непроходимые!) леса, бескрайние равнины пампы. Это целый мир, который надо было открыть и осмыслить, которым надо было овладеть. Овладеть этим миром означало развить наши производительные силы, а латиноамериканец был, увы, лишь батракомпеоном, который, вооружившись крестьянским ножом мачете, предназначенным для сельскохозяйственных работ, шел в сражение не на жизнь, а на смерть со страшной, подавляющей человека природой.

Со всем этим нам надо было бороться — чтобы укрепиться как нациям, чтобы противостоять нажиму со стороны иностранных держав и освободиться от их ярма, становившегося все более тяжким; чтобы покончить с латифундиями и глубоко отсталой аграрной экономикой. Надо было бороться с религиозным обскурантизмом, с языческими обрядами, с магией и колдовством. Надо было бороться с неграмотностью, с неограниченной властью касиков, с варварством; бороться с расовыми предрассудками, влияние которых, к счастью, никогда не достигало в Латинской Америке чудовищных размеров, несмотря на то что она была плавильной печью, где постепенно сплавлялись друг с другом расы трех континентов (аборигены — азиатского происхождения, рабы, привезенные из Африки, и последующие пласты европейских иммигрантов). Надо было, наконец, бороться с природой, которая нас угнетала, душила, подавляла всей тяжестью своего чрезмерного великолепия и своей сладострастной пышности.

История латиноамериканского романа — история всей этой борьбы. Основные литературные течения: романтический роман, аргентинский политический роман, роман исторический, роман индианистской школы, креольский натурализм, модернистский роман, роман мексиканской революции и т. д. и т. п.— все они, иногда прямо, иногда косвенно, связаны с грандиозными конфликтами латиноамериканской действительности.

Естественно, что в латиноамериканской прозе отразился крайне сложный и противоречивый характер этой действительности. Иногда наш патриотизм вырождался в национализм и наши романисты слепо шли на поводу у последнего. Иногда борьба с природой выступала на первый план, заслоняя собой классовую борьбу. Было много разных отклонений, и, чтобы дать представление о них, стоит привести несколько конкретных примеров. Когда известные аргентинские писатели и политические деятели Сармьенто и Мармоль обрушились в своем апокалиптическом порыве на кровавую тиранию Росаса, они не смогли измерить всю сложную глубину затронутой ими проблемы, как позднее признавался и сам Сармьенто. Они видели прежде всего конфликт между цивилизацией и варварством — цивилизацией, которую воплощали идеи, приходившие из Франции, и варварством, которое воплощалось в образе тирана. Но за спиной Росаса стояли и гаучо с их стремлением к свободе и жаждой земли. А в руках мятежных гаучо реяло знамя народного сопротивления, поднятое против буржуазии Буэнос-Айреса.

Два лучших представителя романа мекси-

канской революции Мариано Асуэла и Мартин Луис Гусман зачастую приходят в ужас от неизбежных жестокостей борьбы и не могут разделить до конца народное чувство ненависти к попам, помещикам, «гачупинам» (испанцам, переселившимся в Латинскую Америку) и янки.

Когда Эуклидес да Кунья мастерски рисовал в своих «Сертанах» военные экспедиции, направлявшиеся во внутренние районы Бразилии, чтобы побороть и полностью уничтожить отряды религиозных фанатиков, укрывшихся в странном городе, похожем на «двор чудес» посреди тропической природы,— писатель лишь чутьем, да и то не до конца, понял, что эти фанатики тоже жаждали иметь свой кусок земли и что знамя религии только прикрывало собою эту жажду.

Когда Хорхе Икаса развертывает перед нами картину чудовищной эксплуатации индейцев на андийских плоскогорьях Эквадора, он так сгущает в своем романе «Уасипунго» мрачные краски, что впадает в натурализм и его мрачные, дантовские видения становятся слишком уж горьки, невольно возбуждают у читателя брезгливое чувство по отношению к обездоленным героям романа и тем самым снижают первоначальный замысел автора.

Однако, так или иначе, но со страниц всех этих и многих других известных книг вставал, словно освещенный ярким пламенем, наш израненный континент. В Толстом тоже было много противоречий, и тем не менее Ленин назвал его «зеркалом русской революции». И даже в нашем романтическом романе и романе модернистском — два наиболее субъективных направления, в которых преобладает идеализм и большую роль играет форма,— все-таки присутствует живая латиноамериканская действительность.

В XX веке, особенно после первой мировой войны и Октябрьской революции, наша проза переживает важные перемены. Относительная однородность тем и вопросов, столь характерная для XIX века, постепенно исчезает, уступив место острой и сложной идейной борьбе. В последние десять или пятнадцать лет были изданы романы, из которых одни представляют собою открытую апологию феодальных порядков («Знатный сеньор и головорезы» чилийского писателя Эдуардо Барриоса), другие по своему построению и своей проблематике близки к западноевропейским буржуазным романам (романы аргентинца Хорхе Луиса Борхеса); третьи показывают упадок нашей феодальной аристократии, но не с революционных позиций, а с меланхолическим буржуазным скептицизмом («Коронация» чилийского писателя Доносо); четвертые же отражают ярко и разносторонне идеологию средних слоев нашего общества, в основном настроенных прогрессивно, но полных сомнений и многого не поиимающих (примером таких произведений могут служить романы чилийца Мануэля Рохаса, бразильца Грасилиану Рамоса). Есть романы, яростно обрушивающиеся на сильных мира сего («Господин президент» гватемальца Мигеля Анхеля Астуриаса), есть такие, которые затрагивают проблему индейцев, являясь, таким образом, вторым, более высоким и глубоким этапом развития нашего индианистского романа (например, произведения перуанца Сиро Алегриа), и есть, наконец, романы революционные, как произведения бразильца Жоржи Амаду, открыто антиимпериалистические, как «Пуэрто Энганьо», чилийца Леонардо Эспиносы, и откровенно антиимпериалистические и пролетарские, как «Мамита Юнай» коста-риканца Карлоса Луиса Фальяса.

В то же время в нашей художественной прозе наблюдается большое разнообразие форм. К классическим образцам, французским или испанским, прибавились в нашем веке новые влияния: сначала — классической русской литературы XIX века, затем — американской и наконец советской (в особенности Горького). Одни из наших писателей являются последователями Золя, другие — Джойса, третьи — Пруста или Кафки, четвертые — Марка Твена, Фолкнера или Хемингуэя, пятые — Достоевского или Горького. Кроме того, все еще чувствуется влияние испанских прозаиков Переды и Гальдоса, влияние Мопассана...

Какое же место занимает роман во всей латиноамериканской литературе?

Совершенно очевидно, что самая высокая вершина латиноамериканской литературы — это поэзия. Отряду, состоящему из Хосе Марти, Хосе Эрнандеса, Рубена Дарио, Сесара Вальехо, Габриэлы Мистраль, Пабло Неруды и Николаса Гильена, мы не можем противопоставить подобного же отряда прозаиков. Однако сегодня уже представляется возможным оспаривать это превосходство поэзии, которое еще тридцать—пятьдесят лет назад было непреложной истиной. За последние двадцать лет латиноамерикан-

ский роман двигался вперед с большим напором, поэзия же осталась на своем прежнем, хотя и очень высоком уровне. И если мы будем сравнивать наших прозаиков и поэтов в возрасте моложе пятидесяти лет, то я осмелюсь утверждать, что чаша весов склонится в пользу первых. Некоторая отсталость в овладении техникой жанра, которую наши поэты побороли уже со времен Рубена Дарио и которая долго давала себя чувствовать в нашем романе, в настоящее время начинает исчезать. Латиноамериканский роман с каждым днем ставит перед собою все более высокие требования. От проблем сельской жизни он решительно перешел к более сложным проблемам города. Некоторый провинциализм, вредивший ему ранее, отходит в прошлое. Латиноамериканский роман стал глубже и с каждым днем создает все больше значительных и сложных типических образов, достойных встать рядом с теми, какие увековечены в самых высших мировых образцах этого жанра. Наконец, оставаясь латиноамериканским, каким он всегда был, наш роман стал в последнее время более универсальным. И, мне думается, смело можно предсказать, что он находится накануне эпохи большого расцвета.

Хотя в нашей литературе еще не появился романист-колосс, но все же тот факт, например, что романы Жоржи Амаду существуют более чем в ста изданиях на 25 языках (этого удостоились немногие писатели на свете), доказывает достаточно красноречиво, что и мы не тащимся в хвосте. Вспомним то, о чем говорилось вначале,— что наш роман насчитывает немногим более ста лет,— и подождем еще некоторое время.

ГУСТАВО ЛУИС КАРРЕРА

ТАМ, ГДЕ ИДЕТ БИТВА

(Письмо из Каракаса)

За последний год в венесуэльских издательствах вышло очень мало книг. И все же литературная жизнь в нашей стране не застыла, она идет вперед — ее питают свежие струи творчества наших молодых писателей. Как это ни странно, по продукции издательств. Венесуэлы никоим образом нельзя судить о состоянии нашей литературы.

Чем это объясняется?

Венесуэльскому писателю, желающему опубликовать свое произведение, приходится сталкиваться с изрядными трудностями. Прежде всего надо оплатить стоимость издания книги, а она очень высока, почти недоступна для интеллигента с ограниченными средствами, уже не говоря о выходце из «низов». В Венесуэле насчитывается не более двух или трех настоящих, в полном смысле этого слова, издательств — из них лишь одно может подойти под категорию, так сказать, солидных. Ввиду этого многие венесуэльские авторы вынуждены обращаться в иностранные издательства, печатать свои книги в зарубежных типографиях.

Однако трудности, встающие перед венесуэльским писателем, отнюдь не ограничиваются порочным кругом «огромная стоимость издания — малое число издательств». Писателю еще предстоит решить сложную задачу продажи собственной книги. Капиталистическая система превращает писателя, публикующего свою книгу за свой счет, в некоего капиталовкладчика или коммерсанта. Он должен произвести товар, предложить его публике, «сделать паблисити», произвести расчеты, распределить прибыли, оплатить типографские расходы, снова заняться расчетами и в конце концов убедиться в том, что он — никудышный делец и что бóльшая часть его денег оказалась пущенной на ветер. Подобные печальные эксперименты — удел многих писателей капиталистических стран — особенно тяжелы для литераторов, живущих в такой экономически отсталой стране, как Венесуэла.

С экономической отсталостью и политическим подчинением интересам монополий янки всегда тесно связывается отставание страны в области культуры.

Это своего рода «цепная реакция»: писателю крайне трудно опубликовать свое произведение вследствие нехватки издательств; если же он издает книгу на собственный счет, то продает ее с превеликим трудом, вынужден идти на значительные материальные потери. В итоге сокращается количество изданий, уменьшается число читающих, задерживается культурное развитие страны.

Кроме этих условий, которые можно было бы назвать «естественными» для страны с низким экономическим развитием и политикой подчинения диктату янки (надо еще присовокупить другие, в равной степени «естественные» факторы, как то: неграмотность части населения, нехватка культурных центров и библиотек в стране и т. д.), следует отметить, что минувший год в Венесуэле был и остается годом резкого обострения внутриполитического положения. У нас проводились президентские и парламентские выборы. Это был год усиления полицейского террора, бешеного преследования всех прогрессивных элементов. И вместе с тем это был год самоотверженной борьбы народных масс против профашистской диктатуры, год сопротивле-

ния и контрнаступления трудящихся, год активизации деятельности партизанских отрядов Фронта национального освобождения.

Нетрудно представить себе, в сколь сложных условиях находится наша литература. За последний год в Венесуэле выпущено минимальное — по сравнению с предыдущим годом — число изданий. И все же нельзя не отметить некоторые литературные явления последнего времени.

В области поэзии большой интерес пробудили книги наших молодых поэтов. На первом месте, очевидно, следует поставить поэтический сборник «Пока еще ночь» Эфраина Суберо, автора ряда произведений на «морскую тематику», завоевавших популярность среди читателей («Там, где любовь светила...» — 1956 г., «Остров света» — 1957, «Каков человек» — 1959). В новой книге Суберо познакомил нас с новыми гранями своего поэтического таланта. Это уже не тот поэт, которого мы знавали ранее,— созерцающий морские дали и ювелирно отрабатывающий свой стих; мы вдруг увидели поэта, столкнувшегося лицом к лицу с суровой и жестокой действительностью и нашедшего себя, свое место в жизни.

Двадцать пять стихотворений, включенных в новый сборник Суберо, напоминают единую фреску, на которой мощными мазками изображена империя несправедливости и произвола. Он пишет о преследуемом человеке («Я все покинул») и о мире бесчестья и горя («Сейчас я здесь скажу», «Счеты свести пора», «Нельзя назвать»), об обстановке страха и подозрений («Теперь лишь ночь осталась нам»); он предупреждает об опасности («Случайно сказал кто-то») и говорит о красотах природы, которые не могут очарованием своим избавить человека от состояния тревоги («Что-то вечером этим...»). Суберо сумел найти выразительный и в то же время строгий язык, очищенный от метафорических перегрузок или нарочитой туманности; это живой, как бы осязаемый язык, порой насыщенный бытовыми, «уличными» словечками и выражениями, однако, надо сказать, уместно использованными. Новая книга Суберо — свежий голос, прорвавшийся сквозь поток формалистических исканий и несозвучного нашему времени анархистского «бунтарства» (а оно так по вкусу буржуазной критике!). Сборник «Пока еще ночь» — свидетельство социального протеста.

Другая книга стихов — также очень интересная — «Сегодня я встаю и говорю»; она принадлежит молодому поэту Эли Коломбани, который уже опубликовал сборники: «Стихи, чтобы молиться ночью», «Ирапа, гнева бог» и «Голос, разорвавший молчание». В последнем сборнике — «Сегодня я встаю и говорю», вышедшем в 1963 году,— Коломбани откликается на события нашего времени: он разоблачает ненавистную социальную систему, порождающую нищету, насилие, гибель. Позицию поэта выражают восемнадцать стихотворений и «поэтическая повесть», входящие в эту книгу: это категорический протест против невыносимой обстановки в стране («Заметки на полях»), это призыв к действию («Надо что-то делать», «Обеими руками», «Бери топор»).

В своих стихах Коломбани также пользуется простым и энергичным языком. Несмотря на отдельные и, очевидно, случайные неудачи автора, его книга производит сильное впечатление: молодой поэт знает, куда надо идти и как достигнуть цели.

«Пять рассказов» Густаво Диаса Солиса, по общему мнению, достойно представляют данный жанр литературы. Хотя автор включил в этот сборник уже публиковавшиеся им в разное время рассказы, тем не менее — собранные в одну книгу — они привлекли внимание читателя своим высоким художественным мастерством. Автор таких популярных произведений, как «Дождь идет над морем» и «Рассказы двух эпох», Диас Солис напечатал в своей новой книге три коротких рассказа: «Гремучая змея», «Светляк», «Среди теней», а также два бóльшего объема: «Следя за мыслью, что вырвалась на волю» и «Раньше это была вода».

Венесуэльская критика всегда отмечала в произведениях Диаса Солиса его простой и вместе с тем элегантный стиль, увлекательность повествования. И что очень важно — в его рассказах выражена солидарность с человеком, ставшим жертвой социальной несправедливости.

Последний из рассказов, включенных в сборник Диаса Солиса «Раньше это была вода», поднимает актуальную тему, которая, по сути дела, пока не нашла должного отражения в нашей литературе: жизнь на нефтяных промыслах Венесуэлы. Действительно, не может не вызвать удивления тот факт, что в венесуэльской прозе существует очень мало произведений, авторами которых предпринимались попытки раскрыть, что же делается на наших нефтяных полях (компании янки, лагеря, поселенцы, трудящиеся и их организации, дискриминация, идеологическая обработка со стороны агентуры империализма и т. д.). А ведь речь идет о литературе страны, вся экономика которой основана главным образом на добыче нефти. Ларчик открывается просто: на того, кто осмелится правдиво показывать жизнь трудящихся нефтепромыслов, кто попробует приоткрыть завесу над деятельностью американских нефтяных монополий в нашей стране, могут обрушиться политические и материальные репрессии. Поэтому кое-кто из писателей предпочитает занимать приспособленческую позицию либо просто отмалчивается.

Диас Солис, правда, знакомит нас с давней эпохой — началом нефтяных разработок в нашей стране. Тогда еще не существовало рабочих организаций, а если кое-где они и были, то находились в зачаточном состоянии и, естественно, не могли играть значительную роль. Все то плохое, что

ГУСТАВО ЛУИС КАРРЕРА
ТАМ, ГДЕ ИДЕТ БИТВА

нефть принесла с собой народу моей страны, автором раскрывается через человеческие взаимоотношения. Лишь мимоходом писатель затрагивает проблему конфликта между рабочими и компанией. Как бы то ни было, рассказ «Раньше это была вода» в общем правильно передает атмосферу жизни и труда на нефтепромыслах и гнет этой атмосферы.

Как я уже писал, рассказы, появившиеся в последнем сборнике Диаса Солиса, не являются новыми, однако издание их отдельной книгой нашло живой отклик, вновь подтвердило популярность писателя.

Тяжело отразился последний год на жанре романа — и это в стране, где роман традиционно занимал ведущее место в национальной литературе. Можно назвать очень мало романов, на титульном листе которых указан год 1963, да и они не стали сколько-нибудь заметным явлением в нашей литературной жизни. В центре внимания наших читателей и в центре литературных споров до сих пор находятся три романа, вышедших в 1962 году: «Портрет в учебнике географии» Артуро Услара Пьетри, «Месса арлекина» Гильермо Менесеса, «Путь по лестницам» Рафаэля Ди Приско. Из более новых произведений можно, пожалуй, назвать лишь один роман — и то вызывающий относительный интерес — «Питомник пастырей» Фернандо Маркеса Кайроса, автора нашумевшего социально-политического романа «Идут андинцы!», изданного в 1956 году. Что можно сказать о новом романе Маркеса Кайроса? В какой-то степени он любопытен, поскольку показывает, как «фабрикуют» молодых католических священников; однако художественный уровень его невысок.

Мне думается, что я не отойду от истины, если скажу: наиболее значительным произведением в венесуэльской литературе 1963 года явился не какой-либо роман, а труд об этом жанре. Опубликованная секцией литературных исследований Центрального университета в Каракасе «Библиография венесуэльского романа», впервые вышедшая в нашей стране, представляет собой несомненную ценность.

Эти строки, конечно, не претендуют на то, чтобы дать исчерпывающую панораму состояния литературы в Венесуэле; моя цель — показать отдельные, наиболее характерные явления в нашей литературе последнего времени, существующей в условиях крайне тяжелой внутриполитической обстановки. Молодые прогрессивные писатели Венесуэлы не ослабляют своих усилий, стремясь обновить нашу литературу. Мы верим: она еще расцветет.

ПУБЛИЦИСТИКА

УИЛФРЕД БЭРЧЕТТ

АМЕРИКАНЦЫ В ЮЖНОМ ВЬЕТНАМЕ

(Репортаж из партизанских районов)

Среди огромного количества интересных документов, захваченных партизанами Фронта национального освобождения при разгроме учебного лагеря «Специальных сил» США в Хиеп-хоа, в 30 километрах от Сайгона, находилась инструкция, поясняющая цели и методы «особой войны», то есть такой войны, какая теперь ведется Соединенными Штатами в Южном Вьетнаме. «Идеологическое» оправдание «особой войны» содержится в материале, подписанном начальником штаба американской армии генералом Джорджем Х. Дэкером и являющимся еще одним подтверждением откровенного признания Соединенными Штатами за собой роли главного мирового жандарма, готового подавить прогрессивное движение и национально-освободительную борьбу в любой части света.

Генерал Дэкер проговаривается, что для проведения «особой войны» военное командование США разделило мир на четыре географические зоны; руководители зон снабжены специальными инструкциями, написанными на английском, французском и испанском языках, для того, чтобы молниеносно ориентироваться в любой ситуации в бывших английских и французских колониях в Азии и Африке и особенно в некоторых зависимых от США странах Латинской Америки. «Нам следует выработать решительные меры,— пишет американский генерал,— против всякого рода угроз «холодной войны», начиная с опасности, возникающей при действиях партизан в Южной Азии, вплоть до возможных попыток коммунистов осуществить контроль над слаборазвитыми странами в Африке и Южной Америке...»

Вслед за восторженным описанием новых «противомятежных» средств и планов «обучения местных сил обнаружению и уничтожению партизан» Дэкер продолжает: «Для подобных противомятежных действий в армии США организуются четыре специальных соединения. Каждое соединение ориентировано на определенный географический район и будет находиться на особом положении. В районах, где действия коммунистических партизан наиболее сильны, эти соединения создаются при группах специальных сил для укрепления противопартизанских и противомятежных действий... Подобные меры обеспечивают американской армии возможность быть готовой к отражению «холодной войны» в критических районах во всем мире».

Генерал Дэкер не считает нужным пояснить, на какой юридической или моральной основе армия США назначает себя мировым сверхжандармом.

Несколько позже я беседовал с четырьмя сержантами американской армии — инструкторами «особой войны», взятыми в плен партизанами во время операции в Хиеп-хоа. Все они прошли большую подготовку, окончили школу «особой войны» в Форт-Брагг и считались специалистами по «противомятежным» действиям. В их задачи входило обучение вьетнамцев искусству

партизанской войны и обращению с «противопартизанским» вооружением, специально изготовленным на военных заводах США. В действительности же произошло так: когда несколько сот обучавшихся в лагере курсантов готовились к проведению ночной атаки на партизан, на них налетели сами партизаны. Учебный центр был полностью разгромлен, а большинство солдат разбежалось. Многие с оружием в руках перешли на сторону армии Фронта национального освобождения, чтобы там применить полученные знания. Из пяти американцев, находившихся в ту ночь в учебном центре, один был убит, четверо взяты в плен. Любопытно было узнать из уст американских сержантов, что после изучения инструкции по ведению «особой войны», в которой описывалось, как легко и просто справляться с партизанами, при первом же выстреле американцы бросились в траншеи и ни один из них не захватил с собой оружия. «Была ли попытка оказать сопротивление?» — спросил я сержанта Ронбэка. «Мы не имели времени,— ответил он.— Внезапная атака. Хорошо организованная и превосходно проведенная. У нас не было возможности сопротивляться».

Меня больше всего интересовало, что думают пленные о войне и о Вьетнаме, но об этом они предпочитали не говорить. «Эта война — сплошная тайна для меня,— ответил сержант Камачо.— Даже представления не имею, почему она ведется». Передав мне письмо для своей матери и собираясь уходить, он с довольно трагическим выражением лица попросил разрешения задать мне вопрос. «Может быть, вы смогли бы сказать мне,— спросил он,— кто выиграл на международных соревнованиях тяжелоатлетов?» Получив ответ, американец с лучезарной улыбкой на лице отправился обратно в джунгли — в свой домик. Это был единственный вопрос, который он задал при первом за четыре месяца общении с человеком из внешнего мира. Сержант Ронбэк, уже пятнадцать лет находящийся на службе и воевавший в Корее, на мой вопрос, что он думает о положении в Южном Вьетнаме, ответил: «Ничего не понимаю. Кто прав, кто виноват, кто победит, кто потерпит поражение. Всегда есть две стороны любого вопроса. Правительство право в попытках подавить партизан, партизаны правы в попытках сбросить правительство, если оно им не нравится. Мы находимся здесь только для того, чтобы обучать, и вернемся домой, как только кончится срок службы».

Думаю, что для получения исчерпывающего ответа на вопрос, почему эти американцы находятся во Вьетнаме, нужно взглянуть на их расчетные книжки. Основной оклад Ронбэка — 335 долларов в месяц, а с различными прибавками за службу в Южном Вьетнаме он достигает 858 долларов 40 центов. У сержанта Макклюра, негра, специалиста по «разрушениям», имеется основной оклад — 230 долларов, а получает он 731 доллар; два других американца получают тоже около 500 долларов прибавки в месяц за службу в качестве наемников в частях «особой войны» генерала Дэкера. Все четверо кажутся поразительно «наивными» в отношении происходящего вокруг и не чувствуют никакой особой ответственности за ежедневные убийства вьетнамцев американскими бомбами и снарядами. «Мы здесь только для того, чтобы обучать и советовать...» — твердят они.

Когда в начале этого года к власти пришел генерал-майор Нгуен Кхань, новоиспеченная марионетка США, то генерал Поль Харкинс, бывший в то время руководителем американского военного командования в Сайгоне, заявил, что военные действия последуют немедленно. Ровно неделю спустя самолеты начали летать над деревнями района Бен-Кау, близ Тай-Ниня, центра одноименной провинции, что примерно в 90 километрах к северо-западу от Сайгона. В течение четырех часов самолеты вели систематические бомбардировки: они появлялись, чередуясь: предыдущий не улетал, пока не прилетал следующий. Район Бен-Кау является вторым по величине центром религиозной секты «Као Дай». В момент опасности люди надевают свои ритуальные одежды и бегут в храм. В Бен-Кау было два храма, но оба они под напалмовыми бомбами превратились в пылающие руины. Одна женщина выскочила из храма в горящей одежде — живой факел! Она кричала: «Они убили пятерых моих детей!» — и упала замертво. Многие семьи были полностью уничтожены. В этих деревнях, находящихся в зоне, контролируемой Сайгоном, нет ни бомбоубежищ, ни защитных траншей. После налета крестьяне насчитали 84 убитых и 200 раненых: свыше тысячи домов было разрушено.

Все это я узнал от жителей Бен-Кау, посетив этот район несколько недель спустя. Оставшиеся в живых организовали большую демонстрацию. Люди пошли в Тай-Нинь, неся убитых и раненых, и возмущенные крестьяне из окрестных деревень присоединялись к шествию. Гнев населения дошел до такой степени, что Нгуен Кхань вместе с тогдашним послом США Кэботом Лоджем и командующим американскими войсками генералом Харкинсом были вынуждены прилететь в Тай-Нинь — «успокаивать» население.

Типично по-американски прозвучало предложение материальной компенсации — мешок риса и 1000 пиастров каждой пострадавшей семье, 2000 пиастров за каждого убитого взрослого и 1000 пиастров за каждого убитого ребенка. (По официальному курсу, 35 южновьетнамских пиастров равны одному доллару, в действительности же на

«черном рынке» доллар равнозначен 100 пиастрам.)

Когда Нгуен Кхань попытался обвинить во всех совершенных злодеяниях Вьетконг, то население, собравшееся на митинг, заставило его замолчать. «А есть ли у Вьетконга самолеты? Или бомбы? Нет. Виновны вы одни!» — кричали люди. После консультации между Кханем, Кэботом Лоджем и Харкинсом было объявлено окончательное «решение»: за каждого убитого взрослого будет выплачено по 5000 пиастров, за ребенка 2000. На восстановление двух храмов обещали выдать 260 тысяч долларов. Одна из жительниц Бен-Кау, молодая крестьянка, потерявшая при бомбежке двух из троих своих детей, крепко прижимая к груди оставшегося в живых ребенка, рассказывала, что произошло, когда представители сайгонских властей вместе с тремя американскими советниками прибыли в Бен-Кау для раздачи денег:

«Многие из нас отказались взять что-либо. Мне нужны мои дети, а не грязные пиастры убийц. Когда они вошли в мой дом, я сказала, чтобы они убирались вместе со своими деньгами, а два старика в другом доме попытались вырвать оружие у охраны и застрелить американцев. «Их надо убить! — кричали они. — Это настоящие преступники». Охрана схватила стариков и связала им руки. Начальник погрозил им кулаком и закричал: «Мы платим уже по 5000 пиастров за каждого убитого взрослого. Вполне достаточно». Один из стариков пришел в бешенство: «Встаньте вон туда — к стенке, — кричал он, — а я заколю вас всех насмерть и с удовольствием заплачу за каждого по 25 тысяч!» Собралась огромная толпа. Все кричали, возмущались. Американцы перепугались, как цыплята, и приказали своим наемникам отпустить стариков».

В конечном итоге этой кампании вся система «стратегических деревень» вокруг Тай-Ниня распалась. Подавляющее большинство людей из общин перешло на сторону Фронта национального освобождения. Марионеточные военизированные организации, такие как «Республиканская молодежь», «Гражданская гвардия» и другие, были распущены, а граница освобожденных районов подошла к самым воротам города Тай-Ниня.

Естественно, что о зверствах, подобных этим, американская пресса молчит. Сообщения о них в крайнем случае преподносятся так: «Сотни приверженцев Вьетконга были уничтожены сегодня во время воздушных и наземных операций». И все же время от времени дымовая завеса рассеивается. Так случилось, например, 19 марта 1964 года, когда сайгонские марионеточные войска под предводительством американских «советников» атаковали деревню Пхум-Чантреа.

Для Сайгона это была «обычная операция»: предварительная бомбардировка с семи самолетов напалмом и бомбами большой взрывной силы. Дюжина танков-амфибий М-113 промчалась через деревню, расстреливая мужчин, женщин и детей, а то просто давя людей гусеницами. К концу операции появились вертолеты с американцами. Единственным отличием этой бойни от предыдущих было то, что на этот раз она произошла по другую сторону южновьетнамской границы, на территории Камбоджи. «Простите. Мы думали, что эти люди — южные вьетнамцы», — прозвучало наивное оправдание из уст американских «советников», когда перед их глазами предстали раздавленные, сожженные и искалеченные тела шестнадцати убитых и тринадцати раненых деревенских жителей, в том числе женщин и малолетних детей.

Камбоджийское официальное агентство печати Кхмер Пресс сообщило: «Нападение на деревню произошло приблизительно между 7 и 9 часами утра. После того как деревня была забросана бомбами, южновьетнамские военно-воздушные силы применили танки. Они прошли через деревню, давя людей гусеницами. У двух человек были переломаны и оторваны конечности. Очевидцы указывали, что среди военных, высадившихся из вертолета во время атаки, они узнали трех американцев. В числе жертв была беременная женщина и несколько детей, не достигших десятилетнего возраста. Из тяжелораненых один человек умер на пути в свой риенг (центр провинции), другой — при перевозке в Пном-Пень. Двое детей, 3 и 8 лет, с сильными ожогами, полученными во время пожара, вызванного напалмом, умерли вскоре по прибытии в больницу...»

Мировая общественность смогла получить некоторое представление о повседневной деятельности американо-сайгонских марионеток только потому, что после нападения на территорию Камбоджи на место преступления прибыли иностранные дипломаты и журналисты. Множество фотографий, запечатлевших эти зверства, было представлено камбоджийским министерством информации. Вначале и Сайгон и государственный департамент все отрицали. Но после того, как иностранные дипломаты и журналисты сами побывали в разрушенной деревне, последовало признание: произошла «ошибка в чтении топографической карты». Через несколько дней было заявлено, что государственный департамент категорически отрицает какое-либо участие американцев в этой истории. В конце концов, после того как камбоджийское правительство предъявило неопровержимые доказательства, государственный департамент признал «присут-

ствие, но не участие» американских «советников».

Единственным членом экипажа разведывательного самолета, сбитого камбоджийцами, был американский летчик, корректировавший бомбардировку. Рассматривалась ли его деятельность как «присутствие», но не «участие»? Этот вопрос так и не получил ответа. Обращаясь к южновьетнамским военно-воздушным силам, официальное камбоджийское агентство печати назвало все своими именами: самолеты были американскими, летчики и бомбометатели — американцами, американского производства бомбы и напалм. Чаще всего весь состав экипажей самолетов, принадлежавших южновьетнамским военно-воздушным силам, является американским. С 1962 года, то есть с того времени, как два пилота южновьетнамских военно-воздушных сил бомбили президентский дворец Нго Динь Дьема в Сайгоне, вьетнамцам запрещено летать на самолетах одним. Экипажи вертолетов, доставляющих марионеточные отряды, обычно состоят из американцев.

Степень участия американских воздушных сил в военных действиях в Южном Вьетнаме мало известна в других частях мира.

В течение длительного времени представители американских войск отрицали применение напалма в своих операциях. В ответ на протесты против применения напалма министр обороны США Макнамара заявил, что напалм «в будущем будет применяться меньше». За время моего пятимесячного пребывания в освобожденных и во фронтовых районах я сам видел, что даже разведывательные самолеты, экипажи которых состоят исключительно из американских летчиков, применяют напалм.

Небольшой крестьянский дом, в нескольких сотнях метров от которого я пытался укрыться, был забросан напалмовыми бомбами с разведывательного самолета, преследовавшего нашу небольшую группу. Вместе с домом заживо сгорела девятилетняя девочка.

Американские летчики в Южном Вьетнаме во всем видят «удобные объекты». Крестьянин в поле, ребенок, играющий на дороге, деревенская школа, буйвол, бредущий по рисовому полю, пашня, засеянная пшеницей, струйка дыма от кухонного очага — таковы основные мишени для бомб, напалма, снарядов и автоматных очередей. Жизнь сама по себе — мишень: будь то человек, животное или растение, особенно если оно представляет собой продукт питания. А теперь в дополнение к традиционным средствам бомбардировки стали применяться ядовитые вещества для уничтожения скота, продуктов питания и отравления источников питьевой воды.

Спасая себя от воздушной угрозы, люди вынуждены приспосабливаться. Так как дым очагов выдает жизнь, а жизнь, как таковая, является первейшей мишенью, приготовление пищи, например, ведется в предрассветные часы. Огонь тушат до восхода солнца. Только с закатом его разожгут снова. Спасаясь даже от дозорных самолетов, крестьяне ночью обрабатывают поля, а рыбаки по ночам забрасывают сети. В высокогорных районах издавна занимаются подсечным земледелием. На клочке очищенной от леса земли, покрытой пеплом от сожженных пней, в ямки, сделанные простой палкой, сажают горный рис или кукурузу. На протяжении многих поколений этим примитивным способом пользовалась значительная часть населения страны. Культурные растения своей окраской четко выделяются на фоне сплошного зеленого массива лесов — они хорошо видны с воздуха. И лесные поляны явились мишенью для самолетов. Созревающий рис или кукурузу летчики сжигают напалмом. Людям пришлось прибегнуть к «хитрости». Они стали сажать маниок. Он растет выше, а его густая зеленая листва не выделяется среди деревьев. Большие пучки удлиненных корней плодов, похожих на крупный сладкий картофель, стали теперь основным продуктом питания известной части населения. Ныне повсюду в высокогорных районах маниок популярен как «друг партизан» или «стратегическая пища революции».

Гнусные действия «героев» воздушной войны заключаются еще и в том, что они разыскивают истоки ручьев и бросают в воду отравляющие вещества, чтобы заразить жителей населенных пунктов и деревень, расположенных вниз по течению. Проезжая по деревням, я видел в центрах здравоохранения, которые в освобожденных районах имеются в каждом населенном пункте, мелкую рыбу в бочках или чаще в небольших ящиках, обернутых парашютным шелком. Рыба нужна для проверки зараженности воды в источниках. После воздушных налетов рыбок пускают в воду. Если вода отравлена, они немедленно погибают. Отравление источников питья — обычное дело в условиях «особой войны». В самых различных, далеко расположенных друг от друга районах Южного Вьетнама я постоянно слышал о подобных действиях. Отравляющие вещества распыляют с самолетов, их разбрасывают специальные агенты или карательные отряды. В некоторых районах дельты Меконга, например в Долине гростников, где на какое-то время года вода в источниках и каналах становится соленой, пресная вода хранится в огромных кувшинах. После прохождения карательных отрядов обнаруживалось, что такие кувшины вдребезги разбиты или же вода в них отравлена.

Я видел, как в деревнях, «обработанных» отравляющими веществами, фруктовые деревья стояли без листьев и плодов, тогда как в соседнем районе такие

же деревья были зелеными и усыпаны плодами. Дынные деревья представляли собой голые высохшие стволы со сморщенными плодами величиной с грецкий орех, ананасы съеживались до размеров маленького апельсина. Как-то я беседовал с женщиной — ученой из Южного Вьетнама, доктором Тхюи Ба, членом исполнительного комитета Освободительной ассоциации женщин Южного Вьетнама, руководителем крупного тропического госпиталя и генеральным секретарем Ассоциации по охране детей и материнства. Она занимается изучением проблем химической войны.

«Хотя эти яды применяются в первую очередь для уничтожения урожаев и домашнего скота, они серьезно влияют и на человека, особенно на детей и стариков»,— сказала мне доктор Тхюи Ба, молодая женщина, променявшая, как и многие ее коллеги, свой уютный дом и практику в Сайгоне на тяжелые условия тропиков ради спасения людей.

«Три тысячи детей,— продолжала она,— были поражены ядовитыми веществами в районе мыса Ка-Мо (на крайнем юге) в первые два месяца 1964 года. Основными симптомами являются жжение кожи, понос и боль в легких. С начала года военные действия в основном проводились по всему району дельты Меконга (наиболее густо населенный и богатейший по производству продуктов питания район всего Вьетнама)».

Чудовищно циничным является спектакль торжественного участия США в международной конференции, посвященной вопросам поднятия уровня производства продуктов питания в слаборазвитых странах, в то время, когда военное командование США в Сайгоне не брезгует любыми средствами, чтобы отравить и сжечь рис, которым можно было бы накормить много миллионов людей.

Основной массе людей в Южном Вьетнаме вначале трудно было распознать руку США — главного виновника всех их несчастий. Для тех, кто разбирается в политике, это, естественно, было очевидным с самого начала. Но сама идея «особой войны» заключается в том, чтобы скрыть преступника.

При классических формах прежнего колониализма военной силой была постоянная оккупационная армия, а в случае необходимости — экспедиционные войска. Неоколониализм вынужден искать новые формы. Необходимо соблюсти видимость «национального» правительства с аппаратом из местных официальных лиц, действующего под лозунгами «национализма», «демократии», «свободы» и «независимости». Подлинные правящие силы предпочитают оставаться в тени. Они проводят политику посредством финансовых и экономических манипуляций руками своих агентов из высшего класса — местных феодалов или буржуазии, уже обученных бывшими колониальными хозяевами. И когда «необходимость» требует военных действий, прежние экспедиционные силы уже не годятся. Это немедленно выдало бы всю игру. Тогда применяется «особая война», изобретенная США,— местная армия действует якобы самостоятельно, на деле руководимая стратегически и, возможно, даже тактически, а также располагая техническими средствами, предоставленными ей неоколониальной державой.

Ведущим военным «идеологом» США является находящийся в Южном Вьетнаме генерал Максуэлл Тэйлор. Именно он дал теоретическое обоснование трем видам войн, к которым должны быть готовы США: «глобальная ядерная война»; «местная», или «ограниченная», война, в которой боевые подразделения участвуют в отдельных районах; и «особая война» с использованием местных войск при всесторонней помощи и руководстве со стороны США.

Южный Вьетнам был избран в качестве пробного района для «особой войны».

8 марта этого года, в Международный женский день, я проезжал на велосипеде по провинции Тай-Нинь. Услышав шум моторов, мы старались быстрее пересечь широкую лесную поляну. Попав в густые заросли, мы продолжали свой путь по узкой тропинке, полностью скрытой от самолетов, летевших чуть выше макушек деревьев. Внезапно послышался гул пикирующих бомбардировщиков, сопровождаемый трескотней пулеметов, и почти тотчас же раздался взрыв авиабомб. Мы остановились и увидели два самолета. В третий заход бомбардировщики спустились так низко, что мне показалось: вот-вот они врежутся в землю. Рев моторов заглушался стрекотом пулеметов. Когда один из самолетов снова появился в поле нашего зрения, мы заметили струйку дыма, исходившую из нижней его части. И сразу же раздался взрыв. От самолета отлетели куски, он перевернулся и рухнул на землю в нескольких километрах от нас. Столб черного дыма взметнулся в воздух — и все. Я взглянул на часы — был почти полдень.

Не успели мы немного отъехать, как в воздухе послышалось гудение вертолетов. Мы насчитали пятнадцать машин, вытянувшихся в одну линию, как дикие гуси в полете. Вертолеты направлялись к тому месту, где упал самолет.

Что же произошло? Позднее в партизанском подразделении, где мы должны были заночевать, нам стали известны подробности. Летчики заметили трех крестьян, перевозивших через поляну мешки с рисом. Поляна была широкой, и крестьяне не смогли вовремя укрыться в зарослях леса. Как только самолеты

начали пикировать, крестьяне, побросав мешки, спрятались в траве. Первая атака была направлена на мешки с рисом. Крестьяне вытащили свои карабины — почти все, кого я встречал в освобожденных районах, имеют при себе разного рода оружие. Самолеты предприняли вторую атаку, на этот раз уже ближе к земле, пытаясь найти людей. И когда в третий заход они спустились еще ниже, крестьяне — люди со стальными нервами и глазами охотников — открыли огонь по самолетам. Пуля попала в «чувствительное место» самолета — возможно, в напалмовую бомбу. Начался пожар, закончившийся взрывом. Партизаны из подразделения, в котором мы находились, бросились к месту падения самолета и возвратились с четырьмя пулеметами и личными вещами американского летчика.

Пятнадцать вертолетов доставили солдат, которые немедленно окружили район, где упал самолет. Наблюдавшие за ними партизаны видели, как солдаты подобрали в две корзины останки двух летчиков, сняли кое-какие приборы с обгоревшего самолета и, погрузившись в вертолеты, вернулись на свою базу.

Американский пилот, как и многие из его соотечественников, дорогой ценой заплатил за прибавку к жалованью, которая полагалась ему за «советы» южным вьетнамцам. А для партизан это было еще одним подтверждением факта, кто в действительности ведет войну на «другой» стороне. Такие подтверждения обнаруживаются ежедневно на всем протяжении от 17 параллели до самой южной точки мыса Ка-Мо.

Один из участников Фронта национального освобождения рассказал мне об истинной роли США в Южном Вьетнаме.

«После операций против Нго Динь Дьема,— говорил он,— нам было трудно кое-кому доказать, что антидьемовская операция была делом США и что члены военной хунты являются американскими ставленниками. Некоторые люди говорили: «Как бы там ни было, а хунта сбросила Нго Динь Дьема, и это хорошо, это шаг вперед. И если за ней стоят американцы — тем лучше для них».

Когда произошел второй переворот, нам оставалось только сидеть и выжидать. Теперь всем было ясно, что в действительности это сделано американцами с целью добиться возврата к режиму Нго Динь Дьема. Затем приехал Макнамара и проделал такую работу, на которую у нас ушло бы несколько месяцев. Он ездил по всей стране, рекламируя Нгуен Кханя, утверждая, что именно он пользуется полнейшим доверием генерала Харкинса, Макнамары и Пентагона и будет целиком и полностью ими поддержан. Очевидно, Макнамара был вынужден сделать это, ибо знал, что Кхань не пользуется авторитетом среди населения. Таким образом он давал недвусмысленно понять, что Кхань — ставленник Америки. С этого момента даже самым закоренелым скептикам стало ясно, что война в Южном Вьетнаме — это агрессивная война, проводимая Америкой, и что фигуры вроде Нгуен Кханя — это презренные марионетки и предатели. Макнамара в огромной степени помог народу уяснить все во время своей поездки в Сайгон».

Лично я имел случай убедиться в том, как ведут эту войну американцы. Когда небольшое подразделение сайгонских войск с тремя американскими «советниками» напало на малочисленный отряд освободительной армии в районе, где я ночевал на каучуковой плантации, в 20 километрах от Сайгона, марионеточные войска, продвигавшиеся с большой предосторожностью, заметили, что они находятся, как им показалось, всего лишь в 100 метрах от партизанской деревни. Часть сайгонских солдат залегла и открыла огонь из тяжелых пулеметов, другие начали устанавливать минометы. Отряд освободительных войск немедленно открыл ответный огонь также из тяжелых пулеметов. После первого же выстрела американцы попрятались в траншеи. Но я мог видеть, как они подгоняли марионеток, среди которых было трое раненых. Несмотря на всю возню американцев, сайгонцы поспешно отступили. Если бы американцев не было совсем, то и вообще бы не было никакого столкновения. Именно поэтому одним из первых результатов прихода к власти Нгуен Кханя был «эксперимент», при котором американские офицеры, отбросив наконец маску «советников», приняли на себя тактическое командование операциями. Но как показал случай на каучуковой плантации, это оказалось безрезультатным. В тех же случаях, когда американцы заходили слишком далеко, вьетнамские солдаты поворачивали оружие против них.

Чан Нам Чунг, представитель вооруженных сил Фронта национального освобождения в президиуме Центрального Комитета Фронта и помощник генерального секретаря Народно-Революционной партии, говорил мне, что успех внезапных и все учащающихся атак является в основном результатом помощи солдат противника в районе объекта нападения, снабжающих партизан нужной информацией. Люди стали политически грамотнее, ясно понимают роль США как основной угрозы нашей стране

Все чаще и чаще солдаты открывают огонь по своим же офицерам, в том числе и по американским. Все больше и больше надписей «Янки, убирайтесь домой!» появляется на стенах домов. С 1962 года дезертирство приняло коллективный характер. Появились целые отделения, взводы и даже роты дезертиров. Это движение растет пропорционально усилению угрозы прямой американской интервенции. Антивоенное дви-

жение внутри армии усиливается с каждым днем, как и движение за отказ от участия в операциях по «очистке территории». Недавно на аэродроме Шок-чанг (в дельте Меконга) произошел такой случай. Было арестовано двое солдат марионеточных войск, отказавшихся подчиниться приказу американцев принять участие в налете. На следующий день взвод под командованием лейтенанта отправился в тюрьму и потребовал освободить своих товарищей. Американцы пытались остановить их и вытащили пистолеты. Несколько марионеточных солдат открыли огонь, в результате два американских «советника» были убиты.

В одном месте, где я остановился во время посещения окрестностей Сайгона — это было в середине февраля, в период новогоднего полнолуния,— пятнадцать сайгонских солдат с ближайшего поста, оставив оружие, перешли на сторону Фронта национального освобождения. «Мы считали, что если придем к вам с оружием,— заявили они,— то вы подумаете, что мы атакуем, и убьете нас». Затем договорились, что если они принесут свое оружие, то это будет воспринято, как доказательство их добрых намерений. Солдаты возвратились на свой пост и позже в ту же ночь появились с пятнадцатью винтовками. А 250 курсантов из учебного центра парашютистов в Чунг-хоа воспользовались предложением Фронта национального освобождения о недельном прекращении огня на время новогоднего полнолуния, посетили свои родные деревни, несмотря на категорический запрет. Разве американцы могут остановить это? Они могут осудить военным судом нескольких рядовых и расстрелять их — как они уже и делали,— но это только подбавит масла в огонь гнева и ненависти, который они зажгли в сердцах своих «собственных» солдат.

Одно обстоятельство причиняет американцам в последнее время сильное беспокойство. Речь идет о все более растущих потерях самолетов и вертолетов, особенно в районах, считающихся абсолютно «надежными». Эти районы закрашены сплошной зеленой краской, как на сайгонских картах, так и на картах Фронта национального освобождения. Зеленый цвет означает территории, полностью контролируемые Сайгоном, красный — территории, прочно контролируемые Фронтом национального освобождения; желтый — это «ничейная земля», которую Фронт национального освобождения контролирует по ночам, а часто также и днем. Сбитый вертолет из эскорта Макнамары, подстреленный на глазах военного министра во время его визита в марте 1964 года в «зеленый» район, и явился таким прецедентом. Американцы теперь знают (хотя и не говорят об этом открыто), что часть их самолетов сбивают их же «собственные» солдаты. И дезертиры из сайгонской армии подтвердили мне обоснованность этой точки зрения.

Сам характер воздушной войны, направленной против человека, животного или природы, также приводит в ярость призванных в армию крестьян, представляющих собой большинство в марионеточных войсках. Ярость становится неудержимой, когда американские летчики начинают уничтожать с воздуха химическими отравляющими веществами посевы и фруктовые сады. Это большое испытание даже для многих офицеров, выходцев из крестьян. Мне рассказывали о случаях, когда офицеры — командиры постов марионеточной армии приказывали своим солдатам открывать огонь по самолетам. А ведь на каждый случай, о котором мне довелось услышать, приходятся сотни неизвестных мне. Поэтому прав был работник Фронта национального освобождения, сказав: «Нет лучшей антиамериканской пропаганды, чем действия самой американской армии на нашей земле»

Из разговора с Хай Нгуеном, редактором газеты из Бен-Тре, что к юго-западу от Сайгона, я узнал многое другое о жестоком режиме, поддерживаемом США.

Еще в 1958 году полиция Нго Динь Дьема арестовала Хай Нгуена. Без всякого суда — достаточно было того, что он принимал участие в антифранцузской войне — Хай Нгуена отправили на остров Пуло-Кондор, в тюрьму, снискавшую трагическую славу.

«Я расскажу об одном из многих случаев борьбы на Пуло-Кондор,— говорил мне Хай Нгуен.— В этом крупном политическом выступлении приняли участие все 1246 заключенных. Основным поводом послужило то, что нго-динь-дьемовские власти пытались заставить нас изменить нашим политическим убеждениям, принять участие в кампании «осуждения коммунистов», восхвалять фашистский режим Нго Динь Дьема. Мы отказались все до единого. Тогда охрана отобрала одежду и одеяла, и мы остались голыми в наших камерах. Нас нещадно били. Медицинской помощи заболевшим не оказывали. Есть давали лишь негодный рис и испорченную рыбу — от этой пищи мы отказывались. Четверых наших товарищей забрали и бросили в карцер, в течение трех дней их беспрестанно били тяжелыми дубинками. Все четверо объявили голодовку. Тюремщики явились к своим жертвам с молоком, затем с лекарством для вливания. Но наши товарищи отказались от молока и сломали шприцы, когда им пытались принудительно впрыснуть лекарство. «До тех пор, пока не будут улучшены условия для всех заключенных,— заявили они,— мы будем продолжать голодовку, вплоть до смерти».

Этими людьми были — Хюинь Нгок Ан, крестьянин из провинции Бинь-зыонг; Хюинь Ван Лань, механик из Сайгона; Нгуен Ван Бао, писатель и школьный учитель из Кан-тхо, и Нго Бао, крестьянин из предместьев Сайгона. Все четверо, так же как и я, никогда не были судимы, всех нас арестовали за участие в антифранцузском движении Сопротивления.

Узнав об этой голодовке, все заключенные ее поддержали. Утром они отказались принять пищу, и каждый передал листок с требованиями начальнику тюрьмы. У нас, конечно, не было ни бумаги, ни чернил. Мы разбили чашки для риса и осколками нацарапали наши требования на деревянных чашках для воды.

В первые сутки ничего не произошло. Но на следующий день к нам прислали банду головорезов с дубинками. Они переходили из камеры в камеру и с 7 до 11 утра, а потом с 2 до 4.30 дня нещадно избивали каждого заключенного. Некоторых вытащили во двор для особого наказания. В их числе были юноша 20 лет и 67-летний старик. Палачи сказали, что прекратят избиение тех, кто возьмет свои требования обратно. Ни один этого не сделал. Более 150 заключенных были брошены в карцеры.

Затем мы применили новую форму борьбы: стали выкрикивать наши требования все вместе, хором. Мы узнали, что наши голоса можно было слышать за километр от тюрьмы. Избиение повторилось. И так продолжалось день за днем.

К заключенным прибыл начальник тюрьмы майор Бать Ван Бон, грузный пузатый человек, никогда не улыбавшийся и не смотревший прямо в глаза. Он всегда ходил с дубинкой и бил каждого, чье выражение лица ему не нравилось. Начальник тюрьмы потребовал, чтобы заключенные выбрали своего представителя. Им стал Ла Ван Тха — радиоинженер, обучавшийся во Франции. (Позже я встретил его в штабе Фронта национального освобождения. Сейчас он — член Центрального Комитета Фронта национального освобождения и один из лидеров радикально-социалистической партии, входящей во Фронт. Большой веселый человек со спокойным лицом, он был основателем Сайгонского комитета мира, за что его и арестовали.)

Начальник тюрьмы Бать Ван Бон заявил: «Вы, заключенные, ужасно упрямый народ. Мы готовы принять ваши условия и прекратить избиения. Начинайте есть». Это было в 7 часов вечера. Ла Ван Тха потребовал конкретных гарантий того, что условия будут выполнены: во-первых, возвратить из карцера 150 заключенных затем кормить хорошим рисом и мясом, а также оказать медицинскую помощь. Ла Ван Тха потребовал также, чтобы ему разрешили сообщить об этом во все камеры. Условия были приняты, а четырем заключенным, первыми объявившим голодовку, начальник обещал сообщить о достигнутой договоренности лично. В ту ночь у нас был всеобщий праздник по поводу достигнутой победы.

Позднее начальника тюрьмы с позором уволили за «капитуляцию» и на его место прислали еще более жестокого типа».

Первое, что сделал новый начальник тюрьмы,— отобрал пятьдесят пять заключенных, которых он считал «самыми упрямыми и закоренелыми коммунистами», и перевел их в печально известный «тигровый блок». Заключенные были размещены по 6—8 человек в камерах, еще при французах служивших одиночками. Хай Нгуен оказался в числе этих пятидесяти пяти.

«У нас снова забрали одежду,— продолжал рассказчик.— В камерах не было места, чтобы лечь и вытянуться. Мы могли лишь сидеть на корточках. Нам выдавали в день пригоршню риса — ни соли, ни рыбы, ни мяса, ни овощей. Только рис. Одна чашка воды за весь день, а в особенно жаркие дни и этого не давали. Зато били нас регулярно три раза в день — в 5.30, в 10.30 утра и в 4 часа дня. «Тигровым блоком» это называлось потому, что камеры представляли собой клетки полутора метров высотой с металлической решеткой наверху, на которой стояла стража. Сверху тюремщики часто плевали и мочились на нас. Однажды они ткнули острой бамбуковой палкой в спину одного из наших товарищей. На следующий день он начал харкать кровью и умер. Двое других умерли от побоев. Иногда они вливали нам в ноздри воду, смешанную с известью. Но ни один не сдавался. Мы продолжали голодовку почти 20 дней и маленькими камнями царапали наши требования на стенах. Наконец начальник тюрьмы сдался. Условия на некоторое время были улучшены. Пыток не было около трех недель, но в начале 1961 года они возобновились. Наши враги стали более опытными. Полы подметались так тщательно, что на них не оставалось ни одного камня, которым можно было бы нацарапать наши требования. Мы решили вскрывать вены на шее, чтобы кровью написать на стене наши требования. Один наш товарищ — школьный учитель из Сайгона Чан Тунг Тин после этого умер, а радиоэлектрик из Сайгона Нгуен Ван Винь потерял дар речи Это была отчаянная борьба, но мы знали, что нам нечего терять».

Через пятнадцать месяцев столь страшной жизни железные решетки — двери «тигрового блока» — открылись и тридцать пять живых скелетов выползли наконец наружу, остальные двадцать человек умерли. В конце 1962 года Хай Нгуен и 27 его товарищей были переправлены в Сайгон и в мае 1963 года наконец освобождены. Насколько ему известно, семь человек были снова упря-

таны в «тигровый блок» и находятся там до сих пор.

Хорошо известно, что специальные курсы Мичиганского университета все эти годы функционировали в Сайгоне, имея специальной задачей «инструктирование» полицейским методам. Мы знаем от буддистских монахов и студентов, возвратившихся после недолгого пребывания на Пуло-Кондор во второй половине прошлого года, что положение там оставалось таким же, каким его описал Хай Нгуен. И только потому, что пыткам подверглись буддистские монахи и студенты — дети из «респектабельных» семей Сайгона,— некоторые факты о Пуло-Кондор появились в мировой печати после свержения нго-динь-дьемовского режима. Основная ответственность за эти жестокие преступления против человечности остается целиком и полностью на совести американских военных и полицейских руководителей в Южном Вьетнаме. Пуло-Кондор — превосходный пример нравов «свободного мира».

Скоро мы получим более свежую информацию о Пуло-Кондор. 19 южновьетнамских патриотов совершили почти невозможное — побег из крепости. Когда писалась эта статья, пришло сообщение, что они благополучно прибыли в освобожденную зону.

Все, о чем говорилось выше, представляет собой лишь дополнительные факты к основному преступлению США в Южном Вьетнаме, а именно — преднамеренному и заранее обдуманному срыву заключения мира в Южном Вьетнаме и Юго-Восточной Азии. На основании рассказов, которые мне удалось услышать от самых разных людей, я пришел к заключению, что против народа пущена полицейская машина, оснащенная по последнему слову американской полицейской техники — от электронных датчиков до усовершенствованных электрических приборов пыток с применением методов, основанных на обобщенном опыте фашистской полиции всего мира, включая нацистское гестапо и гоминьдановскую секретную полицию. Не существует счетчиков Гейгера для определения меры человеческого страдания — оно не может быть выражено статистически, но я думаю, что вряд ли еще в какой-нибудь другой стране народ перенес столько мучений за эти страшные годы.

На обложке международного издания «Нью-Йорк геральд трибюн» от 24 мая 1964 года помещена фотография почти раздетого догола вьетконговца (мы пользуемся здесь терминологией этой американской газеты). Руки его связаны над головой, он лежит на земле, привязанный длинной веревкой к американскому танку-амфибии. Подпись лаконично сообщает читателям, что эту жертву танк будет волочить за собой по земле и через реку и что подобная мера принята для того, чтобы «заставить его заговорить». В редакционной статье, помещенной здесь же, в абзаце, не относящемся к фотографии, читателям сообщалось, что «...коммунисты Северного Вьетнама, совершив раздел Вьетнама, предприняли затем нападение на Юг...»

Как подпись, так и замечание редакционной статьи весьма примечательны. Читатели американских газет теперь поставлены в такие условия, что воспринимают самые жестокие пытки, пока они совершаются над «коммунистами», как самые обычные, повседневные явления. Редакторы западных газет уже привыкли к тому, что их даже самая дурно пахнущая ложь легко и без протеста проглатывается читателями, чья реакция притуплена ежедневными порциями подобной лжи.

Американский план «умиротворения» Южного Вьетнама за восемнадцать месяцев, начатый в конце 1961 года, провалился. Новый план Макнамары — Нгуен Кханя более скромен, он заключается в том, чтобы попытаться «умиротворить» одну из 43 провинций Южного Вьетнама (Лон-Ан) в течение двенадцати месяцев, начиная с марта 1964 года. Руководители «Комитета по военным действиям» Фронта национального освобождения заверили меня, что и этот план потерпит поражение.

В свете этих неудач министр обороны США Макнамара в мае 1964 года попытался оказать давление на американских союзников, чтобы заставить их прийти на помощь. Он зашел так далеко, что потребовал участия западногерманских войск. Он носился с идеей усиления гоминьдановских частей, уже действующих в дельте Меконга.

Идея создания своего рода «иностранного легиона» является чем-то средним между провалившейся «особой войной» и следующей ступенью — «ограниченной», или «локальной», войной. Однако идти по этому пути — значит показать всему миру, что Соединенные Штаты являются агрессором. Французы уже потерпели при этом поражение в Индокитае и в Алжире, к тому же, в военных, географических и политических условиях намного более благоприятных для Франции, чем те, в которых находятся США в Южном Вьетнаме.

И последнее, что я посоветовал бы американцам сделать,— это посетить долину Дьен-Бьен-Фу, все еще усеянную обломками американских танков, американских самолетов и остатками американской артиллерии. Эта картина — напоминание о катастрофическом крушении попыток удержать вьетнамский народ в цепях рабства.

Перевод с английского В. СЕМЕНОВА

Анте Каштеланчич. «Пейзаж»

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
За рубежом

НАТАЛИЯ СОКОЛОВА
член-корреспондент Академии художеств СССР

У ХУДОЖНИКОВ ЮГОСЛАВИИ

Впечатления не всегда подвластны времени. К иным охотно возвращаешься мысленно. Подобные впечатления мы привезли из Югославии.

«Мы» — это маленькая делегация: председатель Союза художников Азербайджана Надир Абдурахманов и автор этих строк.

В Белград мы приехали глубокой осенью прошлого года. Чтобы описать этот прекрасный город, надо быть мастером пейзажа — лирического и индустриального. Иначе трудно дать представление о сливающихся водах Савы и Дуная, о мерцающей в прибрежной дымке панораме высотного нового Белграда, о листве, которая золотится и рдеет вокруг памятников, повествующих об истории и борьбе народа. Однако таланта колориста здесь мало. Нужно еще быть жанристом, чтобы зарисовать разноязыкую толпу, характерные лица, Надир Абдурахманов, пейзажист и жанрист, делал этюды, наброски, зарисовки и предполагает устроить выставку своих работ. А я перейду к рассказу о нашей поездке — короткой, но весьма содержательной.

■

Неподалеку от Белграда нам показали знаменитый мавзолей Неизвестного солдата — одно из самых значительных произведений Ивана Мештровича. Архитектура и скульптура этого мавзолея сразу вводят в мир великих пластических традиций национального искусства и дают яркое представление о мастере, который входит в плеяду крупнейших ваятелей нашего времени. В искусстве этого богатырского таланта как бы сконцентрировалась сила народного духа, воля народа, которому приходилось вести тяжелую борьбу за независимость. Отсюда — пафос и глубокий лиризм Мештровича, мыслящего

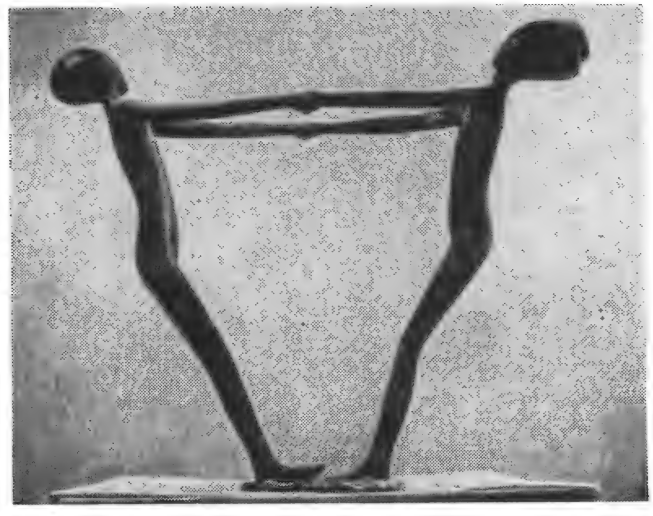
крупными, обобщенными образами. Мавзолей Неизвестного солдата характеризует автора как монументалиста по призванию: крестьянские образы, воссозданные им в граните, решены в плане сурово - монументальном. Крестьянка в национальном уборе — это образ матери-родины, много выстрадавшей, но не склонившей головы перед выпавшими на ее долю испытаниями.

Естественно, нас в первую очередь интересовало современное изобразительное искусство страны. В Белграде мы посещали выставки и мастерские живописцев и скульпторов, видели коллективный труд архитекторов и художников, оформлявших Исполнительное Вече. Эта работа дает возможность высоко оценить их мастерство и вкус.

Каждый из парадных залов Вече, посвященный одной из республик, входящих в состав СФРЮ, отражает национальное своеобразие культуры союзной республики. В ансамбли включены и фрески (например, «Путь в космос» крупнейшего живописца-монументалиста Петара Лубарды), станковая живопись и скульптура, декоративная утварь, светильники (в том числе весьма оригинальная люстра из кованого металла работы известного мастера Зорана Петровича) и яркие ковры, вытканные по эскизам современных художников в мастерских Нового Сада. Югославские художники умеют мыслить синтетически, и это проявилось в оформлении Вече.

Увековечить память патриотов, погибших в борьбе с фашизмом, — одна из благороднейших задач, над которыми успешно работают многие югославские художники. Подчас автором таких монументов является один мастер, выполняющий образ целиком, не прибегая к разделению труда. Проекты памятников Б. Богдановича разнообразны. Особенное впечатление производит памятник на могиле павших героев. На невысоком постаменте — ветви из медных пластин. Освещенные солнцем, столь щедрым в этой стране, они сверкают подобно языкам пламени. Памятник установлен на том месте, где фашисты расстреляли 7950 сербских патриотов. Вокруг простирается родная земля, принявшая прах героев.

Интересны пейзажи художника Мило Милуновича, работы мастера среднего поколения Милуна Митровича. Рассматривая акварели, пастели, картины маслом, превосходные рисунки последнего, мы могли убедиться в многогранности его дарования, в плодотворности поисков максимальной выразительности реалистического образа. Милун Митрович, которому 42 года, родом из сербской деревни —



Зденко Калин. «Детские игры»

Грча Аутонец. «Обнаженная»

Б. Богданович. «Памятник павшим героям»

родная природа вдохновляет его творчество. «Через пейзаж с жанровыми фигурами,— говорил нам художник,— я хочу показать труд народа». Рисунок Митровича — певуч, красив, энергичен.

Трагически прожила свою юность скульптор Вида Иоцич. Схваченная фашистами, она была брошена в концлагерь. Старшая сестра ее — партизанка погибла от рук гитлеровцев. В автопортрете художницы, в ряде произведений, посвященных тем страшным годам, отражены страдания народа. Вида родилась в Скопле в 1921 году. В Скопле же установлен созданный ею памятник сестре-героине. В мастерской Виды мы смотрели на скорбные образы узников, вылепленные ею по воспоминаниям, и на эскиз памятника сестре, в котором скульптор сумела преодолеть гнетущие чувства прошлых лет и создать подлинно героический образ юной партизанки. Вида Иоцич очень много трудится, ее новые работы исполнены той радостью жизни, которой наслаждается человек, вырвавшийся из когтей смерти и обретший все условия для счастливого творчества.

Разумеется, не во всех мастерских, не на всех выставках испытывали мы чувства радости и удовлетворения. С одной персональной выставки молодой художницы мы просто сбежали: так тяжело было переносить обезличивающее влияние сюрреализма, проявившееся в натуралистическом смаковании безобразного. В подобных работах не чувствуешь ни индивидуального, ни национального своеобразия художницы. Покинув ее выставку, мы с особенным наслаждением окунулись в солнечную атмосферу белградской золотой осени...

Надо признаться, что чисто фактурные искания отдельных живописцев, например Мица Поповича, нам казались столь же нарочитыми, уводящими художника от важных и подлинно актуальных творческих проблем, как и некоторые работы сербских художников на большой выставке, приуроченной к юбилейной дате освобождения Белграда от фашистских захватчиков. Плодотворные поиски нового, яркое отражение жизни соседствовали с работами, далекими от реализма, с прямым подражанием ущербным течениям Запада. В некоторых из них в угоду схематизму утрачены черты времени («Рука» А. Зарина), проявилась поверхностная трактовка жизненных явлений («Велико страшило» В. Величковича).

Иван Мештрович. «Невинность»

Франо Бачe. «Далматинка»

■

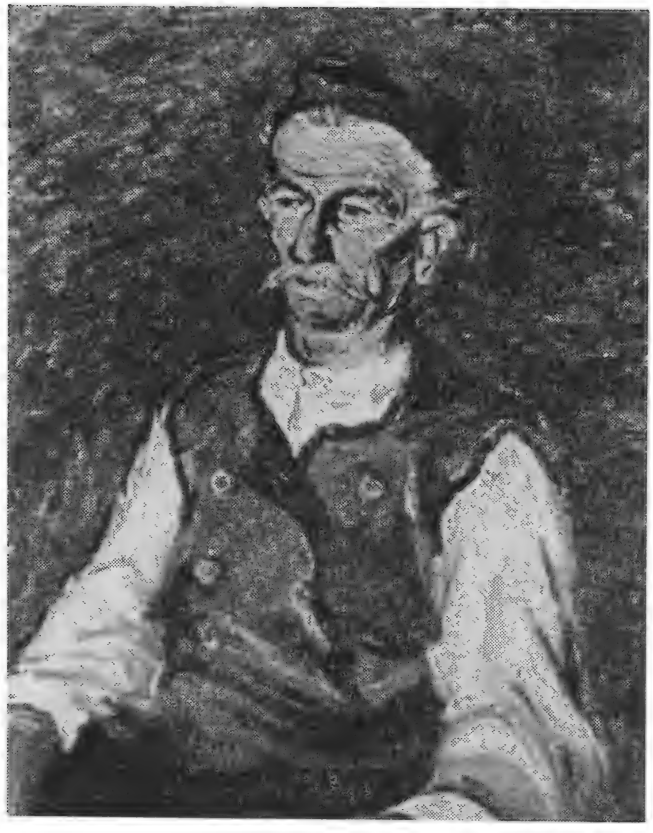
В художественной галерее города Цетинье выставлены значительные работы мастеров старшего поколения, таких известных, как Петар Лубарда (большое батальное произведение), Тома Росандич, Антун Августинчич, Петар Палавичини. Ее директор Милуш Вушкович приветствовал нас в своей мастерской строками Пушкина: «Черногорцы? что такое?— Бонапарте вопросил...» В его устах стихи русского поэта, воспевшего черногорцев, звучали прелестно. Мы с удовольствием смотрели не только пейзажи Черногории в работах

самого хозяина дома — превосходного колориста, но и произведения другого крупного художника Цетинье — Беркулиана Гойко. И Вушкович, и Гойко, и скульптор Марко Борозан — реалисты, причем весьма скептически оценивающие абстрактные произведения.

Следующий этап нашей поездки — город Дубровник, поистине город-музей, жемчужина Адриатики. От архитектуры палаццо, маленькой площади, украшенной мраморным фонтаном, от городских стен с башнями и скульптурными изображениями покровителя города веет культурой Возрождения.

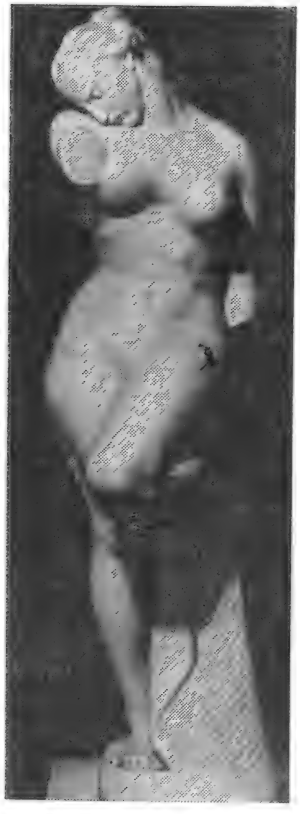
Здесь мы посетили мастерскую — вернее, квартирку — художника Антуана Масле. Его небольшие картины, согретые нежным чувством поэта, влюбленного в жизнь и красоту природы, вызывают симпатии зрителя. Полотна А. Масле часто выставляются и в Югославии и за ее пределами. Излюбленные его жанры — пейзаж и натюрморт.

Иво Дульчич живет и работает то в Дубровнике, где он родился, то в Загребе, где окончил Академию художеств. Это художник особого склада. Дульчич и Масле — романтики. Но если



Анте Каштеланчич. «Мой отец Лука»

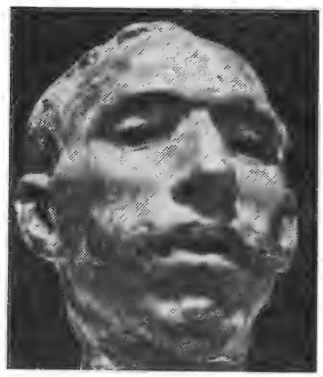
Иван Мештрович. «Психея»



Масле берет жизнь такой, какой она представляется его взору, Дульчич воспринимает и пишет ее такой, какой она могла бы отвечать его мечтам, его идеалам. Акварели Дульчича на редкость выразительны, это произведения подлинного колориста. Дульчич любит работать для архитектурных интерьеров, делать эскизы для витражей. В Сплите я разыскала в одной из церквей выполненную им фреску. Фреска очень декоративна. Своей необычностью она вызывала нарекания некоторых верующих. Образ, созданный Дульчичем, не похож на традиционную церковную стенопись. Фигура Христа изображена на фоне звездной сферы. Босой, в бледно-голубом хитоне Христос Дульчича отрешен от всего земного и даже... от религии. Это — аскет и мученик. Дискуссия, начатая прихожанами, окончилась, впрочем, в пользу художника — настолько поэтична эта декоративная фантазия.

Распростившись с Дубровником, мы погрузились на пароходик и целый день плыли вдоль изрезанных берегов, островков, каких-то сказочных селений. На пристани в Сплите нас встретил художник Анте Каштеланчич, о котором говорят, что его живопись особенно точно отражает своеобразную красоту этого города-порта, с его парусниками на фоне морской лазури. Своей богатырской фигурой и характером живописи он напомнил нам П. П. Кончаловского. Анте родился неподалеку от Сплита в 1911 году. Во

Иван Саболич. «Портрет Пентека»



Иван Мештрович. «Моя мать»

Иван Саболич. «Портрет македонки»

время войны он эмигрировал, а затем опять вернулся на родину, без которой не может жить и творить. Помимо пейзажей и жанровых сценок А. Каштеланчич успешно работал по отделке интерьеров морских судов.

Одна из основных достопримечательностей Сплита — великолепный музей Мештровича. Этот замечательный скульптор, о котором я уже говорила, родился в 1883 году недалеко от Сплита в семье батрака. Своей родине Мештрович отдал лучшие произведения и сам построил дом, где они теперь хранятся. Работая пастушонком, он начал лепить. Нашлись меценаты, которые помогли ему учиться. На международной выставке в Риме Мештрович познакомился с русским искусством и русскими художниками. В годы первой мировой войны он жил в Англии, был членом Совета освобождения его родины от австро-венгерского владычества. В историю искусства Мештрович вошел как автор архитектурно-скульптурных сооружений, памятников, посвященных великим деятелям национальной культуры, и многочисленных станковых композиций. Мастерство последних достойно удивления. Скульптор свободно компонует фигуры в сложнейших ракурсах и взаимосвязях как между собой, так и с пространством.

В 1941 году замечательный скульптор-патриот был арестован усташами. Долгие годы ему пришлось жить на чужбине, однако он завещал похоронить себя на родине. В 1962 году останки Мештровича были перевезены в родную Отавицу.

Музей Мештровича превосходно организован, очень хороша сама экспозиция. Часть скульптур установлена на свежем воздухе среди листвы. В некоторых поэтических женских образах — отзвуки искусства античности, в других — особенно характерных для Мештровича — лики его родины. Искусство мастера динамично, преисполнено жизнью, страстью: оно славит человека — мыслителя, человека — творца, деятеля.

Незабываемы впечатления от столицы Хорватии — Загреба. Доцент загребской Академии художеств известный скульптор Иван Саболич и живописец и мастер керамики Виктор Горичай не пожалели времени, чтобы ознакомить нас с достопримечательностями города. Мы побывали в загребской Академии художеств, на занятиях в классах, в мастерских профессуры. Здесь нам подарили книгу, изданную к пятидесятилетнему юбилею Академии (1907-1957). Известный скульптор профессор В. Радауш пишет в этой книге: «В народно-освободительной борьбе художники не оставались в последних рядах, а некото-

Ваня Радауш. «Перед казнью»

рые были в первых». Статья призывает «...всегда помнить тех, кто во имя народа не пожалел ни своей молодости, ни самого дорогого, что имеет человек,—жизни».

В. Радауш познакомил нас с фрагментами создаваемого им памятника жертвам фашизма. Мы видели его скульптуры в Паноптикуме; они характеризуют Радауша как острого психолога, который умеет бесстрашно проникнуть в мир человеческих страданий.

Альбом литографий Мариана Детони — это яростное «нет!» войне. Вошедшие в альбом экспрессивные рисунки лишены, правда, конкретных черт времени, но автор клеймит войну как нечто глубоко чуждое человеку.

Интереснейший вечер провели мы в мастерской Ивана Саболича, обаятельного, эрудированного человека, разностороннего мастера. В свое время скульптор окончил загребскую Академию и специализировался у Антуна Августинчича. Ныне Саболич — зрелый, своеобразный художник. Он работает как монументалист и как портретист. Ему свойственно острое чувство стиля. Лучшие произведения Саболича отмечены правдой вложенных в них чувств, пластичностью форм. Однако наряду с глубоко прочувствованными образами встречаются и нарочито гиперболизированные, упрощенные.

Прощались мы с югославскими друзьями в загребском клубе Союза художников. Нас усадили за длинный стол, и мы повели беседу на трех языках. Но так как она касалась вопросов изобразительного искусства, мы отлично понимали друг друга.

Художники спросили нас: «Хотите послушать советские песни?» Мы ответили, что хотелось бы послушать и советские, и песни народов Югославии. Саболич взял гитару и запел. К певцу присоединились присутствовавшие. Советские песни сменялись народными хорватскими, македонскими, а также партизанскими, что пелись в годы войны среди гор, на привалах.

Нас напутствовали добрыми пожеланиями, просили передать привет советским художникам. Под стук колес поезда, на котором мы возвращались домой, невольно вспоминались прочувственные строки Константина Паустовского: «И снова пришло знакомое всем скитальцам чувство — будто ты оставил часть своего сердца в покинутой стране. Но, вопреки всем естественным законам, ты не обеднел...»

Ваня Радауш. Деталь памятника павшим

СРЕДИ КНИГ

ИЗДАНО В СССР

«Я БЛАГОСЛОВЛЯЮ ГРЯДУЩЕЕ...»

Анри Барбюс. Несколько уголков сердца. Рассказы. Перевод с французского. Составители А. Видаль и Ф. Наркирьер. Редактор переводов Н. Немчинова. Вступительная статья Ф. Наркирьера. Москва, Гослитиздат, 1963, 355 стр.

У нас, да и не только у нас, во всем мире Анри Барбюс известен прежде всего как автор замечательной книги «Огонь», в эпоху первой мировой войны потрясшей человечество, и в первую очередь Францию, реализмом изображения империалистической бойни. Впечатление от книги было так велико, что она надолго затмила другие произведения Барбюса. Барбюс для всех был и остался автором «Огня».

Однако Барбюса знали не только как писателя, его знали и как пламенного трибуна, страстного пропагандиста мира, борца против войны. С его именем связано грандиозное движение за мир, охватившее Европу в середине 30-х годов, в котором участвовал и Ромен Роллан, и все сколько-нибудь видные прогрессивные писатели, ученые, художники.

Мне довелось немало лет общаться с Барбюсом в редакции журнала «Монд». Читая теперь рассказы Барбюса, я как будто снова вижу его самого, вижу его доверчивое, любовное отношение к людям, страстное желание им помочь. В его рассказах, отмеченных воинствующим, зовущим на борьбу реализмом, мы чувствуем его сердце, преисполненное любви к людям и ко всему живому, зоркий взгляд, видящий все лучшее в человеке и в то же время замечающий все плохое. Поэтому мне хочется от всей души приветствовать издание этого сборника, составители которого, Аннета Видаль — бывший секретарь Барбюса и его верный друг и Ф. Наркирьер, сумели хорошо подобрать рассказы и расположить их в сборнике.

Начиная с первых, ранних рассказов Барбюса, вышедших сборником «Мы...» в канун первой мировой войны, когда Барбюсу был уже 41 год, и кончая произведениями 1928 года, собранные здесь рассказы постепенно раскрывают нам глубину личности Барбюса, показывают, как росло у него понимание социальных причин описываемых им фактов.

Во многих рассказах Барбюса необычный сюжет и, главное, необычный, неожиданный конец. Но если вдуматься в них, то вся эта необычность является только способом выразить тончайшие оттенки человеческих чувств; Барбюс берет такие случаи из жизни, когда человек ярче выявляет самого себя. Как хорош рассказ «Обман чувств», где мальчик дружит с девочкой, и оба не подозревают, что в этой дружбе уже назревает и любовь; однажды оба вдруг решают, что кукла девочки умерла и ее надо похоронить, и ночью идут вместе хоронить во дворе старухи богомолки; а потом куклу находят соседи, и священник объявляет ее чудом, «призывом господа бога». Глубоко потрясает рассказ «Нежность». Это письма женщины к любимому, с которым ей пришлось расстаться,— первое датировано 1893 годом, другие 1899, затем 1904, 1913; все они проникнуты пламенной любовью, и в каждом как будто отражается соответствующий возраст женщины. И только в последнем

письме раскрыто все: она покончила с собой, отослав лишь первое письмо, а дальнейшие ее письма пересылались адресату в определенные сроки «верными и почтительными руками» уже после ее смерти. Сюжет как будто не новый, но в рассказе Барбюса он потрясает и волнует читателя.

Сборник заканчивается «Правдивыми повестями», где говорится о подлинных политических событиях, мимо которых не смог пройти Барбюс. Здесь уже голые и подчас страшные факты — Барбюс—публицист, памфлетист обличает колониальные авантюры. Меня особенно взволновала одна из повестей, имеющая непосредственное отношение к нашей стране. Это повесть «Те, кого нельзя смирить», о судьбе солдат Русского экспедиционного корпуса во Франции, который был послан туда в 1916 году по просьбе французского правительства: французские банкиры потребовали пушечное мясо в уплату за долги царского правительства. Я был в этом корпусе военным врачом, пережил всю его горькую судьбу и посылал из него материал Барбюсу для опубликования в «Кларте». После Октябрьской революции эти русские солдаты, оказавшиеся на чужбине, потребовали отправки на родину. Реакционное правительство Клемансо жестоко расправилось с ними, продемонстрировав всю свою ненависть к Революции: по солдатам был открыт артиллерийский огонь. Было убито и ранено около 600 человек, а остальные посланы на принудительные работы и на подкрепление к Деникину. После долгих мытарств только небольшой части русских патриотов удалось перейти в Красную Армию.

Эта повесть Барбюса глубоко правдиво и точно рассказывает нам о тяжелом эпизоде из истории наших отношений с буржуазной Францией, о трагических событиях, жертвой которых стали тысячи русских солдат.

С тех пор как были написаны «Правдивые повести» Барбюса, фашизм и колониализм совершили невероятные по своим размерам и чудовищности преступления. Поэтому «Правдивые повести» звучат сегодня набатно.

Следуя традициям великих французских писателей, их гуманизму, Барбюс своими рассказами учит нас любить все живое, всякое проявление лучших чувств в людях, и это без ложной сентиментальности и нарочитости в изложении. «Настанет день,— пишет Барбюс,— когда наше сердце научится понимать сердца богатые, так же как и сердца бедные... Я благословляю грядущее, которое будет лучше настоящего».

Перевод рассказов хороший. Есть кое-какие неточности, но они незначительны. Пора только перестать переводить французское слово «hôpital» словом «госпиталь». Оно означает «больница», госпиталем же у нас называются лишь военные больницы. И можно только радоваться тому, что в нашу переводную литературу влились такие яркие и такие глубокие по содержанию рассказы замечательного человека и замечательного писателя — Анри Барбюса.

АЛЕКСАНДР РУБАКИН

ОСВОБОЖДЕНИЕ НАДО ОХРАНЯТЬ

Эльза Триоле. Анна-Мария. Авторизованный перевод с французского С. Викторовой, Н. Хлодовской. Редактор перевода Н. Жаркова. Москва, Гослитиздат, 1963, 423 стр.

Обычному в необычном, героизму человека в трудные для Франции годы гитлеровской оккупации посвящены многие произведения Эльзы Триоле. К ним принадлежит и роман «Анна-Мария», написанный в 1946 году и впервые выпущенный сейчас в переводе на русский язык. Привычный вопрос: «Зачем воскрешать эту давнюю книгу?» — не встанет перед ее читателем, ибо роман актуален до такой степени, что кажется написанным сегодня и лишь обращенным к прошлому.

В первой части романа мы застаем Анну-Марию в предвоенном Париже. Она только что приехала из колоний, где провела вместе с семьей десять лет. Волею судеб она сразу попадает в среду парижской художественной интеллигенции, ибо с детства знакома с Женни Боргез, ставшей известной киноактрисой. Все внове Анне-Марии; эта «примерная мать семейства, мещаночка с улицы Рен» не в силах разобраться в происходящем, понять политическое расслоение общества, все более и более углубляющееся. Ей не ясно, почему ее знаменитая подруга сочувствует «красным», она лишь с любопытством присматривается ко всему. Женни Боргез трагически кончает самоубийством — затравленная реакцией, не нашедшая поддержки и в кругу друзей, фактически предавших ее. С этого мгновения начинается духовное прозрение Анны-Марии.

Обстоятельства выявляют какие-то новые, доселе скрытые, черты характера человека. Войну Анна-Мария встречает одна: ее лучшая подруга погибла, она разлучена с детьми, ибо связи с колониями нет никакой и добраться туда невозможно. «Должно быть,— говорит о себе Анна-Мария,— существует немало людей, которые живут не той жизнью, для которой созданы, но семья, среда пустили их раз навсегда по каким-то рельсам, и если не произойдет крушения, они так и будут катиться вперед, не подозревая, что существуют на свете непроторен-

ные пути». Крушение происходит — крушение всех привычных представлений, общественных связей. Анна-Мария никогда не занималась политикой, но чувство долга, самоотверженность, гражданская порядочность — основные движущие силы характера героини, и вот эта простая женщина, мать, умевшая лишь «дрожать от страха», научается «без дрожи держать револьвер». Анна-Мария участвует в боях Сопротивления, сражаясь за освобождение Франции.

Центр тяжести романа — в его второй книге, носящей название «Вооруженные призраки». Война окончена. Франция снова свободна. Анна Мария возвращается в Париж. Разруха, неустроенность и бытовые неурядицы не пугают ее. Но она ощущает вокруг себя гнетущую пустоту. Во времена Сопротивления Анна-Мария успела привыкнуть к тому, что разность политических убеждений не мешала многим и многим французам вместе сражаться против общего врага. Но вот бои заканчиваются — и сразу же возникает невидимая баррикада, и бывшие соратники спешат занять места по обеим ее сторонам. Анна-Мария оказывается в полном одиночестве. Поездка в колонии не вернула ей семью: муж давно сошелся с другой женщиной и спился, выросшие без нее дети духовно чужды ей. Она с ужасом видит, как постепенно поднимают голову бывшие коллаборационисты, как наступает реакция.

Ее единственная опора — член «партии расстрелянных», коммунист Жако Вуарон. Он помогает Анне-Марии найти свое место в жизни. Она становится фотокорреспондентом, посещает побежденную Германию, много ездит по Франции. Она навещает своих старых друзей по Сопротивлению — жителей Авиньона и его окрестностей. И в провинции происходит то же, что в Париже: засилье коллаборационистов, незаконные аресты коммунистов и рабочих. «Странный мир» оказывается опаснее войны!

Любовь не занимает большого места в жизни Анны-Марии. Любовная линия дана очень скупо, лишь в третьей части романа. Избранник Анны-Марии, Селестен,— бывший герой Сопротивления и боец «Тайной армии» де Голля. Нашим читателям он уже знаком по повести Эльзы Триоле «Авиньонские любовники». Дальнейшее развитие этого образа дается писательницей в романе «Анна-Мария». Селестен с самого начала их связи — человек в чем-то чужой для героини романа. И эта отчужденность все более растет. Анна-Мария начинает инстинктивно ощущать в нем своего врага, человека другого лагеря. Чутье не обманывает ее: Селестен давно отошел от традиций Сопротивления; он — один из «вооруженных призраков», один из тех, кто тайно воюет с передовой Францией, с ее Францией, возрождающейся из пепла. Верный друг Анны-Марии, полковник Вуарон, погибает от руки единомышленников Селестена: «Жако вышел цел и невредим из всех опасностей, кроме мира». Гибель друга ускоряет политическое созревание Анны-Марии: для нее становится ясным, что «освобождение надо охранять».

В романе «Анна-Мария» Эльзе Триоле удалось показать французское общество как бы в его поперечном разрезе, показать историко-политическое развитие различных слоев этого общества. На примере одной человеческой судьбы писательница сумела раскрыть десятилетнюю историю своего народа.

Читатель все время ощущает живую связь повествования с современностью: ибо и сейчас бродят по древней французской земле «вооруженные призраки», сея вокруг себя военные заговоры, террор и убийства.

Л. ФЕЙГИНА

С ДОВЕРИЕМ К ЧИТАТЕЛЮ

Как-то в свободную минуту Назым Хикмет — он только что приехал в Москву после двенадцатилетнего тюремного заключения — стал читать своим русским друзьям, понимавшим по-турецки, рассказ молодого турецкого писателя.

Рассказ — две странички сплошного диалога — был прост. Шестилетний мальчонка радовался, что его отец пошел покупать рыбу. Вот, собственно, и все. Но эти две странички открывали всю жизнь семьи, ее прошлое и будущее, жизнь целого квартала.

Прочитав особенно удачную фразу, Назым Хикмет поглядывал на слушателей — понятно ли, как она хороша. Улыбался удовлетворенно и снова повторял ее, словно смакуя каждый звук родной речи.

Автора рассказа звали Орхан Кемаль. Он только начинал свою литературную карьеру. Но Назым Хикмет хорошо знал его — они вместе сидели в тюрьме города Бурсы — и сейчас радовался за товарища, наслаждался, как всякий настоящий мастер наслаждается мастерством другого.

Я встречал имя Орхана Кемаля. Читал его первые рассказы. Но только слушая Назыма Хикмета, его великолепный стамбульский говор, понял, что в турецкую литературу пришел большой и своеобразный художник.

С тех пор минуло тринадцать лет. Орхан Кемаль выпустил почти два десятка книг — рассказов, повестей, романов. Стал одним из крупнейших писателей страны.

Роман «Происшествие» — третья книга Орхана Кемаля, вышедшая на русском языке.

Место действия не названо, но легко угадывается — это Адана, провинциальный город на юге Турции. Город рабочих и поденщиков, купцов и помещиков, город хлопкоочистительных фабрик, осеннего рынка батраков и диких провинциальных нравов.

Орхан Кемаль. Происшествие. Роман. Перевод с турецкого В. Кузнецова и В. Лебедевой. Редактор А. Клышко. Москва, Издательство иностранной литературы, 1963, 229 стр.

В романе «Происшествие», как и в том рассказе, что читал нам Хикмет, воспроизведение народной речи во всех ее оттенках, а через нее — характеров остается одной из сильнейших сторон писательского дарования Орхана Кемаля. Хочется сразу сказать, что переводчики успешно справились с нелегкой задачей, а задача была нелегкая — психология героев романа, их мысли о жизни и самая жизнь, которой они живут, достаточно далеки нашему читателю. Тем не менее, читая роман, порой забываешь, что он был написан не по-русски.

Первые романы Орхана Кемаля иногда рассыпались на самостоятельные сцены, им не хватало стройности. Теперь пришла зрелость. А с нею и открытия, в значительной мере изменившие представление его соотечественников о романе, этом труднейшем жанре, если, конечно, не иметь в виду лишь повторение старых образцов.

Об одном из своих произведений Орхан Кемаль говорил: «Кое-кто полагает, что своим успехом книга обязана лишь удачному воспроизведению местных говоров и особенностей произношения. Но это не так. Я прекрасно мог бы изложить весь сюжет по старым рецептам, прибегая к детальному психологическому анализу. Однако я стремился к тому, чтобы читатель сам стал одним из моих героев, жил в той же обстановке и принимал участие в описываемых событиях, чтобы он самостоятельно пришел к определенным выводам и убеждениям. И, конечно, к тем выводам и убеждениям, которых добиваюсь я. Пусть увидят правду фабричной жизни, которой они и не нюхали, мимо которой и рядом не ходили. И не только увидят и узнают, но и сами поживут среди этих людей».

С первых же страниц романа писатель погружает нас в быт провинциального турецкого города. Вместе с его персонажами мы сидим в кофейнях, беседуем в парикмахерских, посещаем купеческие клубы, живем в поместьях и бедных хибарах, ходим работать на склады и фабрики. И постепенно знакомимся с действующими лицами уголовного происшествия, случившегося в этом городе.

Вербовщик Джемшир поставляет батраков на плантацию своего бея. В день получки на местных фабриках он по очереди заглядывает к своим многочисленным женам, чтобы отобрать зарплату у них и у своих детей. Ленивой походкой прогуливается по улицам, сидя в пивной, строит планы, как бы повыгодней продать замуж свою дочь. Вернее, не строит планы — для него это слишком тяжкий умственный труд, а мечтает. Планы за него строит приятель, парикмахер Решид, старый пройдоха и развратник.

Мы видим, как распоряжается жизнью и смертью людей помещик Муззафер-бей, рассуждающий о своей верности революционным принципам Мустафы Кемаля.

Разговариваем на фабрике с мастером Мусхином — он твердо убежден: для того, чтобы иметь право на любовь, надо сперва завоевать право на человеческое достоинство. Но его ученику — рабочему парню Кемалю от этой истины не легче, ведь его возлюбленную хотят продать.

Мы участвуем в спорах женщин. Старшие думают, что «мужчина — это маленький аллах». Но молодая работница Пакизе предпочитает вовсе не выходить замуж, чем иметь дома своего аллаха — «две руки один рот прокормят». А ее подруга Гюллю выйдет замуж только за любимого и ради этого готова на все.

Быт в этом городе черный, зловонный, беспросветный. И кажется, нет из него выхода, нет спасенья, как нет спасенья героям романа — рабочему Кемалю и его возлюбленной Гюллю. Их любовь кончается трагически. Кемаля, когда он пытается защитить Гюллю от истязаний, убивает ее брат, желающий получить свою долю от продажи сестры. А Гюллю силой отдают за ничтожного и уродливого племянника плантатора.

Но история Гюллю и Кемаля позволяет писателю сорвать покровы, скрывающие смысл отношений между окружающими их людьми. И читатель уже не может остаться равнодушным. А в этом и была цель автора. Он писал не за тем, чтобы открыть глаза героям, а для того, чтобы открылись глаза читателя.

Р. ФИШ

Волшебное зеркало. Дотанские новеллы. Перевод с китайского А. Тишкова и В. Панасюка. Составление и предисловие А. Тишкова, Москва, Гослитиздат, 1963, 136 стр.

ЗЕРКАЛО ПОЭЗИИ

Нашей советской библиотеке китайской классической прозы очень недоставало этой небольшой по объему книжки «Дотанских новелл».

«Дотанских» — то есть тех, которые были созданы в века, предшествовавшие воцарению в Китае в начале седьмого столетия династии Тан. Эти маленькие рассказы почти не переводились на русский язык. Таким образом, сборник «Волшебное зеркало», в котором перевод сорока шести рассказов принадлежит А. Тишкову и семи — В. Панасюку, по существу впервые знакомит нас с замечательной китайской прозой III—VI веков. Прозой, замечательной по ясности и лаконичности своей, по той искренней непосредственности, с какой рассказчик передает события, поразившие его наивное, верящее в потустороннюю силу воображение.

Новеллы выбраны из нескольких книг, название которых как бы само определяет особенности их содержания: «Истории о чудесах», «Рассказы о явлении духов», «Рассказы о бессмертных», «Рассказы о необычайном»...

Для читателя, если он интересуется китайской классической прозой, содержание этих рассказов не будет неожиданным: он должен помнить переведенные В. М. Алексеевым и не раз издававшиеся произведения Пу Сун-лина о лисах-оборотнях и разном волшебстве, происходящем в нашем мире. Но писатель восемнадцатого века сам не очень-то верил в сверхъестественную силу и почти каждый свой рассказ подкреплял моралью, вытекающей из содержания.

Теперь, с выходом «Волшебного зеркала», мы оказываемся у самых истоков талантливых произведений Пу Сун-лина. Мы увлеченно (потому что они очень интересны) читаем рассказы неизвестных авторов, удивляющихся тому поразительному, что узнали они и чем спешат поделиться с людьми. Иногда рассказы эти откровенно поучительны, иногда в них лишь сообщение о замеченных странностях, но всегда полны они сведений о жизни, насыщены той «информацией», которая делает близкими и понятными нам людей отдаленнейших времен и земель.

В мире есть много удивительного. Например, птица, которую можно выучить человеческому языку, и тогда она поделится наблюдениями и изобличит преступника («Птица, которая умела говорить»). Или вино такой крепости, что оно заставит проспать тысячу дней («Тысячедневное вино»). Но это не покажется столь уж необыкновенным, если помнить (о чем твердо знали рассказчики), что рядом с людьми действует потусторонняя сила. Она отражает в себе и добро и зло человеческого мира.

Добрый дух поможет человеку, со злым же люди вступают в борьбу и чаще всего побеждают. Очень много значит сила благородного человеческого чувства, тоже обладающего волшебными свойствами. Почему иначе мог бы воскреснуть юноша в рассказе «Торговка пудрой»? Бессмертные богини дарят свою любовь людям и расстаются с ними, оставляя после себя тоску («Богиня храма Цзинси»). Духи мстят за несправедливость («Братья», «Месть купца»), они вообще стараются быть милостивыми к людям, и когда сановник Чжан Пу отдает свою дочь богу горы Лушань, бог, растроганный благочестием, возвращает ее («Чжан Пу бросает в реку родную дочь»).

Надо быть очень осторожным с оборотнями: они творят зло и пытаются сделать жизнь невыносимой. Таких рассказов довольно много, и у читателя появляется мысль о том, что древний автор в оборотнях олицетворяет мерзости современной ему жизни.

Дотанские рассказы при всей своей занимательности очень серьезны, в них редко попадаются смешные эпизоды, вроде того, как человек поспешил продать на базаре духа, превратившегося в барана («Как Дин-по продал привидение»).

Книгу завершает рассказ Ван Ду «Волшебное зеркало», уже более пространный, вбирающий в себя несколько сюжетов и близкий по манере письма и по содержанию к танской новелле.

Автор интересного предисловия, составитель и основной переводчик этой книги А. Тишков представил очень удачный подбор неизвестных ранее в русском переводе дотанских рассказов. По-видимому, они привлекут не только любителей чтения, но и тех, кто занимается исследованием развития мировой литературы. Последним весьма поможет и достоверность сборника, и то, что в русском варианте этих рассказов сохранены точность, краткость и, более того,

изящество оригинала. Изменены лишь заголовки — вольность, вполне допустимая.

Справедливую похвалу книге этих переводов можно завершить и несколькими замечаниями в надежде на то, что они пригодятся при будущих переизданиях и дополнениях.

В общем добротные переводы В. Панасюка много выиграли бы от большего внимания к особенностям оригинала: в них встречаются ненужные пропуски и излишние дополнения.

Заявление автора предисловия о том, что составителем «Продолжения рассказов о явлении духов» был великий китайский поэт IV—V веков Тао Юань-мин, слишком категорично: мнение это весьма доказательно оспаривается исследователями. Старинного миссионерского слова «кумирня», когда речь идет о храме, в переводах с китайского лучше избегать. Неуместны также в переводе древнего текста такие слова, как «сыщики» или «арестовать». Порой встречаются небрежности: девушку в рассказе «Как женился Хуан Юань» зовут не Сяо-инь, а Мяо-инь. В рассказе «Два охотника» у переводчика «низвергалась вода, белая, как холст». Но сравнение с холстом в оригинале не по цвету: «низвергался поток шириною с холст». Почему жители и называли его, как правильно переведено дальше, «льющийся холст».

Герой рассказа «Как женился Хуан Юань» отправился на охоту. Собака привела Хуана к небожительнице, на которой он женился и с которой вынужден был расстаться, потому что нельзя людям долго жить с бессмертными. Жена Хуана на прощанье велела вспоминать ее в первый день каждого третьего месяца. «Хуан тосковал по своей жене. В предназначенные дни он видел в небе ее колесницу, летящую по воздуху». Но ведь даже в вере древнего китайского рассказчика ощущается легкое сомнение: в оригинале Хуан видел в воздухе колесницу, которая, *казалось,* летела. Мелочь? Но она придает определенную окраску, и не хотелось бы, чтобы нас лишал ее такой тонкий переводчик, как А. Тишков.

Книга снабжена вполне достаточными для подобного издания комментариями, но в некоторых случаях не помешала бы большая определенность. Так, была бы уместна дата в объяснении того, что «Цао Цао — знаменитый полководец и политический деятель эпохи Троецарствия». Так, следовало бы раскрыть читателю рассказа «Жизнеописание Сюэ Лин-юнь, возлюбленной императора Вэнь-ди» смысл того, что «в старину невеста одного императора утром превращалась в облако, вечером — в дождь». Это относится к сочинению древнего поэта Сун Юя «Горы высокие Тан»: князь (а не император) увидел во сне духа горы Ушань в образе прекрасной девы, которая сказала ему, что на заре бывает она утренним облаком, а вечером — проливающимся дождем. В невесту превратилась она не без помощи переводчика.

В заключение рецензент хочет еще раз подчеркнуть, что высказанные замечания не умаляют достоинств отличной книги, но должны послужить к дальнейшему ее улучшению.

Художник Евг. Коган, не впервые участвующий в издании переводов с китайского, как всегда красиво и содержательно, основываясь на народных китайских мотивах, оформил и эту книгу.

Л. ЭЙДЛИН

КНИГА О ДРУЖБЕ

В. И. Злыднев. Русско-болгарские литературные связи XX века. Ответственный редактор И. М. Шептунов. Москва, Издательство «Наука», 1964, 219 стр.

Еще в 1907 году известный болгарский писатель, друг Максима Горького, Петко Тодоров писал: «Нигде в мире русское слово не является столь авторитетным, а русская книга не играет такой великой и благородной роли, как в нашей духовной жизни». Русская литература была важнейшим фактором культурной жизни болгарского народа, его революционной борьбы. Изучению литературных связей двух братских народов и посвящена книга В. И. Злыднева — одна из первых обобщающих работ на эту тему в советском литературоведении.

Книга состоит из трех разделов. В первом из них автор намечает этапы развития русско-болгарских литературных связей в двадцатом веке, характеризует качественное изменение этих связей после Октябрьской революции.

Два других раздела — очерки о деятельности Георгия Бакалова и Людмила Стоянова, очень много сделавших для распространения и популяризации советской литературы в Болгарии. На их примере автор сумел показать, какими путями приходили к необходимости пропаганды советской литературы и советско-болгарской дружбы люди разных политических и литературных взглядов и убеждений — стойкий марксист Георгий Бакалов, с одной стороны, и, с другой стороны, вначале очень далекий от политической борьбы, поэт-символист Людмил Стоянов, которого ужасы первой мировой войны и фашистского террора заставили взглянуть прямо в глаза действительности

и сделали убежденным сторонником мира, пламенным антифашистом.

Советская литература, ее идеи оказали большое влияние и на писателей, стоявших на общедемократических позициях, и помогли им понять и признать значение социалистических преобразований. Можно лишь пожалеть о том, что этому процессу в книге не уделено большего внимания.

Использованные автором архивные источники, воспоминания, материалы из литературной периодики обогащают ее множеством фактов, воссоздают атмосферу тех лет, когда в условиях фашистского террора наши болгарские друзья проводили поистине титаническую работу: почти все видные болгарские литераторы в то время много работали над переводами русской и советской литературы, самоотверженно добивались их издания, помогали распространять их, выступали с публичными лекциями и докладами о советской литературе. Несмотря на постоянную угрозу закрытия, многие прогрессивные газеты и журналы регулярно рассказывали читателям правду о жизни советского народа. Очень интересны страницы книги, посвященные деятельности первого посла СССР в Болгарии Ф. Раскольникова, достойного полпреда нашей революционной культуры.

Книга В. Злыднева — серьезный вклад в изучение проблемы взаимосвязей и взаимовлияний национальных литератур, яркая иллюстрация нерушимой дружбы двух братских народов.

Л. ЛИХАЧЕВА

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

Tamara Gane. Lermontov. Bucureşti. Editura tineretului, 1963.

МОНОГРАФИЯ О ЛЕРМОНТОВЕ

Имя Лермонтова хорошо известно румынским читателям. Еще с середины прошлого столетия, когда во многих румынских журналах, столичных и провинциальных, стали появляться переводы лермонтовских стихотворений. На рубеже XIX и XX вв. румынский читатель знакомится и с прозой Лермонтова, в первую очередь с романом «Герой нашего времени», выдержавшим за очень короткий срок после своего появления на румынском языке три издания. Следует между прочим отметить интерес к творчеству Лермонтова со стороны передовых румынских журналов и газет конца XIX и начала XX вв.— «Контемпоранул», «Вьяца ромыняскэ», «Лумя ноуа», «Эвенименгул литерар», «Чокойул» и т. д. (некоторые из них непосредственно примыкали к рабочему движению). С распространением творчества Лермонтова в Румынии до 1944 г. связаны имена таких известных писателей того времени, как Богдан Петричейку Хашдэу, Димитрие Ангел, Джордже Кошбук, как критик Г. Ибрэиляну, один из первых отметивший возможность сравнения с «Демоном» поэмы Михаила Эминеску «Лучафэрул». Однако только после освобождения страны, в процессе культурной революции, было обеспечено широкое распространение произведений великого русского писателя, проникновение их в народную среду. Этому способствовали неоднократные издания стихотворений и прозы Лермонтова, этому содействовали совершенные переводы его стихов на румынский язык, сделанные писателями Александру Филиппиде и Джордже Лесня.

Серьезное знакомство с творчеством Лермонтова, которое стало возможно благодаря этим прекрасным новым переводам, естественно, вызвало желание лучше узнать его жизненный и творческий путь. Однако монографии о великом русском поэте в Румынии не было. Этот пробел был недавно восполнен выпуском в серии «Жизнь замечательных людей» Изда-

тельства молодежи («Эдитура тинеретулуй») книги «М. Ю. Лермонтов». Автор ее — литературовед Тамара Гане — известна и другими своими исследованиями в области русской литературы и в частности некоторыми работами, касающимися литературного наследия Лермонтова.

Широко используя воспоминания современников о Лермонтове, различные архивные материалы, письма, опираясь на классические статьи Белинского, а также на наиболее интересные и плодотворные исследования виднейших советских лермонтоведов (Эйхенбаума, Андроникова и др.), Т. Гане подробно и с научной добросовестностью прослеживает жизненный и творческий путь русского писателя. Хочется особенно подчеркнуть обоснованность аргументации, предположений и выводов автора, зачастую самостоятельных и интересных.

На страницах книги предстает жизнь писателя и — в еще большей степени — духовная его биография. Читатель с увлечением следит за тем, как развивается личность Лермонтова с самого раннего возраста и до дня его гибели, знакомится с условиями семейными, социальными, политическими, в которых складывалась его психология, определялось его отношение к окружающему миру. Особенно важны в этом смысле первые четыре главы монографии («Драматический пролог», «Мятежный романтик», «Изгнанник в собственной стране», «Трезвый реализм»), воссоздающие облик Лермонтова. Сочетая биографию Лермонтова-человека с биографией Лермонтова-писателя, Т. Гане последовательно разбирает важнейшие его произведения. Автор неоднократно использует данные биографии для того, чтобы лучше раскрыть смысл произведений, и, наоборот, факты, почерпнутые из различных произведений,— для освещения того или иного момента из жизни писателя. Правда, может быть, иногда, в очень редких случаях, автор доходит до отождествления личности писателя с некоторыми из созданных им образов (как это имеет место, например, в главе «Трезвый реализм», где она, на наш взгляд, излишне настаивает на автобиографичности образа Печорина и вообще романа «Герой нашего времени»).

Но в основном Т. Гане сумела раскрыть значение важнейших произведений великого русского писателя и показать читателю их глубокий идейный смысл и их художественные достоинства. Эти задачи разрешены особенно удачно в главе, посвященной анализу «Демона» — поэмы, о которой среди литературоведов, как известно, существует много различных и иногда спорных мнений.

Для того чтобы лучше раскрыть характерные черты личности и творчества Лермонтова, автор неоднократно сопоставляет его с рядом современников или предшественников в европейской литературе. Сравнивая Лермонтова с Ламартином, Альфредом де Виньи и в особенности с Байроном, Т. Гане показывает связь русского поэта с национальными истоками, его самобытность, ибо Лермонтов мог с полным правом сказать о себе: «Нет, я не Байрон, я другой, еще неведомый изгнанник, как он, гонимый миром странник, но только с русскою душой».

Следует особо отметить интересное сопоставление Лермонтова с Гете. Это сравнение приводит Т. Гане к выводу (который, может быть, следовало бы несколько больше развить) о чертах сходства между русским и немецким писателями. Говоря о «фаустианстве» Лермонтова, Т. Гане замечает, что «лирический герой Лермонтова менее близок к Ларе и Манфреду, чем к Фаусту Гете».

Т. Гане стремится постоянно показывать Лермонтова на фоне литературного движения России той эпохи. Исследование раскрывает нити, связывающие творчество Лермонтова с последующим развитием русской поэзии, прозы и драматургии. Ценные наблюдения, сделанные в этом плане, говорят о том, как воспринималась и развивалась традиция Лермонтова в стихотворениях Некрасова, в романах Достоевского и Льва Толстого. Имея в виду широкого читателя (на которого рассчитана книга), автор сообщает ряд интересных сведений о судьбе творческого наследия Лермонтова в Румынии.

Написанная увлекательно и доступно, книга Т. Гане о Лермонтове несомненно поможет румынскому читателю лучше познакомиться с жизнью и творчеством великого русского писателя.

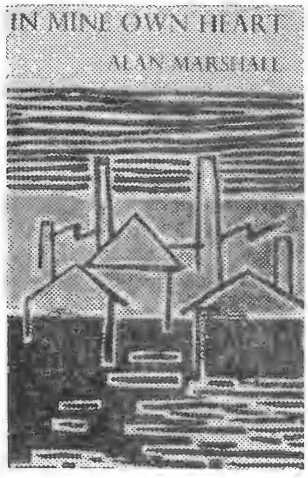
ТАТЬЯНА НИКОЛЕСКУ

г. Бухарест

В ШКОЛЕ ЖИЗНИ

Автобиографический цикл Алана Маршалла разрастается. Вслед за двумя книгами, повествовавшими о детских и юношеских годах («Я умею прыгать через лужи» и «Это трава»*), вышла третья книга — «В моем сердце». Действие ее происходит в начале тридцатых годов — в период кризиса, когда призрак безработицы встал перед десятками тысяч австралийских рабочих, когда по дорогам в поисках работы и куска хлеба бродили тысячи людей, молодых и старых, когда одна за другой закрывались фабрики и мастерские, и не было ничего более желанного, чем работа, даже самая жалкая и непривычная, если она только спасала от голода. Это было время, пишет Маршалл, «когда на Мельбурн, на

* Рецензия на эти книги была опубликована в «Иностранной литературе» № 4, 1963 г.



Alan Marshall. In Mine Own Heart. Melbourne, Cheshire, 1963.

всю Австралию опустилась полоса безнадежности...»

В условиях этой суровой, безрадостной жизни нелегко было найти себе место даже здоровым и полным сил людям. Алану Маршаллу, не расставшемуся с костылями, разумеется, было еще трудней. Суровые испытания столь неприветливо встретившей Алана «школы жизни» не сломили его. Более того, именно в эти годы в нем окрепла и окончательно созрела его давняя мечта стать писателем.

Долгое время Алан полагал, что для того, чтобы стать писателем, достаточно обогащать свой запас жизненных наблюдений. Тетрадка, с которой он не разлучался, пополнялась записями. И вот пришла пора, когда ему стало ясно, что точность наблюдений это для писателя еще не все. Не менее важно самому участвовать в окружающей жизни. «Я должен был сам участвовать в игре, а не смотреть на нее со стороны»,— пишет он.

В третьей книге автобиографического цикла Маршалл предстает перед нами в таком качестве, в каком, признаться, читатели его первых двух книг никак не ожидали его встретить. В самом деле, юноша, погруженный в мечты о литературе, человек, страстно любящий природу, знающий толк в лошадях, и вдруг — клерк в магазине похоронных принадлежностей. А затем приказчик на обувной фабрике. А после того как владелец фабрики обанкротился,— содержатель меблированных комнат. Потерпев и тут неудачу, он на своей старенькой машине пускается в путешествие по стране и становится «помощником» астролога, «прорицателя и предсказателя судьбы». И наконец, он — сотрудник газеты, автор постоянного раздела «Алан Маршалл говорит», в котором отвечает на письма разочаровавшихся в жизни девушек и юношей, ищущих совета и помощи в любовных неурядицах.

Нужно было огромное жизнелюбие Маршалла, вера в высокое писательское призвание, чтобы не дать себя засосать рутине обывательского существования, не заглушить в душе живое человеческое чувство. Маршалл нашел в себе мужество понять, что «авторство» в газете, казалось бы, приближавшее его к успеху, на деле отодвигало его от подлинного творческого литературного труда. И он принимает решение порвать с газетой и начать новые поиски. Свой рассказ о работе в газете и уходе из нее он кончает словами: «Мы были марионетками, все мы враждовали друг с другом... Я видел себя рядом со своими коллегами, что-то царапавшими на бумаге за деньги,— в комнатушке, из-за порога которой доносился плач детей. Надо вырваться из этой темной комнатенки. Скорей, скорей на волю».

Книге предпослан эпиграф из Шелли, писавшего, что «в сердце своем он увидел, как в зеркале, сердца других людей». Автор судит себя по самому большому счету. Мимолетный дешевый успех, материальные блага, разве может это возместить отказ от мечты, от призвания? Нет, так дешево он себя не ценит.

Рисуя в этой книге мелкобуржуазную обывательскую среду, Маршалл не без сатирического мастерства создает портреты людей, мечущихся в погоне за копейкой, ставящих друг другу подножку, пытающихся любой ценой удержаться на поверхности обывательского благополучия. Чего стоит, например, портрет Лайонеля Перкса, старшего клерка обувной фабрики — этого пройдохи под личиной почтенного человека, или другого персонажа книги — «специалиста по поджогам», предлагавшего свои «услуги» обанкротившимся фирмам для получения страховых премий. О таких людях Маршалл пишет с презрением. Но, когда речь заходит о безвольных, опустившихся, смирившихся под ударами судьбы или тешащих себя фантастическими несбыточными «прожектами», Маршалл далек от безоговорочного осуждения. Характерная черта Маршалла — писателя и человека в том, что для него не существует неинтересных людей. Он внимательно, можно сказать, любовно вглядывается в окружающих и находит человеческие черты там, где другой, менее чуткий, увидел бы лишь опустошенность или циничную браваду. И этот интерес к судьбе отдельного человека, умение заставить собеседника разговориться (дар, сослуживший ему немалую службу, когда он был «помощником» астролога) составляет один из секретов писательского обаяния Маршалла.

Хотя колорит книги отнюдь не отличается светлыми тонами, в ней много неподдельного юмора. Это особенно относится к тем страницам, на которых описаны похождения Маршалла в дни, когда он содержал

меблированные комнаты и в период его совместных странствий с астрологом.

От тоски и уныния Маршалла спасало то, что в окружающей жизни он черпал материал для будущего творчества. («Жизнь,— пишет он,— становилась для меня книгой, главы которой мне предстояло написать».) Можно полагать, что и работа на обувной фабрике снабдила его любопытными материалами, пригодившимися, в частности, для известной книги «Как прекрасны твои ножки».

«В моем сердце», по-видимому, подводит нас к тому этапу жизненного пути Алана Маршалла, когда литература становится для него основным делом.

ВЛ. РУБИН

НОВОЕ ПЛАТЬЕ КОРОЛЕВЫ

Mary McCarthy. The Group. New York, Harcourt, Brace & World, 1963.

У писательницы Мэри Маккарти — репутация самой «интеллектуальной» и воинственной литературной дамы в Америке. Кроме того, она — суровый критик. Без промаха, как подобает Афине Палладе, бьет она в цель копьем своего беспощадного острословия и походя уничтожает репутации, завоеванные подчас долгим и упорным трудом. Есть у нее рьяные почитатели, подписчики журнала «Партизан ревью», «недоучившиеся мудрецы», по словам американского еженедельника «Ньюсуик». Они и целый сонм «высоколобых» критиков восторженно приняли ее новый роман «Группа». «Группа» долгое время числилась под номером первым в списке бестселлеров. Известно также, что режиссер Отто Преминджер предложил автору 250 тысяч долларов за экранизацию романа. Говорят, сама Мэри Маккарти несколько обеспокоена такой известностью: успех en masse, с точки зрения жрецов «Партизан ревью», вульгарен.

Впрочем, не у всех литературных критиков в США и Англии творение Маккарти вызвало безграничный восторг. Появилось несколько серьезных статей, которые с язвительностью, достойной самой «взбалмошной Мэри», обошлись с ее последним детищем.

Произведения Мэри Маккарти относятся к так называемому «интеллектуальному» жанру современной американской литературы. Главная проблема, которая ставится на страницах «интеллектуальной» прозы,— «спор между прошлым и настоящим», то есть прежде всего обсуждение идеи прогресса, возможности поступательного движения человечества вообще и, в частности, в области духовной жизни. Нельзя сказать, чтобы авторы подобных произведений досконально знали, как все было в прошлом, но тем не менее настоящее и будущее внушает им отвращение, а иногда и страх.

«Вера в прогресс,— писал недавно американский критик Ричард Хофстедтер,— не просто утрачена, но и пересмотрена. Плох тот интеллектуал, который не может доказать просто-таки с нетерпимой ясностью, насколько хуже обстоят дела в мире сегодня в духовном, культурном и политическом отношении, чем в туманном, но безусловно более совершенном прошлом».

В одном из недавних интервью Мэри Маккарти констатировала, что «после войны Америка с ужасающей быстротой становится все отвратительнее». Столь резкое отрицание Америки невольно заставляет предположить, что Маккарти имеет в виду такие злокачественные явления американской действительности, как расовая рознь или неискоренимая нищета. Но это не так. В горние сферы ее высокомудрия «земные» проблемы не очень-то вхожи. Об этом и свидетельствует ее роман «Группа», который охватывает события семи лет — с 1933 по 1940 год, с начала эпохи «нового курса» Рузвельта до второй мировой войны.

Роман повествует о восьми выпускницах привилегированного женского колледжа, известного под названием «Вассар скул». Все они принадлежат к средней буржуазии и интеллигенции. Их глазами писательница смотрит на американскую действительность 30-х годов. Эти девушки стремятся быть «современными», и прежде всего в сфере любовных отношений. Они мечтают сделать что-нибудь для «развивающейся» Америки, их образ мыслей достаточно широк, чтобы сочувственно относиться к «новому курсу» Рузвельта и «вообще быть радикалами». Больше всего на свете, по словам автора, они боятся быть похожими на «мать и папашу». Большинство из них к концу романа банально примелет условности общества, раньше отвергавшиеся. Среди них самой сложной, противоречивой индивидуальностью обладает Кэй Стронг Петерсен. Ее замужеством роман начинается и заканчивается описанием ее похорон. В браке с Харалдом, неудачливым драматургом, невротиком и лицедеем, она и стремится приобщиться к современности. Кэй, втайне очень недолюбливая бедняков, «флиртует» с идеями социализма и даже участвует в забастовочном движении.

В противоположность Кэй остальные члены группы так же похожи одна на другую, как «диснеевские гномы» (по словам английского еженедельника «Нью стейтсмен»). Единственно симпатичным персонажем из всех восьми является Полли Эндрюс. После несчастливой связи с «коммунистом» она

выходит замуж за «идеального» человека, абсолютно аполитичного доктора Джима Риджли. Другая представительница группы, Присс, активнее, чем остальные, поддерживает политику «нового курса», но читателю ничего не удается узнать об этой стороне ее деятельности. Время, отпущенное ей автором, целиком уходит на бесконечные споры с мужем, который настаивает, чтобы она кормила новорожденного сына грудью, в то время как Присс, изнемогая от голодных воплей ребенка (у нее совсем нет молока), мечтает об искусственном вскармливании. Рецензент английского журнала «Нью стейтсмен» замечает, однако, что «роман написан все же о тридцатых годах, и одна из его основных идей заключается в следующем: было бы лучше, если бы каждый из нас держался подальше от политики и пребывал в состоянии блаженного невежества д-ра Риджли».

Особую неприязнь Маккарти испытывает к людям, участвующим в общественной борьбе. Ее политические антипатии дали себя знать в карикатурных образах Патнема Блейка и его жены Норайн, которых она выдает за марксистов. Совсем в духе Джейн Остин (куда девалось стремление к современности!) одна из вассаровских выпускниц читает лекцию Норайн о личной — физической и моральной — гигиене.

Еще более унизительные и некрасивые, грубо натуралистические подробности «сообщает» писательница о Патнеме, наделяя его не только дурным характером, но и скрытыми физическими недостатками.

Все, что развенчивает человека, все, что показывает его в неприглядном свете, Мэри Маккарти рисует с особой тщательностью. Большое внимание уделяет она детальному описанию «внешнего» мира, окружающего ее героев, причем к вещам она относится с гораздо большей симпатией, чем к людям. Смерть Кэй (она выбрасывается с 20 этажа) почти не трогает автора, ее внимание гораздо более занимает белое плиссированное платье Кэй, лежащей в гробу, чем трагический факт нелепо оборвавшейся жизни.

Хотя, по словам самой Маккарти, она стремилась развенчать «идею прогресса в феминистской среде», роман «Группа» — попытка «пересмотреть» идею прогресса в целом. Или, как говорит об этом сама Маккарти, показать, как «мираж политического и общественного прогресса сбил с толку молодежь 30-х годов».

Фашизм и ужасы, которые он принес в мир,— лагеря смерти, попрание демократии, истребительные войны, тень водородной смерти, нависшая над землей в послевоенное время,— все это заставляет многих людей искусства в США с неприязнью относиться к современности, у некоторых эта неприязнь ведет к пораженчеству и отчаянию, у других, как это ни странно, в конечном счете к призыву удовольствоваться тем, что есть, и не искать перемен на путях будущего. Тогда, как правило, писатель и выступает против идеи прогресса в целом, пересматривает и отвергает идеи демократии и веры в будущее и пытается развенчать их как еще один очередной миф, «затуманивающий» сознание человечества. Вера в прогресс — опасный обман, говорят эти писатели. Она — как повязка на глазах у человека, который неуклонно движется к бездне. Но, может быть, они стремятся сорвать эту «повязку», чтобы человечество узрело какой-нибудь иной «вечный свет» и остановилось где-то на краю бездны, именуемой безнадежностью? Нет, они ничего не предлагают взамен, разве лишь другой миф — о невозвратно утраченной гармонии. Значит, принимайте все как есть.

Эту миссию отлучения человечества от надежды и выбрала М. Маккарти, сделав мишенью своих нападок 30-е годы — период ожесточенной идейно-политической борьбы в Америке, широкого распространения марксизма и нового миросознания среди американских трудящихся, время рождения пролетарской литературы в США. При этом она не скрывает своих намерений. Впрочем, «новое облачение» королевы и не позволяет этого сделать. Оно слишком прозрачно и не может скрыть таких некрасивых примет современного реакционного «интеллектуального» жанра, как антидемократизм, натурализм и непреодолимый пессимизм.

М. ТУГУШЕВА

ИРАКЛИЙ АНДРОНИКОВ

ЛЕРМОНТОВСКИЕ РЕЛИКВИИ ЗА ОКЕАНОМ

Редакция «Иностранной литературы» обратилась к писателю и литературоведу Ираклию Андроникову — автору многих работ о жизни и творчестве Лермонтова — с просьбой рассказать об автографах и рисунках Лермонтова, хранящихся в зарубежных собраниях, и о том, когда и при каких обстоятельствах они попали туда.

Весной 1841 года, за три месяца до гибели Лермонтова, доктор Роберт Липперт — известный переводчик на немецкий язык произведений Пушкина — перевел «Дары Терека», «Казачью колыбельную» и «Завещание»: слава Лермонтова дошла до Запада еще при его жизни.

Переводы доктора Липперта не были первыми. Годом раньше в городе Киссингене известный немецкий писатель Карл Август Фарнгаген фон Энзе закончил перевод «Бэлы». А вскоре в первом выпуске берлинского издания «Archiv für wissenschaftliche Kunde von Russland» появилась статья о новой русской литературе, в которой первое место было отведено Лермонтову: автор называл его «самым блестящим, самым обещающим явлением русской поэзии». «Молодой поэт,— говорилось в статье,— обладает блестящим вдохновением... В его стихотворениях проявляются и мощь прежних времен, и свобода, и мастерство нынешних. На Лермонтова по справедливости обращены взоры, полные ожидания».

Эту статью написал тот же Фарнгаген фон Энзе. В его дневниках отмечено, что в работе над переводом лермонтовской прозы ему помогал молодой почитатель Лермонтова — Борис фон Икскюль, за два года перед тем окончивший Царскосельский лицей и отправившийся в Германию, чтобы продолжить там свое образование.

Через несколько месяцев после гибели Лермонтова, в 1842 году, в Берлине отдельными изданиями вышли «Мцыри» и «С Кавказа» — перевод «Героя нашего времени» без «Бэлы» (уже переведенной Фарнгагеном), зато дополненный «Княжной Катенькой», собственной повестью переводчика Романа Будберга-Бенинггаузена.

Своему труду Бенинггаузен предпослал стихотворное посвящение, в котором обращается к уже упомянутому Борису фон Икскюлю. Это посвящение интересно для нас прежде всего потому, что представляет собою ярчайшую апологию Лермонтова. Для мира родился второй Пушкин, пишет Будберг-Бенинггаузен, русская муза не замолчала. Но напрасны были надежды — проклятие лежит на поэтах России. И теперь

она скорбит о Лермонтове, как еще недавно скорбела о Пушкине. Обоих сразила пуля на поединке.

И дальше:

«Ты сам знал его. Ты оплакиваешь не только певца, но и друга. Общие стремления с каждым днем все сильнее и теснее крепили ваш союз, вечный союз свободы, искусства и знания...»

Перевод этого посвящения Будберга вместе со сведениями о Борисе Икскюле мы имели возможность прочесть несколько лет назад в статье литературоведа М. Г. Ашукиной-Зенгер. Эта публикация весьма интересна и содержательна, но все станет на место, если добавить к тому, что мы уже знаем, факт новый: Борис Икскюль был племянником Екатерины Андреевны Карамзиной — вдовы знаменитого историографа и хозяйки прославленного литературного салона, где Лермонтов бывал чаще, чем где-либо, и где Икскюль по окончании лицея мог постоянно видеть его. Этот факт позволяет понять, что знакомство немецких литераторов с поэзией Лермонтова шло через участников карамзинского кружка, объединявшего друзей Пушкина. Дочь историографа, Софья Николаевна Карамзина, ценила Лермонтова превыше всех. Из этого круга исходили сопоставления его не только с Пушкиным, но и с Гете: известный эмигрант Иван Головин в записках своих отметил, что в 1839—1840 годах Лермонтова в Петербурге называли «русским Гете» (стремясь, разумеется, не к умалению, а к возвышению молодого поэта). Теперь видно, что одним из пылких пропагандистов лермонтовской поэзии был Борис Икскюль.

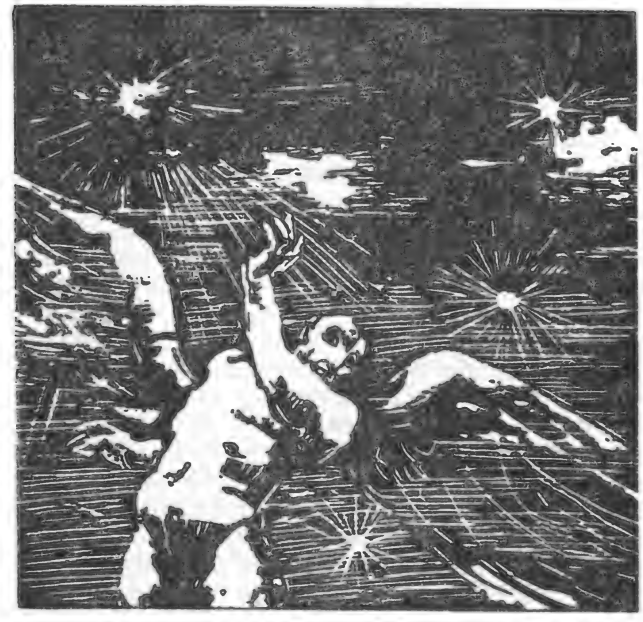
Если при этом вспомнить, что Фарнгаген фон Энзе постоянно виделся в эти годы в Берлине и на немецких курортах не только с Икскюлем, но и с русскими писателями и аристократами русскими,— не приходится удивляться тому, что среди бумаг Фарнгагена фон Энзе в Берлинском университете хранятся подлинные автографы Лермонтова «Слепец, страданьем вдохновенный» и «К портрету» («Как мальчик кудрявый, резва»).

Вот мы подошли к вопросу, который был задан мне,— об автографах и рисунках Лермонтова, которые хранятся за рубежом. Конечно, следовало бы обо многом упомянуть еще — о том, в частности, что в 1843 году «Герой нашего времени» в переводе родственника и друга Лермонтова А. А. Столыпина (Монго) был полностью напечатан во французской фурьеристской газете «Democratie pacifique» (факт, до сих пор еще достаточно не осмысленный!). Надо было бы сказать о книге, за шесть дней до гибели Лермонтова высланной из Праги замечательным чешским поэтом Вацлавом Ганкой с выразительнейшей надписью «Г-ну Лермонтову по прочитанию его стихотворений (9 июля 1841 года)». Можно было упомянуть о шведском «Герое нашего времени», вышедшем вслед за французским — в 1844 году. И о польском «Герое нашего времени», датированном 1848 годом. Назвать и английский перевод 1854 года... Но мы решили говорить об автографах. И в связи с этим снова должны вернуться к переводам немецким.

В 1852 году известный поэт и переводчик Фридрих Боденштедт выпустил двухтомное собрание сочинений Лермонтова, куда вошло все самое лучшее. Но среди напечатанных Боденштедтом стихотворений девятнадцать вещей неизвестны по-русски: автографы их до нас не дошли. Отвечая на вопрос о том, откуда он взял их, Боденштедт говорил, что видел их в альбоме одного из приятелей Лермонтова (Глебова). Этот альбом утрачен. Между тем стихотворения очень значительны—и по темам и по характеру — и примыкают, скорее всего, к восьмистишию «Прощай, немытая Россия».

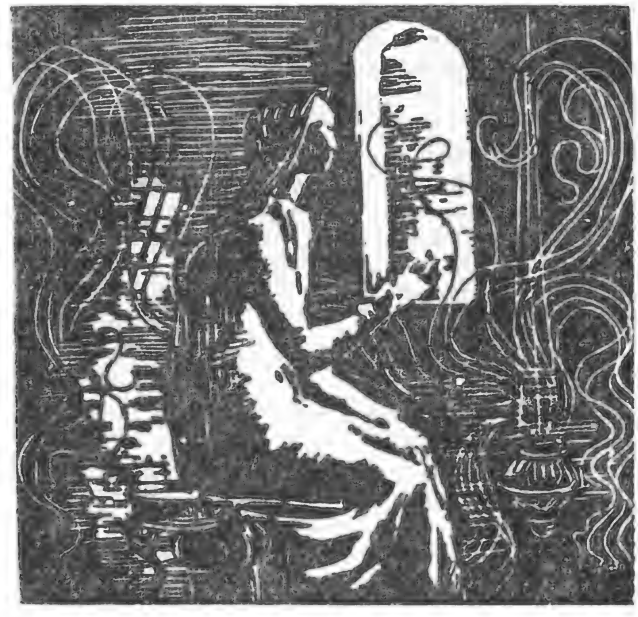
Вначале Боденштедт выдал эти стихи за переводы. Однако впоследствии стал утверждать, что владелец альбома секрета из них не делал, но и списать не давал и что он — Боденштедт — воспроизвел их на память, что это — собственные его вариации на лермонтовские темы. И никакого русского текста у него нет. Но в это же самое время он утверждал, что изданные им по-немецки песни Мирза-Шафи — не более чем его вариации на темы «восточной» поэзии, а Мирза-Шафи — его псевдоним. Тем не менее выяснилось теперь: не псевдоним и не вариации, а точные переводы стихотворений реально существовавшего замечательного поэта Мирза-Шафи. Да и сомнитель-

Обложка к изданию «Героя нашего времени» на языке хинди. Издательство «Рам Прасад энд Саиз», 1953 год.



Рисунки к изданию в Венгрии «Демона», выпущенному «Мадьяр хелитон» в 1959 году.

Обложка «Героя нашего времени», выпущенного в Копенгагене в издательстве «Ханс Рейтцель».



но, чтобы поэт, любовно и скрупулезно переводивший Лермонтова в продолжение десяти лет, как говорится, «ни с того ни с сего» дополнил бы отличный двухтомник Лермонтова собственными произведениями, даже не оговорив это. Вопрос этот до сих пор остается открытым. Но если русские тексты были, их надо искать на немецкой земле — в тех местах, где Боденштедт жил и работал.

В 1837 году в сундуках и баулах молодой москвички Александрины Верещагиной — свойственницы Михаила Юрьевича Лермонтова — отправились за границу, в Германию, альбомы ее, в которые поэт в юношескую свою пору вписывал стихи, рисовал карикатуры и шаржи. Отправились за границу письма поэта. В тот год Верещагина стала баронессой фон Хюгель, и лермонтовские реликвии остались в Германии. В 1839 году к собранию Верещагиной присоединились рукописи и рисунки Лермонтова, принадлежавшие ее двоюродной сестре Варваре Александровне Лопухиной. Опасаясь, как бы из ревности к Лермонтову муж ее — Бахметев — не уничтожил драгоценные для нее подарки и посвящения Лермонтова, В. А. Лопухина-Бахметева альбомы, и автопортрет Лермонтова, и свое изображение, писанное Лермонтовым акварельными красками, и стихотворения его на отдельных листах передала на хранение Верещагиной. Так в Германии — в Штутгарте и в замке Хохберг за Людвигсбургом — образовался довольно обширный фонд лермонтовских рукописей и рисунков.

В 1882 году, когда ни Верещагиной, ни Лопухиной в живых уже не было, альбомы их побывали в России. Дочь Верещагиной, графиня Берольдинген, высылала их в Дерпт по просьбе профессора П. А. Висковатова, приступавшего тогда к созданию биографии Лермонтова. Альбомы были одолжены ему на обусловленный срок, по миновении которого возвращены в Штутгарт. Тщетны были в нашем столетии попытки

Иллюстрация к книге «М. Ю. Лермонтов. Кавказские мотивы», вышедшей в Словацком издательстве художественной литературы, 1960 год. Художник — Эдуард Овчачек.

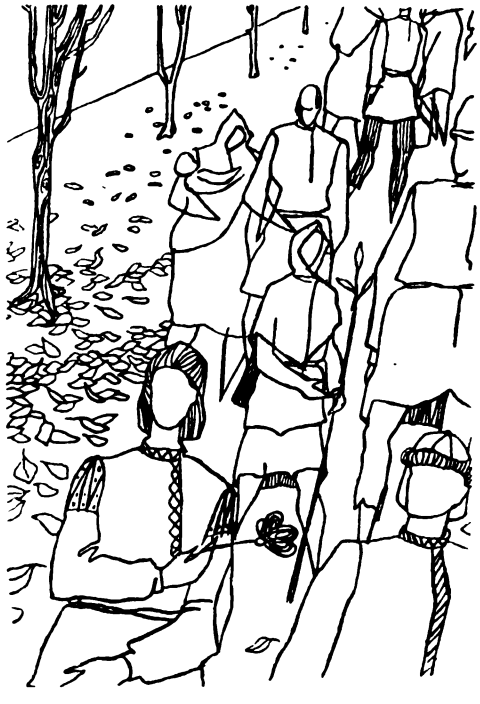


Рисунок Карела Сволинского к выпущенному в Праге в 1941 году отдельным изданием стихотворению М. Ю. Лермонтова «Бородино».

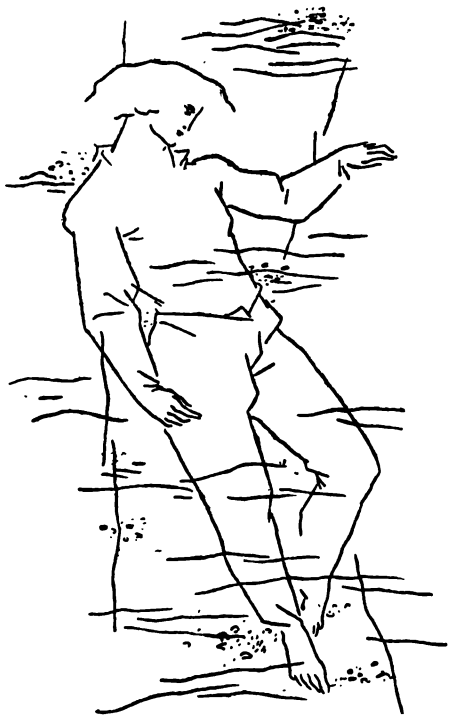
получить с них хотя бы хорошие фотокопии: мировая война, блокада, нацистский режим в Германии, вторая мировая война мешали установлению контактов.

В 1955 году советским исследователям стало известно, что часть архива А. М. Верещагиной принадлежит уже не потомкам ее, а перешла в собственность известного искусствоведа профессора доктора Мартина Винклера, проживающего около Мюнхена. Примерно в это же время в общество «Международная книга» обратился по своим делам американский библиограф г-н С. Болан, собиравший антикварные издания для библиотеки Колумбийского университета. Он сообщил, что в его руках находится несколько автографов и большое число лермонтовских рисунков. Узнав об этом, я встретился с г-ном Боланом; мимолетный взгляд на показанные мне фотографии — и сомнений не осталось: г-н Болан приобрел три альбома из архива А. М. Верещагиной.

Зашел разговор о передаче их в один из архивов нашей страны. Г-н Болан выразил готовность обменять их на журналы и альманахи прошлого века, отсутствующие в библиотеке Колумбийского университета. В тот день он уезжал в Ленинград. Я предупредил дирекцию и сотрудников Пушкинского дома Академии наук СССР, они встретили Болана, вступили в переговоры, но оказалось, что срок пребывания мистера Болана в Советском Союзе истек. Он уехал. Альбомы, почти сто двадцать лет хранившиеся на немецкой земле, оказались за океаном. Их приобрел Колумбийский университет.

Не буду распространяться о том, какие рисунки и манускрипты остались в собрании профессора Винклера, к которому я был командирован в 1962 году: об этом мне довелось уже рассказывать и по телевидению, и по радио, и на страницах печати.

Иллюстрации Владимира Лаковича к поэмам «Мцыри» и «Демон» из книги «М. Ю. Лермонтов. Избранные произведения», вышедшей в издательстве «Државна заложба Словении», Любляна, 1961 год.



Во время пребывания в Федеративной Республике Германии, благодаря любезности профессора Винклера, мне удалось познакомиться с правнуком Верещагиной бароном фон Кенигом, у которого оказались неизвестные стихи Лермонтова и неизвестные рисунки его — в других альбомах его прабабки, оставшихся неизвестными Висковатову. Барон фон Кениг разрешил опубликовать принадлежавшие ему лермонтовские реликвии. А художественные работы Лермонтова и автографы, принадлежавшие профессору Винклеру, доставлены в Советский Союз и поступили в наши хранилища. Поэтому отвлечемся от них и возвратимся к альбомам, которые остались за рубежом.

Что же заключается в них?

В первом альбоме — восемь стихотворений 1830—1832 годов. Это «Звезда» («Одна вверху || горит звезда»), «Ангел», «Когда к тебе молвы рассказ», «У ног других не забывал», «Зови надежду сновиденьем», «Я не люблю тебя», «Отворите мне темницу», «По произволу дивной власти». В том же альбоме — десять рисунков Лермонтова, выполненных большей частью пером или карандашом,— изображения бытовых сцен, в которых фигурируют, по всей видимости, какие-то лица из ближайшего окружения поэта.

Второй альбом заключает в себе еще семнадцать рисунков. Часть из них — акварельные.

И, наконец, в третьем альбоме, составлявшем собственность Варвары Лопухиной, должен находиться ее портрет, писанный Лермонтовым акварелью, и его же акварельный рисунок — портрет негра Ашиля, слуги в московском доме Лопухиных.

Стихи Лермонтова из этих альбомов в свое время скопировал Висковатов, тем самым отличия их от текстов, известных нам по лермонтовским тетрадям, давно учтены. Что же касается рисунков, то Висковатов описал их сюжеты, а потом, взяв карандаш и листы тонкой папиросной бумаги, свел контуры. Но даже эти самослабейшие копии, ни в какой мере не передававшие прелесть лермонтовских характеристик, пропали во время последней войны в городе Пушкине. Тем большее значение приобретают теперь оригиналы, поступившие в Колумбийский университет.

Опубликовать эти рисунки — дело нетрудное. «Опознать» изображенных Лермонтовым людей и расшифровать сюжеты рисунков, угадать, в чем заключается их юмор и смысл, будет делом сложнейшим. Вот сюжет одного из акварельных рисунков: за столом сидит мужчина в синих очках и проверяет по книге то, что читает вслух стоящий возле стола офицер — с усами, при сабле. Видно название книги. Сзади подошел штатский во фраке, со шляпой в руке и подает им афишу, на которой читается текст «Concert de gri...» Тут же остановился военный в казачьем мундире...

Из описаний мы знаем цвет лампасов, воротников, шаровар — мы можем угадать формы полков с тем, чтобы, сопоставляя их с портретами современников Лермонтова, узнать всех этих людей. Другая картинка: свадьба, молодые склонили колени, сзади стоят пожилые мужчина и женщина... На многих рисунках изо ртов говорящих исходят наподобие облака остроумные тексты...

Несколько лет назад Иностранная комиссия Союза писателей СССР предлагала Колумбийскому университету осуществить совместную публикацию...

До сих пор, насколько я знаю, рисунки в печати не появлялись. Будем рассчитывать, что это осуществится в юбилейном году.

ЛЕРМОНТОВ В ЗАРУБЕЖНЫХ ИЗДАНИЯХ

О широкой популярности произведений М. Ю. Лермонтова за рубежом свидетельствуют многочисленные факты. В Лермонтовском кабинете, например при библиотеке Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР в Ленинграде, где в течение многих лет тщательно собираются издания произведений М. Ю. Лермонтова и литература о нем, имеется и большое количество книг поэта, выпущенных во многих странах мира. В этой коллекции представлены переводы лермонтовских произведений на 23 языках, а по данным Всесоюзной Государственной библиотеки иностранной литературы в Москве произведения писателя выходили за рубежом на 27 языках. В числе переведенных наиболее часто встречаются: роман «Герой нашего времени», драма «Маскарад» и поэма «Демон». Ниже приводятся некоторые данные об изданиях произведений М. Ю. Лермонтова за рубежом.

■ Перевод «Героя нашего времени» на шведский язык был издан в Хельсинки в 1844 году. В 1856 году эта повесть, а также «Ашик Кериб» вышли отдельным сборником в Копенгагене на датском языке.

■ В 80-х годах прошлого века к переводам Лермонтова на французский язык обратился Александр Дюма-отец. Им были переведены стихи «Дума», «Благодарность», «Горные вершины», «Молитва», «Спор», «Тучи», «Утес». В числе последних изданий во Франции — перевод «Героя нашего времени» Алэном Гийерму в издательстве «Лафон».

■ «Герой нашего времени» был издан в Греции в 1935 году.

■ В Швеции новый перевод «Героя нашего времени» появился в 1958 году. Авторы перевода — Алиса Валлениус и Улф Мальмстен.

■ На английском языке «Герой нашего времени» вышел в 1952 году в лондонском издательстве «Фор скуэр букс».

■ Широкую популярность произведения Лермонтова снискали себе в Югославии. В 1954 году «Герой нашего времени» был опубликован на македонском языке (издательство «Кочо Рацин»). В 1957 году поэмы Лермонтова были выпущены в Загребе издательством «Зора» на сербохорватском языке. В 1961 году в Любляне в Государственном издательстве Словении вышли «Избранные произведения» Лермонтова в переводе известного поэта Миле Клопчича. «Поэмы и повести» великого поэта опубликованы также в Белграде.

■ В Японии произведения Лермонтова издавались многократно, начиная с 1920 года. В токийском издательстве «Комине сётон» в 1951 году опубликованы «Кавказский пленник», «Мцыри», «Ашик Кериб», «Тамань» и «Фаталист».

■ «Собрание сочинений» Лермонтова в переводах Людмила Стоянова было издано в Болгарии в 1948 году, а «Избранные сочинения» поэта вышли в 1954 году в издательстве «Народна култура».

■ В Венгрии «Избранные сочинения» Лермонтова печатались в 1954 году и в 1957 году.

■ «Герой нашего времени» в переводе на персидский язык был выпущен в Тегеране в 1957 году.

■ На польском языке «Избранные стихи» Лермонтова в двух томах вышли в Государственном издательском институте в 1956 году.

■ В Канаде перевод «Героя нашего времени» опубликован издательством «Даблдей» в 1958 году.

■ «Кавказский пленник» выпущен отдельной книгой Словацким издательством художественной литературы (Чехословакия) в 1960 году.

■ Миланский «Клуб издателей» выпустил на итальянском языке «Героя нашего времени» и «Княгиню Лиговскую» в 1961 году в переводах Д. Доунини. «Лирика и поэмы» Лермонтова изданы в 1963 году в переводах Т. Ландольфи с предисловием Рипеллино издательством «Эйнауди» (Турин).

КЛАССИК ВЕНГЕРСКОЙ ПОЭЗИИ

К 100-летию со дня смерти Имре Мадача

Имя выдающегося венгерского поэта Имре Мадача постоянно привлекало к себе внимание поэтов, режиссеров, читателей и зрителей во многих странах мира. Его драматическая поэма «Трагедия человека» переведена на двадцать три языка и шла на многих сценах мира. Более тысячи ее представлений дал Венгерский национальный театр. Первый перевод «Трагедии человека» на русский язык был сделан в самом начале нашего века и запрещен царской цензурой. Второй перевод, опубликованный в 1904 году, был изуродован цензурой. В 1905 году поэма появилась сразу в двух переводах, Н. Холодковского и З. Крашенинниковой. Мятежный дух познанья, который влечет Адама вслед за Люцифером от одного перевоплощения к другому, от одной эпохи к другой, смелая философская мысль поэмы были созвучны революционным настроениям тех лет.

Новый перевод поэмы Имре Мадача на русский язык недавно закончил Леонид Мартынов. Этот перевод только что вышел в издательстве «Искусство» под редакцией Агнесы Кун.

Мы обратились к Леониду Мартынову с просьбой рассказать читателям «Иностранной литературы» о том, как шла работа над «Трагедией человека».

— Переводить поэму Имре Мадача,—сказал Л. Мартынов,— было очень трудно. Насколько это мне удалось, пусть судит читатель. Я ведь должен был говорить не только за самого поэта, но и за господа бога, за дьявола, за ангелов, за Кеплера и Дантона, за фараона и эскимоса, за Адама и других действующих лиц поэмы! Из Древней Греции Адам попадает в Рим, из глубин средневековья — в Англию прошлого века, затем в грядущее, как оно рисовалось поэту. И все время жизнеутверждение и скептицизм сталкиваются в спорах Адама и Люцифера. Вот один из примеров:

Люцифер *(указывая на Тауэр)*:

...Мы на призраке былого
Стоим, разглядывая новый мир.

Адам:

А что смотреть с таких высот
ничтожных!
Я в новый мир отважно полечу,
И несомненно — есть средь бурь его
Поэзия, великие идеи,
И пусть не выражаются они
Как древле в титанических сраженьях,
От коих сотрясались небеса,
Но тем пленительней и благодатней
Мир создается в скромном их кругу!

Люцифер:

Не бойся без поэзии остаться!
Покуда есть материя, так есть
И власть моя с материей бороться
И отрицать! Покуда существуют
Сердца людей, покуда мыслит мозг,
Покуда существующий порядок
Порывы укрощает — до тех пор
В духовном мире, как противовес,
Поэзия, великие идеи
Не вымрут! Но какой мы образ примем,
Когда сойдем в шумливую толпу?
Ведь можем мы в обличье натуральном
Лишь здесь, меж грез былого,
пребывать!

Адам:

В каком угодно облике сойдем,
Хвала судьбе — великих нет уж ныне,
Проникнемся идеями толпы!

«Трагедия человека» Мадача — одно из интереснейших произведений XIX века. Оно полно раздумий о судьбе человека, о прошлом, настоящем и будущем человечества. Мадач полон любви к человечеству и тревоги за него. Вот что, естественно, привлекло к Имре Мадачу меня, как привлекало к нему и многие поколения русских читателей, в числе которых был и Максим Горький. Теперь у Мадача появятся новые читатели, современники и участники выхода человечества в космос. Я думаю, этим читателям небезынтересно будет прочесть о том, как Дух Земли рассказывает Адаму, герою поэмы, об иных мирах, где

...все невероятное — возможно!
Нет тяжести, недвижно бытие
И вместо воздуха, быть может, там
мышленье,
И то, что свет здесь, там, быть может,
звук,
И то, что здесь растенье, там —
кристаллы!

Переводя Мадача, я стремился передать форму подлинника и его фонетику. Поэма написана белым стихом, перемежающимся с рифмованными строками. Она включает в себя ряд песен.

Когда я узнал, что Всемирный Совет Мира отмечает столетие со дня смерти Имре Мадача, это было приятной и неожиданной для меня новостью, так как работу над поэмой, в которой более четырех тысяч строк, я начал несколько лет назад, никак не связывая ее с этой датой. Тем более радостно, что «Трагедия человека» выйдет на русском языке в те дни, когда к имени этого венгерского поэта обращено внимание всего мира.

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

АВСТРАЛИЯ

ПОСЛЕ ДВАДЦАТИЛЕТНЕГО ПЕРЕРЫВА

«Дорога во вчерашний день» — так называется новый сборник рассказов Фрэнка Долби Дэвисона, вышедший после двадцатилетнего перерыва в творчестве автора. Известный австралийский писатель Джуда Уотен характеризует появление этого сборника как значительное событие в литературной жизни Австралии. Часть рассказов публикуется впервые.

Дэвисон с большой любовью рассказал о мелких фермерах и рабочих, расчищающих заросли кустарника. «Главное достоинство рассказов Дэвисона заключается в создании подлинной картины жизни страны, в глубоком раскрытии материальных трудностей рабочих семей», — пишет Уотен. Одним из лучших рассказов он считает «Переход», герой которого, рабочий, приходит к коммунистическим убеждениям.

Писатель, прошедший солдатом первую мировую войну, Дэвисон активно выступает в защиту мира; эта тема, по словам Уотена, раскрыта в рассказе «Отцы и сыновья» — о людях, которым обещали после войны жизнь, достойную героев, но которых жестоко обманули.

АЛЖИР

КУЛЬТУРА НА СЛУЖБЕ НАРОДУ

Видный писатель Алжира Мурад Бурбун дал интервью корреспонденту ливанского журнала «Ат-Тарик», в котором рассказал о современном состоянии алжирской культуры после долгого колониального господства французских империалистов. Алжирская культура, отметил Бурбун, была «мощной крепостью, позволившей сохранить национальный характер Алжира... Несмотря на все гонения алжирский народ сберег свое богатое устное наследие».

Далее Бурбун сказал, что алжирская культура теперь «служит интересам алжирского народа, стремящегося к социализму». Ныне она перерастает старые рамки, обогащаясь ценностями мировой культуры нашей эпохи.

На этом пути перед алжирской культурой стоят большие трудности, подчеркнул Бурбун, вызванные долголетним господством колонизаторов. Как свидетельствуют сами французские историки, накануне французской оккупации в 1830 году в Алжире было шесть университетов, большинство алжирцев умели хорошо читать и писать, и процент грамотных был выше, чем во Франции того времени! А в 1963 году неграмотные составляли в Алжире 80% населения.

Однако неграмотность, по словам Бурбуна, не означает еще отсутствия культуры. Алжирский народ из поколения в поколение, из уст в уста передавал сказания о своей жизни, которые благодаря этому сохранились по сей день.

На конкретных примерах Бурбун показал, как решаются проблемы культуры в Алжирской Республике. В числе важных культурных завоеваний он назвал создание Алжирского национального театра (см. сообщение в «Иностранной литературе» № 9, 1964), который за один год своего существования поставил свыше десяти пьес алжирских и иностранных авторов. Бурбун сказал и о проблеме арабизации обучения в Алжире, назвав ее «одной из самых основных проблем» — ведь 95% населения страны говорит по-арабски.

«ИСКУССТВО И АЛЖИРСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ»

В день второй годовщины провозглашения независимости Алжира в выставочных залах столицы Алжирской Народной Демократической Республики открылась большая выставка живописи и скульптуры.

«Более 90 иностранных художников, которых вдохновила наша борьба за свободу,— пишет корреспондент газеты «Альже репюбликен», — представили на выставку свои работы. Само название выставки достаточно красноречиво: «Искусство и алжирская революция».

Министр Национального руководства, Шериф Белькасем, писал по случаю открытия выставки: «Эти творения ума и сердца составят часть нашего национального культурного достояния. Им будет отведен зал в нашем будущем Музее современного искусства. Они символизируют для нас мужество и дружбу и послужат средством упрочения наших куль-

турных связей со всеми народами, стремящимися к справедливости и свободе».

В числе лучших работ, экспонируемых на выставке, обозреватели называют полотна испанского художника Арройо «Последний колониалист», турка Абиддина — «Демонстрация в защиту мира», марокканца Шеркауи — «Священный огонь», чилийца Матта — «Да, Куба, да, и Алжир тоже — да».

В 1961 году алжирцы, проживавшие в столице Франции, устроили демонстрацию против введенного для них в Париже комендантского часа. Французский художник Жан-Жак Лебель запечатлел этот протест в своем ныне экспонируемом произведении «Алжирская демонстрация против комендантского часа в Париже в 1961 году».

Произведения, представленные на выставке, пишет корреспондент, были и остаются боевым оружием, они обращены к алжирскому народу, как «человеческие документы».

АНГЛИЯ

«ДОРОГА НА ВОЛГОГРАД»

Советские читатели уже знают книгу Алана Силлитоу под таким названием по отрывкам, опубликованным в нашей печати. Книга Силлитоу вызвала широкий отклик на родине писателя.

«В своем ярком репортаже,— пишет обозреватель еженедельника «Трибюн»,— Силлитоу раскрывает перед читателем Советский Союз таким, каким его видит молодое поколение русских людей, гордящихся своей родиной. Большой талант Силлитоу чувствуется во всем, и это делает его репортаж еще более значительным». Обозреватель называет «Дорогу на Волгоград» замечательным, незаменимым путеводителем по СССР.

В рецензиях приводятся цитаты из книги как образчики блестящей прозы Силлитоу. Писатель размышляет над историческим прошлым русского народа, отмечают рецензенты. Особо выделяются те места, где Силлитоу пишет, что ленинский план построения социализма сделал страну крепкой и жизнеспособной, обеспечил народу лучшую жизнь, превратил Россию в могучую державу.

Нашлись, однако, и люди, недовольные тем, что Силлитоу написал глубоко правдивую книгу о стране социализма. Рецензенту журнала «Тайм энд тайд», например, который признает, впрочем, высокие художественные достоинства прозы Силлитоу, не нравится то, что писатель с такой симпатией относится к Советскому Союзу.

СТРАННОЕ ПОВЕДЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ...

После двадцатого спектакля администрация лондонского «Куинз тиэтр» сняла пьесу Бертольта Брехта «Святая Иоанна боен», которая пользовалась успехом у зрителей...

Причина столь странного поведения администрации театра объясняется просто: она уступила нажиму близких монополиям кругов, которым неугоден Брехт вообще, а «Святая Иоанна» особенно, поскольку она проливает свет на ханжеские нравы этих кругов.

Нажим на администрацию «Куинз тиэтр» был подкреплен шумной кампанией в печати, в которой участвовали «Дейли экспресс», «Дейли мейл» и другие реакционные органы. «Брехт — самый скучный автор XX столетия! — вопили продажные писаки.— Его пьеса — политическая слякоть!»

«Буржуазные критики ведут себя так, точно во время представления их ужалила оса, и теперь они громко жалуются на причиненную им боль», — писал по этому поводу обозреватель газеты «Дейли уоркер» Джейк Сазерленд.

Что ж, нападки на известных драматургов — дело не новое. Но кто помнит сейчас имена тех критиков, которые, например, поливали грязью пьесы Ибсена, когда они шокировали респектабельных буржуа лондонского Уэст-Энда?

Хэл Гэлили и Майкл Медвин в последней постановке «Святой Иоанны боен» на сцене «Куинз тиэтр».
(Газета «Дейли уоркер»)

«Оказать такой прием пьесе выдающегося драматурга,— с возмущением заявил председатель «Юнити тиэтр» Эммануил Голдстайн корреспонденту еженедельника «Трибюн»,— случай почти беспрецедентный. В прошлом нечто подобное имело место лишь в отношении «Мира Пола Сликки» Осборна и премьер пьес Бернарда Шоу в Англии».

АФГАНИСТАН

СОЗДАНО ОБЩЕСТВО ПОЭТОВ

Как сообщает газета «Кабул таймс», в Афганистане создано Общество поэзии на персидском языке и языке пушту, которое ставит своей целью помощь поэтам в их творческой работе.

Для членов Общества будут созданы библиотеки и клуб, где они смогут обсуждать проблемы национальной культуры.

БОЛГАРИЯ

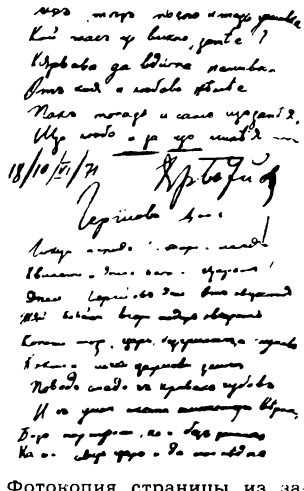
РЕДКОСТНАЯ НАХОДКА

Еженедельник «Литературен фронт» поместил на своих страницах сообщение о редкостной находке. Учи-

тель Й. Коркинов из Севлиево написал в редакцию, что им найдена страница из записной книжки Христо Ботева, содержащая заключительную часть стихотворения «Моей первой любимой» (1871) и целиком — стихотворение «Георгиев день» (1873). Оба стихотворения написаны рукой Христо Ботева, под обоими стоит подлинная подпись поэта, сообщал Коркинов.

Рукопись обнаружена у жителя Севлиево — Константина Сырбенова, который получил ее от своего умершего отца Атанаса Конова Сырбенова, известного книголюба, издателя газет «Балканы», «Развитие», «Росица». Страница из записной книжки Ботева находилась среди книг и других ценных бумаг Сырбенова-младшего.

Редакция направила в Севлиево своих корреспондентов В настоящее время рукопись подвергнута экспертизе с помощью современных графологических, лабораторно-химических и текстологических методов. Уже сейчас многие придерживаются того мнения, что подлинность рукописи Христо Ботева несомненна. Но как попала рукопись в Севлиево? Строятся самые разные предположения, высказываются различные гипотезы.



Фотокопия страницы из записной книжки Христо Ботева со стихами поэта.

(Еженедельник «Литературен фронт»)

«Пока хочется просто поверить, что рукопись из Севлиево — подлинная, что к рукописному наследству Ботева прибавилось целых 38 строк поэзии! Подобная находка по-настоящему радует!» — пишет корреспондент еженедельника «Литературен фронт».

ПРЕМИИ ДРАМАТУРГАМ

Завершен третий национальный смотр современной болгарской драмы, продолжавшийся несколько недель. Отгремели аплодисменты, закончились обсуждения, подведены итоги и присуждены премии за лучшие произведения в области драматургии, за режиссуру, актерское мастерство, художественное и музыкальное оформление спектаклей.

Премиями отмечены: пьеса Г. Джагарова «Прокурор», Л. Стрелкова—«Встреча», Д. Димова — «Отдых Арко Ирис», В. Петрова — «Когда танцуют розы» и Н. Русева — «Сколько тут маков», а также ряд других драматургических произведений.

«Третий национальный смотр драмы показал, насколько возросла роль драматургии и театра в нашей культурной жизни,—пишет театральный обозреватель еженедельника «Литературен фронт».—Нельзя не признать успеха политики партии в области художественного творчества, политики, обеспечивающей истинную творческую свободу».

ВЕНГРИЯ

ВОСПОМИНАНИЯ ПАРТИЗАНА

В издательстве «Магветё» вышла книга Габора Чиллика «Мы сражались в Будапеште», посвященная антифашистской борьбе венгерского народа в один из самых драматических моментов его истории. В центре повествования — история легендарной партизанской группы «Сир», небольшого отряда коммунистов, участников венгерского сопротивления, действовавшего в одном из районов Будапешта — Анделфельде. «Мы чтим героическую борьбу этих людей, с оружием в руках отстаивавших свободу своей родины,— пишет корреспондент еженедельника «Элет эш иродалом».— Эта книга по праву станет своеобразным памятником тем, кто боролся в Будапеште в самые трудные годы».

ФОРУМ МУЗЫКАНТОВ ВОСТОКА И ЗАПАДА

Несколько сот композиторов, музыковедов, преподавателей музыки из 32 стран мира собрались недавно в Будапеште на VI Международной конференции по музыкальному воспитанию детей. Этот представительный форум, организованный Международным обществом музыкального воспитания при ЮНЕСКО, продолжался неделю. Его участники заслушали доклады, лекции, рефераты по самым различным проблемам музыки и музыкального воспитания, присутствовали на показательных занятиях и концертах детских музыкальных и хоровых коллективов Венгрии.

Подводя итоги конференции и определяя ее значение, генеральный секретарь Международного общества музыкального воспитания — доктор Эгон Краус заявил представителям печати: «Наша будапештская встреча завершилась успехом. От предшествующей конференции в София она отличается прежде всего своей тематикой. Если на софийской встрече в центре внимания стояли вопросы налаживания связей между преподавателями музыки Востока и Запада, то в Будапеште мы обсуждали педагогические проблемы современной музыки. Самое большое достижение конференции заключается в том, что делегаты социалистических и западных стран познакомились друг с другом и с различными методами обучения музыке».

Доктор Эгон Краус дал высокую оценку достижениям венгерской системы музыкального обучения. Несомненные успехи этой системы объясняются в основном

тем, что поборники реформы музыкального воспитания в Венгрии, например Золтан Кодаи, являются не только отличными педагогами, но и превосходными композиторами. Большим достижением венгерской системы музыкального воспитания стали общедоступные музыкальные школы.

Материалы нынешней конференции, сказал Эгон Краус, будут изданы отдельной книгой.

АЛЬМАНАХ «НОВЫЕ ТЕКСТЫ»

Вышел четвертый выпуск литературного альманаха «Новые тексты» (сообщение о третьем выпуске см. в «Иностранной литературе» № 2, 1964), приуроченный к 15-й годовщине Германской Демократической Республики. В альманах включены произведения писателей и поэтов — лауреатов премий «Ауфбау» за 1964 год: Курта Барча, Уве Бергера, Фолькера Брауна, Марианны Брунс и других. Наряду с популярными писателями — Эдуардом Клаудиусом, Вольфгангом Йохо, Гербертом Нахбаром, Бригиттой Рейман и другими — в альманахе выступают малоизвестные писатели, только начинающие свою литературную жизнь.

Здесь опубликованы главы из двух западногерманских романов, о которых сейчас много спорят в ФРГ — «Светляки и пламя» Макса фон дер Грюна и «Оставшиеся без ответа» Томаса Валентина (то же в № 8, 1964); они дадут возможность читателям ГДР ознакомиться с наиболее интересными явлениями литературы Западной Германии.

В альманахе помещены статьи о литературе, в том числе Анны Зегерс, и материалы из наследия Бодо Узе.

«Альманах дает прекрасное представление о состоянии современной немецкой литературы»,— пишет обозреватель журнала «Биненшток».

АРНОЛЬД ЦВЕЙГ: «ПОКОНЧИТЬ С ВОЙНОЙ»

На состоявшейся недавно в Берлине международной конференции, созванной Национальным советом ГДР, были оглашены подлинные материалы, разоблачающие преступления перед человечеством бывшего гитлеровского генерала, а ныне — генерального инспектора западногерманского бундесвера Гейнца Третнера.

Среди выступивших на пресс-конференции представителей мировой общественности был и известный немецкий писатель Арнольд Цвейг. Он обратился к присутствующим с призывом приложить все силы к тому, чтобы преступники вроде Третнера не смогли впредь ставить под угрозу судьбы мира. Цвейг призвал людей доброй воли добиваться того, чтобы атомное оружие не попало в руки реваншистов.

«Мы, немецкие писатели всех фракций и направлений,— сказал Цвейг,— считаем недопустимым давать повод к тому, чтобы о немецком народе думали как о нации военных преступников... Вероятно, все согласятся со мной, что в наше время нужно решительно покончить с войной как с узаконенным средством политики... Наша обязанность — способствовать сохранению жизни на Земле; нельзя допустить, чтобы она превратилась в такую планету, «на которой нельзя будет найти ни одного места, не запачканного кровью, не политого слезами», как сказал швейцарский поэт Карл Шпиттелер».

ПЬЕСЫ О ЛЮДЯХ ТРУДА

В театральной жизни республики произошли два знаменательных события: драматический театр города Гера показал премьеру пьесы Хорста Заломона «Кошачье золото», а театр в городе Ростоке инсценировал драматическую поэму Кубы «Терра инкогнита». Театральные обозреватели ГДР пишут об этих постановках как о крупных достижениях социалистической драматургии.

Хорст Заломон — по профессии шахтер. «Кошачье золото» — первая его пьеса, в ней рассказывается о жизни рабочих одной шахты. Людям случайным, обывателям, противопоставляются в пьесе убежденные строители социализма.

На выставке «Наш современник» в Берлине, посвященной 15-летию ГДР, экспонирована картина молодого лейпцигского художника Гейнца Вагнера «Пасхальный марш». Художник изобразил на полотне выступление западногерманской молодежи за запрещение атомного оружия. На снимке: Вагнер перед своим произведением.

(Газета «Юнге вельт»)

Хорст Заломон. Дружеский шарж Манфреда Грунда.
(Еженедельник «Зонntаг»)

Как сообщает корреспондент газеты «Нейес Дейчланд», шахтеры, товарищи Заломона, по достоинству оценили пьесу, тепло приняли ее. Вслед за театром города Гера «Кошачье золото» собираются поставить и другие театры республики, в частности берлинский «Фольксбюне».

«Терра инкогнита» — драматическая поэма о людях, которые не побоялись поставить под сомнение «научность» старых теорий. Несмотря на трудности и опасности, они дают родине нефть...

Вальтер Ульбрихт назвал поэму «Терра инкогнита» «подлинным произведением социалистического реализма». Как сообщает корреспондент газеты «Дер морген», киностудия «ДЕФА» будет ставить фильм по мотивам этой поэмы.

ФРГ

РЕВАНШИСТЫ НЕ УНИМАЮТСЯ

В гитлеровской Германии были хорошо известны имена таких сподвижников «доктора» Геббельса, как Франц Хёллер, Карл Леппе, Ганс Вацлик, Бруно Брем, Вильгельм Плейер. Нашли они себе применение и в Западной Германии, специализируясь в основном на выпуске различного рода реваншистской литературы.

Пригрел этих борзописцев издатель Адам Крафт, которому после войны вместе с его предприятием пришлось переехать из Карловых Вар в Аугсбург (Бавария). Здесь-то он и начал выпускать вместо прежнего «Домашнего очага в рейхе» новый реваншистский журнал «Назад на родину». Не преминул Крафт издать и большой иллюстрированный том «Судетская область». Борзописцы ему при этом очень пригодились.

Сверх того он выбросил на книжный рынок ФРГ сборники бездарно-слезливых стихов молодых реваншествующих «лириков». Вот названия некоторых сборников: «Зов родины», «Куда? Безродный!», «На родину», «Родина в груди — мы трансильванцы».

Выпускает издательство «Адам Крафт ферлаг» и «романы», в которых такие реваншисты от пера, как Эрих Двингер, Генрих Эйзен и Вернер Клозе, силятся доказать необходимость возвращения славянским землям прежней (фашистской!) «культуры».

«Напрасно изощряются литературные пропагандисты расовой ненависти между народами,— пишет по этому поводу корреспондент демократического еженедельника «Вохенпост». — Они не представляют общественное мнение Западной Германии и уж конечно не представляют немецкую литературу и поэзию».

НАПАДКИ НА РАБОЧИХ-ПИСАТЕЛЕЙ

Вторая биттерфельдская конференция деятелей культуры и трудящихся ГДР (см. сообщение в «Иностранной литературе» № 8, 1964) произвела огромное впечатление на трудовое население, на всех прогрессивно настроенных людей в Западной Германии. Впечатление это было тем более сильным, что все помнили историю издания романа «Светляки и пламя» рабочего-писателя из Дортмунда Макса фон дер Грюна, которому пришлось немало повоевать с издателями и клерикалами, прежде чем его книга увидела свет.

Чтобы хоть как-то ослабить воздействие идей и духа Биттерфельда, известный западногерманский газетный магнат герр Аксель Шпрингер решил непосредственно обратиться к рабочим с призывом не заниматься литературной деятельностью. Об его стараниях красноречивее всего свидетельствуют заголовки в газете «Вельт»: «Рабочим безусловно не стоит браться за перо», «Массы полнее всего могут удовлетворить свои эстетические запросы на предприятии, непосредственно у рабочего места». И, наконец, самый выразительный заголовок: «Культура на предприятии будет целиком зависеть только от администрации»...

«Примечательно, — писал по этому поводу обозреватель демократической газеты «Националь-цейтунг»,— что ни одному рабочему, ни одному рядовому служащему «Вельт» не дала возможности высказать мнение о жизни западногерманских трудящихся». А о том, что это мнение отличается от мнения Шпрингера и его подручных, свидетельствует факт выхода, вслед за книгой Грюна, романа столяра Карла Альфреда Волькена «День получки», в котором содержится призыв к рабочим бороться за свое человеческое достоинство и справедливость.

ГРЕЦИЯ

В «ЧЕРНЫХ СПИСКАХ» ЦЕНЗУРЫ

«Каждая новая книга Космаса Политиса — большое событие в греческой литературе»,— пишет критик газеты «Авги» в рецензии на новый роман известного греческого прозаика Космаса Политиса «У Хаджифрангоса». Действие романа

происходит в начале нашего века в Смирне, крупнейшем центре малоазиатского эллинизма, уничтоженном в ходе греко-турецкой войны 1919—1922 годов. Писатель рисует Смирну в преддверии катастрофы, в обстановке социальных и национальных противоречий, разъединявших греческое и турецкое население и приведших к трагическому конфликту. Причина жестоких греко-турецких столкновений, вылившихся в кровопролитную войну, кроется в противоречиях крупных финансовых магнатов, в закулисной игре международных империалистических кругов, натравливавших друг на друга народы и страны.

«Роман Космаса Политиса, — продолжает рецензент,— проникнут не тоской по местам, где он родился и вырос, а страстным желанием высказать языком искусства свои убеждения о миссии человека на земле, свой протест против ненавистного национализма, против той колючей проволоки, которой империалистические силы пытаются опутать сознание человечества. Главная идея книги заключена в следующих словах писателя: «Они добились того, чтобы я на своей же родиие чувствовал себя рабом». Эта мысль как нельзя более актуально звучит и сейчас.

Греческая цензура занесла новую книгу Космаса Политиса в только что опубликованный список запрещенных изданий.

ИНДИЯ

ДЕСЯТИЛЕТИЕ ЛИТЕРАТУРНОЙ АКАДЕМИИ

Исполнилось десять лет со дня основания Литературной академии Индии — «Сахитья академи».

Как сообщает журнал «Индиэн ПЕН», Академия опубликовала отчет о своей деятельности и планах на будущее. В отчете указывается, что Академия ставит своей целью удовлетворение требований, предъявляемых общественностью к литературе Индии, создание единства индийской литературы, ликвидацию языковых барьеров. С этой целью будут постоянно публиковаться информационные материалы, посвященные достижениям писателей, а также переводы произведений классиков индийской литературы с одного языка на другие. Академия намерена и впредь широко публиковать переводы на основные индийские языки произведений классиков мировой литературы. При содействии ЮНЕСКО будет налажен широкий обмен информацией с другими странами.

Некоторые из планов, намеченных Академией на ближайшие годы, уже начали претворяться в жизнь.

Так, например, издан второй том «Библиографии индийской литературы», охватывающий произведения, написанные на языках хинди, каннада, кашмири и малаялам; вышли в свет современные индийские рассказы на языках малаялам и телугу, антологии поэзии на языках хинди и ория, сборники патриотических стихов и песен на основных языках Индии и другие публикации.

ИСПАНИЯ

СВЯТОЙ ОТЕЦ В РОЛИ ПОЛИЦЕЙСКОГО

В Лас-Пальмасе, на Канарских островах, в доме классика испанской литературы, писателя-демократа Бенито Переса Гальдоса (1843—1920) открыт музей, основную часть которого составляет очень ценная библиотека. Как сообщает демократическая печать, это, однако, не понравилось местному епископу, который обратился к властям с письмом, потребовав немедленного закрытия музея, названного в письме «очагом пропаганды вредных книг и идей писателя». «Слишком заметно нежелательное влияние книг Гальдоса на множество людей, чтобы я мог разрешить дальнейшее существование этого центра»,— заявил епископ.

ИТАЛИЯ

ПАМЯТИ ПАЛЬМИРО ТОЛЬЯТТИ

Газеты «Унита» и «Паэзе сера», журнал «Вие нуове» и другие прогрессивные из-

Мастеров бенгальского кино неизменно привлекает экранизация популярных произведений классической и современной литературы. Широко известны многие, ожившие на кинопленке, рассказы, повести и романы Рабиндраната Тагора, Прем Чанда, Тарашанкара Баннерджи и других. Здесь воспроизводится кадр из нового фильма «Разоренное гнездо», созданного крупнейшим художником бенгальского экрана Сатьяджитом Раем по одноименному рассказу Рабиндраната Тагора. В главных ролях снимались актеры Сайлен Мукерджи и Мадхаби Мукерджи (на снимке).

(Журнал «Филмфэр»)

дания опубликовали статьи и высказывания итальянских писателей и деятелей культуры, посвященные памяти Пальмиро Тольятти.

С воспоминаниями о приезде Тольятти в марте 1944 года в Неаполь, когда он возвратился после падения фашизма на родину, выступили известная писательница Фауста Чаленте, а также художник и искусствовед Паоло Риччи. Прочувствованные строки памяти вождя итальянских трудящихся посвятили писатели и критики Васко Пратолини, Карло Леви, Карло Салинари, Пьер Паоло Пазолини, Итало Кальвино, Элио Витторини, Либеро Биджаретти, Марио Солдати, Джакомо Дебенедетти и другие, а также книгоиздатели Мондадори, Валлекки, Палацци, Латерца, Эйнауди, Бомпиани, деятели театра и кино де Филиппо и Дзаваттини, художники, журналисты.

«Унита» поместила большую статью Жана-Поля Сартра «Мой друг Тольятти».

«ПОСТУПЬ ЛАНГОБАРДОВ»

Один из старейших итальянских журналистов, пользующийся известностью и как автор рассказов и повестей, Арриго Бенедетти, выпустил большой роман, названный им «Поступь лангобардов». Роман охватывает более чем двадцатилетний период и повествует о драматических событиях в истории Италии с начала двадцатых годов до 1944 года, которые находят отражение в судьбе героя — Франко Арнольфини и судьбах его родного города — Лукки. Автор повествует о насилиях и жестокостях сквадристов, о фашистском «походе» на Рим, о политическом кризисе, последовавшем за убийством фашистами социалиста Маттеотти, о захвате фашистами власти, а затем о годах войны и Сопротивления.

Роман Бенедетти, по словам рецензента журнала «Ринашита»,— как бы история итальянского фашизма в миниатюре, пережитая антифашистски настроенной буржуазной интеллигенцией города Лукки. Повествование изобилует множеством мелких деталей, оно на первый взгляд бесстрастно, почти документально. Но именно эта хроникальность, тщательность описаний и соответствует замыслу автора: с помощью мелких, повседневных фактов, не отвлекая читателя ни личными переживаниями героя, ни его рассуждениями, показать, что при фашизме жизнь человека постоянно находилась под угрозой.

Став свидетелем последнего злодеяния фашистов — кровавой расправы с беженцами и монахами в монастыре Фаркета,— Арнольфини восклицает: «Будь проклят фашизм!» Это и есть тот вывод, к которому Бенедетти терпеливо и последовательно подводит читателя своей правдивой книгой.

Роман Бенедетти, выпущенный издательством Мондадори, тепло встречен прогрессивной критикой.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕНЕСТРЕЛИ

Итальянская столица в этом году впервые знакомится со своеобразным творчеством сицилийских и калабрийских «кантасторие» — народных поэтов, сказителей, декламирующих под гитару на фоне развешенных на эстраде иллюстраций сочиненные ими стихотворные произведения. В их основу чаще всего положены подлинные события южноитальянской жизни. Это остродраматические, романтизированные баллады о злоключениях крестьян-бедняков, об их лишениях, о произволе помещиков и преступлениях бандитов из мафии. Они проникнуты страстным протестом против несправедливости, притеснений, бесправия. Исполняют их «кантасторие» на местных диалектах.

Вслед за сицилийским «кантасторие» Чиччу Бузакка, давшим концерт в одном из римских театров, римляне увидели калабрийца Отелло Профацио, выступление которого было показано по телевидению. Но наибольшее внимание столичной публики привлек приезд в Рим сицилийского поэта, автора многих стихов и баллад, которые исполняют «кантасторие»,— Иньяцио Буттитты. Выступления Буттитты в небольших клубах на окраинах Рима перед рабочими, студентами, школьниками, писателями и журналистами пользуются неизменным успехом. Его имя известно не только в Италии, но и далеко за ее пределами — многие стихи Буттитты переведены и печатались в Советском Союзе. Буттитта пишет на сицилийском диалекте, на итальянский язык его стихи перевел поэт Сальваторе Квазимодо; последний сборник стихов Буттитты «Новая кожа» удостоен премии имени Кардуччи. Однако поэт по-прежнему предпочитает непосредственно общаться со своими слушателями и выступает на площадях сицилийских городков и селений. Неизменным успехом пользуется его баллада о событиях в Портелла-делла-Джинестра — кровавой бойне в сицилийской деревне, где мафия по приказу местных помещиков напала на безоружных крестьян, собравшихся на первомайский митинг.

МЕКСИКА

«ПОБЕДА ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ»

— Счастливого возвращения к работе, Давид Альфаро! Счастливого возвращения на свободу, за которую ты всегда боролся! — Так приветствовал итальянский художник Ренато Гуттузо освобождение из тюрьмы своего мексиканского товарища по искусству и друга, выдающегося художника-демократа Д. А. Сикейроса.

«Победой демократической культуры» назвал итальянский критик-марксист Антонелло Тромбадори в газете «Унита» освобождение Сикейроса после четырех лет тюремного заключения. Тромбадори подчеркивает, что Сикейрос — основоположник школы новой мексиканской живописи, «человек, вся жизнь которого и творческая деятельность

неотделимы от политической и общественной жизни современной Мексики».

«Мы рады известию об освобождении Сикейроса не только потому, что ему не придется еще шесть лет томиться в тюрьме и он снова сможет приступить к работе,— пишет Тромбадори.— Освобождение художника — новое свидетельство изоляции и слабости мексиканской и международной реакции, которая хотела в лице Сикейроса нанести удар своим политическим противникам — творческой прогрессивной интеллигенции, борющейся за новое искусство».

ОАР

НА ЕГИПЕТСКОЙ СЦЕНЕ

Журнал «Ат-Тарик» поместил обзор театральной жизни в Объединенной Арабской Республике.

Автор обзора подробно останавливается на трех пьесах египетских авторов. Первая из них, «Пигмалион», принадлежит перу ветерана арабской драматургии Тауфика аль-Хакима. В основу пьесы положена древнегреческая легенда. По свидетельству театральных обозревателей, эта пьеса не имеет, впрочем, успеха на сцене, что объясняется трудностью ее постановки, с которой режиссер и артисты не справились.

Во второй пьесе — «Землетрясение» Мустафы Махмуда — ставятся глубокие философские проблемы; пьеса пользуется успехом у зрителей, так как ее проблематика связана с современностью, в ней обличаются пороки современного общества.

Третья пьеса — «Багдадский цирюльник» Альфреда Фарага — комедия, созданная на основе сказок «Тысячи и одной ночи» и книги арабского писателя IX века Абу Османа аль-Джахиза «Добродетели и пороки». В центре пьесы — образ цирюльника Абу Фудуля, который помогает бедным и униженным и терпит из-за этого разные злоключения. По мнению обозревателя, автор пьесы, обратившись к классическому арабскому наследию, создал яркое, оригинальное произведение, «в котором есть и аромат прошлого и прелесть новизны».

ПОЛЬША

ВЫПУСКАЕТ ИЗДАТЕЛЬСТВО МОН

Издательство министерства национальной обороны Польши выпускает большое количество книг о ратной жизни польских воинов и партизан-патриотов в годы второй мировой войны, а также о мирных буднях солдат и офицеров народного Войска Польского.

На закончившемся недавно очередном конкурсе МОН несколько книг были отмечены премиями издательства. Среди них: «Триптих на снегу» Тадеуша Миколаека, «Земля обетованная» Эдмунда Низюрского, «Цветы для Клементины» Александра Минковского, «Маневр: бегство в солнце» Богдана Дроздовского.

Последняя книга, по мнению рецензента еженедельника «Жице литерацке», представляет особый интерес, и прежде всего потому, что она рассказывает о польских воинах — наших современниках, людях, овладевших сложной, совершенной боевой техникой. Герои повести Дроздовского — пилоты реактивных сверхзвуковых самолетов, «современные Икары», которым не страшны ни испепеляющие солнечные лучи, ни ледяной холод звездных ночей.

«Повесть носит характер репортажа, но в этот репортаж автор вкладывает большую личную заинтересованность и делает это так увлекательно, что в конце концов мы ему верим»,— пишет рецензент.

ДНИ ПОЛЬСКОГО КИНО

В стране стало уже традицией ежегодно проводить Дни польского кино — фестивали, во время которых демонстрируются лучшие фильмы национального производства. В нынешнем году этот фестиваль начался 22 июля — в день, когда народная Польша торжественно отмечала свое двадцатилетие,— демонстрацией первого послевоенного польского

В центре польской столицы открыт новый памятник — «Варшавская Ника» в честь героев, сражавшихся и отдавших жизнь за Варшаву в 1939—1945 гг. Авторы монумента — скульптор Мариан Конечны, архитекторы Загремма и Адам Конечны из Кракова. На снимке: «Варшавская Ника», рисунок М. Стемпеня из газеты «Жице Варшавы».

фильма «Запрещенные песеики». В ходе фестиваля, который продлится необычно долго — до апреля будущего года,— будут показаны лучшие фильмы, созданные творческими работниками польского кино за минувшие двадцать лет. Всего зрители увидят двести художественных и полтораста документальных фильмов.

В начале 1965 года — согласно программе Дней польского кино — будет проведен конкурс на лучший фильм, лучшего режиссера и лучшего актера за последние 20 лет.

Сцена из спектакля «Смерть художника» Хории Ловинеску на сцене Национального театра им. Караджале в Бухаресте. *(Журнал «Театрул»)*

РУМЫНИЯ

СБОРНИКИ МОЛОДЫХ ПОЭТОВ

По словам поэта и литературоведа Драгоша Врынчану, который выступил на страницах журнала «Лучаферул» в связи с выходом новых поэтических сборников, творчество молодых румынских поэтов тесно связано с жизнью страны.

В сборник Штефаиа Юреша «Городская поэма» вошли лирические репортажи о новом облике Румынии. Труд строителей и металлургов окрашен в его стихах романтическими мечтаниями о еще более прекрасном будущем. Волнующие стихи Юреш посвящает Гагарину. В стихотворении «Гости с Востока» поэт воспевает дружбу румынского и советского народов.

Острое чувство современности присуще поэту Никите Стэнеску. В сборнике «Видение чувств» он называет себя «сыном новой эпохи, когда бьет через край энергия масс». Критик О. Крохмэлничану пишет в «Газета литерарэ», что своеобразие поэзии Стэнеску «не только в необычности его поэтического мира, но и в построении самого образа».

«Первое лицо множественного числа» — так назван первый сборник поэтессы Анны Бландианы. По утверждению критика М. Кэлинеску в газете «Скынтейя», этот сборник «раскрывает духовный облик целого поколения, сформировавшегося в годы строительства социализма. В реалистической поэзии Аниы Бландианы все — горение, непрерывное движение к синтезу больших чувств и идей».

«СМЕРТЬ ХУДОЖНИКА»

Многие театры включили в репертуар нового сезона пьесу известного драматурга Хории Ловинеску «Смерть художника». Впервые она была показана весною нынешнего года в бухарестском Национальном театре им. Караджале.

В пьесе «Смерть художника», по словам рецензента журнала «Театрул», показан процесс становления новой социалистической интеллигенции Румынии. Главный герой скульптор Маиоле Круду создает последнее произведение своей жизни — чудовищную статую «Смерть». Это произведение формалистическое, оно как бы зачеркивает то, что было создано художником в его лучшие годы. Все прежние работы Круду были реалистическими, все его замыслы жизнеутверждающими.

Резкий поворот во взглядах Круду объясняется неизлечимым недугом. Автор стремится глубоко вникнуть в историю жизни своего героя. Она раскрывается в сложных взаимоотношениях художника с окружающими — близкими и друзьями.

...Тяжкий путь познания, раздумий приводит Круду к окончательному пониманию того, что его искусству незримо сопутствовала вера в людей и человечество. Скульптор уничтожает «Смерть», и это, по словам рецензента, воспринимается как отрицание антигуманистических тенденций в искусстве. Жизненно лишь то искусство, которое в полную меру служит человеку и его идеалам,— такова основная идея пьесы.

СЕНЕГАЛ

«РОМАН БОЛЬШОЙ ДУХОВНОЙ ЩЕДРОСТИ»

Вышел новый роман Сембена Усмана «Харматтан», задуманиый писателем как трилогия. Известный сенегальский романист, автор романов «Черный докер», «О родина моя, прекрасный мой народ», «Тростинки господа бога», сборника рассказов «Вольтиец», и в новом произведении выступает горячим поборником реализма в молодой сенегальской литературе.

«Харматтан» рассказывает об одном из наиболее напряженных периодов борьбы африканских народов за свободу — о подготовке к референдуму 28 сентября 1958 года. Действие романа про-

исходит в одной из африканских стран, которая в чем-то походит на каждую из бывших колоний Франции. Усман стремится показать, как пробуждаются молодые силы нации, как они включаются в политическую борьбу.

Референдум по вопросу о новой конституции для владений Франции в Африке — это уловка колонизаторов, стремящихся всеми силами оттянуть предоставление независимости. Им противостоит патриотическая организация, объединяющая представителей различных слоев общества, таких как поэт и художник Лей, механик Сори, учительница Тьюмбе. Сторонники независимости призывают народ сказать «нет» на референдуме.

Роман заканчивается поражением патриотов, но автор, как и его герои, верит в грядущую победу, и вместе с ним верит в нее читатель.

Сембен Усман хорошо знает своих героев, горячо любит их. Обозреватель журнала «Африк» пишет, что последняя работа писателя — «роман большой духовной щедрости».

США

«ТАК ЛИ СЛЕДУЕТ ПЕРЕВОДИТЬ СОВЕТСКУЮ ПОЭЗИЮ?»

Американские любители русской советской поэзии были недавно глубоко разочарованы, получив сборник стихов Андрея Вознесенского в переводах некоего Ансельма Холло. Перевод был настолько неквалифицированным, что вызвал возмущение в среде специалистов и даже — гневные отклики в печати.

Так, рецензент «Нью-Йорк таймс бук ревью» пишет:

«У нас переводят стихи подчас люди совершенно неграмотные и невежественные, не знающие как следует не только русский, но и английский язык. Результат катастрофичен: американского читателя знакомят с каким-то уродливым искажением современной новой поэзии России.

Последней жертвой явился Вознесенский, — продолжает рецензент.— Я просто умоляю всех тех, кто прочтет его стихи в переводе Ансельма Холло, поверить мне на слово, что Вознесенский — великолепный современный поэт. А мистер Холло превратил его стихи в полнейший бред и чепуху.

Переводчик, — говорится далее в рецензии,— нисколько не потрудился понять мысль автора. В наше время такие переводы может делать электронная вычислительная машина, если она недостаточно квалифицированно программирована». Автор приводит примеры, которые не могут не вызвать улыбки: Холло не в состоянии отличить «трусы» от «труса», а понятное каждому русскому слово «лоточницы» под его бойким пером превратилось в таинственную «дрожащую темную рощу...»

Трудно перечислить все вульгаризмы, искажения и отсебятину, которые находишь в этом переводе. И при всем том переводчик считает себя вправе по-своему «толковать» стихи советского поэта: он находит какие-то странные и абсолютно отсутствующие в оригинале сексуальные намеки и двусмысленности!..»

Рецензент «Нью-Йорк таймс бук ревью» обвиняет издателей в том, что они, торопясь выпустить книги советских поэтов, которыми живо интересуется американский читатель, слишком поспешно сдают в набор скороспелые переводы, только мешающие знакомству в США с настоящей советской поэзией.

С ТЕАТРАЛЬНЫХ ПОДМОСТКОВ...

Одна из самых «больных» проблем современной Америки — проблема расовой дискриминации — глубоко волнует всех честных американцев. По свидетельству обозревателя газеты «Нью-Йорк таймс», не удивительно, что негритянские драматурги и артисты, которые поднимают в своем творчестве эти проблемы, получают все большее признание в стране. Так, недавно с успехом была поставлена пьеса Джеймса Болдуина «Блюз для мистера Чарли». Получила признание и одноактная пьеса молодого негритянского драматурга Лероя Джонса «Голландец».

Иногда в пьесах, где герои — негры, текст меняется импровизационно в связи с последними событиями в

Пьеса «Блюз для мистера Чарли» Джеймса Болдуина поставлена в нью-йоркском «Энта-тиэтр». На снимке: Эл Фримэн-младший и Розетта Ле Нуар в одной из сцен спектакля.

(Еженедельник «Нэшнл гардиен»)

стране. Такой случай, например, имел место на спектакле «Чернокожие» французского автора Жана Женэ. В одной из сцен спектакля упоминаются убийства негров в Южно-Африканской Республике, последовавшие после восстания чернокожего населения против апартеида. Пьесу ставила негритянская труппа. Через день после кровавых событий в Бирмингеме, когда в церкви от взрыва бомбы погибло четверо негритянских детей, один из ведущих актеров вставил в текст своего монолога фразу о «четырех маленьких девочках, погибших в Бирмингемской церкви». Этот голос протеста, прозвучавший с театральных подмостков, произвел на зрителей сильное впечатление.

«РАЗ — КАРТОШКА, ДВА — КАРТОШКА»..

Это название фильма молодого режиссера Ларри Пирса, поставленного по сценарию Рафаэля Хэджса и Орвилла Хэмптона, взято из детской считалки. В его основу легла небольшая газетная заметка, сообщавшая о трагедии одной американской семьи, разрушенной в результате господствующих в США расовых предрассудков.

Действие фильма происходит в небольшом городке на Среднем Западе.

...Молодой негр женится на белой женщине, которая недавно развелась с мужем и у которой есть дочь от этого брака. Семья живет счастливо, в ней рождается еще один ребенок — сын.

Однако отец белой девочки «не может допустить», чтобы его дочь воспитывалась в семье «черномазых», и начинает судебное дело против своей бывшей жены, требуя, чтобы девочку отдали ему. И суд, естественно, становится на сторону белого, а не чернокожего американца. Суду нет дела до трагедии матери, до драмы маленькой девочки, которых насильно разлучают...

Корреспондент журнала «Жён Африк» пишет, что «самая потрясающая сцена фильма — посещение молодым негром, женившимся на белой, адвоката, у которого он ищет поддержки и защиты. Адвокат — личный друг клиента, но он белый и просьбу негра ходатайствовать перед судом о разрешении удочерить девочку встречает словами: «Как ты смеешь обращаться ко мне по такому поводу? Ты хочешь, чтобы моя карьера кончилась, чтобы я потерял всю клиентуру? Ведь твое дело — безнадежное!»

Прогрессивная Америка тепло встретила этот талантливый гуманистический фильм.

ПОЭЗИЯ АМЕРИКАНСКИХ ИНДЕЙЦЕВ

Издательство «Юниверсити оф Небраска пресс» издало недавно интересный сборник под названием «Небо проясняется. Стихи американских индейцев». В нем собраны образчики индейской поэзии от древних песен ацтеков до современных песенных текстов.

Как отмечает рецензент газеты «Пиплз уорлд», сборник составлен очень квалифицированно. Пояснительные материалы и комментарии содержат историко-литературный анализ творчества индейцев.

Некоторые субъективные оценки в анализе культуры индейцев, продолжает рецензент, не могут умалить значения подобранных материалов, свидетельствующих о поэтической одаренности индейских племен. В качестве удачных образчиков он приводит стихи индейцев племени сиу, воспевающие мужество и надежду на лучшее будущее.

ФРАНЦИЯ

«БЕСЕДЫ С ФРАНСИСОМ КРЕМЬЕ»

Так названа новая книга, выпущенная издательством «Галлимар» и содержащая десять интервью Луи Арагона с сотрудником парижского радио и телевидения Ф. Кремье. Как отмечает рецензент «Юманите-диманш» Роллан Пьер, «Беседы» эти открывают перед читателем внутреннюю лабораторию писателя и гражданина, они «позволяют развеять многие недоумения, от которых подчас не свободны даже те, кто хотел бы и должен был бы понимать Арагона». В этих интервью писатель отвечает

УРУГВАЙ

Мирный труд простых людей находит отражение в работах многих уругвайских художников-графиков. Здесь мы воспроизводим две работы Р. Суареса: «Лодочники» (вверху) и «Рыбаки».

(Журнал «Изкуство»)

на многие вопросы, поясняет все, что касается им написанного — поэм, романов, предисловий, критических исследований и т. д.

Андре Вюрмсер в «Леттр франсез» выделяет в качестве основных тем «бесед» — реальный мир, любовь, Францию, коммунизм, борьбу с идеализмом и индивидуализмом, со схематизмом и извращениями научного социализма.

Иначе говоря, перед нами широкий круг вопросов, волнующих сегодня не только французских писателей, но и самые широкие слои интеллигенции.

ПЕРВЫЙ ТЕАТР ДЛЯ РАБОЧИХ

В парижском пригороде Вильжюиф открылся театр имени Ромена Роллана. Это первый за последние десятилетия театр, построенный в пролетарском предместье столицы. Помимо театрального зала здание располагает кинозалом и концертным залом. При театре намечается открытие музыкальной школы и школы танцев для рабочей молодежи.

Как известно, памятник Виктору Гюго работы скульптора Барриаса, находившийся до войны на площади имени этого великого писателя в Париже, был снесен оккупационными властями. Долгое время парижский муниципалитет решал вопрос, стоит ли восстанавливать старый памятник. В результате было принято решение отлить в бронзе скульптуру Гюго, выполненную в свое время Роденом и названную им «Виктор Гюго и музы». Новый, недавно открытый памятник Гюго установлен на углу улиц Виктора Гюго и Анри Мартен. На снимке: молодые парижане у памятника Гюго с книгами великого писателя.

(Газета «Комба»)

ЮГОСЛАВИЯ

ПРЕМИЯ ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЧ

Премия «Седьмого июля» (в честь дня антифашистского восстания сербского народа) за 1964 год в области литературы присуждена известной советскому читателю югославской поэтессе Десанке Максимович за сборники «Стихи», «Сад детства», «Зеленый витязь», «Поэт и родина», поэму «Отечество» и другие произведения, а также за переводы произведений советских авторов.

НУШИЧ НА СЦЕНЕ И НА ЭКРАНЕ

8 октября исполнилось сто лет со дня рождения одного из самых крупных югославских писателей Бранислава Нушича. На родине чтят память этого блестящего комедиографа. В Белграде, в Коларчевом университете, была открыта большая выставка, посвященная жизни писателя и истории создания им драматургических произведений. Проводились симпозиумы, лекции, посвященные творчеству Нушича. Были изданы еще не опубликованные труды писателя — драмы «За спиной у бога» и «Осенний дождь».

Много внимания творчеству славного драматурга уделяют театры. Белградский народный театр установил в фойе бюст писателя и показал на своей сцене многие пьесы Бранислава Нушича, в исполненни различных театральных коллективов.

Выпущен документальный фильм о Нушиче, экранизирована его комедия «Путешествие вокруг света» (сценарий и режиссура Сойи Йованович), а также создан фильм «Депутат».

Бранислав Нушич. Дружеский шарж из газеты «Борба».

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

КУБА — KUBA — псевдоним Курта Бартеля (род. в 1914 г.) — немецкий писатель, поэт, драматург, (ГДР), трижды лауреат Национальной премии и премии имени Лессинга. Автор «Поэмы о человеке» («Gedicht vom Menschen», 1948), драмы «Клаус Штёртебекер» («Klaus Störtebeker», 1959), драматической поэмы «Терра инкогнита» («Terra incognita», 1963) и многочисленных сборников стихов.

Публикуемое стихотворение взято из сборника «Kuba, Gedichte», 1961 г.

ГЕЙНЦ КАЛАУ — HEINZ KAHLAU (род. в 1931 г.) — немецкий поэт, переводчик, кинодраматург (ГДР), лауреат литературных премий имени Генриха Гейне и Свободных немецких профсоюзов. Автор сборника стихов «Проба» («Die Probe», 1956), переводов из венгерского поэта Аттилы Йожефа, автор сценариев и др.

Публикуемое стихотворение было напечатано в еженедельнике «Зонntаг».

КРИСТОФ ВАЛЬТЕР — CHRISTOF WALTER (род. в 1934 г.) — немецкий поэт (ГДР). Стихи Вальтера публикуются в периодической печати с 1959 г.

Стихотворение, которое мы печатаем, взято из журнала «Зинн унд форм».

КУРТ БАРЧ — KURT BARTSCH (род. в 1937 г.) — немецкий поэт (ГДР). Стихи К. Барча появляются в периодической печати с 1963 г.

Публикуемые стихи взяты из журналов «Зинн унд форм» и «Нейе дейче литератур».

ПАУЛЬ ВИНС — PAUL WIENS (род. в 1922 г.) — немецкий писатель — поэт, прозаик, переводчик, кинодраматург (ГДР), лауреат Национальной премии. Автор многих книг и сборников стихов, в том числе «Вести из третьего мира» («Nachrichten aus der dritten Welt», 1957), поэмы «Памятник Даше» («Ein Denkmal für Dascha», 1960) и др. Перевел на немецкий язык стихи Маяковского, Хикмета, Арагона.

Публикуемое стихотворение получено редакцией в рукописи.

ФРАНЦ ФЮМАН — FRANZ FÜHMANN (род. в 1922 г.) — немецкий писатель и поэт (ГДР), лауреат Национальной премии и литературных премий имени Генриха Манна, Иоганнеса Бехера и Свободных немецких профсоюзов. Автор многих сборников стихов, в том числе «Гвоздика Никоса» («Die Nelke Nikos», 1953), поэмы «Поездка в Сталинград» («Die Fahrt nach Stalingrad», 1953), повести «Однополчане» («Kameraden», 1955), сборника новелл «Падающие тени» («Stürzende Schatten», 1959) и др.

Публикуемое стихотворение взято из сборника «Пути сказок» («Die Richtung der Märchen», 1962).

ЭРВИН ШТРИТТМАТТЕР — ERWIN STRITTMATTER (род. в 1912 г.) — немецкий писатель (ГДР), лауреат Национальной премии и премии имени Лессинга. Автор романов «Погонщик волов» («Ochsenkutscher», 1950), «Тинко» («Tinko», 1954), «Чудодей» («Der Wundertäter», 1957), пьесы «Невеста голландца» («Holländerbraut», 1961), романа «Оле Бинкопп» («Ole Bienkopp», 1963).

Публикуемое стихотворение печаталось в журнале «Нейе дейче литератур».

ГЮНТЕР КУНЕРТ — GÜNTER KUNERT (род. в 1929 г.) — немецкий поэт (ГДР), лауреат премии Генриха Манна. Автор сборников стихов «Под этим небом» («Unter diesem Himmel», 1955), «Повседневные дела» («Tagwerke», 1961), «Честные песни» («Das kreuzbrave Liederbuch», 1961) и др.

Стихотворение, публикуемое нами, печаталось в журнале «Зинн унд форм».

ФОЛЬКЕР БРАУН — VOLKER BRAUN (род. в 1939 г.) — немецкий поэт (ГДР), бывший рабочий типографии, затем студент философского факультета Лейпцигского университета. Начал печататься в периодической печати с 1961 г.

Публикуемое стихотворение взято из журнала «Нейе дейче литератур».

ИВЕТ САРАЙЛИЧ — IZET SARAJLIĆ (род. в 1930 г.) — боснийско-герцеговинский поэт. Автор сборников стихов «При встрече» («U susretu», 1949), «Серый уик-энд» («Sivi vikend», 1955), «Минута молчания» («Čas ćutanja», 1960), «Посвящение» («Posveta», 1961), «Транзит» («Tranzit», 1963).

Опубликованные стихотворения взяты из разных сборников.

ИВАН МИНАТТИ — IVAN MINATTI (род. в 1924 г.) — словенский поэт. Ему принадлежат сборники стихов «С дороги» («S poti», 1947), «А весна придет» («Pa bo pomlad prišla», 1955), «Кого-то ты должен любить» («Nekogu moraš imeti rad», 1964), откуда и взято опубликованное в номере стихотворение.

ВАСКО ПОПА — VASKO POPA (род. в 1922 г.) — сербский поэт. Автор сборников стихов «Кора» («Кора», 1953), и «Зло-Поле» («Непочин-Поле», 1956).

Публикуемое стихотворение взято из сборника «Кора».

ВЛАДИМИР ЧЕРКЕЗ—VLADIMIR ČERKEZ (род. в 1923 г.) — боснийско-герцеговинский поэт, прозаик, драматург. Автор сборников стихов «На лугах» («Na livadama», 1948), «Майская лирика» («Majska lirika», 1949), «Кровь и жажда» («Krv i žudnje», 1958), поэм «Знамена Краины» («Zastave Krajine», 1949), «Поэма о любви» («Poema o ljubavi», 1953). Его перу принадлежат также романы «Без возвращения» («Bez povratka», 1955), «Солнце в дыму» («Sunce u dimu», 1958), пьеса «Шпион» («Špijun», 1954).

Стихотворение «Уход» взято из сборника «Розы в буре» («Ruže u oluji», 1951).

ТОНЕ ПАВЧЕК — TONE PAVČEK (род. в 1928 г.) — словенский поэт. Вместе с другими словенскими поэтами им выпущены поэтические сборники «Стихи четверых» («Pesmi štirih», 1953), «Сны продолжают жить» («Sanje živijo dalje», 1958) и несколько книг для детей.

Стихотворение «Молитва» взято из сборника стихов «Плененный океан» («Зароблени океан», 1963).

ГАНС КОХ — HANS KOCH (род. в 1927 г.) — немецкий литературовед и публицист (ГДР), первый секретарь Союза немецких писателей. Автор исследования «Вклад Франца Меринга в марксистскую теорию литературы» («Franz Mehrings Beitrag zur marxistichen Literaturtheorie», 1959), книги «Марксизм и эстетика» («Marxismus und Ästhetik», 1964) и многочисленных статей по вопросам литературы и искусства в периодической печати.

Публикуемая статья получена в рукописи.

ЯН КЕРЬЮ—JAN CAREW (род. в 1925 г.) — писатель Британской Гвианы. Автор романов «Дикий берег» («Wild Coast», 1958), «Прикосновение Мидаса» («The Touch Midas», 1958), опубликованного журналом «Иностранная литература» в №№ 1—2 за 1963 г., «Последний варвар» («The Last Barbarian», 1961). О творчестве Я. Керью см. статью Е. Гальпериной в № 2 журнала за 1963 г.

Публикуемая в этом номере статья написана для нашего журнала.

ХОАКИН ГУТЬЕРРЕС — JOAQUIN GUTIERREZ (род. в 1918 г.) — коста-риканский писатель, литературовед и публицист, много лет жил и работал в Чили. Автор сборников стихов «Поэзия» («Poesía», 1937) и «Хикараль» («Jicaral», 1938), романа «Заросли мангровых деревьев» («Manglar», 1947), повести «Кокори» («Cocorí», 1948), романа «Порт Лимон» («Puerto Limón», 1950), книги очерков «От реки Мапочо до Вислы» («Del Mapocho al Vístula», 1951). Х. Гутьеррес — составитель «Антологии латиноамериканской поэзии» («Antologia de la poesía latinoamericana», 1961).

Публикуемая статья написана для нашего журнала.

ГУСТАВО ЛУИС КАРРЕРА — GUSTAVO LUIS CARRERA (род. в 1933 г.) — венесуэльский писатель, критик и литературовед, автор ряда произведений, в том числе сборника рассказов «Слово возражения» («La palabra opuesta», 1963).

Публикуемая в номере статья прислана автором в рукописи.

УИЛФРЕД БЭРЧЕТТ — WILFRED BURCHETT (род. в 1911 г.) — австралийский публицист. Автор книг «Эта чудовищная война» («This Monstrous War», 1953), «К северу от 17-й параллели» («North of the Seventeenth Parallel», 1955), «Вверх по Меконгу» («Mekong Upstream», 1957), «Поезжайте на Восток, молодой человек» («Come East, Young Man», 1962), «Скрытая война» («Furtive War», 1963).

Публикуемый репортаж получен в рукописи.

ТАТЬЯНА НИКОЛЕСКУ — TATIANA NICOLESCU (род. в 1923 г.)—румынский критик. Многие работы Т. Николеску посвящены русской и советской литературе, в том числе вышедшая в 1963 году книга «Толстой и румынская литература» («Tolstoi şi literatura romina»).

Публикуемая рецензия написана для нашего журнала.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР **Б. С. РЮРИКОВ**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

И. И. АНИСИМОВ, Б. Г. ГАФУРОВ, С. А. ГЕРАСИМОВ, С. А. ДАНГУЛОВ (зам. главного редактора), **Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, И. М. КУЛАКОВСКАЯ** (отв. секретарь), **Т. Л. МОТЫЛЕВА, Л. В. НИКУЛИН, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, М. И. РУДОМИНО, В. П. ТЕРЕШКИН, П. М. ТОПЕР, С. П. ЧЕРНИКОВА, М. А. ШОЛОХОВ, К. ЯШЕН.**

Художеств. редактор **М. М. Милославский** Технический редактор **В. Л. Шачнев**

Адрес редакции: Москва, Пятницкая ул., д. 41. Телефон: В 3-51-47.

А 09871 Сдано в производство 5/VIII-64 г. Подписано к печати 15/X-64 г.

Бумага 70×108¹/₁₆ = 9,0 бум. л.; печ. л. 24,66 Зак. 1771.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

ИНДЕКС 70394

Цена 80 коп.

К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

ЖУРНАЛ «ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА» ПЕЧАТАЕТ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПИСАТЕЛЕЙ РАЗНЫХ СТРАН — РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, СТИХИ, РАССКАЗЫ, ПЬЕСЫ, СЦЕНАРИИ.

Журнал систематически печатает статьи, освещающие важнейшие проблемы развития зарубежных литератур, литературные портреты, статьи о новинках зарубежной литературы, рецензии на новые книги зарубежных писателей, вышедшие в советских и зарубежных издательствах.

Журнал знакомит читателей с новыми произведениями искусства, рассказывает о новых кинофильмах и театральных постановках.

Широкая информация о литературной и культурной жизни дается в разделе «Из месяца в месяц».

В журнале выступают зарубежные и советские писатели, деятели науки, культуры и искусства.

Журнал иллюстрирован.

В 1965 году редакция предполагает напечатать следующие произведения:

ЖОРЖИ АМАДУ (Бразилия)
«Пастухи ночи» (Роман)
ДЖОН АПДАЙК (США)
«Кентавр» (Роман)
ЛУИ АРАГОН (Франция)
«Очарованный Эльзой» (Поэма)
МОНГО БЕТИ (Камерун)
«Исцеленный король» (Роман)
ГЕНРИХ БЁЛЬ (ФРГ)
Новая книга
МАКС ФОН ДЕР ГРЮН (ФРГ)
«Светляки и пламя» (Роман)
ФРИДРИХ ДЮРРЕНМАТТ (Швейцария)
Новая пьеса
САУД ДЕРВИШ (Турция)
«Любовные романы» (Роман)
ХОРХЕ ИКАСА (Эквадор)
«Злоключения Ромеро-и-Флореса» (Роман)
ЭРСКИН КОЛДУЭЛЛ (США)
Новая книга
АЛЬБЕРТО МОРАВИА (Италия)
«Внимание» (Роман)
ДЖЕЙМС ОЛДРИДЖ (Англия)
Новый роман
ЯН ОТЧЕНАШЕК (Чехословакия)
Новый роман
ХОРХЕ ОРТЕЛАНО (Испания)
«Летняя гроза» (Роман)
МИГЕЛЬ ОТЕРО СИЛЬВА (Венесуэла)
«Онорио» (Роман)
ЖОРЖ СИМЕНОН (Франция)
Новый роман
МАКС ФРИШ (Швейцария)
«Бидерман и поджигатели» (Пьеса)
КАРЛОС ФУЭНТЕС (Мексика)
«Смерть Артемио Круса» (Роман)
ЧАРЛЬЗ ЧАПЛИН (Англия)
«Моя биография»
РОБЕРТ ШЕКЛИ (США)
Научно-фантастические рассказы
МАКС ВАЛЬТЕР ШУЛЬЦ (ГДР)
«Мы не пыль на ветру» (Роман)

Редакция рассматривает также новые произведения

МИГЕЛЯ АНХЕЛЯ АСТУРИАСА, РАФАЭЛЯ АЛЬБЕРТИ, ХУАНА БОША, ХАЙМЕ ТОРРЕСА БОДЕТА, УИЛЬЯМА ГОЛДИНГА, НИКОЛАСА ГИЛЬЕНА, ДИМИТРА ДИМОВА, ЮСУФА ИДРИСА, АЛЕХО КАРПЕНТЬЕРА, ЛАЙОША МЕШТЕРХАЗИ, МАРИИ МАЙЕРОВОЙ, Р. К. НАРАЙАНА, ИГОРЯ НЕВЕРЛИ, ЗДЕНЕКА ПЛУГАРЖА, ОКТАВИО ПАСА, ЭРИХА МАРИА РЕМАРКА, ЖАНА-ПОЛЯ САРТРА, АНДРЕ СТИЛЯ, ДИКО ФУЧЕДЖИЕВА, КАТЕБА ЯСИНА и др.

Подписная цена на год — 9 р. 60 коп.
на 6 мес.— 4 р. 80 коп.
на 3 мес.— 2 р. 40 коп.
Цена одного номера — 80 коп.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТДЕЛАМИ «СОЮЗПЕЧАТИ», ОТДЕЛЕНИЯМИ СВЯЗИ И ОБЩЕСТВЕННЫМИ РАСПРОСТРАНИТЕЛЯМИ ПЕЧАТИ.